

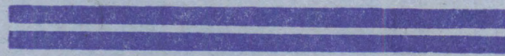
ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

НОВОБЫИ МИР

1982

10



1982



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1982 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ — Василий Федоров, Валентин Сорокин, Елена Николаевская, Игорь Жданов	3
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ—Юношеский роман моего старого друга Саши Пчелкина, рассказанный им самим	9
ГЕОРГИЙ ПРЯХИН — День и час, повесть	106
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ — Марк Лисянский, Николай Година, Аркадий Соловьев, Виктор Смагин, Ян Вассерман, Валентин Резник, Сергей Агальцов, Юрий Говердовский, Юрий Михайлик, Геннадий Калашников	164
ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР — Униввермаг, роман. Окончание	170
В МИРЕ НАУКИ	
ИГОРЬ БУБНОВ — Пред будущим мы только дети	201
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
И. РОДНЯНСКАЯ — Предчувствия и память	227
СЕМЕН ФРЕЙЛИХ — Динамика современности	238

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

249

- Г. Киселев.** Уроки Якуба Коласа.
Владимир Короткевич. Он один такой — Янка Купала.
А. Зись. Действенный тип исследования.

Политика и наука

257

- Вик. Казаринов.** Синхронный перевод с военного.
П. Черкасов. Без родины.
В. Прищепа. Автоматы на орбитах.

КОРОТКО О КНИГАХ:

- Виктор Козько.**— Алексей Дударев. Святая птица. Рассказы. ✦
Владимир Богатырев.—Юрий Авдеенко. Вдруг выпал снег.
Роман. ✦
З. Соколова.— Созвездие лиры. Избранные страницы латиноамериканской лирики. ✦
Вадим Ковский.— И. Янская, В. Кардин. Пределы достоверности. Очерки документальной литературы. ✦
А. Тахо-Годи.— И. М. Нахов. Книжеческая литература. И. М. Нахов. Философия киников. ✦
Ю. Стрехнин.— Юрий Полухин, Любовь Руднева. Сквозь годы и горы ✦
И. Забелин.— Р. Баландин. Перестройка биосферы. ✦
А. Васильев.— Н. М. Пегов. Далекое—близкое. Воспоминания. ✦
В. Буров.— История Кампучии. Краткий очерк

265

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

★

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ

* * *

Есть книг тома
Древнее, чем дома.
В них, как школяр-турист,
Входил во все я.
Развалины великого ума
Печальнее развалин Колизея.

У мудрости
Всегда такой удел,
Когда великий свет
Дробят на нимбы.
Потомки на потребу мелких дел
Растаскивают каменные глыбы.

Затея реставратора пуста.
С чем прошлое сравню
И чем измерю?
Не верю
В толкователей Христа
И в продолжателей его
Не верю.
О, если б
Нам далась такая честь
В наш горький век,
Что праведен и ложен,
И слово уберечь, какое есть,
И камень сохранить,
Каким положен.

О дальнем

Весь в надеждах.
Лишь сердце затронь —
Даже мертвый воскресну,
Любя и надеясь.
Согреваюсь,
Пока высекаю огонь,
А когда, запылав, возгорится,
Не греюсь.

Головешки костров
Не люблю ворошить,
Вижу будний наш мир
Не глазами, а телом.
Не умею я
Памятью прошлого жить,
Тороплюсь
К небывалым пределам.

Суетливые цели
Не ставлю ни в грош,
Каждодневная радость
Мне даже постыдна.

Юный друг,
Вот когда ты с мое поживешь,
Заскучаешь о дальнем,
Чего и не видно.

В дальний век заглянуть
Сквозь сумятицу лет,
Сквозь туманы фантазий
Изустных и книжных —
Все равно что попасть
На одну из планет
И увидеть людей,
Для ума непостижных.

Друг, большая забота
Средь прочих забот
Начала меня мучить
Глухими ночами:
А туда ли иду,
Куда время зовет,
С тем ли нашеньким грузом
Любви и печали?..

Есть и страж пострашнее...
 Не дай же мне бог,
 Ослабев, затоптаться
 На старой дороге,

В неизвестное завтра
 Увидеть порог
 И запнуться
 На этом высоком пороге.

Время

Время село на плечи мои.
 Как живое, в извечном полете,
 На одном роковом обороте
 Время село на плечи мои.

Время тот сторожило момент,
 Когда жизнь моя в беге запнется,
 Скорость века с моей разойдется.
 Время тот сторожило момент.

Стал я ниже и ближе к земле.
 Время давит. С него-то и случилось,
 Что и в росте уменьшился малость.
 Стал я ниже и ближе к земле.

Не ветвями — корнями расту.
 Есть у жизни почти до погоста
 Хитрый фокус обратного роста.
 Не ветвями — корнями расту.

Время село на плечи мои.
 Говорю я, любивший запойно,
 Хоть и грустно, а все же спокойно:
 Время село на плечи мои.

ВАЛЕНТИН СОРОКИН

* * *

Так тихо, тихо в роще и в саду.
 И на поле и в мире тихо, тихо.
 И яблоня, погибшая в беду,
 Маячит жутко черной лебедихой.
 И грустно мне и жалко: не смогла
 Пустить поглубже корни, холод лютый
 Убил ее.

Плывет ночная мгла,
 И месяц встал над яблоней Малютой.
 Вот зашумит зеленая трава,
 Вот затрепещут снеговейно вишни,
 А яблоня покажется, мертва,
 Еще черней и даже станет лишней.
 Вот хлынет ливень, загремит гроза,
 А на ветвях сухих не заискрится,
 Не засверкает вешая роса,
 И дереву, как птице, не взлетится.
 Так тихо и сторожко на земле.
 Стук топора потряс мое жилище,
 Он рядом зарождается во мгле,
 Где коростель навзрыд о ком-то свищет.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ

Неповторение

Что-то стирается. Что-то теряется...
 В циклах и ритмах все повторяется.
 Смерть и рождение. Весны и зимы.
 Все повторимо. Все повторимо.
 Для повторенья иного явления
 Люди стараются, лезут из кожи...
 Но повторяется зло — к сожалению.
 К счастью — добро повторяется тоже.
 И повторяются речи в парламенте
 И содержанье бумаг в департаменте.

... Как соблюдался он в древней Армении —
 Принцип священный неповторения!
 Видно, в характере и темпераменте:
 Неповторение стен на фундаменте,
 Неповторение букв на пергаменте,
 Неповторенье узоров в орнаменте —
 Лозы, гранаты, львы, куропатки...

... Неповторяемость нынче в упадке.
 Много удобнее для ускорения
 Стереотипы и повторения!
 Штампы, эстампы, блоки и шрифты,
 Для воспарений — высотные лифты...
 Есть одинаковость свечек и спичек...
 Но сколь прекрасно ваше терпение,
 Резчик по камню и переписчик,
 В вечном стремлении к неповторению!
 ... Я повторяюсь: снова в парении
 Над облаками рвусь сквозь пространство...
 Снова я мчусь в парадоксы Армении —
 Неповторение и постоянство...

Обиход

...отвернулся от обихода и увидел красоту жизни.

Рерих о Врубеле.

«От обихода отвернулся —
 И красоту увидел вдруг...
 И тут художник в нем проснулся
 В отличие от всех вокруг...»
 Один великий про другого
 Так убежденно речь ведет:
 Мол, красота всему основа,
 Всему помеха — обиход.
 Но жизнь — она из обихода
 И красоты!.. Одно в другом.
 Краса небес. Земля. Природа.
 Любовь. Очаг. Родимый дом.
 Дороги.хлопоты. Застолья.
 И старый друг. И Новый год.

Хлеба, поднявшиеся в поле, —
 Уж это ли не обиход?
 И все достойно вдохновенья —
 Пера, и кисти, и резца.
 Обыденность. И свет и тени.
 Всё — от начала до конца.
 И всемогущество ребенка,
 Что объявляет на бегу
 Самозабвенно, четко, звонко:
 «Я пожалею... Помогу...»
 Вражды не зная и раскола,
 Кричит на весь простор земли!
 ...О только б эти два глагола
 Из обихода не ушли...

* * *

Не ищите виноватых
 Ни в застольях, ни в дебатах,
 Среди безусых и усатых
 Выбирая наугад:
 Бесплезная работа —
 Перед кем-то в чем-то кто-то
 Непременно виноват...

Виноватых не ищите:
 У судьбы нелегкий нрав...
 Так уж вышло, не взывайте,
 Все нуждаются в защите,
 Всякий, в общем, в чем-то прав.

ИГОРЬ ЖДАНОВ

* * *

В первосрочном бушлате приличном,
 Ветеран восемнадцати лет,
 Я шагаю — несбывшийся мичман
 И еще никакой не поэт.
 Еле-еле нащупавший слово,
 Не томим, не терзаем виной,
 Ошарашен соседством Светлова
 На газетной странице одной.
 Что случится — загадывать рано,
 Что запутал — распутывать лень:
 У меня еще есть Марианна
 И с тяжелой бляхой ремень.
 Как пылали склоненные лица,
 Как в стекле пламенела гамза!
 Уличенно метались ресницы,
 Виновато сияли глаза.
 А в стихах — первозданная сила,
 Так под током искрят провода.
 «Мой единственный» — правдою было
 И присягой — «моя навсегда»...
 Вот бреду я, седой и помятый,
 И твержу, спотыкаясь, одно:
 Если время уходит куда-то,
 Значит, где-то все то же оно.
 В обе стороны — дали и дали,
 Всяких встреч не запомнить, не счесть;
 Если люди прошли и пропали,
 Значит, все-таки
 были и есть.
 Что случится — загадывать рано,
 В мире много нетраченных слов,—
 Я живу,
 и жива Марианна,
 И живет стихотворец Светлов.

* * *

Пастбища,
 Погосты и поляны,
 Птичьи тучи тают под жнивьем —
 Все мы тут,
 что Марьи, что Иваны,
 Смертные и грешные, живем.
 Нас хотели бросить на колени:
 В реки шли чужие паруса.
 Нас погибло —
 сорок поколений
 Все за те же пашни и леса.
 В черный день, идя на подвиг бранный,
 На богов никто не уповал —
 Выходили Марьи да Иваны
 И вершили судьбы наповал.
 Знали толк в булате и брегете,
 Строили из камня и стекла...
 На крови течет река столетий —
 Или просто кровью истекла?
 На Руси, на Рузе ли, на Воже,
 Что окоп, то новый котлован...
 Я живу здесь вроде непохожий,
 Но такой же, в сущности, Иван.

* * *

Какая наивная драма!
 Я думаю, все отстраняя:
 Моя несравненная мама,
 Ты больше не бросишь меня.
 Приходы мои — не причуды:
 Несу почему-то тебе
 И грады, и грозы, и гуды,
 И громы, что были в судьбе.
 Курсанты!
 Сплошные курсанты —
 Все были мы как на подбор,
 Над нами стучали куранты,
 А смерти случайные — вздор!
 Отцы наши так же считали:
 Во имя любви и земли
 О войнах последних мечтали,
 В которых потом полегли.
 В заботе о нашей державе
 И сталь выдавали и стих
 И даже мечтали о славе,

О Русь, страстотерпцев твоих.
 Мы тоже не выдержим срама,
 И нам не стоять на краю...
 Ах, мама,
 нелепая мама,
 Впервые с тобой говорю.
 В разлуке, похожей на небыль,
 В тоске, предвещающей взрыв,
 Забудь, что я ласковым не был
 И не был с тобой справедлив.
 Ни ростом, ни голосом зычным,
 Ни силой не взял я в борьбе,
 Пусть братья и сестры приличны,
 «Путевы» — на радость тебе...
 Однажды придет телеграмма,
 А в ней
 только эта строка:
 «Ах, мама,
 неумная мама,
 Прости ты меня, дурака!»



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

★

ЮНОШЕСКИЙ РОМАН МОЕГО СТАРОГО ДРУГА САШИ ПЧЕЛКИНА, РАССКАЗАННЫЙ ИМ САМИМ

Я стоял в передней, уже окончательно откланявшись, но Миньона все еще одной рукой держала цепочку и не открывала дверь, чтобы наконец выпустить меня на лестницу, а другой рукой прижимала к груди пачку моих писем, накрест перевязанных не шелковой ленточкой, а простой тесемкой, как деловые бумаги.

Это было последнее свидание.

Наш платонический роман давным-давно уже кончился и был забыт. А за пять лет революции, гражданской войны и военного коммунизма, в течение которых мы не виделись, так много переменялось, что не стоило об этом и вспоминать.

Я знал, что после меня у нее был настоящий, глубокий, серьезный роман с одним из моих бывших гимназических товарищей, принужденным бежать вместе с белыми за границу, где он и умер от скоротечной чахотки в Шварцвальде.

У Миньоны с детских лет тоже были слабые легкие, а теперь у нее открылся туберкулез и принял угрожающие формы. На ее все еще прелестном лице уже лежали тени быстро развивающейся болезни.

— Вы же видите, что я погибаю! — почти с раздражением сказала она.

Я молчал. Лицо ее стало отчужденным: вероятно, она в этот миг подумала о смерти.

— Возьмите ваши письма. Может быть, они вам пригодятся.

Она сняла дверную цепочку, щелкнула американским замком и выпустила меня на площадку. Гул, наполнивший лестничную клетку, и в особенности бледно-зеленый декадентский цвет двери напомнили мне прошлое.

Сравнительно недавно мы тоже жили здесь.

Большая квартира в новом четырехэтажном корпусе.

Вместо цинковой ванны — блестящая мальцевская. Всегда горячая вода. Электрическое освещение. Блестящие паркетные полы, источавшие запах свежего дуба и желтой мастики. Двери и венецианские окна были окрашены не обычной уныло-коричневой блестящей краской наемных квартир, а бледно-зеленой, матовой, свойственной новому стилю бельэпок, то есть прекрасной эпохе начала XX века. Вместо кафельных печей квартиру обогревали коленчатые радиаторы пароводяного отопления, окрашенные в тот же бледно-зеленый матовый декадентский цвет. Старая висячая керо-

синевая лампа в столовой, несколько напоминавшая своим белым куполом медузу, была переделана на электрическую. А новенькие бронзовые бра на стенах очень ярко светились своими молочно-радужными тюльпанами с ввинченными в них полуваттными электрическими лампочками марки «осрам», что никак не соответствовало маленькому провинциальному буфетику, круглому обеденному столу, венским стульям и железным кроватям. Стенные часы с римскими цифрами и музыкально-пружинным боем, согласно семейной легенде выигранные папой в лотерее, когда он еще был женихом покойной мамы, тоже не соответствовали новой квартире.

Купленный недавно в распродажу гостинный гарнитур из обычной сосны, но выкрашенный под черное дерево, с двумя неудобными креслами, хрупким трехместным диванчиком, обитым золотистым шелком, с махровыми висялками и парными тумбочками в виде как бы дорических колонок, предназначенным для установки на них мраморных бюстов великих людей или, на худой конец, фаянсовых цветочных горшков, которых у нас не водилось, — это все же как-то подходило к новой, богатой, но еще не обжитой квартире.

Гостиная мебель всегда стояла в холщовых чехлах, скрывавших ее роскошь, причем кресла и стулья напоминали нечто вроде сидящих привидений.

Именно в это время я начал писать роман о своей первой любви. Стихи и романы в те годы писали почти все гимназисты. В романе, который я писал, было такое место:

«...дом был новый. Его отстроили полгода назад, осенью, и он был первым из шести других корпусов общества квартировладельцев, которые еще строились и стояли в лесах, запачканных кирпичной пылью и потеками извести. Корпуса эти строились на пустыре, на окраине города, против военного госпиталя, где некогда работал сам Пирогов, недалеко от моря, в той местности, где уже начинались дачи и казармы.

Поздней осенью и зимой здесь было холодно, пустынно, и северный ветер норд-ост дул в желтые, еще не оштукатуренные ракушниковые стены, посвистывая и вереща в новых кирпичных трубах, а с нашего четвертого этажа через неоконченные постройки, за голыми садами еле виднелся кусочек штормового моря.

Когда же наваливало ненадежного южного снега, то и совсем становилось скучно. Знакомых поблизости не было. Город казался недоступно далеким. В новой квартире еще не было уюта. Электрические лампочки горели нестерпимо ярко. Веселых жарких печек не было, их заменили чугунные батареи, и всюду стоял еще не выветрившийся запах масляной краски»...

Шесть корпусов, расположенных, как кости домино, — два против двух и по краям поперек еще по одному, так что в середине между ними получился длинный двор с газонами, цветниками, стриженным кустарником, совсем молоденькими, как тросточки, липками и посредине с круглым бассейном с фонтанчиком и даже золотыми рыбками.

Шестой корпус заселялся состоятельными семьями. Нарядные дети играли во дворе в мяч и ловили ясеневыми рапирами легкие кружки серсо. Мимо вас могла проехать на роликах стройная девочка, казавшаяся несколько выше, чем была на самом деле.

В последний корпус въехала семья полковника Заря-Заряницкого, в первый же день войны произведенного в генерал-майоры и назначенного командиром той артиллерийской бригады, где я впоследствии служил вольноопределяющимся.

Но тогда о войне никто не думал.

...и однажды я увидел трех девочек в кружевных платицах, которые вышли погулять под присмотром своей старшей, четвертой сестры, уже вполне взрослой девушки-курсистки. Одна из этих девочек, средняя, и была, как ее называли дома, Миньона...

Теперь, держа в руках пачку писем, я представил давнюю картину: четыре девушки в пасхальных платьях стоят возле рояля, держа в руках раскрытые ноты,—маленький хор ангелов—и поют под аккомпанемент домашнего учителя музыки о том, как наступила осень и улетели птицы, — щемящий душу романс Шопена.

Не так давно это было, но казалось, что прошла вечность.

Я шел по длинному дворовому садику и совершенно его не узнавал. Бассейна и фонтанчика уже не существовало. Бледно-зеленые скамейки у парадных входов исчезли, деревья разрослись и так вытянулись вверх, ища солнца, что некогда изящный скверик превратился в тесную липовую рощицу. Прежних квартировладельцев, рассчитывавших жить здесь вечно, я не обнаружил. Лишь кое-где на дверях квартир сохранились нечищенные медные таблички с их фамилиями, именами и отчествами, выгравированными прописью. Теперь здесь жили совсем другие люди, иногда по две или даже по три семьи в одной квартире.

Проходя мимо того корпуса, где несколько лет назад обитала моя распавшаяся семья, я посмотрел на балкон четвертого этажа и увидел детскую коляску и перекинутый через перила незнакомый потертый ковер.

Странно, что в моей душе ничто не шевельнулось — ни сожаления, ни грусти, а лишь всплыло воспоминание о гимназистке, жившей под нами, на первом этаже.

Ей было в ту пору лет пятнадцать: высокая, худая, стройная, длинноногая и длиннорукая, бойкая. У нее был прелестный цвет кожи несколько удлиненного лица, яркие глаза, коса до пояса. Все это могло бы сделать ее настоящей красавицей, если бы не досадная оплошность природы: нос. Нос портил все дело. Он был слишком большой, тонкий, ало просвечивающий на солнце, подобно тому как у маленьких детей просвечивают розовые ушки.

Это бы еще ничего.

Беда в том, что нос имел форму руля, того самого руля, который навешивался за кормой шаланды.

Когда она шла в гимназию, уличные мальчишки бежали за ней с криками:

— Носяра! Носяра!

Она гонялась за ними на своих длинных ногах, размахивая книгоноской, и если ей удавалось кого-нибудь из них поймать, то она, сжав книгоноску между колен, обеими руками драла мальчишке уши, не жалея своих красивых музыкальных пальцев.

Дело прошлое, но случилось так, что она влюбилась в меня. Хотя она это и скрывала, но все знали, что за нагрудником черного будничного передника, кроме ученического билета с правилами поведения, она всегда носила мою небольшую карточку, снятую в электрофотографии; так как она часто, иногда даже на уроках, вынимала карточку, рассматривала ее и даже, как говорили, целовала, то карточка имела потрепанный вид, мое лицо стерлось.

Встречаясь во дворе со мной, она преграждала мне дорогу, темный румянец заливал ее прелестное лицо с ужасным носом, и она говорила:

— Пчелкин! ты понимаешь? не будь каменным!

Я пытался улизнуть, не мог же я сказать ей, что если бы не ее нос, как руль...

Нет, я решительно не мог ответить ей взаимностью. Меня бы просто засмеяли товарищи. Кроме того, у нее было ужасное имя Калерия, с которым трудно было примириться.

Время шло, а любовь Калерии ко мне не проходила, хотя наши отношения стали менее драматичными. Мы были близкими соседями, как говорилось тогда, жили на одной лестнице и виделись ежедневно. Утром в одно и то же время мы выходили из дому, направляясь в гимназию. Она в свою, а я в свою. Встречались мы обычно на лестнице и затем некоторое время шли рядом по нескольким улицам, пока на одном из перекрестков наши пути не расходились.

Она была счастлива шагать рядом со мной, бесшабашно размахивая клеенчатой книгоноской, за ремешки которой был заложен пенал с переводной картинкой на крышке.

Разумеется, я втайне гордился, что в меня безнадежно влюблена девочка, почти уже девушка, хотя и с чересчур большим носом и глупым именем, но все-таки...

Короче говоря, она меня любила, а я ее нет. В остальном же мы были добрыми друзьями. Совместное путешествие ранним утром, холодным и румяным, в гимназию не доставляло мне никакой неприятности, если, конечно, уличные мальчишки не бежали за нами следом с криками «носыра!» или, еще хуже, «жених и невеста, тили-тили тесто!».

...Теперь в их квартире жили незнакомые люди, а куда девалась сама Калерия и вся ее семья, я мог только догадываться: бежали с белыми за границу, о них осталось только воспоминание.

Воспоминание тревожило меня, вызывая прилив тайной горечи. Воспоминание было связано не с носатой красавицей, влюбленной в меня. О ней я почти совсем забыл.

Но у нее была подруга...

Роковое слово «подруга»... Именно ей суждено было стать моей первой и единственной любовью.

Я был влюбчив. У меня постоянно были увлечения. Но как бы я ни увлекался, по-настоящему любил только ее одну.

Сейчас я снова проходил сквозь прозрачную, совсем неощутимую среду этой единственной любви, не имевшей никакого отношения к той последней встрече с Миньоной, которую я только что так легко пережил возле маленькой бледно-зеленой декадентской двери стиля бельэпок бывшей генеральской квартиры, а теперь коммунальной.

Миньона тоже была любовью, но любовью бывшей, кончившейся, как кончается все в мире, в то время как та, странная, необъяснимая, даже как бы выдуманная, никогда не кончалась. Может быть, эта любовь — как и все в мире — не имела не только конца, но не имела начала. Она существовала всегда.

Но ведь все-таки она как-то началась?

В то время я об этом совсем не думал. Я только испытывал неудобство от пачки писем, которые держал в руке. Я почему-то никак не мог сообразить, что письма можно положить во внутренний карман пиджака. Я еще не освоился со штатским костюмом. Это был мой первый штатский костюм, недавно купленный на Красной площади в ГУМе, незадолго до приезда в родной город.

Пачка писем была не столь велика. Она свободно могла поместиться в боковом кармане нового моего пиджачка, немного великоватого. На груди этого смешного пиджачка виднелось пятно чернил от автоматической ручки. Мне не удалось вывести это пятно, отдав пиджак в химическую чистку. Пиджак был испорчен. Пятно хотя и слабо, но все же просвечивало возле наружного бокового карманчика, откуда торчала белая головка «Монблана», как у бухгалтера.

Письма тяготили меня.

В сущности, старые письма были мне не нужны. Я прекрасно помнил их содержание: описание фронтовой жизни, будни и боевые эпизоды действующей армии, туманные любовные признания, лирические отступления и так далее. Я не придавал им значения. Они казались мне не более чем обломками как бы некой канувшей в вечность древней цивилизации, где, однако, сохранилась часть моей юношеской души. Был момент, когда, проходя мимо розовой госпитальной стены — такой знакомой с детства, — я даже хотел избавиться от писем; например, просто потерять их или положить на уличную скамейку, сохранившуюся с «того» времени. Однако я этого не сделал.

Таким образом, письма сохранились, сопровождая меня вместе с разрозненными страницами незаконченного юношеского романа, который я писал еще неустановившимся почерком, повсюду, где мне ни приходилось бывать в течение всей моей не в меру затянувшейся жизни.

...И вот однажды я развязываю тесемку...

Только в конце жизни понял я ту общеизвестную истину, что появление мое на свет от меня не зависело, так же как от меня, от моей воли, в сущности, не зависело ничто. Даже моя свободная воля зависела не от меня лично, а от кого-то или от чего-то другого. Я зависел от обстоятельств и не имел никакого отношения к устройству мира, в котором мне предназначено было существовать, к вселенной, к устройству человеческой жизни со всеми сопутствующими ей предметами и обстоятельствами.

Обстоятельства существовали сами по себе. Я — сам по себе. Но я был тем не менее полностью зависим от обстоятельств. А они от меня нет. Мне ничего не оставалось как только подчиняться, не делая попыток что-нибудь изменить. Каждая попытка вмешаться в судьбу кончалась для меня бедствием.

Даже постоянная влюбленность в кого-нибудь всегда зависела от случая, от обстоятельств времени года, погоды, растений, полета чайки, луны над морем, степного заката, или запаха духов, или особенностей речи, роста, сложения, возраста.

Неизвестно, как было заложено в меня тяготение к девушкам небольшого роста, как говорилось тогда, дюймовочкам. Может быть,

я поэтому и не ответил на любовь прелестной носатой полудевушки-полудевочки Калерии.

Подобные мысли стали приходиться в конце жизни, когда я сводил счеты со своей юностью, и в особенности тогда, когда я наконец нашел время перечитать свои старые письма, написанные в действующей армии то чернилами, то обыкновенным фаберовским карандашом, то карандашом анилиновым, то опять чернилами, но уже почему-то зелеными, то красными, если я писал письмо в бригадной канцелярии, то даже тушью — не помню уже, откуда она взялась на позициях! Письма писались на разной по качеству почтовой бумаге, и слова порядочно поистерлись.

Мне уже трудно теперь припомнить, где и при каких обстоятельствах они писались.

Чаще всего они были писаны в землянке на маленьком дощатом столике, при свете коптилки, а однажды в околотке, где я, болев ангиной, лежал на нарах, покрытых соломой, втиснутый в ряд других больных солдат, и, подложив под листок почтовой бумаги какую-то книгу, взятую у фельдшера по фамилии Шкуропат, писал свое очередное обстоятельное письмо из действующей армии. Были письма, написанные наспех на лафете трехдюймовки в перерыве между боями.

Последний год перед революцией.

«6 января 1916 года. Действующая армия. Милая Миньона. Этой поездки я никогда не забуду. Незнакомая дорога на Бахмач, снежные степи, затерянные в снегах полустанки. Воинский вагон третьего класса, запах пота, сапог, махорки. Незнакомые люди и бесконечная нежная грусть, страх чего-то неизвестного... Потом Минск, обыкновенный губернский город... с деревянными домами, тройками, буенчиками, морозом и скверными парикмахерскими...»

Прочитав это, я удивился. Мне всегда казалось, что в моих старых письмах как бы заключена легенда моей молодости. Но что же я нашел? Незрелые и даже не всегда правдивые заметки, полные умолчаний.

Разрушающаяся память все же сумела восстановить истину.

Все было взаимосвязано: зима шестнадцатого, Миньона, действующая армия и я сам — но совсем не такой, каким я хотел себя представить. А хотел я себя представить молодым патриотом, семнадцатилетним юношей, рвущимся охотником в действующую армию; он бросил все, семью, гимназию, любимую девушку, удобства жизни, и вот теперь едет на позиции, для того чтобы разделить с народом, одетым в серые шинели, все тяготы и опасности войны с проклятыми швабами и тевтонами и, если будет угодно богу, умереть за веру, царя и отечество.

Все это было так, да не совсем так.

А собственно, что было? Грубо говоря, выгнанный из седьмого класса за неуспеваемость, гимназист-переросток, окончательно запутавшийся, понял, что для него есть только один выход. Обыкновенно в мирное время выгнанные гимназисты поступали в юнкера. В военное время они ехали на фронт. Однако для меня это оказалось не так-то просто. В пехоту — пожалуйста. Но в пехоте наверняка убьют. Чувство самосохранения навело меня на мысль об артилле-

рии, где неизмеримо меньше потерь и больше удобств. Конечно, все эти соображения были глубоко подсознательны, и я бы очень удивился и даже разгневался, если бы кто-нибудь посмел заподозрить, что я думаю именно так. Я так не думал, за меня думал кто-то другой, неведомый мне, незримый.

...вообще артиллеристы более привилегированы...

И тут же обстоятельства стали мною распоряжаться. Отец Миньоны командовал артиллерийской бригадой.

Вместе с отцом я отправился на толчок покупать необходимое обмундирование. В сущности, это было не нужно. Меня и так должны обмундировать в действующей армии. Но мне до смерти хотелось хотя бы в течение нескольких дней покрасоваться в тылу в военной форме.

Уже само по себе идти на толчок считалось унижительным. Но еще более унижительно было идти по городу не в гимназической форме, на которую я уже не имел права, а в старом отцовском пальто и гимназической фуражке, где вместо сияющего герба виднелись две постыдные дырочки.

Наступали рождественские праздники и вместе с ними обычная оттепель, покрывшая слякотью тротуары. Гранитные мостовые блестели в тумане. Из темной тучи на миг выглянул желток солнца, после чего стал сеяться мелкий, как пыль, дождик пополам со снежинками, совсем скрыв от глаз прилегающие к толчку переулки рабочих окраин, заставленных чахлыми рождественскими елками, привезенными на продажу откуда-то с севера.

Небольшая площадь толчка, наполненная черной толпой продающих и покупающих, червиво шевелилась: старьевщики в котелках со своими холщовыми мешками, перекупщики, продавцы краденого, карманники, солдаты, сбывающие казенное бязевое белье с черными клеймами, марвихеры, чугунноногие инвалиды еще времен японской войны, старухи, торгующие с рук подержанными елочными украшениями — бусами, золочеными орехами, стеклянными шарами, бумажными цепями...

Папа совсем потерялся в несвойственной ему среде толчка. Он неумело торговался, опасливо вынимая портмоне, близоруко копался в нем, и в конце концов были куплены у солдата-инвалида юфтевые сапоги, кожаный пояс, гимнастерка из очень толстого японского сукна защитно-желтого цвета порт-артурских времен, белая меховая папаха и черная кожаная куртка на бараньем меху. Все эти вещи были хотя и целые, но явно поношенные. Их выбирал я сам, торюясь и делая вид знатока.

Отец только морщился и торопливо расплачивался, желая поскорее уйти из этого неприличного места.

В галантерейной лавочке приобрели защитного цвета погоны вольноопределяющегося первого разряда, обшитые оранжево-черным шнурком, а также две скрещенные латунные пушечки для этих погон.

Отец казался удрученным непредвиденными расходами, хотя и понимал, что это плата за мой патриотический порыв.

Господи, если бы обошлось только этим!

Отцу было страшно подумать, что война может не пощадить меня, его мальчика. При одной этой мысли его глаза краснели от скупых слез, и он, скрывая их, протирал пенсне носовым платком.

Превращение исключенного гимназиста в добровольца-патриота совершилось быстро. В новом своем качестве я успел до отъезда,

как тогда говорилось, на театр военных действий показаться всем своим гимназическим товарищам и многим другим, в особенности знакомым гимназисткам, в том числе и Ганзе, которая не выразила по этому поводу никаких чувств.

Что касается Миньоны, то она на прощание меня перекрестила, но не поцеловала, на что я втайне рассчитывал.

Ганзя и Миньона не были знакомы, так как Миньона не училась в гимназии, а по состоянию здоровья получила домашнее образование.

Я не представлял, какой у меня странный, если не сказать идиотски-глупый вид в больших, не по ноге сапогах, нелепой кожаной куртке и белой папахе, лихо заломленной на затылок, что не соответствовало ни общепринятой армейской форме, ни моему еще полудетскому прыщеватому лицу с узкими испуганными глазами.

В таком виде, не дождавшись ни елки, ни Нового года, я и появился в переполненном вагоне третьего класса.

Миньона навязала меня в попутчики офицеру, возвращавшемуся из отпуска в бригаду ее отца. Офицер ехал в вагоне второго класса. Я вообразил, что в качестве добровольца и спутника боевого поручика тоже смогу устроиться вместе с ним в мягком вагоне, и даже уже втиснул в купе свой клетчатый чемодан, но поручик, вежливо улыбаясь в подстриженные усики, выставил меня, заметив со строгой, чисто армейской деликатностью, что нижним чинам, хотя и добровольцам, не положено по уставу ездить в мягких вагонах, а только в жестких третьего класса.

Я был неприятно поражен, но лихо отковырял поручику и перетащил свои вещи в воинский вагон третьего класса, сразу же окунувшись в его густую атмосферу пота, сапог и махорки. Подумав, не без горечи, впрочем: а ля гер ком а ля гер, — афоризм, весьма популярный в то время: на войне как на войне!

«Незнакомые люди и безотчетная нежная грусть, страх... неизвестного... Потом Минск...» — писал я Миньоне.

Однако между безотчетной нежной грустью, туманно адресованной генеральской дочке, между страхом чего-то неизвестного и прибытием в тыловой город Минск произошли еще некоторые события, о которых я в своем письме Миньоне умолчал, а потом и вовсе забыл, а на склоне лет вспомнил.

Главное из этих событий было то, что я подружился с почтальоном, проводником и старшим кондуктором поезда, которые перевели меня в служебный багажный вагон в голове поезда, где я очень удобно устроился на большой казенной шубе почтальона, разостланной поверх железной клетки, предназначенной для перевозки по железной дороге собак и по случаю военного времени пустушей.

Дружба со старшим кондуктором завязалась еще в буфете на станции Бахмач, где я угостил старшего кондуктора бужениной и двумя бутылками довольно крепкого медового напитка, заменившего водку и вино ввиду все того же военного времени. К нам присоединились проводник и почтальон. Я всех угощал и сам порядочно выпил и рассказал своим новым друзьям, что еду на позиции поступать в артиллерийскую бригаду знакомого генерала, он отец барышни, в которую я влюблен. Новые друзья вполне одобрили мое намерение, а почтальон выразил здравое соображение, что в артиллерии куда меньше убивают, чем в пехоте, и что при тесте-генерале можно легко выйти в офицеры.

Эта мысль никогда явно не приходила мне в голову и показалась унижающей мой патриотический порыв, но все же незаметно мне польстила.

А в самом деле, чем черт не шутит, подумал я и купил еще две бутылки медового напитка.

Пока поезд стоял на этой новой узловых станции, я гулял с почтальоном и главным кондуктором по длинной дощатой платформе, наслаждаясь видом розового морозного заката над снежной равниной уже не Новороссии, а подлинной России. Я любовался елочными звездами станционных электрических лампочек, висящих в чистом, крепком воздухе и зажженных как бы только для того, чтобы еще более украсить зимний пейзаж.

У нас на юге я никогда не видел такого морозного вечера, а на север я ехал впервые в жизни.

Это было для меня так ново и так прекрасно, и так пригодилась теплая кожаная куртка, белая папаха и кожаные меховые перчатки.

Я чувствовал себя свободным, готовым на любые воинские подвиги, и снег громко скрипел под моими юфтевыми сапогами.

Остальную дорогу до Минска я провел очень приятно в собачьем отделении багажного вагона, где всю ночь играл в двадцать одно со старшим кондуктором, проводником и почтальоном, который пикки называл вину, бубны — буби, трефы — крести, королеву — краля и т. д., слюнил пальцы, прежде чем сбросить карту, и в конце концов выиграл у меня двенадцать рублей из тех двадцати, которые дал мне папа. За вычетом денег, потраченных на буженину и медовый напиток, у меня почти что ничего не осталось.

Меня это не беспокоило: на что мне деньги на позициях, тем более что, может быть, меня и убьют.

Северная зимняя ночь длилась бесконечно, и лишь в восемь часов утра в решетчатом окошечке багажного вагона слегка посинело.

На платформе минского вокзала еще горели электрические фонари совсем как ночью; я выпрыгнул из багажного вагона и оказался по пояс в лиловом снежном сугробе. С трудом вытаскивая из снега ноги в тяжелых сапогах, дыша снежной пылью, еще немного хмельной от медового напитка, утомленный бессонной ночью и прогрышем, я побрел к вокзалу.

«...Минск, обыкновенный губернский город, типичный для центральной России, с деревянными домами, тройками, бубенчиками... и скверными парикмахерскими»...

Так изобразил я, никуда еще до сих пор не выезжавший из родного города севернее Екатеринослава, белорусский город, удививший меня бревенчатыми особнячками, улицами, тесными от сугробов, бубенчиками санной езды.

Я дышал острым морозным воздухом темного зимнего утра, сожалея, что не догадался купить две пары погон, для того чтобы одну пару прикрепить к кожаной куртке, а то получалось, что я совсем не военный, не фронтовик-доброволец, а ни то ни се. Погоны с пушечками были никому не видны, так как находились под курткой, на гимнастерке. А без погон на куртке меня можно было принять просто за штатского молодого человека, одевшегося потеплее.

Что касается «скверных парикмахерских», то это было сказано для красного словца. Парикмахерские были как парикмахерские. Не хуже и не лучше, чем у нас. В одну из парикмахерских я зашел постричься и здесь снял кожаную куртку, так что белообрый парикмахер-белорус мог увидеть погоны с пушечками и понять, с кем име-

ет дело. Парикмахер меня постриг, но не побрил, так как нечего было брить; зато попудрил мне шею и sprыснул постриженную голову одеколоном, после чего сдернул с меня простыню, стряхнув блестящие черные локончики моих молодых волос.

За все это удовольствие я заплатил двадцать копеек из последних восьмидесяти, оставшихся после поездки в багажном вагоне.

Но вот что удивительно. В своем письме я почему-то не упомянул о двух бревенчатых домах, которые я увидел на привокзальной площади. У них были провалены крыши, зияли черные дыры окон с вырванными рамами и кое-где обгорелые бревна срубов: следы недавнего налета на Минск немецких цеппелинов, бомбивших железнодорожный узел. Впервые я увидел зловещие признаки нештучной войны, дыхание смерти.

«От Минска я еду в воинском поезде. Поезд набит битком. В теплушках, где мне пришлось ехать вместе с другими нижними чинами, яблоку негде упасть. Смрад. Духота. Адский холод, потому что печей в теплушках нет, а снаружи двадцатиградусный мороз, хоть плачь!

На первой же станции прыгаю из теплушки и бегу к паровозу. Паровоз огромный, железный, весь как бы сочится кипятком. По сравнению с его колесами я кажусь себе совсем маленьким, как липнут. Паровоз весь в жаркой испарине, как загнанная лошадь. Очень высоко в маленьком окошечке видно лицо машиниста. На подножке как бы висит в воздухе кочегар с жестяным чайником в руке. В чайнике кипяток. Чайник охвачен облаком пара.

— Дяденька! — кричу я снизу вверх. — Замерз! Возьмите меня к себе на паровоз!

Машинист смотрит на меня сверху строго, но тем не менее говорит:

— Лезьте!

Притащив из теплушки свои вещи, не без труда лезу вверх по железным ступеням и остальной путь совершаю на теплом паровозе, где пахнет машинным маслом и еловыми дровами (угля нет!). Снежная панорама. Поля, похожие на белые застывшие озера. Хвойные леса, подобные островкам среди этих озер. Небо такое же белое, как снег. Небо сливается со снегами. Трудно уловить глазом волосок горизонта. Циферблат возле кипящего котла показывает скорость. Стрелка колеблется от тридцати до сорока верст в час. Из Минска мы выехали в одиннадцать, а уже в два часа по пути попадают проволочные заграждения, палатки каких-то войсковых частей, среди снегов — казачьи разъезды: мохнатые лошадки и коренастые фигуры всадников с пиками. Как отлитые из бронзы.

Наконец в четыре часа, когда уже начинает темнеть, — станция Молодечно. Здесь исчезают последние следы мирной жизни. Здесь уже война. В зале первого класса давка. Офицеры заполнили все помещение. Они с жадностью хлеблют дымящийся борщ, пьют из кружек чай, жуют хлеб. Это уже не ленивое жевание мирной жизни, как на остальных станциях, а еда с настоящим волчьим аппетитом. Да еще бы! Ведь адски холодно! Да это уже вовсе и не станционный буфет, а так называемый питательный пункт.

Вместе с подпоручиком садимся в кибитку, присланную за нами на станцию, и едем в бригаду, до которой, говорят, верст десять — пятнадцать. Настоящая, хорошая, прекрасно накатанная санная дорога с высокими ольховыми деревьями по обочинам.

Попадают халупы, обсаженные вокруг воткнутыми в сугробы срубленными елками: маскировка?

Морозный ветер нес снег и покрывал нас с подпоручиком ледяной корочкой.

Под дугой колокольчик звенит, звенит, звенит однотонным ладным звоном. Валдайский колокольчик... Все побрякивает колокольчик, все побрякивает, и, кажется, конца не будет этому однообразному колдовскому побрякиванию.

Заслушаешься!

И под его однообразный однотонный звук начинаешь вспоминать... Хорошо вспоминать под звук дорожного колокольчика, в синий зимний вечер, едучи в опасное, неизвестное место, — вспоминать о ком-нибудь милом, близком, хорошем: чувствовать неопределенную грусть — светлую и нежную»...

Грусть эта была адресована Миньоне, но уж, конечно, не ей одной, ох не ей одной...

Может быть, это вообще была не грусть, тем более светлая и нежная, а тайная душевная тревога, смутная догадка, что я сделал что-то совсем не то, позднее сожаление об утраченном прошлом, которое уже больше никогда не возвратится. А будущее темно и безрадостно.

Впервые в жизни увидевши настоящую русскую зиму, я почему-то посчитал, что парные сани, в которых ехал с поручиком, есть не что иное, как кибитка, представление о которой заимствовал из «Капитанской дочки», отчасти представил себя чем-то вроде Гринева. А может быть, тут сыграл роль и Полонский с его волшебными стихами.

«Ночь морозная смутно глядит под рогожу кибитки моей».

Впрочем, никакой рогожи не было. Сани были тесные, и я изрядно стеснял своим чемоданом поручика. Я старался как можно больше потесниться, что еще больше раздражало молчаливого поручика, не чаявшего поскорее доехать до места и наконец отвязаться от меня, ряженого мальчишки, навязанного ему генеральской дочкой.

По пути попалась маленькая бревенчатая церковка и вокруг нее дремучий бор: совсем как декорации из «Жизни за царя» в той картине, где поляки убивают саблями Сусанина. Суровая простота столетних елей, заваленных подушками снега.

Нас все время обгоняют, и нам навстречу мчатся сани с бубенчиками.

Звенит, звенит, звенит...

«Сквозь сон вижу милое лицо, милые движения, милый голос. Однако утомительно.

— Ямщик, скоро доедем?

— Скоро.

— Сколько осталось?

— Верстов семь.

Ветер, ветер...

— Сколько?

— Верстов семь с гаком».

Оказывается, у них «с гаком» — это еще почти столько же или даже больше.

«Ветер мешает говорить. Губы еле открываются, как резиновые. Едем, едем. Думается, думается... Глаза сами собой закрываются.

С трудом поднимаешь веки, а вокруг все то же: бегущая назад дорога, ели, халупы, колокольчик. Словно только теперь его услышал. Да звенел ли он, когда я мечтал, когда дремал? Может быть, звенел, а может быть, и не звенел».

Помнится, изрядно укатала меня русская зимняя дорога, волнистый санный путь.

«Наконец приезжаем в селение Лебедёв, где стоит бригада. На въезде почему-то стоит высокий шест с желтым флагом. Едем по улице и останавливаемся перед бревенчатой избой, обставленной вокруг срубленными елочками то ли для маскировки, то ли по случаю святок.

— Ну слава богу, — говорит поручик, — наконец приехали.

Следом за ним я вношу свой чемодан в сени, а оттуда в большую светлую комнату. Посередине длинный стол, покрытый клеенкой. Три походные кровати с офицерскими вещами на них. На стене часы. Почему-то это меня поражает: на фронте — и стенные часы! Уютно. Хорошо. Никого из офицеров нет. Мы пьем с поручиком чай, и я, встав по уставу «смирно», говорю:

— Разрешите, господин поручик, пойти представиться бригадному командиру?

— Пожалуйста, — с облегчением говорит поручик и кричит в сени: — Эй, кто там! Проводите господина вольноопределяющегося в управление бригады!

Я надеваю перчатки, папаху и выхожу следом за денщиком на улицу, где уже совсем темно и на небе звезды. Сугробы. Крепкий мороз. Елки. Все какое-то странное, незнакомое. Денщик показывает мне, куда идти: прямо, потом направо, потом чуть-чуть в сторону. Ни черта не понятно. Но денщик уже исчез в темноте. Иду наугад, вязну в сугробах. Вырастает силуэт солдата.

— Скажите, пожалуйста, как мне пройти в управление бригады?

— А черт его знае. Може, гдесь коло костела. Пошукайте. — И тут же исчезает во тьме морозной ночи.

Иду, вязну в снегу, снег набивается за голенища сапог. Наконец на фоне звездного неба вырисовывается костел. Попадаю в какую-то канцелярию, где получаю от писарей, при свете керосиновой лампы играющих в дамки, точные сведения, как найти управление бригады. И вот — большая бревенчатая изба. У крыльца, как и всюду здесь, воткнутые в сугробы срубленные елочки маскировки. Стоит тройка. На облучке ящик.

— Квартира командира бригады где?

— Должно, здесь. Я сам тута впервой.

Смело вбегаю на крыльцо, распахиваю дверь и попадаю в темные сени. Две двери. Одна направо. Другая прямо. Дверь, которая прямо, неплотно прикрыта, и ярко светится широкая щель.

Эх, чем черт не шутит!

Заламываю папаху и стучу в дверь, одновременно примечаю видную сквозь щель часть комнаты: большой стол, керосиновая лампа и стриженный затылок седовато-серебряной круглой головы генерала, в котором сразу узнаю Вашего папу.

— Войдите! — слышится его негромкий начальственно-властный голос.

Я разлетаюсь через всю комнату, останавливаюсь за четыре шага — строго по уставу, — неистово щелкаю каблуками своих юфтовых сапог... и все, что я приготовил отрапортовать, разлетается, как дым. Генерал поднимает на меня свои зоркие, лиловатые, как у Вас, глаза, только сейчас в первый раз я замечаю, как Вы похожи на сво-

его отца — и небольшим ростом, и осанкой, и выражением круглого лица, которое может быть, если захотите, таким добрым, и таким милым, и таким отчужденным.

В платок закутанные плечи, в глазах то нежность, а то лень, — и я в огне противоречий горю сегодня целый день.

Ваш папа улыбается:

— А, это вы! А я уж думал, что вы не приедете, раздумали воевать. Что ж это вы так опоздали?

Докладываю, что так, мол, и так, трудно было быстро достать в штабе военного округа пропуск в действующую армию, свидетельство о политической благонадежности, нотариальную копию с метрического свидетельства... Всюду бюрократическая волокита... и вообще...

Ваш папа подает мне небольшую пухлую руку и еще более приветливо улыбается, как бы показывая свое сочувствие по поводу бюрократической тыловой волокиты.

От его поистине отеческой улыбки у меня на душе теплеет.

Потом он своим ровным негромким голосом начинает как бы сам с собой обсуждать вопрос, куда бы меня направить. Сначала хочет послать меня в шестую батарею. Берет трубку полевого телефона и соединяется с командиром шестой батареи. Но, видимо, командир шестой не склонен брать к себе добровольца: он принципиально против этого.

— Вот незадача, — говорит генерал, кладя трубку рядом с полевым эриксоновским телефонным аппаратом в кожаном футляре, и потирает серебряный ежик своей круглой головы маленькой пухлой ручкой. — Присядьте, пожалуйста. Хотите чаю?

Я присаживаюсь к столу, и генеральский денщик ставит передо мной стакан крепкого, красного чая в серебряном подстаканнике и ведерко с сахарным песком. На столе газеты и журналы — «Вестник Европы», «Современный мир», — что придает комнате еще более домашний и, так сказать, интеллигентный вид. Интеллигентность вообще свойство артиллерийского офицерства.

Только что берусь за подстаканник, как дверь распахивается и входит плотный, лысоватый, быстрый в движениях полковник в замшевой шведской куртке. Я вскакиваю и вытягиваюсь в струнку. Полковник целуется с Вашим папой. Это, конечно, как Вы уже, наверное, догадались, отец Ваших двоюродных сестер. На правах близких родственников он с Вашим отцом на ты. Обстановка делается еще более семейной. Ваш папа представляет меня полковнику, который ласково жмет мне руку своей большой мягкой теплой ладонью.

— Знаю, знаю! Как же! — приветливо говорит он. — Помню, кажется, вы бывали у меня в доме?

— Точно так, только вы, ваше высокоблагородие, меня видеть не могли. Вы уже тогда были на позициях.

— Ах так? Ну все равно. Значит, это писали про вас мои дочери.

Он хлопает меня дружески по плечу, совсем по-домашнему.

— А вы, молодой человек, молодец! Вояка!

— Да, да, — подхватывает Ваш папа. — Обрати внимание — настоящий кавалер! Уже и выправка намечается! И свои тыловые патлы убрал. Остригся под машинку. Голова как орешек. Просто прелесть. А когда был гимназистом, казался таким дохленьким. А теперь, а? Обратите внимание, доктор, это по вашей части.

В комнате, оказывается, присутствуют еще и военный врач со значком на кителе, а также бригадный адъютант с аксельбантами и начальник штаба.

Я оказался среди самого высшего бригадного общества.

Жарко натоплено. Уютно, совсем по-домашнему. Даже в углу граммофон.

Меня быстро назначают во второй взвод первой батареи, и следом за денщиком не без сожаления покидаю этот рай и ухожу на квартиру фельдфебеля, обнадеженный добрыми пожеланиями служить хорошо. И вот я уже целую неделю как служу. Живу уже не у фельдфебеля, а вместе с солдатами во взводе...»

Однако на этом мое первое, непомерно длинное письмо не кончается. Но досадно, что я ничего не написал Миньоне о своей долгой жизни у фельдфебеля.

...втащив в избу свой громоздкий клетчатый чемодан, я очутился перед крупным, осанистым, уже несколько располневшим человеком с лицом багровым, словно каленый медный пятак, и внимательными глазами, какие бывают у знающих себе цену, умных и властолюбивых хохлов. Это был фельдфебель первой батареи, по званию подпрапорщик, то есть нечто среднее между нижним чином и офицером, все же нижний чин. Он имел право носить на фуражке офицерскую кокарду, а на солдатской шашке офицерский темляк, но погоны у него были не офицерские, а солдатские, только с широким золотым басоном вдоль погона и широкой трехслойной лычкой старшего фейерверкера поперек. Любый самый зашудалый прапорщик мог обращаться к нему как к нижнему чину, кажется, даже на ты, в то время как он должен был тянуться и называть прапорщика «ваше благородие», но у себя в батарее, куда офицеры заглядывали не столь часто, он был царь и бог. В сущности, он зависел только от командира батареи.

Все это я узнал от генеральского денщика, проводившего меня на квартиру к фельдфебелю, и не точно представлял, как мне держаться с фельдфебелем.

Со своей стороны фельдфебель первой батареи, куда меня зачислили приказом, подпрапорщик Ткаченко уже был полностью осведомлен каким-то непонятным, но весьма обычным в армии способом обо мне и знал даже такие подробности, что я являюсь кавалером средней генеральской дочки, хотя еще и не жених. Я еще тогда не знал, что существует так называемый солдатский телеграф, молниеносно передающий все новости.

Ткаченко стоял передо мною, расставив ноги в хороших, но все же солдатских, а не офицерских сапогах и засунув руки за офицерский желтый кожаный пояс, туго облежавший его солидный живот, рассматривал меня, как бы соображая, чего я стою.

Я выгянулсл по стойке «смирно», приложил руку к папахе и отрапортовал, не без тайного умысла назвав его не господином подпрапорщиком, как полагалось, а вашим благородием, чем с детской хитростью желал ему польстить:

— Ваше благородие, честь имею явиться, доброволец Пчелкин.

Под усами Ткаченко проползла еле заметная улыбка удовольствия, но тотчас же брови его нахмурились.

— Очень приятно, господин вольноопределяющийся. Раздевайтесь. Усаживайтесь. Сядьте на лавку, так как стульев у меня здесь нема. Я имею приказ зачислить вас во второй взвод. Но пока вы еще не привыкли к солдатской жизни, просто поживите некоторое время у меня в хате. Тем более у меня тут приехала на побывку на праздники моя жинка, которая сможет нам кое-что стготовить домашнее.

— Покорно благодарю, ваше благородие.

Легкая улыбка снова промелькнула под усами фельдфебеля, после чего он снова начальственно нахмурился.

— Только возьмите себе на заметку, господин вольноопределяющийся, что согласно уставу меня отнюдь не положено именовать

вашим благородием, поскольку я не являюсь офицером, а положено меня именовать господином фельдфебелем или господином подпрапорщиком, как вам больше понравится.

— Слушаюсь, ваше благородие, — снова как бы нечаянно оговорился я, заметив, что «ваше благородие» доставляет Ткаченко тайное удовольствие.

— Отнюдь не ваше благородие! — как бы строго сказал Ткаченко.

— Слушаюсь, господин подпрапорщик! — сказал я, хотя впоследствии частенько как бы невзначай именовал его вашим благородием, желая подольститься.

Сейчас мне смешно и неловко об этом вспоминать. Но что было, то было.

Несколько дней, проведенных у фельдфебеля, мне очень понравились. Действующая армия пока что оказалась не такой страшной.

По случаю крещения в бригаду прислали из какого-то провиантского управления, а может быть, в подарок солдатам от Союза городов мороженых судаков, которые, конечно, тут же оказались также и в фельдфебельской избе, — несколько штук замерзших рыбин, твердых, как палки.

Из этих судаков супруга подпрапорщика изготовила дивное заливное, а также сварила из сушеных морщинистых груш, черных, как ведьмы, из сушеных вишен и яблок отличный узвар, а также изготовила настоящую украинскую рождественскую кутю из отборной полтавской пшеницы с грецкими орехами, которые привезла с собой из родной деревни.

Она была молчаливая, робкая женщина, повязанная платком, но не по-русски, а по-украински, как гоголевская Солоха. Она приехала к мужу на побывку, воспользовавшись тем, что бригада стояла в резерве, и, откровенно говоря, мое присутствие в избе их супружескому уединению за ситцевой занавеской, где было устроено их походное двуспальное ложе, несколько мешало.

Супруга господина подпрапорщика все время сидела в углу на корточках, с обожанием и страхом следя за малейшими движениями своего мужа, которого не только крепко любила, но и уважала как могущественного начальника и боялась его до дрожи в коленях. Он же относился к ней с ласковой строгостью справедливого повелителя. Она угадывала каждое его желание, и когда в жате появились упомянутые уже судачки, упавшие возле печки на пол, как дрова, она сразу засуетилась, загремела ухватом, кастрюлями, сбегала за водой, развела в печке огонь и очень быстро состряпала крещенский ужин, предварительно остудив заливное в сугробе возле крыльца.

Получился прекрасный крещенский ужин. Настоящее пиршество при трескучем блеске крещенских звезд, видных в черном окошечке.

Фельдфебель пригласил к столу, покрытому чистой хусткой, меня, господина вольноопределяющегося, а супруге своей молвил:

— А вы тоже садитесь с нами.

И она сконфуженно села на край коника и зарделась от счастья, как уже порядочно увядшая, но все еще милая трянда, что значит по-украински роза.

Никогда еще я так вкусно и с таким аппетитом не ужинал, и мне казалось, что эта прекрасная жизнь продлится вечно.

Впрочем, Ткаченко вскоре спровадил меня в соседнюю комнату, там на полатах помещались белорусская беженка с пятнадцатилетней дочкой **Надей**. Мне была предоставлена лавка в красном углу, где я и расстелил мехом вверх свою кожаную куртку, показав таким образом хорошенькой, хотя и слишком белобрысой беженке Наде свои погоны вольноопределяющегося с пушечками.

Наступили суровые будни и не помогли заискивание и хитрости.

Фельдфебель сделал мне замечание насчет моей одежды: белая папаха не положена, кожаная куртка на меху не положена, пояс офицерского образца тоже не положен. И вообще все не положено, даже сапоги с ремешками. Надо, чтобы все было по форме, а не как у чучела, все как у настоящего артиллериста. Затем он дал мне несколько толстеньких книжек в клетчатых переплетах, разные уставы: полевой, гарнизонный и тому подобное. Я должен был выучить их если не наизусть, то, во всяком случае, как сказал фельдфебель, назубок. Затем он сводил меня в артиллерийский парк на задах Лебедева и показал орудие: трехдюймовую полевую скорострельную пушку с масляным компрессором, поршневым затвором, оптическим прицельным приспособлением и зеркальным отражателем, так называемой панорамой.

Ну и так далее.

Все-таки я никак не ожидал, что мой воинский лихой вид будет воспринят фельдфебелем как чучело. Печально.

Первое мое письмо с фронта заканчивалось следующим образом:

«Теперь я уже живу не у фельдфебеля, а во взводе, с солдатами, в избе. Все хорошо, но слишком тоскливо без интеллигентного общества. Если можете, напишите какому-нибудь знакомому офицеру, чтобы он взял меня к себе ординарцем. Нет, шучу. Во-первых, у офицеров нет ординарцев, а только денщики. А быть денщиком по своим вкусам и положению «не положено», как говорится у нас в армии. У нас крепкие северные крещенские морозы, но солдатскую службу я переносу довольно легко. Ни одного замечания пока не имею... Бывало, скачу на лошади — без седла и шпор — крупной рысью... Эх, да что говорить! Милая Миньона, пожалуйста, не забывайте, пишите. Ей-богу, без Ваших писем как без воздуха. Поскорее бы из резерва на передовые!

Солдатский телеграф сообщает, что выступаем 16 января, как раз в день моего рождения. Дай бог! Любящий Вас Саша Пчелкин, канонир третьего орудия второго взвода первой батареи 64-й артиллерийской бригады. Вот!»

Никакой лихой скачки на неоседланной лошади, да еще и без шпор, конечно, не было. Если что-нибудь подобное и было, то это небольшая верховая поездка на смирной лошадке, когда батарейных лошадей водили на водопой и мне разрешили проехаться немножко верхом. Естественно, что никаких шпор не имелось, так как по моему званию канонира они не полагались. Все это был всего лишь поэтический вымысел, невинное мальчишеское хвастовство, позерство, так же как и жалобы на отсутствие интеллигентного общества, что в устах исключенного гимназиста звучало юмористически.

Между первым и вторым письмом я обнаружил хрупкие листочки почтовой бумаги с заметками, написанными анилиновым карандашом все тем же моим еще не вполне устоявшимся почерком бо-

лее чем полувековой давности. Я совсем забыл об этих заметках и не имею понятия, каким образом они сюда попали.

«...я спал крепким детским сном на нарах, покрытых соломой, в небольшой белорусской халупе, где помещалось шестьдесят человек. Вы только представьте себе: шестьдесят! Мое место находилось между двумя солдатами, из которых один — из моего взвода, а другой ездовой, мне мало знакомый, который спал, не раздеваясь, в своей стеганой заношенной телогрейке. Он был очень высок ростом, костляв и все время старался поджать под себя слишком длинные ноги, отчего его зад упирался в меня, иногда выпуская сквозь стеганные штаны газ, что у солдат называлось пускать шептуна. Меня это раздражало, но я был среди солдат еще недостаточно своим, чтобы выразить по этому поводу неудовольствие. Я только отворачивался и зажимал нос.

В халупе было трудно дышать.

В темном воздухе, пропитанном запахами махорки, мокрой кожи, пота, заношенной одежды и гари топившейся печки, язычок керосиновой коптилки горел как бы с большим усилием, готовый каждую минуту померкнуть».

И все-таки я крепко спал и видел мучительные сны, недоступные описанию, так как они представляли смешение реального и абстрактного, а скорее всего были как бы овеществленной истиной, какой-то высшей правдой бытия, доступной человеческому пониманию только во сне, начисто забывавшемся после пробуждения.

Во сне, как мне теперь представляется, я испытывал мучительную двойственность своего существования, которое было во сне совсем не таким, как наяву.

Во сне я был совсем не тем чучелом, ряженным в выдуманную мною же военную форму, молодцом-патриотом в кожаной куртке и лихо заломленной белой папахе, якобы влюбленным в хорошенькую дочку командира бригады, что ставило меня в некоторое привилегированное положение среди других нижних чинов батареи.

Во сне я был одинок и несчастлив.

Обстоятельства, которым я не захотел противиться, безудержно несли меня в темное будущее. Я стал игрушкой обстоятельств. Я не пожалел стареющего отца, даже не подумал, что, уезжая на войну, нанес ему смертельную рану. Мне и в голову не приходило, что прошлое уже никогда не вернется. И я сам предал это прекрасное прошлое. Я напрягал все свои душевные силы, внушая себе, что люблю Миньону. Может быть, я действительно был в нее влюблен, как во многих других. Но это была всего лишь влюбленность, легкое волнение в крови полуюноши-полумальчика.

Я любил другую, ту самую Ганзю, о которой вдруг с такой безнадёжностью стал вспоминать в последние дни.

Я никогда не видел ее во сне. Но она всегда как бы незримо, невещественно присутствовала в моих сновидениях...

«...сон мой был резко прерван орудийным фейерверкером, внесшим в халупу облако сплошного морозного пара.

— Сегодня беспрерывно полетит! — громко крикнул он. — Подъём!

...стоя по колено в сугробе, я умывался жестким снегом...

Сновидение забылось, я уже был прежним добровольцем, еще не принявшим воинскую присягу и одетым не по форме.

Около восьми часов утра, а на дворе еще ночь, даже кое-где в небе видны звезды. Трескучий мороз обжигает. Полоса темно-апельсиновой поздней январской зари занимает над лиловыми снегами, и сказочный, колдовской ущербный месяц низко висит над таинственным мелкоколесьем.

Верст за двадцать слышна орудийная пальба, будто кто-то громадный, невидимый стоит на краю света и хлопает дверью. А еще лучше не хлопает дверью, а выбивает ковры. Там передовые позиции. А мы все еще в резерве.

...Артиллерийский парк. Орудия в надульниках и брезентовых чехлах на затворах. Ездовые запрягают в передки по-зимнему мохнатых лошадей, выкатывают спаренные зарядные ящики. Застоявшиеся лошади ржут, танцуют и бьют подковами в промерзший снег. Часовой в валенках, с обнаженным бебутом у плеча выглядывает из своего постового тулупа и осипшим, еще как бы ночным голосом говорит:

— Нынче непременно должен полететь.

Два орудия моего второго взвода запряжены. Ездовые на местах. Выводят золотисто-карего коня для офицера.

— Смирно! Равнение на-а-алево!

Появляется офицер. Он в щегольском романовском полушубке и серой смушковой папахе. Он оглаживает, треплет лошадь по шее рукой в замшевой перчатке, берет за холку, чуть притрагивается к стремени носком до блеска начищенного хромового сапога, и через миг его статная фигура уже чуть покачивается в скрипучем новеньком седле.

— Ша-агом аррш!

Ездовые верхом на своих лошадях и наш взвод — два орудия, — гремя, и визжа, и как бы размалывая снег колесами, медленно двигаются мимо обледеневшего сруба колодца, мимо разбитой халупы со скелетом обгорелых стропил, печальным и уже отчетливо рисующимся на фоне утреннего, заметно позеленевшего неба. Поворачиваем на проселок.

— Ры-ысью!

Я взбираюсь и сажусь на передок, который шатается, подскакивает, и мотаюсь на нем, как мешок овса.

Ясное утро разгорается, и вот я вижу на пригорке красивую помещичью усадьбу-фольварк, окруженную по-зимнему голой зеленоватой-серой ольховой рощицей, где размещен обоз второго взвода нашей бригады.

В словаре войны наиболее часто звучали два слова: «халупа» и «фольварк». Ни одного военного рассказа, ни одной газетной корреспонденции из действующей армии не обходилось без этих доселе неизвестных слов, как бы заключавших в себе самую суть идущей войны.

Как часто, еще будучи в тылу, человеком штатским, свободным, я втайне мечтал в своем будущем письме с пометкой «Действующая армия» как бы вскользь, в придаточном предложении написать эти два волшебных слова. Халупу я уже несколько раз упоминал. А вот фольварк предстал передо мной впервые. И я почувствовал себя уже вполне причастным к тому зловещему, смертельно опасному, но в то же время и притягательному действию, которое называлось войной...

...Склоны снежных бугров, поросших молодым ельничком... В стороне курган... Четко рисуется несколько темно-зеленых, почти чер-

ных старых сосен с красными стволами, а под ними потемневшие от времени деревянные кресты над чьими-то могилами.

Взвод останавливается. Значит, мы приехали на позицию. Но где же эта самая позиция? Ничего не вижу, кроме снежных пологих бугров. Всматриваюсь. В снегу две большие ямы. Посередине их бревенчатые срубы, особые станки для установки наших полевых пушек стволами вверх, к небу. Срубы легко вращаются вокруг своей оси, что позволяет бить по вражескому аэроплану влет.

Взявшись за колеса, кряхтя и крякая, орудийная прислуга дружно втаскивает свои трехдюймовочки, снятые с передков, на срубы, так что хоботы лафетов оказываются внизу, а стволы задраны вверх, нацелены в синеву.

Зарядные ящики установлены поодаль, лошадей вместе с передками отправляют обратно в Лебедёв.

Возле орудийных станков виднеются землянки, занесенные снегом, что делало бы их слившимися с сугробами, если б не короткие кирпичные печные трубы.

...Морозно.

Ноги у всех замерзли, одеревенели. Орудийная прислуга топчется на месте, бьет сапогом о сапог.

Раскапывают из-под сугробов шанцевым инструментом, то есть по-штатски лопатами, входы в землянки. Телефонисты разматывают со своих больших катушек и прокладывают прямо по снегу черный телефонный кабель, устанавливают в дверях землянок контакты. Пробуют разговаривать с Лебедёвым. Слышно утиное побрякивание телефонных аппаратов.

Солнце уже поднялось высоко, и снег слепит глаза.

Начинается ожидание. Кто может предсказать — полетит ли сегодня немец или не полетит? Дивизионная разведка уверена, что полетит. Но кто его знает. Надо ждать.

Пока люди ходят в лес по дрова и разводят в землянках огонь, я брожу по окрестным снегам, и фиалковая тень моей щуплой фигуры и большой папахи скользит возле меня то справа, то слева. Все-таки я еще не слился с солдатами своего взвода. Я им еще чужой человек. Иноедное тело. Я еще не принял присягу, не обмундировался по форме, не участвовал в боях, как говорится, еще не понюхал порошу. Я еще свободен. Я еще могу все это бросить и уехать домой.

Но нет! Это было бы бесчестно!

Хотя, впрочем... Ах, боже мой, как трудно во всем этом разобраться!..

В сердце тихая, тонкая грусть. Мысли о родных, близких и любимых, которые остались где-то там, далеко, за этими бесконечными снегами, сосновыми лесами, замерзшими речками.

Над землянкой уже вьется дымок. Скольжу вниз по утопанному снегу ступенек, задеваю папашой за бревно притолоки и, низко нагнувшись, пробираюсь к раскаленным поленьям печки, светящимся в непроницаемом мраке. Острый скипидарный запах еловых ветвей, устилающих земляной пол, напоминает мне рождество и смерзшуюся елку, которую дворник вносит в теплую гостиную, а угарный дымок от камелька говорит о войне, о действующей армии, о позициях.

В тесной землянке полно людей. Утомительный гул голосов. После яркого зимнего солнца глаза с трудом привыкают ко мраку. В каменноугольной подземной тьме постепенно высвечиваются солдат-

ские лица, серые мерлушковые папахи, обледеневшие усы, ноги в дымящихся сапогах, протянутые к огню.

Я втираюсь между двух орудийцев, ложусь на упругие еловые ветки и тоже протягиваю свои юфтевые сапоги к огню. Постепенно они оттаивают и начинают дымиться. Отогреваюсь. Блаженное тепло распространяется по всему моему телу. Клонит в сон.

Огоньки сигарок. Запах жженой газетной бумаги и махорки. Вероятно, это дежурство на противозенитной позиции похоже на жизнь на боевой линии. Но все же это совсем не боевая линия, а всего лишь пребывание в тылу, хотя и недалеко от передовых позиций.

Оказывается, фронт — понятие растяжимое. Пока доберешься до самой-самой передовой линии, дальше которой уже ничья земля, а за нею враг,— пуд соли съешь! Словом, не так-то все просто на войне.

В землянку заглядывает закутанный в обледенелый башлык дневальный.

— Летит! — кричит он.

Батарейцы суетятся, толкая друг друга, выползают из землянки наружу.

После подземной тьмы яркий снег слепит; в глазах плавают как бы странные отпечатки пылающей печи, но только не огненные, а, наоборот, обморочно-синие. Все окружающее на миг представляется негативом: черное белым, белое черным.

Номера занимают свои места у задранных к небу орудий. Слышится утиное кряканье полевых телефонов. С фольварка бежит офицер, поспешно застегивая полушубок и выгаскивая из футляра цейсовский бинокль, в стеклах которого вспыхивает отражение солнца. В небе уже можно различить приближающийся немецкий аэроплан.

— Взвод, к бою! — кричит офицер, не отрывая от глаз бинокля.— Уровень тридцать один пятьдесят, трубка сто двадцать пять. По немецкому аэроплану огонь!

Наводчики, прильнув к оптическим приборам, движением рук, откинутых назад, как бы молчаливо приказывают поворачивать орудия, и они движутся по кругу вслед за аэропланом, который, появившись из-за дальнего леса, с методическим журчанием мотора медленно приближается, превращаясь из еле заметной точки в механическую птичку с неподвижными крыльями, загнутыми на концах назад.

Это немецкий разведчик «таубэ», что значит по-русски голубь.

— Взвод, огонь! — командует офицер, продолжая следить за немецким «голубком».

Орудийные фейерверкеры с записными книжками в руках кричат:

— Первое! Второе!

Два удара короткого, как бы железного грома.

Наводчики сноровисто отскакивают в сторону. Стволы пушек откатываются назад, вниз и затем медленно возвращаются на прежнее место, повинувшись упругой силе масляного компрессора, которому помогают орудийные номера, упираясь руками в затвор.

Возникает два облака сияющей на солнце снежной пыли — следствие орудийных выстрелов.

Маленький летательный аппарат тяжелее воздуха, именуемый «таубэ», неторопливо движется по прямой линии над лесом. Уже известно, что выпущенная шрапнель разорвется ровно через одиннадцать секунд после орудийных выстрелов. За это время стреляные

гильзы с легким звоном падают в сугроб и там дымятся. А орудийная прислуга успевает приготовить пушки к новому выстрелу.

Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать секунд — и в зеленоватом чистом небе недалеко от «таубэ» вспыхивают два огонька, как бы родившись сами по себе из ничего, и возникают аккуратные облачка. Долетает сухой треск двух разрывов. Аэроплан продолжает полет.

Промазали.

Два облачка темнеют, разрастаются, расплываются, рассеиваются.

— Очередь!

Опять два орудийных выстрела один за другим. Теперь два шрапнельных разрыва как бы из ничего появляются в небе по сторонам немецкого аэроплана.

— Очередь!

Считаю в уме восемнадцать секунд, и два новых шрапнельных разрыва возникают немного ниже аэроплана.

Аэроплан удаляется.

Теперь до него уже верст пять — почти предел дальности наших трехдюймовок.

— Прицел сто тридцать пять, трубка сто тридцать! Огонь! Первое! Второе!

Один разрыв далеко, другой очень близко от «таубэ». В бинокль видно, как аппарат снижается, колеблется, делает дугу и планирующим спуском («воль планэ») уходит за зубчатую кромку леса.

Подбили или не подбили? — вот в чем вопрос. Неизвестно. Можем узнать это лишь завтра из штаба корпуса. А о том, что на «таубэ» находился один или два живых человека — хоть и немца! — никто и не думает.

— Отбой!

Укладываем стреляные гильзы в лотки, а лотки в зарядный ящик. На затворы надеваются брезентовые чехлы. До заката недалеко. Больше немец не полетит. Можно и отдохнуть.

Только теперь вдруг начинаю понимать, что, кроме стрельбы из орудий по неприятельскому разведчику, я присутствовал еще при одном событии, на которое как-то не обратил внимания: матч между двумя прославленными наводчиками, так сказать, чемпионами артиллерийской стрельбы — бомбардир-наводчиком Ваней Ковалевым и бомбардир-наводчиком Прокошей Кольхаевым. Представился редкий случай стрелять, как обычно, не по закрытой цели, а по открытой, на виду у всех по мишени, движущейся по небу.

Кроме чисто спортивного интереса — кто кого перестреляет, — имеется еще материальный интерес, так как за каждый сбитый неприятельский аэроплан наводчик получал Георгиевский крест, а также, по сведениям солдатского телеграфа, девяносто рублей. Почему не сто, а именно девяносто — неизвестно.

Можно себе представить, как волновалась орудийная прислуга и с каким азартом работали оба наводчика, с виртуозной быстротой и точностью орудия поворотными и подъемными механизмами, не отрывая глаз от оптического прибора, ловящего и опережающего летящий аэроплан.

Теперь же, сидя в землянке перед печкой в окружении орудийных номеров, Ковалев и Кольхаев делили шкуру убитого медведя: кому из них достанется знак военного ордена четвертой степени и девяносто рубликов. В крайнем случае они соглашались поделить девяносто рублей, а насчет Георгиевского креста — как решит начальство. Но никто из них не сомневался, что самолет сбит и упал за лесом, не успев перелететь за линию фронта.

В один голос все батарейцы подтверждали, что видели, как немецкий аэроплан задымился.

— Это я его зацепил, — говорил Ваня Ковалев, нежно смотря на Прокошу Колыхаева своими красивыми женскими карими глазами и покручивая черные усики, на что Прокоша Колыхаев отвечал с наигранной ленцой:

— Нет, Ваня. Тебе надо было взять на два деления вправо, тогда ты бы его достал. А достала его именно моя шрапнель, поскольку я его упредил ровно на столько, как положено, как в аптеке. Так что будем считать, что Георгий мой, а девяносто карбованцев будем делить между теми орудийными номерами, которые нам помогали поворачивать пушки.

— Дурень думкой богатеет, — заметил взводный фейерверкер Чигринский, русоусый красавец в папахе набекрень, и оказался, как всегда, прав, так как на другой день штаб корпуса не подтвердил, что «таубэ» был сбит.

Но, во всяком случае, разговоров было много.

В половине пятого снимаемся, телефонисты сматывают провода. Из Лебедева приезжают передки. Вечереет быстро. Снег синее. А на зеленоватом холодном небе появляется первая звездочка, как росянка.

Северная ночь будет светлая от звезд, искристая. А на горизонте станут видны зарницы орудийного огня...

«Действующая армия. 20-1-16 г. Крещение. Снежно. Ветрено. Довольно холодно. Так как я в бригаде всего шесть дней, то на крещенский парад, в строй, меня не берут. Иду один в церковь, у ограды которой шпалеры серой, однообразной пехоты. В церкви полно солдат. Впереди оранжевые тулупы и черные, в желтых цветочках платки беженок. Есть грудные дети. Их тонкий плач напоминает мне, что, «причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад», не хватало только солнечного луча из-под купола и белого платья в церковном хоре. Обедня тянется долго. Из церкви наружу выходит крестный ход. Его окружает пестрая толпа. Я вмешиваюсь в нее. Впереди толпы большая группа офицеров, частью уже мне знакомых. Несколько сестер милосердия в черных, развевающихся на ветру косынках. Хор поет. Проплывают елочки, воткнутые в сугробы, обледенелые колодцы.

Пехотные шеренги с винтовками, взятыми на караул.

Выходим на берег замерзшей реки, занесенной снегом, как ровное поле. Посередине реки так называемая Иордань — ледяной крест, возле него во льду прорубь, прорубленная тоже в виде креста. Вокруг елочки и хвойные гирлянды, огораживающие особое место для духовенства и начальства.

Пользуясь преимуществом вольноопределяющегося (представьте себе, таковое имеется!), я протискиваюсь в группу офицеров. Духовенство занимает свое место. Хор поет. Попахивает ладаном. Начинается водосвятие.

Впереди всех — начальник дивизии, полный, но с худым лицом, седовласый генерал. Рядом с ним адъютанты и несколько дам — вероятно, жена и родственницы, приехавшие на праздники, благо пока что стоим в резерве.

Откуда-то появляется Ваш отец, он держится несколько в стороне от своего пехотного начальства. Тут же чопорные штабные офицеры из управления бригады с безукоризненными проборами зеркально набриолиненных волос (все, конечно, без шапок). Ваш отец в своей обычной будничной поддевке с большим карманом на груди,

тоже, как и все, без шапки, и его небольшая круглая голова отликает серебром.

Меня теснят со всех сторон, и вскоре я оказываюсь почти рядом с ним. Еще раз меня поражает его удивительное фамильное сходство с Вами, Миньона, или, вернее, наоборот — Ваше сходство с ним. Сходство, о котором я, кажется, уже Вам писал. Я не могу определить, в чем заключается это сходство.

Форма головы, манера смотреть, блеск сиреневых глаз, небольшой рост... Кажется, мелочи, а все же... Хотя нет! Главное не это. Тут скорее внутреннее сходство. Я больше чем уверен, что по характеру Вы точная копия отца, конечно применительно к полу и возрасту. Недаром же Вы любимая его дочь. Почему-то это сходство мне очень нравится. Почему — бог весть. Ну, извините за это лирическое отступление»...

Здесь я остановился, задумался и усмехнулся. Однако же и хитрец был я в то время, когда еще звался просто Сашкой. Сашкой Пчелкиным. Мне трудно было на старости лет признать в нем молодого, даже юного себя!

Я теперь с трудом разбираю свой полудетский почерк с некоторыми заковыристо написанными буквами на сильно постаревшей почтовой бумаге того времени фаберовским карандашом номер два.

Я читал их в своем кабинете при электричестве, надев очки, но почему-то мне казалось, что я сижу в рублевом номере дореволюционной гостиницы с умывальным тазом и треснувшим кувшином на комод, а на столе, покрытом изъеденной молью ковровой скатертью, горит стеариновая свеча, с трудом освещающая пасмурные стены, оклеенные ветхими обоями со следами клопов, в то время как снаружи угадывается веселый солнечный день, шумная жизнь крымского города, сквер с клумбами невероятно красных канн, говорящих о том, что на дворе середина пламенного августа, и на железной спинке кровати висит кобура с тяжелым револьвером, из которого так естественно было бы застрелиться, написав на обороте гостиничного счета несколько прощальных слов, освещенных сине-желтым пламенем свечи.

Не знаю, откуда пришла в мое воображение эта картина, не имеющая ничего общего с действительностью.

Может быть, это всего лишь овеществление вечной и безнадежной любви к Ганзе... Не знаю...

«Водосвятие кончается, — продолжаю я читать, с трудом разбирая свой почерк, стершиеся буквы, — священник плоско подает крест, и начальник дивизии первый его целует. За ним ко кресту подходит Ваш отец. Он проходит совсем близко, но меня не замечает, как я ни стараюсь попасться ему на глаза.

(Шучу, шучу!..)

Он подчеркнуто вежливо здоровается с дивизионными дамами и отходит в сторону.

Священник макает кропило в поданную ему серебряную чашу и наотмашь крестит водой толпу.

Ледяные капли падают мне на лицо и замерзают на бровях.

Потом военный парад. Под звуки духового оркестра идут солдаты четким строевым шагом мимо начальника дивизии. Сначала пехота, глухо гремя голенищами сапог. Потом артиллеристы нашей бригады: длинные щинели, малиновые револьверные шнуры. На фланге — Ваш отец. Вот его шагающая фигурка с шашкой наголо. Вот какое-то перестроение на ходу, и он уже шагает впереди строя.

Строй, колеблясь, приближается к начальнику дивизии, принимающему парад. Равняется с ним. Ваш отец салютует ему шашкой и строевым шагом отходит и присоединяется к свите начальника дивизии.

— Здорово, артиллеристы!

— Здрав... жлай... ваш... дитство! — четко и молодо летит, подхваченное крещенским ветром.

Ноги деревенеют. Но вот парад кончен. Народ расходится. Впечатление от парада, как от кинематографической хроники «Патэ-журнала». Все быстро, четко, точно, немножко торопливо.

Все время до самого выступления на передовые позиции я нахожусь при орудии. Учту уставы. Через несколько дней меня уже ставят на занятиях наводчиком. За два дня я сделал всего одну ошибку в установке угломера, и то всего на одно деление. И все-таки получил от фельдфебеля довольно строгий выговор.

Ну что еще? Вы требуете, чтобы я не пропускал ни одного события, писал как можно подробнее. Слушаюсь и повинуюсь. Вот, например, могу описать так называемый инспекторский смотр, который производил Ваш папа. На сей раз меня впервые поставили в строй.

Оттепель, мокрый снег, лужи.

Батарея строится на площади возле церкви. Издали показывается фигурка Вашего отца. Ему навстречу с обнаженной шашкой строевым шагом идет наш батарейный командир, салютует, рапортует.

Обходя фронт, генерал очень внимательно, не торопясь, иногда останавливаясь, всматривается в лица солдат, задает вопросы, спрашивает младших офицеров и взводных фейерверкеров.

Это единственный случай, когда солдаты имеют право на законном основании высказать жалобы и претензии непосредственно самому высшему начальнику, самому командиру бригады.

Чаще всего солдаты никаких жалоб и претензий не высказывают. Ну а вдруг выскажут? Тут уж фельдфебель чувствует себя на раскаленной сковородке.

Но все проходит сравнительно гладко.

По традиции вольноопределяющиеся ставятся на правом фланге. Стою на правом фланге. Проходя мимо меня, Ваш папа обращается к батарейному командиру:

— Однако я вижу, что вы нашего охотника Пчелкина уже поставили в строй. А он вам картины не подмочит?

— Никак нет, ваше превосходительство, — отвечая улыбкой на генеральскую улыбку, отвечает наш милый старичок батарейный, как принято его называть, вечный капитан, которому уже давно пора в отставку, да война помешала, — он у нас, ваше превосходительство, молодец!

Это я-то молодец? Как Вам понравится?..

Потом Ваш папа делает несколько выговоров, или по солдатскому выражению берет в расход, подпоручика Лесли, которого наши батарейцы называют на свой лад — поручик Лесен, берет в расход также и моего взводного фейерверкера — красавца и милягу Чигинского... отдает несколько приказаний.

Ну и так далее.

На другой день мне делают в лопатку противотифозный и противохолерный уколы, от которых у меня поднимается температура, и я лежу в околотке.

Об этом медицинском учреждении могу сказать лишь то, что оно помещается в тесной халупе с нарами в два этажа, на которых вповалку лежат больные солдаты, занимающиеся главным образом тем, что водят по бревенчатым стенам зажженными спичками, таким простым способом уничтожая (пардон!) клопов, которых здесь больше чем достаточно. Я им дал живописное название «выжигатели клопов».

Оправившись, я возвращаюсь в батарею и принимаю присягу. Вместе со мной присягу принимают еще двое вольноопределяющихся и несколько молодых офицеров.

Присяга — важное событие. После присяги я уже делаюсь настоящим солдатом.

Очень солнечный морозный день. Под ногами хрустит и ломается звездами лед.

Церемония присяги происходит все на той же церковной площади перед выстроенной батареей. Я волнуюсь и не знаю, как быть и что делать. Всем распоряжается свояк Вашего папы полковник Ш. Он по обыкновению несколько суетливо двигается то туда, то сюда, ходит вперевалочку в своей шведской замшевой куртке.

Перед батареей поставлен вынесенный из церкви лиловый бархатный аналой. Священник в полном облачении держит в руке лист бумаги и по пунктам читает церковным голосом слова присяги, после чего мы подходим по очереди к аналою и целуем переплет Евангелия, пахнувший ладаном, а также холодный наперстный крест, протянутый к нашим губам.

Отходим в сторону, не знаем, что надо дальше делать. Полковник Ш. подходит к нам:

— Поздравляю вас, господа, с принятием присяги...

Он замолкает, и кажется, что он еще будет говорить, но он внезапно отходит, а мы расходимся.

Конец.

Теперь я уже не свободный и независимый молодой человек — охотник-волонтер, — имеющий право в любой момент уехать домой из действующей армии, а нижний чин, канонир, подчиненный суровой воинской дисциплине.

За церковной оградой растет береза с молочно-белой атласной корой. Воздушное кружево ветвей, сероватых от инея, замечательно красиво рисуется падающей сетью на чистом морозном небе...

...Выступление на позиции. Утро. Девять часов. Парк, где стоят орудия нашей батареи, похож на конскую ярмарку. Кубы прессованного сена. Лошади. Зарядные ящики. Орудия. Передки... Все это производит впечатление беспорядка, хотя полный порядок. Все делается строго по уставу.

Офицеры с молодыми, утренними лицами. Пожилой командир батареи в серой бекеше выезжает вперед на своей смиренной лошадке.

— Шапки долой! — кричит он добрым слабым голосом. — Ну, ребята, перекрестимся на дороге!

Серьезный морозный ветерок пробегает по обнаженным, коротко остриженным солдатским головам и по проборам офицеров.

Командир батареи размашисто осеняет себя крестным знаменем, в котором мне чудится что-то кутузовское.

Мелькают руки, шапки. Все крестятся, и вместе со всеми я тоже.

— Накройсь! Шагом марш!

Колеса скрипят по сырому снегу. Звенит упряжь. Я иду рядом со своим орудием номер четыре. Несмотря на январь, слегка подтаивает. Под ногами мокро. Похоже на раннюю весну. В сердце грусть и одиночество.

Делаем переход в двадцать пять верст с двумя пятиминутными и одной получасовой остановками. Дорога в еловом лесу. Среди свежей по-зимнему, густой хвои, в чаще которой всегда легкий синеватый туман, белеют по-девичьи стройные стволы нестеровских берез. Опять сильно подморозило. Во время получасовой остановки на льду замерзшей речки бегу отогреваться в первую попавшуюся халупу, уже битком набитую нашими батарейцами. Пылает огонь в печурке. Пахнет ельником. Откуда-то взялся большой медный луженый чайник, и в нем уже бушует кипяток. Обжигаясь, пьем чай из самодельных кружек, бывших некогда консервными банками. Кушаем сахар. Мои замерзшие сапоги оттаивают. По всему телу разливается приятная теплота. Хорошо бы завалиться на душистые еловые ветки, устилающие пол, и всхрапнуть как следует.

Но, увы, полчаса истекли.

Надо торопиться попасть засветло на позицию, откуда все громче и громче слышатся редкие орудийные выстрелы.

Но вот мы уже на месте. Стемнело. Вокруг ничего не видно, кроме деревьев. Ночь. Электрические фонарики орудийных фейерверкеров бегло освещают землянки и орудийные ровики, где совсем недавно стояли трехдюймовки батареи, которую мы сменяем.

Вот тут-то поскорее бы установить наши орудия и залечь спать в обжитой и хорошо натопленной землянке.

Ан нет!

Оказывается, мой второй взвод назначен на самую что ни на есть передовую секретную позицию в двух шагах позади пехотных окопов.

Отрываемся от своей батареи и, соблюдая всяческую осторожность, под покровом ночной темноты выезжаем вперед еще версты на три, то есть совсем под носом у немцев, где для нас уже заранее приготовлена саперами и надежно замаскирована удобная позиция: места для орудий, землянки для прислуги и телефонистов.

В темном звездном небе с трех сторон то тут, то там взлетают немецкие осветительные ракеты, и тогда бескрайние снега вокруг нас, хвойные рощи, сугробы снега волшебны, но в то же время как-то очень зловеще озаряются голубоватым бенгальским огнем, плывущим по окрестностям и как бы заливающим вместе с собою всю панораму зимней ночи.

Сюда уже залетают шальные пули немецких часовых. Иногда эти пули проносятся небольшой стайкой, как птички, с противным щебетаньем и посвистыванием. Это значит, что дают залп немецкие сторожевые охранения.

Пока — все.

Завтра или послезавтра, если бог даст, напишу продолжение. Вы не находите, что у нас с Вами происходит нечто вроде романа в письмах, причем главным образом пишу я, а Вы отмалчиваетесь? Не сердитесь! Роман!.. Дождешься от Вас романа! За редкие письма Ваши большое спасибо. Они такие теплые. Мне очень приятно, что мои излишне подробные и длинные писания доставляют Вам удовольствие. Буду писать еженедельно. Если можете — отвечайте. Это будет мне тоже очень приятно.

Кроме знакомых, как Вы пишете, «девочек», которых у меня не так уж и много, я получаю письма и от «мальчиков». Девочки пишут

сентиментальные письма, а мальчики — мои товарищи — пишут письма умные, содержательные. Все же мое одиночество остается незаполненным.

Пишите, дорогая Миньона! Ужасно медленно идут письма. Ваше письмо от 14 января получил только вчера. Уже поздно. Пишу в землянке, глубоко под землей, при невозможных условиях. Привет Вашей маме, сестрам — родным и двоюродным. Шлю Вам свой братский привет и вместе с ним немножко вьюги, хвойных лесов, звездных ночей и любви. Вспоминаете ли Вы дачу Вальтуха? А. П.»

Следующее письмо на довольно больших листах папиросной бумаги, мелким почерком, выцветшими чернилами. Откуда эта бумага? Что за чернила? Где писано? Этого я уже совершенно не помнил. Руку свою разбирал с трудом, как чужую. Малоинтересный манускрипт прошлых веков! Но все-таки в этих строчках была какая-то часть меня, полустертый остаток моей прошлой жизни.

«Действующая армия. 8-II-16 г. Милая Миньона! Как это ни странно, — не без труда разбирал я выцветшие слова, — но после Вашего письма у меня появилась непреодолимая потребность делиться с Вами всеми мелочами моего военного быта. Вы одна из всех тех, кто мне пишет, правильно поняли, что главное — это мелочи. Именно мелочи. Из них складывается жизнь, хотя бы даже и на передовой линии с ежеминутной возможностью смерти. Мелочи главнее самого главного, потому что главное состоит именно из них, из этих как бы незначительных мелочей.

Некоторые пишут мне, чтобы я сообщал о сильных переживаниях, о боевых эпизодах, о подвигах, о ранениях и т. д. Один мой товарищ дословно пишет: «Правда ли «там» — хорошо? Сильно? И хорошо именно оттого, что сильно?» А одна, как Вы выражаетесь, «девочка» молится за меня, пишет: «Да хранит Вас бог! Я молюсь за Вас и буду молиться». Это, конечно, трогательно. Но когда я получаю подобные письма, мне становится как-то очень неловко, как будто бы я обманываю чьи-то ожидания, и я не знаю, что отвечать.

Моя жизнь сейчас наполнена бытовыми мелочами, которые подавляют все остальные, так называемые героические чувства. Например, во время артиллерийской дуэли: мысли о том, что каждую секунду могут ранить или убить, то есть уничтожить. Поймите: у-нич-то-жить. Совсем, навсегда, неотвратимо. Это уже не просто страх, а ужас! Чувствуешь все это, а в то же время, как это ни странно, какой-то внутренний мальчишеский голос кричит во мне: «А ну-ка еще! Еще! Жарь! Не боюсь!» А на самом деле не просто боюсь, а теряю сознание от ужаса перед тем, что может сию минуту произойти. И в то же самое время соображение, что если убьют, то смерть почетная, хорошая, большая. Но это редко и то проблесками.

А жизнь, ее обстоятельство наполняют мозг соображениями о том, что до конца месяца не хватит сахару, что нужно стирать белье, что долго из дому нет посылки, что письма запаздывают и т. п.

На днях я по неведению не стал во фронт командиру дивизиона Шереметеву, которого не знал в лицо. Он сделал мне замечание и сказал:

— Доложите своему батарейному командиру, что вы не изволили стать во фронт командиру дивизиона.

Я доложил и потом целую неделю ждал с волнением, что меня поставят под ранец с полной выкладкой. И это волнение, ей-богу, было сильнее того волнения, которое я испытал, когда увидел, что на том самом месте, где десять минут назад я брал из приехавшей походной кухни борщ и кашу для своего орудия, разорвалась немецкая граната и осколками убило лошадь».

На этом месте я перестаю читать письмо. Устали глаза. Я задумываюсь. Что-то в этом моем письме мне теперь не нравится. Память, обогащенная прожитой жизнью, подсказывает мне, что тогда — в те легендарно далекие годы — все, что я с таким старанием описывал, на самом деле было не совсем так. Или, вернее, так, да не так. Память как бы сдувает туманную оболочку с событий и обнаруживает некоторую их искусственность, некоторые пустоты, которые вдруг заполняются тем, что я тогда вольно или невольно скрыл, несмотря на явное, настойчивое желание быть до конца правдивым.

Например, случай с дивизионным полковником Шереметевым: во время затишья я слонялся по местности недалеко от батареи и столкнулся с полковником Шереметевым, еще не зная его в лицо. По снежной тропинке шел красивый полковник в шинели, отлично скроенной и сшитой из лучшего солдатского сукна, так называемого гвардейского, без пуговиц, а на крючках, туго подпоясанный широким офицерским ремнем. Из специально прорезанного кармана шинели торчал золотой эфес почетной шашки — золотого оружия — с георгиевской лентой темляка и крошечным белым эмалевым Георгиевским крестиком на нижней части эфеса, а вся шашка скрывалась под шинелью — особый чисто фронтовой шик, дававший понять всякому, что полковник не какой-нибудь штабной тыловик, а настоящий боевой офицер, «слуга царю, отец солдатам».

Проходя мимо, я залюбовался красивым лицом полковника с мужественно постриженными усами и черным бархатным околышем парадной артиллерийской фуражки, говорящей о том, что полковник не прячется от неприятельских наблюдателей, прикрывшись фуражкой защитного цвета или же серой смушковой папахой, а презирает опасность и вообще привык не обращать внимания на свист пуль и осколки бризантных снарядов.

Я почувствовал патриотический восторг и, вытянувшись изо всех сил, прошел мимо полковника строевым шагом, напряженно приложив руку в меховой перчатке к своей не по уставу белой папахе. Полковник мгновенно заметил и эту мою глупую папаху, и не по уставу кожаную куртку, и всю щуплую, глубоко штатскую фигуру, шагающую в юфтовых сапогах с ремешками по скрипучему снегу, и погоны с накладными пушечками. Он, конечно, тут же понял, что это новый вольноопределяющийся, протеже командира бригады, с которым был в контрах.

— Вольноопределяющийся! — окликнул он меня негромко. — Подойдите! Вы что же это? Не знаете устава? Вы обязаны знать в лицо своего дивизионного командира и становиться ему при встрече во фронт. И что это у вас за разболтанный вид и почему вы обмундированы не по форме? Извольте доложить об этом своему батарейному командиру и кр-ру-гом ар-рш! Ступайте.

Я почувствовал холод в желудке, расслабление кишечника, чуть было, как говорят солдаты, не наложил в шаровары и даже немного помочился.

Возвратившись к себе во взвод, я не знал, что предпринять. Старик батарейный командир болел и совсем не показывался, даже, кажется, его уже отправили на тыловую службу. Нового командира батареи еще не было. Его должность исполнял полубатарейный поручик Тесленко, но он тоже у нас во втором взводе, стоявшем отдельно, бывал редко.

Кому же докладывать?

Фельдфебеля я боялся как огня.

Я залез в свою тесную орудейную землянку и посоветовался с бомбардиром-наводчиком Ваней Ковалевым, тем самым нежным кра-

савцем с карими девичьими глазами и черными усиками. Ковалев посоветовал мне вовсе никому не докладывать — «бо, ей-богу же, той полковник Шереметевский уже забыл это дело, так что лучше всего вы сидите тихо и не рыпайтесь».

Я внял мудрому совету и не рыпался, но все время испытывал страх, что мое преступление всплывет наружу, отягощенное тем, что я не исполнил приказа дивизионного командира, и тогда мне не миновать ранца с полной выкладкой.

Я уже однажды видел, как провинившийся батареец стоял под ранцем, то есть в полной пехотной выкладке, с обнаженным бебутом у плеча, с ранцем на спине, в который было наложено фунтов десять груза. Он стоял по стойке «смирно», не шевелясь, на морозе, с красным лицом, как истукан. Это был канонир из какой-то соседней батареи, мимо которого я проходил по тропинке в канцелярию за письмами.

Страх мучил меня днем и ночью до тех пор, пока солдатский телеграф не сообщил, что полковник Шереметев уехал в отпуск. Только тогда я успокоился.

...Что касается упоминания дачи Вальтуха, то здесь заключался тончайший намек. На первую встречу с Миньоной, на наш якобы роман, которого, впрочем, совсем не было, а он только еще смутно намечался и то не с ее, а с моей стороны, а с ее стороны — неизвестно.

Но она была любимой дочкой генерала, а тогда, перед войной, еще полковника, приехавшего со всей семьей из Тирасполя, где была расположена его артиллерийская часть.

Их квартира выходила окнами и балконом на старый, запущенный, так называемый Ботанический сад, или попросту Ботаника, с дубовой рощей. Этот балкон, куда однажды мы с Миньоной вышли вечером и стояли, облокотившись на железные перила, как бы висел в воздухе посреди этой черной дубовой рощи с умирающими листьями, запахом которых мы дышали.

Только что взошедшая из-за дачи Вальтуха большая осенняя луна как бы висела на дубовом сучке и уже напустила на нас ночной холод. Я осторожно подвинул к ее локтю свою руку, а она сделала вид, что совсем этого не заметила и что все это с моей стороны напрасные поползновения и так далее. Я делал вид, что влюблен в Миньону. А на самом деле в это время не переставал безнадежно и горько любить совсем другую...

«Наш взвод, то есть два орудия — третье и четвертое, — как я уже, кажется, Вам писал, стоит в одной версте от немцев. Я нахожусь в числе прислуги при четвертом орудии. Живем мы в двух землянках, глубоких, как погреб, куда надо опускаться по земляным ступенькам, обшитым тесом. Окон нет, и слабый свет проникает через небольшое стекло, вделанное сверху в дощатую дверь.

Словом, вечная подземная поэма, запах сырости и сосновых бревен, положенных в три наката вместо потолка.

Спим мы на земляных нарах, покрытых еловыми ветками и соломой. Свечей не выдают, и мы жжем керосин в жестяной лампочке без стекла. Лампочка — коптилка! Лица наши постоянно в саже, и болят глаза.

Теснота ужасная!

Кусают блохи. Иногда я сам себе кажусь кротом, зимующим в маленькой своей норе глубоко под землей.

Солдаты-батареицы, с которыми я живу, — в большинстве своем хорошие товарищи, положительные семейные люди, преимущественно крестьяне, попавшие на войну прямо с действительной

службы призыва 1913 года, то есть двадцатипятилетние. Они люди умные, хотя некоторые и малограмотны. Но...

Поймите, мне трудно найти с ними общий язык, ни одной общей точки. У нас совершенно разные понятия обо всем. Разные привычки.

От этого, конечно, ничего худого не происходит, живем мы дружно, но тем не менее мы чужие друг другу. Я чуть не написал: их много, а я один. Но вовремя спохватился: понял, что это было бы слишком хвастливо и неуместно. Ведь они — подавляющее большинство русского народа, к которому принадлежу и я.

Я среди них, как говорится, белая ворона, вернее, какой-то незванный гость, который, как известно, хуже татарина. Словом, я сел не в свой вагон, однако что сделано, то сделано. Ничего не попишешь. Грустно! Но, главное, одиноко.

Называют меня, мальчишку, эти семейные взрослые люди уважительно Александром Сергеевичем, или господином вольноопределяющимся, или, бывает, совсем по-семейному — Саша, а то еще теплее, не без покровительственного юморка: «наш Пчелкин» или даже «наш Александр».

Так что я теперь с полным правом могу подписывать свои письма «Ваш Саша» — если я действительно Ваш? Шучу? Шучу! Не придавайте значения: это для красного словца.

Я называю солдат, своих товарищей, по фамилии: Ковалев, Кольхаев, Попленко, Улиер, Чиринин, Веркварт, Горбунов — видите, какая пестрая компания!

И все же я не жалею, что уехал. Не жалею ни капли.

Едим мы два раза в день: днем и вечером. В двенадцать обед — борщ, каша и около полфунта мяса — чрезвычайно твердого. Борщ до того наперчен, что есть его я не могу. Каша на постном масле или с салом, накрошенным кусочками.

Зато природа!

Прогулки по селу, разбитому снарядами. Река замерзшая среди соснового бора. Снега, снега, снега. Особый аромат походной жизни. По ночам свист шальных пуль. Лужи в крови. При каждой оттепели выступает кровь прошлогодних боев.

Кроме того, ведь я все-таки усердно потею над уставами, воюсь возле пушки, учусь быть наводчиком — и довольно успешно. Возможно, что скоро получу нашивку бомбардира...

Однако хотя я, в то время молодой вольноопределяющийся, и обязался писать главным образом о мелочах солдатской жизни, а не о боевых подвигах и сильных впечатлениях, все же не удержался от описания кровавых луж, свиста пуль и убитой снарядом лошади.

Что же касается переперченного борща и трудности совместной жизни с простыми, малограмотными солдатами (а я ощущал, что мы, несмотря на окопную дружбу, все-таки чужие друг другу), то эти жалобы звучали довольно глупо в письме исключенного гимназиста.

Впрочем, это скоро у меня прошло. Ведь я и месяца еще не прослужил на позициях. Надо же было мне свалить на кого-то свою непригодность к новым условиям жизни и вечное ощущение беспричинной грусти, тем более что грусть моя была совсем не беспричинна.

Я попал в ложное положение. Как вольноопределяющийся первого разряда я имел право помещаться и столоваться вместе с офицерами, что мне сразу и было предложено. Однако я отказался, сказав старичку батарейному, что хочу разделить с простым народом все тяготы

войны и остаться в батарее на солдатском довольствии, а также помещаться вместе со всеми номерами нашего орудия.

— Хвалю! — сказал старичок батарейный и потрепал меня по плечу. — Вы настоящий сын родины!

Вскоре батарейный уехал по болезни в тыл лечиться, а на его место был назначен боевой офицер поручик Тесленко, как тогда принято было говорить — из простых, маленький, с мягким непородистым лицом, кумир солдат, о котором даже сложили песню на мотив «Шумел, горел пожар московский, дым расстилался по земле...» и т. д. Слова были такие: «Шумел, горел лес августовский, то было дело в ноябре. Мы шли из Пруссии Восточной, за нами герман по пяткам»; и потом через несколько строк: «Поручик храбрый наш Тесленко сказал «не сдамся никогда»...» и так далее.

...создалась легенда, что я, вольноопределяющийся Пчелкин, по доброй воле отказался от привилегий жить и питаться вместе с офицерами, предпочитая все тяготы войны переносить вместе с солдатами. Эта легенда укрепилась, и самое удивительное, что я сам поверил в эту сказку. А на самом деле, для того чтобы воспользоваться своим правом жить и питаться вместе с офицерами, надо было ежемесячно платить за офицерское питание, хотя и совсем немного, рублей, может быть, пятнадцать в месяц, да беда в том, что денег у меня совсем ничего не осталось, а просить у отца не позволяла совесть. Отец и так еле сводил концы с концами. Те же небольшие деньги, которые отец дал мне на дорогу, как известно, были безвозвратно утрачены мною еще до Минска. Оставалось одно: заявить о своем желании жить вместе с солдатами, питаться из батарейного котла и получать солдатское содержание.

Солдатский телеграф сразу же известил, что «наш Саша Пчелкин», то есть я, происходит из небогатой семьи учителя, что по дороге на позиции он проигрался, что из гимназии его исключили и теперь у него один выход: служить в батарее вольноопределяющимся, дослужиться до прапорщика, надеть золотые погоны, получать офицерское жалование и, если даст бог, жениться на генеральской дочке Миньоне, с которой он крутит любовь, но это еще бабушка надвое сказала.

Батарейцы считали это совершенно разумным, так что я ничего не потерял в их глазах, а даже выиграл. Они смотрели на вещи трезво. Всякая романтика была чужда им.

Особенно им нравилось, что я из небогатой и недворянской семьи.

Они относились ко всем богатым с подозрением и даже откуда-то очень хорошо знали материальное положение каждого своего офицера, с особенным неодобрением относились к офицерам-помещикам, владевшим землей. Они совершенно точно знали, где у кого имение и сколько у кого десятин земли. Владение большим количеством земли они считали несправедливостью, хотя об этом помалкивали и втайне надеялись, что когда-нибудь, и, может быть, даже очень скоро, эта несправедливость кончится и всю помещичью землю крестьяне поделят между собой. Об этом говорилось редко, больше намеками, почему-то рассчитывая на близкий конец войны, что не мешало им честно служить и сражаться с внешним врагом, как предписывали им святая присяга и солдатская памятка.

«Оказалось, что войну до сих пор я воображал довольно правильно. Помните, милая Миньона, как Вы подняли меня на смех за то, что я представлял себе батарею как шесть пушек, поставленных в ряд. Оказалось, что это совершенно так и есть. Потом Вы смеялись, когда я мечтал побежать с батареи смотреть пехотную атаку. В действительности у нас это тоже вполне возможно. Например, когда в пехотной цепи, до которой от нас всего одна верста, случается

что-нибудь «интересное» вроде атаки или разведки боем, то батарейцы бегут на открытое возвышенное место, ложатся и смотрят.

Наши два орудия спрятаны в обратном склоне бугра. Впереди, позади, сбоку — со всех сторон резервные окопы, приготовленные для пехоты на случай отступления, проволочные заграждения, волчьи ямы, запасные землянки в три-четыре наката.

Снег на солнце блестит, как алюминий. Я выбираюсь из землянки. После подземной тьмы солнце ослепляет. Минуты две не могу привыкнуть к яркому свету. Жмурюсь. Иду по истоптанному снегу среди маленьких кустов можжевельника с мутно-синими ягодками вверх по склону бугра.

Отсюда отлично видны простым глазом наши и немецкие окопы. Любуюсь видом. И вдруг с десяток немецких ружейных пуль проносятся над головой. Вероятно, мою фигурку на гребне бугра заметили немецкие наблюдатели и дали залп. Сначала я окаменел от неожиданности, а потом кубарем скатился вниз и попал в объятия своего взводного, который, не стесняясь в выражениях, изругал меня за неосторожность.

Могли ранить. Или даже... Но не будем об этом думать. Вот мое первое боевое крещение...

Ясный день. Чуть тает. С блиндажей каплет. Далеко на западном горизонте в ясном небе над разбитым снарядами костелом виднеется немецкий привозной аэростат с наблюдателем в корзине, так называемая колбаса.

Слышен стрекочущий треск мотора — где-то летает аэроплан, — и слышны разрывы шрапнели: стреляют по аэроплану.

На наблюдательном пункте, где-то вне поля нашего зрения, находится новый командир батареи поручик Тесленко. Он готовится начать стрельбу. Он передает свои команды по телефону, а наш телефонист, высовываясь по пояс из своего окопчика, кричит:

— Второй взвод, готовься к стрельбе! Третье и четвертое орудия — к бою!

Четвертое орудие — мое орудие. И, естественно, я волнуюсь. Затыкаю уши ватой, хотя имеются специальные на этот счет наушники, которыми, кстати сказать, никто не пользуется. Привыкли к орудийным выстрелам. А мне советуют на первых порах затыкать уши ватой, чтобы не лопнула барабанная перепонка.

Заткнувши уши ватой, вылезая вместе с другими номерами из подземной норы на свет божий.

Прапорщик Красносельский — изящный мальчик с петербургским лоском, в замшевых перчатках — уже тут, на линейке. Очень может быть, это тоже его первая боевая стрельба и он волнуется не менее меня.

Мне страшно, что немецкий наблюдатель может обнаружить наш взвод со своей колбасы и немецкая тяжелая артиллерия сметет нас с лица земли своими «чемоданами».

Обязанностей никаких при орудии я не несу, так как свободно управляют четыре номера из восьми, положенных по уставу.

— Четвертое, огонь!

Это первый орудийный выстрел, который я слышу вблизи. Он со страшной силой ударяет по нервам, как бы врывается в мой предусмотрительно разинутый рот и оставляет в нем какой-то железный вкус и запах пороха. Кружится голова.

Следующие выстрелы уже не производят впечатления. Я даже рта не раскрываю.

Отстрелявшись, мы замолкаем. Потом начинает отвечать немец. Это уже хуже. Сначала настороженное ухо улавливает звук далекого, очень далекого артиллерийского залпа, как бы еще не имеющего к нам

никакого отношения. Но звук этот, оказывается, имеет продолжение: легкий шумок, который постепенно усиливается, становится плотным, сбитым, компактным, вырастает, приближается, переходит в зловещий свист, нависающий откуда-то сверху, с неба, фатальный, необратимый, безжалостный, от которого некуда деться.

Орудийная прислуга, толкая друг друга, кидается к блиндажу... Секунда... Прапорщик Красносельский стоит на открытом месте, мнет руки в замшевых перчатках, и я вижу его сверхъестественно спокойное, но мраморно-белое лицо с кружочками выступившего румянца.

Шум полета неприятельского снаряда, дойдя до своей высшей, невыносимой точки, вдруг на миг смолкает и сейчас же после этой ужасающей, мертвой паузы: б-б-бабах!

Четыре разрыва. Четыре фонтана снега, огня, дыма, земли вздымаются на гребне нашего холма.

Недолет!

В ответ мы делаем несколько выстрелов. И наши снаряды невидимкой, но с убывающим шумом и посвистом улетают куда-то за горизонт. Через короткий промежуток времени поручик Тесленко передает с наблюдательного пункта новые прицельные установки. Орудийные фейерверкеры бегают с записными книжками между окопом телефониста и орудиями, наскоро записывая новые данные и выкрикивая цифры, понятные только наводчикам.

Пауза... И опять — немцы: далекий, еле слышный орудийный залп, переходящий в нарастающий шум, потом свист, непреложный, как геометрическая дуга, или, вернее, траектория полета, плавно поднимающаяся вверх и потом круто, почти вертикально падающая на землю. Снова мы, спотыкаясь, бежим к спасительному блиндажу.

Ух!.. Пронесло! Перелет. Разрывы снарядов где-то за нами. У Красносельского опять появляются румяные пятнышки на окаменевшем мраморном лице. Он подчеркнуто спокоен и, немного наигранно улыбаясь, цедит сквозь зубы:

— Недолет. Перелет. А теперь, братцы, держись! Попадание.

Томительные минуты. Где-то бухают наши первая, вторая и третья батареи. (Наш взвод стоит, как я уже Вам докладывал, отдельно, впереди.) Немец бьет по первой, второй и третьей батареям, то есть по всему первому дивизиону бригады тяжелыми снарядами, которые, пролетая высоко над нами, производят звук, похожий на визжание заржавленного флюгера под ровным ветром. Мы все механически поворачиваем головы, как бы следя за этим мерзким звуком, как бы провожая глазами невидимый снаряд и даже представляя себе, как за ним с журчанием течет рассеченный воздух.

Но по нас немец уже почему-то не бьет. Молчит. Видно, и недолет и перелет были случайны: шальные снаряды. А наши батарейцы при звуке их полета произносили хором как заклинание:

— Несет! Несет! Несет!

Стало быть, немецкие наблюдатели нас не обнаружили. Если бы они знали, что их залпы взяли нас в вилку, то третьим залпом они б нас стерли с лица земли и Вы не получили бы этого письма.

Через некоторое томительно долгое время из телефонного окопчика слышится голос:

— Отбой!

Какое прекрасное слово! От сердца отлегло. Все-таки я впервые испытал чувство настоящей, смертельной опасности, как говорится,

понюхал пороху, хотя лишь слегка. Но я горд и чувствую себя настоящим обстрелянным солдатом.

По-моему, ошибка всех наших современных журнальных беллетристов, пишущих про войну (а про войну пишет всякий, кому не лень), это то, что они впадают в крайности. Одни злоупотребляют изображением героических подвигов, кровавых эпизодов, обыкновенно очень приблизительным и слащавым. Другие берут только военный быт, чаще всего воспроизведенный и понятый неверно. А я Вам скажу, война — это пропорция: шесть частей боевых эпизодов, четыре части фронтового быта, что ли. Во всяком случае, быт играет роль постоянного и совершенно необходимого фона для боевого эпизода.

...передки наших трехдюймовок стоят позади, верстах в трех, за лесом. Иду. Выхожу на большую дорогу. Шарабан. Из-за плеча кучера-солдата видна приплюснутая генеральская фуражка. Узнаю Вашего папу. Он ведь тоже отчасти «миньон» (простите за вольность!). Щелкая сапогами, я вытягиваюсь во фронт. Но шарабан с Вашим папой проезжает мимо. Я не замечен, увы. Вероятно, генерал едет вместе с адъютантом осматривать позиции...

...Просыпаюсь ночью в землянке. Холодно. Душно. Темно. Грустно. Одеваюсь, то есть натягиваю шаровары, гимнастерку, сапоги, куртку. Выбираюсь наверх из землянки. Лунная ночь, очаровательная, глубокая, безмолвная. Трескучий мороз. Градусов двадцать. Волшебное царство необъятных русских снегов. Стою очарованный сказочным освещением и тишиной, но вдруг...

...но вдруг... что такое? Возле орудия дневальный в постовом тулупе и валенках, а рядом с ним два офицера, видимо штабные, и между ними женщина в белом дубленом полушубочке и папахе, лихо надетой набекрень. Дневальный что-то почтительно объясняет про нашу трехдюймовку: как наводится, как поворачивается, как заряжается.

Женщина с подкрашенными бровями и ресницами на голубом от лунного света лице манерно кокетничает:

— Ах, только, ради бога, при мне не стреляйте!

Офицеры галантно с двух сторон подхватывают красавицу под локти. Она серебристо смеется. Слышен изысканный штабной баритон:

— А вот тут мои люди роют резервные окопы...

Шаги скрипят и стихают. Силуэты троих меркнут, как бы поглощенные светом очень маленькой и очень яркой январской луны, стоящей над головой в самом зените, в соседстве с несколькими наиболее крупными звездами и полярными льдинами полных облаков.

...и снова неподвижная фигура дневального в громадном постовом тулупе...

Мертвая тишина. Безлюдье. Одиночество.

Откуда явилось это милое видение в белом тулупчике? Я думаю, что это какая-нибудь шальная девица, приехавшая на несколько дней к кому-нибудь из штабных или саперных офицеров, для того чтобы «испытать сильные ощущения». А может быть, сестра милосердия из корпусного госпиталя, отчаянная голова. Тип весьма банальный.

...но молодая женщина лунной ночью, среди мерцающих голубых снегов, ее серебристый смех...

Как чудно и как странно!..

Первый раз в жизни я всем своим существом потянулся к женщине...

Следующий день отвратителен.

Привет Вашей милой маме, всем сестрам, как родным, так и двоюродным. Пишите. Обрадуете. А. П.».

Итак: «Первый раз в жизни я всем своим существом потянулся к женщине».

Вероятно, так оно и было на самом деле. Первый раз в жизни я потянулся к женщине. Не к девушке, не к подростку, не к девочке-сверстнице, а именно — к женщине.

Вечной влюбленности я был подвержен с детства, когда не было дня, чтобы я не был в кого-нибудь влюблен. Вечная влюбленность составляла сущность моего бытия — его счастье и его горе. Я слишком самозабвенно отдавался любовным мечтам, что, может быть, в конечном счете и явилось причиной моего исключения из гимназии с аттестатом за шесть классов, вследствие чего я и оказался в действующей армии вольноопределяющимся первого разряда.

Мой донжуанский список состоял почти из всех знакомых девочек, перечислять которых нет никакого смысла.

...Их было много, их избыток, их больше, чем душевных сил, прелестных и полузабытых, кого я думал, что любил...

Моя влюбленность обыкновенно проходила бурно, как инфекционное заболевание: по ночам жар и многократное переворачиванье нагретой подушки на прохладную сторону, которая скоро опять нагрелась под моей воспаленной щекой, так что ее опять надо было переворачивать. Это все были как бы абстрактные, литературные романчики с лунными черноморскими ночами или танцами на скользком паркете, усыпанном разноцветными кружочками конфетти.

Романчики проходили чрезвычайно быстро, не оставляя в душе никаких следов. Слово бы их и вовсе не было. На смену минувшей влюбленности незамедлительно приходила другая, новая, и так далее.

Справедливость требует сказать, что с одной барышней я все-таки, незадолго до войны, целовался — впервые в жизни. Однако это не была влюбленность, а скорее нечто вроде спорта.

Среди барышень нашего дома имелась одна очень хорошенькая блондиночка с нежным польским лицом, всегда носившая розовые платья. Розовое ей шло. Она была дочкой архитектора, построившего дома общества квартировладельцев в несколько декадентском стиле украинского модерна с высокими западноевропейскими черепичными крышами, салатно-зелеными рамами окон со скошенными верхними углами и коваными решетчатыми воротами, украшенными большими железными подсолнечниками.

Звали ее Зоей, и она была большая любительница целоваться с мальчиками, о чем знали все окрестные гимназисты, реалисты и кадеты. Когда кому-нибудь из них приходила охота целоваться, они свистом вызывали с третьего этажа Зойку, и они бежали к морю, залезали на прибрежную скалу, быть может помнившую еще Пушкина, и там целовались.

Она действительно очень хорошо целовалась, но без всякого любовного чувства, скорее с чувством юмора.

Я тоже не захотел отстать от товарищей и, замирая от страха, так как еще никогда в жизни не целовался посвистел Зойке. Она проворно сбежала по лестнице со своего третьего этажа в развевающемся розовом платье и, не выразив никакого удивления, что свистел я,

мало знакомый ей мальчик, взяла меня за руку, и мы через узорчатые чугунные ворота, сохранившиеся еще с пушкинских времен на Французском бульваре, побежали к морю, вскарабкались на скользкую скалу, поросшую снизу водорослями и мхом, и, не теряя времени, начали целоваться, причем я был страшно смущен своим неумением целоваться, даже покраснел от стыда, но она не обратила на это внимания, и затем, не сказавши друг другу ни слова, мы скоро возвратились домой, а по дороге встретили толстого гимназиста Колю Банова, бровастого болгарина, который подмигнул мне и деловито спросил: — Целовались?

Но Зою никак нельзя было включить в мой донжуанский список. Она была вне программы.

Некоторые мои романчики проходили в очень тяжелой форме, даже с мучениями ревности. Но, в общем, это были пустяки: ленточки из косы на память, письмецо на голубой бумаге, стишки в альбом: «Бом-бом-бом, пишу тебе в альбом. Хи-хи-хи, вот тебе стихи» — или во время игры во флирт цветов застенчиво переданная карточка с надписью «фиалка», что значило «я вас люблю».

«Действ. арм. 20-II-16 г. Дорогая Миньона!..»

Впервые я рискнул назвать ее не милой, что, в сущности, ничего не объяснило, а дорогой. Это уже был с моей стороны рискованный шаг вперед. Вопрос: поймет ли она его намек? ответит ли она на него тоже «дорогой»?

«Сейчас я весь под впечатлением небольшого передвижения, в котором принимала участие наша батарея и особенно наш отдельно стоящий второй взвод.

В десять часов вечера по телефону из штаба бригады передали приказание: «Передки на батарею». Сейчас же началась суeta. Наскоро кончаем ужинать, выпиваем кипяток из чайника, так аппетитно пускавший пар, греясь на печке. Собираем вещи в мешки. Я накануне постирал свое белье, и теперь оно как раз готово, то есть совершенно высохло, развешанное на сухом морозном ветру, и стало твердым, лубяным. Вися на веревке возле входа в землянку, оно даже издавало барабанные звуки.

У орудия — прислуга, одетая по-походному. Во мраке светятся электрические фонарики орудийных фейерверкеров. Вьюжит. В лицо бьет пурга. В чернильно-туманной дали время от времени взлетают зелеными звездочками немецкие осветительные ракеты. Выкатываем орудия. Меня награждают чайником и какой-то жестянкой, связанными вместе. В свободной руке узелок с артельным чаем. Одним словом, я напоминаю не то посудный, не то скобяной, не то чайный магазин.

Слышится грохот подъезжающих передков, конское ржанье. Из тьмы выступают тяжелые силуэты парных упряжек, фигуры ездовых в тулупах.

Легкая неразбериха.

Наконец орудийные лафеты надеты на передки. Двигаемся. Ветер бьет в лицо. Ноги вязнут в сугробах. Грудь покрывается слоем липкого снега.

Наша колонна движется по знакомым местам: узнаю, вернее, угадываю в снежной темноте сожженное и разбитое снарядами село, голые печные трубы, березы с ветвями, обитыми осколками снарядов. Бугор, у подножия которого землянка штаба первого дивизиона. У дороги распятие, проходя мимо которого я снимал палаху и крепился, по-детски свято веруя в бога, в его святую волю...

Подъемы. Спуски. Мелколесье. Елочки. Сосны. Иногда под ногами скользкий лед. Шагаю возле зарядного ящика номер четыре. Мне трудно идти. Я устал. Кажется, что иду уже по снегу не час, не два, а десять лет. Медный орудийный чайник комично бренчит болтающейся на веревочке крышкой. Или, кажется, наоборот: крышка на веревочке бренчит о чайник. По этому поводу кто-то из солдат на мой счет острит, кто-то смеется.

Ветер. Вьюга. Усталость. Все батарейцы устали не меньше меня. Некоторые отстают. А я изо всех сил держусь. Не отстаю.

После двухчасового безостановочного движения изнеможенные, переходя с проселка на проселок, громяхая по железнодорожным переездам, добираемся наконец до новой позиции.

Новая позиция очень близко от немцев, не больше чем за три четверти версты. Никогда не предполагал, что артиллерию так близко выдвигают вперед!

Вокруг березовый лес.

Нет, Вы только подумайте, Миньона, настоящий, не нарисованный Левитаном русский березовый лес, которого мы, новороссийские степняки, никогда и в глаза не видели.

Но какая красота! Заплакать можно!

Спим, как убитые наповал. Утро. Глушь. Снег. Березы. Какие-то голые кораллово-красные кусты, торчащие из сугробов (краснотал, что ли?), и можжевельник совсем как в стихах:

«И ягоды туманно-синие на можжевельнике сухом».

Какая вокруг хмурая красота!

Иду с ведром в руке по воду к колодцу, сруб которого стоит на открытом месте. Нет ничего опаснее на фронте, чем открытое место. Немцы заметили и пустили пять-шесть снарядов. Само собой промах, потому что в противном случае, Вы сами понимаете! Не было бы этого письма.

Осколки не зацепили меня, хотя один снаряд разорвался в 10—15 сажнях. Я лежал, уткнувшись носом в сугроб, прикрыв голову ведром, как будто бы это могло спасти. Видно, бог меня хранит.

Получаете ли Вы мои письма?..»

У дороги, недалеко от колодца виднелось распятие. Если на фронте было тихо, то мне позволялось побродить по окрестностям, не слишком отдаваясь от орудийного взвода. Я любил ходить к этому распятию.

Старый, серый от времени деревянный крест с неестественно маленькой фигуркой пригвожденного богочеловека, свесившего почти что детскую головку в терновом венце.

Кажется, по польско-католическому обычаю на одном конце перекладины креста висел молоток, на другом — клещи: орудия распятия.

Вдалеке в тумане слабо виднеется как бы рыба костька костела, постепенно разрушающегося от наших и немецких снарядов.

Распятый Христос и разрушающийся храм.

Было странное несоответствие между распятым Христом, разрушением храма, тем кровопролитием, которое совершалось здесь, под Сморгонью, и во всем мире, и красотой природы.

Маленький обнаженный человечек с прикрытыми чреслами и повисшей головою в терниях почитался спасителем. Неужели он отдал свою жизнь за спасение человечества? И напрасно. Ничего он не спас. Люди продолжают истреблять друг друга. Как может это происходить?

Впервые в жизни я подумал вполне серьезно о войне, участником которой стал по доброй воле.

Еще совсем недавно война предстала мне в облаке горячей пыли, которую гнал в глаза июльский ветер вместе с соломой, клочьями сухого сена, мелким сором, в то время как я пересекал привокзальную площадь, так называемое Куликово поле. В клубах пыли развевались гривы деревенских лошадей, пригнанных сюда по мобилизации из окрестных сел и немецких колоний. Деревянные бирки на конских хвостах и горы прессованного сена воспринимались как знаки начавшейся катастрофы.

Что я знал о войне? Ничего. Я пел с чужого голоса:

«Война объявлена», «Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! Италия! Германия! Австрия! И на площадь, очерченную чернью, багровой крови пролилась струя».

Как таинственно и еще совсем непонятно звучали пророческие слова:

«Европа цезарей! С тех пор как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта».

Я знал, кто такой Бонапарт, но по своему невежеству понятия не имел о Меттернихе, тем более что у него в руке было почему-то гусиное перо, направленное на Бонапарта. Гусиное перо выдилось как дуэльный пистолет. Менялась карта Европы. Но, может быть, не только Европы, но и всего мира.

Темные предчувствия томили меня. Я ощущал, хотя и не сознавал этого еще, вину перед человечеством. Не какую-нибудь отвлеченную, чью-то чужую вину, нет! Вину свою собственную, личную. Промелькнула ужасающая догадка, что это я сам захотел войны и желание мое исполнилось.

Еще ничего ужасного не произошло. Еще мир дремал под лучами полуденного солнца. Еще:

«Под портик уходит мать сок граната выжимать. Зоя, нам никто не вмешает. Зоя, дай тебя обнять»...

Еще можно было смеяться над афоризмами Козьмы Пруткова...

А я уже шел — порочный мальчишка, гимназист-второгодник — шаркающей походкой лентяя и мечтателя по бесконечно длинной, как загробная жизнь, раскаленной улице, где отцветающие акации давали, как сказал Пушкин, «насильственную тень», в которой никто не нуждался, так как улица была безлюдна. Можно было подумать, что все население покинуло город и устремилось к морю, ища спасения в зеленой воде Ланжерона, Малого Фонтана, Золотого берега, Шестнадцатой станции, Люстдорфа. Я шел, палимый солнцем, мимо витрин, где выгорали никому не нужные произведения галантереи, с каждым мигмом желтея и отставая от моды, устаревающая, как книги прошлого сезона и вчерашние газеты.

Боже мой, какая скука! Какая бесцельная жизнь! Неужели этот Дантов ад будет продолжаться вечно? Неужели я так и буду вечно идти, шаркая скороходовскими сандалиями, по бесконечной улице, ведущей в никуда?

Я был в тихом, неподвижном омуте отчаяния, потому что понимал свою никому ненужность, от неразделенной любви, от постыдных переэкзаменовок, от пропотевших подмышек коломянковой гимнази-

ческой куртки с вставными серебряными пуговицами, в которых мутно отражалось тошнотворное солнце.

Неужели ничего не произойдет? А ведь были же какая-то грозная и величественная история, события, в которых участвовали разные люди, такие же русские, как и я сам. Стреляли пушки. Горели города. Князь Андрей нес знамя. Петя мчался на лошади. Наташа кружилась на паркете, раздувая платье. Наполеон растирался одеколоном. Николай проигрывал сорок тысяч. Горела Москва. Звонили колокола. Император бросал с балкона бисквиты. Маршал Даву сидел в сарае за столом, сделанным из двери, положенной на два ящика...

Да мало ли!

Так неужели же жизнь моя так и пройдет без героических событий, без любви, без подвигов, без славы?

А ведь было же что-то в детстве. Я смутно помнил слова «Цусима» и «Порт-Артур». Были баррикады, опрокинутые конки, маленькие красные флаги, дружинники в драповых пальто, залпы «Потемкина». Куда же все это девалось? «Господи,— шептал я,— ты высшая сила. Ты всемогущ. Если ты действительно всемогущ, так пошли мне... дай мне...» Я не мог выразить словами свою просьбу, но я почему-то был уверен, что являюсь единственным человеком в мире, любая просьба которого исполнится высшей силой.

«...пожалуйста, уведомьте, получаете ли Вы мои письма».

«Действ. арм. 26-II-16 г. Милая Миньона! —...»

По-видимому, она не поддержала мое обращение «дорогая», и мне пришлось благоразумно отступить на позицию «милая».

Итак:

«Милая Миньона! За день до назначенного срока мы уже знали, что уходим в резерв. Нас известил об этом всезнающий солдатский телеграф.

Откровенно говоря, жаль было покидать хорошие, обжитые землянки, хотя позиция и была несравненно опаснее прежней. Раза три в день немец непременно обстреливал местность, стараясь нащупать нас. То слышались разрывы снарядов где-то впереди, со стороны наших пехотных окопов, то шальная немецкая шрапнель рассыпалась с железным грохотом по лесу справа от нас, то гранаты поднимали облака снега на шоссе, совсем рядом с нашей позицией. Даже, как я уже, кажется, Вам писал, немецкие снаряды падали прямо на нас, но всегда по счастливой случайности безрезультатно, иногда даже вовсе не разрывались, может быть, потому, что я изо всех сил молил бога о пощаде, а может быть, потому, что я вообще «везучий».

...а дни стояли славные — яркие, солнечные, снежные, которым так подходило бы название «Зимняя весна».

Синеглазые дни.

Представьте себе железнодорожное полотно где-то на полдороге между Минском и Вильно, справа и слева березовые и сосновые рощи, а за ними на десятки верст до самого горизонта расстилаются синеватые дали, рощицы, деревеньки, потонувшие в сугробах. Слева — проволочные заграждения, ломаная линия ходов сообщения и зеркала замерзших болот, ярко отражающих до вульгарности синее небо. Впереди на горе фольварк.

Сбоку от меня по железнодорожной насыпи движется лиловая

ть идущего человека. Этот человек — я. Тени тонких ног в сапогах с ремешками, в галифе, кожаной куртки, папахи набекрень. Это я иду из нашего отдельного взвода на батарею — одна с четвертью версты.

Снег будто посыпан борной кислотой и вспыхивает на солнце синими, голубыми, желтыми, красными искрами. Славно, Миньоночка! Вот бы Вам поглядеть на эту красоту. Но.. далеко где-то постукивает пулемет, как будто рубят котлеты...»

Довольно подробно и в меру своих сил писал я письма из действующей армии, обещая Миньоне быть совершенно правдивым. Однако я кое-что утаивал. Так, например, я не описал небольшой эпизод, свидетелем которого случайно оказался еще в первые дни на передовой, как раз днем после той лунной ночи, когда увидел мимолетное видение женщины, воскликнувшей с кокетливым серебристым смехом: «Только, ради бога, при мне не стреляйте!» Потом настал день, и я снова вылез из землянки подышать морозным воздухом. Тут я вдруг увидел толстого генерала с худым красным лицом, в бекеше, с биноклем на груди. С одышкой он взобрался на гребень нашего бугра, по всей вероятности, с целью лично осмотреть пехотные позиции и расположение неприятеля. Я узнал в нем начальника дивизии, который принимал крещенский парад. Черт дернул его взбираться на бугор, остановиться и присесть на сугроб, чтобы передохнуть. Наверное, он страдал одышкой. Сидя на твердом сугробе, он посматривал вниз, увидел наш взвод — два орудия, — и вдруг его худое лицо побагровело. Он закричал своим властным генеральским голосом: «Взводного фейерверкера ко мне!» — и сердито заворочался на сугробе, как на большой подушке, продолжая неторопливо дышать, выпуская изо рта клубы пара.

Наш взводный фейерверкер Чигринский уже бежал снизу вверх к генералу, на бегу обдергиваясь. Он остановился строго по уставу за четыре шага с рукой под козырек и отрапортовал:

— Ваше превосходительство, старший фейерверкер второго взвода первой батареи Шестьдесят четвертой артиллерийской бригады по вашему приказанию явился.

— Жопа! — закричал генерал страшным голосом. — Почему у тебя, так твою мать, орудийные затворы без чехлов?

И не успел Чигринский доложить, что только что была стрельба и чехлы еще не успели надеть, как генерал с усилием оторвал свое грузное тело от сугроба, вплотную подошел к вытянувшемуся Чигринскому и три раза ударил его кулаком в перчатке — два раза по скулам и один раз ткнул в золотистые щеголеватые усы над белыми оскаленными зубами.

Чигринский, справный фейерверкер, любимец солдат, красивый молодец-фронтовик, стоял перед генералом как деревянный, и только три раза его голова откинулась, принимая генеральские удары.

— Жопа! — еще раз с одышкой повторил генерал и, уже забыв, зачем он сюда пришел, кряхтя спустился с пригорка, раздраженной походкой удалился, и лишь после того как он скрылся из глаз, Чигринский вытер ладонью кровь с подбородка и, сделав вид, что не видит меня, вернулся к орудиям и приказал наводчикам надеть чехлы, после чего довольно громко, отчетливо, с ненавистью в глазах и с оттяжкой произнес матерное ругательство.

До сих пор мне как-то не верилось, что солдат бьют, и теперь это меня поразило до глубины души. Мне было страшно и стыдно встретиться глазами с Чигринским, и я молча спустился по земляной лестнице глубоко под землю в свой орудийный блиндаж, лег на душные еловые ветки, долго лежал в полутьме с открытыми глазами, не зная, что же теперь делать. Но делать было нечего. И я заставил себя за-

быть этот мордобой, что оказалось хотя и очень трудно, но возможно. Я его забыл. Вернее, сделал сам перед собою и перед всеми другими вид, что забыл.

Уехать из бригады домой я уже не мог, так как принял присягу, но внутренний голос сказал мне: в этом ты тоже виноват. Я постарался заглушить этот внутренний голос, но слова «тоже виноват» дохнули на меня, дохнули в мою душу морозом и возбудили нелепое предчувствие неизбежного ужасного конца этой войны.

«...укладываемся уже с полудня. Обед привезли в обычное время. Артельщик очень опасается обстрела: двуколка походной кухни с хорошо начищенным медным котлом, блестящим на солнце, вероятно, хорошо просматривается немецкими наблюдателями. Это создает нервное настроение. Обед раздается торопливо.

После обеда поднимается холодный ветер, и небо затягивается сыроватыми облаками. Опять становится хмуро. Среди туч слышится стрекотанье нашего аэроплана-наблюдателя.

— Ишь, так и ныряет в хмарах,— говорит волжанин Власов, задрав голову.

«Хмары» вместо «тучи». Правда, красиво?

В сумерках ужинаем, как всегда, остатками обеда и увязываем свои походные ранцы на передки, где уже давно покоится мой чемодан, заметно полегчавший и похудевший.

До наступления настоящей, надежной темноты остается часа полтора. За четверть версты вправо от нас по шоссе движутся незнакомые пехотные части, сменяющие на позициях нашу пехоту. Их не видать в темноте, только слышится скрип обозных колес, мерный бой тысячи солдатских ног, идущих походным маршем, брэнчанье кухонь и пулеметов, изредка морозное ржанье лошадей.

Собираясь в дорогу, наши батарейцы идут за какими-то досками в сторону шоссе. Образуется большое скопление. Немец его замечает. Начинается артиллерийский обстрел. Со всех сторон ложатся снаряды. Небо как бы сплошь исполосовано их тошнотворным свистом. Впереди на фоне ночных облаков багрово-желтыми огнями вспыхивает и рвется шрапнель, кропя лес железным дождем. Осколки бризантных снарядов срезают с берез кружевные сучья, и они падают к моим ногам. Сначала до жути страшно. Сердце холодеет. Господи, пронеси! Но скоро наступает странное безразличие (двум смертям не бывать, а одной не миновать и т. д.).

И все же меня не оставляет вечное чувство какой-то своей необъяснимой, как бы врожденной неприкосновенности, будто бы я кем-то и когда-то заговорен от смерти. Странное чувство!

Приводят лошадей. Цепляем свои пушки к передкам и уходим длинной процессией во тьму. По приказанию командования нам полагается совершать свой поход по шоссе. Но это верная гибель. На шоссе все время рвутся немецкие снаряды. Видимо, шоссе хорошо пристреляно. Вопреки приказу, повинуюсь непреодолимому чувству самосохранения, едем несколько в стороне от шоссе.

Совсем стемнело. И оттого что вокруг темным-темно — ни зги не видать,— люди идут молчаливо, тревожно прислушиваясь к каждому постороннему звуку.

Оттого что я в полном боевом снаряжении, с бебутом на поясе, с тяжелым солдатским наганом в кобуре на боку, с красным шнуром от нагана на шее, я чувствую некую военную гордость.

За скрипом орудийных колес и брэнчаньем конской упряжи полета неприятельских снарядов почти не слышно, да и летят они над нами куда-то в другую сторону. Угадываешь опасность по отдаленному блеску немецкого орудийного выстрела и после этого по грохоту разрыва. Жутко!.. Чтобы заглушить страха, я во все горло пою:

«Оружием на солнце сверкая...»

Обстрел усиливается. Снаряды рвутся все ближе. Через десять минут наша основная батарея, до которой нашему отдельному взводу остается пройти какие-нибудь четверть версты, начинает прикрывать нас своим огнем и бьет поверх наших голов непрерывными очередями. От красного блеска орудийных залпов, от громоыхания и скрежета орудийных колес в голове сумбур. Лица у нас еще более сереют при вспышках выстрелов, губы плотно сжаты.

Потом, минуя нашу непрерывно ведущую огонь батарею, выходим на шоссе. По шоссе серыми массами движется пехота: батальон за батальоном, пулеметные команды.

Роты одна за другой выплывают из тьмы и скрываются, как призраки.

Возле деревушки по названию Бялы остановка... Что такое?.. Оказывается, ожидаем свою батарею, чтобы наконец соединиться с ней. Ждем долго. Обстрел немцами шоссе, слава богу, прекратился. По шоссе все текут и текут серые массы пехоты. А мы стоим и ни с места!

Топот коня. Разведчик. Оказывается, на батарее в передке шестого орудия сломалось дышло. Задержка на пятнадцать минут, которые кажутся вечностью.

Стоим, стоим, стоим... И ни с места.

Часть людей разбрелась по каким-то пустым, брошенным землянкам. Хочется пить. Воды нет. Ем снег, как в детстве. Над нами нависает немецкая осветительная ракета, ярко заливая окрестности своим химическим, каким-то гелиотроповым светом. И тут же знакомый отвратительный звук летящего снаряда: дзззз... и трах!

Опять обстрел. Снаряд за снарядом как бы невидимо чертят темноту ночи. Немец бьет по деревушке. Бьет, бьет, бьет методично, без перерыва, словно гвозди вколачивает. Немецкая кинжальная батарея где-то настолько близко, что когда летит снаряд, все ему поневоле кланяются, так низко он пролетает. Снова ужас леденит сердце. Господи, только не в меня! Господи, пронеси!

Наконец дышло исправлено и батарея подходит. Мы снимаемся с места. Обстрел стихает. Через час мы уже будем в резерве. От сердца отлегло. Проезжая мимо деревеньки Бялы, натываемся на побитых немецкими осколками лошадей. Одна еще жива, лежит в луже почти черной крови и судорожно подергивает задней ногой. Здесь же рядом лежат два солдата: один убит наповал, другой ранен. Возле них суетится санитар с фонарем. Я нечаянно ступаю сапогом в лужу свежей крови.

Настроение ужасное. Кажется, что я весь с ног до головы в крови, которую никогда и ничем уже не смыть.

Далее еду верхом на одной из так называемых заводных лошадей, которую дает мне разведчик. Заводная лошадь — это значит запасная, резервная. Меня укачивает в седле, как в люльке. Я забываюсь, но скоро прихожу в себя и уже думаю о Вас, насвистывая «Ямщик, не гони лошадей...». А. П.».

Из этого письма явствует, что я продолжал осторожные попытки сблизиться с Миньонной, различными, весьма наивными способами дать ей понять, что я к ней более чем неравнодушен, надеясь вызвать ее взаимность.

Хотя обращение «дорогая» не вызвало в ответ «дорогой», но я не терял надежды добиться хотя бы «она его за муки полюбила». Я пускал в ход лирическую грусть, любовную тоску и даже, как ви-

дите, прибегал к мещанским романсам, весьма популярным в то время и безотказно действующим на сентиментальных барышень.

...Как и сейчас, впрочем, под названием старинные русские романсы...

Какой только мещанской дребеденью не была набита моя голова! Тут были и «Отцвели уж давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больном», и «Дремлют плакучие ивы», и «Дышала ночь восторгом сладострастья», и даже «Я смотрю на тебя, ты неловкий такой, если любишь меня, так целуй, черт с тобой! А не любишь меня, я тряхну головой и скажу: черт с тобой, черт с тобой» или что-то в этом роде, или «Гай да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом, светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем», как будто бы парочка могла быть втроем. Ну, конечно, если не считать ямщика.

Я как бы невзначай упомянул «Оружьем на солнце сверкая...» и применил более сильное средство: «Ямщик, не гони лошадей...» — скрыв за многозначительным многоточием «мне некого больше любить, мне некуда больше спешить», что должно было напомнить Миньоне наш намечавшийся роман или то, что тогда называлось «легкий флирт» или даже более изысканно, на английский лад — «легкий флёрт».

Нельзя сказать, чтобы она была ко мне совершенно равнодушна, но все-таки нежелательно холодновата, играя скорее в покровительственную дружбу, чем в любовь.

Несмотря на свое сходство с отцом-генералом, Миньона отличалась прехорошеньким личиком, которое можно было бы назвать кукольным, если б не какая-то властная черточка в рисунке губ, как бы созданных не столько для поцелуя, сколько для выговора. Но все остальное: английская блузка с шелковым матросским галстуком в виде пышного банта, плиссированная юбочка, маленькие ручки, круглые щечки и сиреневые глаза — все это было кукольное, что особенно прельщало, несмотря на строгий характер.

И все же если я и был влюблен в Миньону, то поверхностно, как бы буднично, а в глубине, в самой-самой глубине души безнадежно и горько любил Ганзю. Моя последняя встреча с ней перед отъездом в действующую армию выпала из моей памяти. Кажется, мы шли вдвоем в степи, а вокруг нас в сухой траве, как всегда бывает перед закатом, особенно громко звенели и тикали, как маленькие дамские часики, степные сверчки.

В это второе лето через год после начала войны, когда все уже успокоилось и казалось, что война сама по себе, а жизнь в стране идет по-прежнему, сама по себе, я гостил у товарища на Усатовых хуторах недалеко от Хаджибеевского лимана, а Ганзя жила на даче на Куяльницком лимане, где вся ее семья пользовалась грязелечебницей. Между этими двумя лиманами простирались куски первозданной степи. Таким образом, Ганзя и я оказались соседями.

Мы встретились на трамвайной станции Хаджибеевского лимана, куда она приехала из города от портнихи, с тем чтобы я ее потом проводил через степь домой, на дачу возле грязелечебницы.

Весной она окончила гимназию и теперь впервые надела только что сшитый почти дамский костюмчик, что-то клетчатое, черно-красное, обшито тесьмой: короткий пиджачок с закругленными фалдами и юбка английского фасона, на четверть ниже колен. Костюм морщил под мышками, и это ее немного смущало.

Мне было странно видеть ее полудевочкой-полудамой, в соломенной шляпке с клетчатой лентой.

Может быть, она приехала на эту встречу специально для того, чтобы показаться мне уже не гимназисткой. Она была по-прежнему мила, но некрасива, как еще не распутившийся цветок. Она была уже причесана директору — с волосами, поднятыми с затылка вверх. На щеке у нее я заметил маленькую мушку, вырезанную из черного пластыря маникюрными ножницами, что тогда начинало входить в моду.

Я был уязвлен нашим неравенством: она уже окончила гимназию, даже, кажется, с серебряной медалью, а я хотя и старше ее, но все еще был гимназистом, второгодником и, вместо того чтобы готовиться к переэкзаменовкам, бродил по хаджибеевскому парку среди вековых вязов и черных пней, на которых в тени сидели бабочки, сложив крылья внутри яркие, а снаружи серого деревянного цвета, так что их было нелегко заметить среди древесной коры.

В пруду плавали лебеди: черные с красными клювами и белые с клювами желтыми. Оркестр в концертной раковине играл «Горжественную увертюру 1812 год» Чайковского, которая до войны находилась под запретом, так как в ней содержалось несколько тактов крамольной «Марсельезы». Теперь же французы были союзниками и «Марсельезу» разрешили, хотя она и пахла революцией.

Мы молча прошли вокруг пруда, потом Ганзя, вынув из сумочки маленький кошелек, купила в газетном киоске последний номер «Нового сатирикона», на лаковой обложке которого была помещена цветная карикатура: кудрявый темно-зеленый дуб, а под ним розовая свинья с лысой головой депутата Пуришкевича, подкапывающего своим пяточком корни дуба.

В чем тут заключалась соль, мы не поняли, зато на другой странице были изображены два франта в наимоднейших фраках и с моноклями. Они разговаривали между собой:

«— А ты знаешь, Коко, что графиня НН наконец-то устроила файф-о-клок?»

— С паршивой овцы хоть файф-о-клок».

Это нас развеселило.

Была еще одна карикатура, военная. Возле громадной пушки два немецких солдата в касках с шишаками пишут мелом на громадном снаряде:

«Уважаемые враги, если прилагаемый при сем чемодан не разорвется, то просим вернуть его нам обратно».

Здесь заключался намек на плохое качество немецких снарядов. Все-таки война напоминала о себе!

Но уже вечерело, и я пошел провожать Ганзю через степь на Кузальницкий лиман. Мы были вдвоем, одни в целом мире. Но все равно нас почему-то всегда разделяло некое магическое поле: я ее любил, а она меня — нет.

Как я ни старался навсегда ее забыть, какие бы увлечения ни испытывал, все это было не больше чем отливом, после которого начинался новый, еще более сильный прилив безнадежной любви.

...Качаясь в седле, как в люльке, я пел совсем не «Ямщик, не гони лошадей...», как писал Миньоне, а совсем другое:

«Я вновь пред тобою стою очарован и в ясные очи гляжу».

...Хотя очи были не ясные, а карие, какие часто встречаются у молдаванок. Она и была, кажется, наполовину молдаванка, наполовину румынка, о чем свидетельствовала ее фамилия Траян.

Опять начинался прилив. Я думал только о ней одной и ни о ком больше. Меня вдруг так к ней потянуло! Хоть бы на миг ее увидеть!

А жизнь продолжалась по-прежнему:

«25-II-16 г. Д. армия. Милая Миньона! У меня к Вам очень большая просьба. Пожалуйста, устройте так, чтобы я попал на пасху домой. Лично я с такой просьбой обратиться к начальству не имею права, но если Вы... (и так далее...) то меня могут послать в командировку. Хотя бы по делам комитета связи. Мне очень хочется приехать хоть на недельку к Вам. В письмах всего не расскажешь, а рассказов хватит на три года. На днях напишу длинное письмо. Жду и надеюсь. Я в резерве. Тоска. Теснота. Духота».

Я лукавил. Мне просто до отчаяния захотелось увидеть Ганзю.

«3-III-16 г. Действ. арм. Милая Миньона! Представьте себе длинную снежную дорогу. Ночь. В лицо дует чистый студеный ветер. Редкие снежинки садятся на нос, губы, ресницы... Седло тихонько поскрипывает. Путь утомителен. Душа устала. На сапоге стынет человеческая или лошадиная кровь. Склоняешь голову, мурлычешь вполголоса какой-нибудь романс, что-нибудь такое...

Но вот по сторонам затемнели среди снега березовые перелески, где-то впереди среди ночной черноты, еще почти неуловимый для глаз, притягивает огонек, похожий на тлеющую папиросу.

Один. Другой. Третий. Село.

Сзади, шипя и визгливо кашляя, огибает нашу колонку длинный открытый штабной автомобиль. Он светит двумя огромными электрическими глазами и бросает перед собой на снег продолговатые световые пятна. Минута — и он быстро проезжает мимо, унося две строгие генеральские фигуры в высоких папахах: вероятно, командир корпуса со своим начальником штаба.

Остановка. Размещаемся по избам, где набилось множество постороннего народа: какие-то саперы, артиллеристы чужих бригад. Все смешалось. Спим кое-как и где попало. Кусают блохи. На следующий день нас расквартировывают уже как следует. Начинаются батарейные занятия.

На меня находит полоса острой грусти. Ей-богу, если бы можно, то напился б! Душа полна чем-то огромным, светлым и вместе с тем безнадежно горьким.

И эта горечь похожа на горечь нашей степной серебряной полыни, цветущей в июльское полнолуние.

Для того чтобы хоть как-нибудь забыться, я курю. Курю много, бестолково, и от этого у меня с непривычки кружится голова, тошнит.

В избе теснота, духота, дурной запах, и все время безостановочно кто-то играет нечто мучительно однообразное на гармонике, у которой действуют лишь басовые клапаны, а остальные западают, от этих мучительных звуков мне вспоминается детство: сильная зыбь на море, вечер, тучи, и маленький колесный пароход, помнящий еще севастопольскую кампанию, везет меня из Аккермана в Одессу, качает, где-то на горизонте гремит гром, обшивка скрипит, скрипят на палубе корзины с виноградом, зашитые холстом, из машинного отделения дует жарким ветром, нагретым железом, машинным маслом, и тошнит, тошнит, и где-то внизу, в третьем классе, играют на гармонике, причем басовые ноты сливаются со стуком машины, скрипом шпангоута и зловецким отдаленным громом.

«Укачало, сплю»...

Выхожу на улицу. Темно и оттепель. Совсем как ранней весной. Где-то в конце села горит огонек; как серое прозрачное облачко маячит березка.

Напротив в офицерской халупе играют на пианино, которое возится повсюду вслед за батареями в обозе второго взвода, вальс Вальтейфеля.

Завтра выступаем. Пишу это письмо в караульном помещении. Не забудьте же о моей командиреке на пасху. Привет всем. А. П.».

Так как письмо писано в караульном помещении, то можно заключить, что я стал заправским солдатом и меня уже ставили на пост часовым.

Караульное помещение, как мне помнится, находилось в отдельной, особой избе, где было не так тесно и всегда топились печка.

Я был еще канониром, то есть самым нижним чином, но уже считался обстрелянным солдатом и меня наряжали в караул. Наряд в караул продолжался двадцать четыре часа. Один караульный стоял часовым на посту, другой, только что сменившийся, мог поспать, а третий, которому надлежало сменить на посту первого, имел право отдыхать, но не имел права при этом скинуть верхнюю одежду и сапоги, а только немного ослабить на шее револьверный шнур и расстегнуть верхний крючок шинели. Это соблюдалось весьма строго по всем правилам гарнизонной службы и воинской присяги. Часовой же, стоящий на посту с обнаженным холодным оружием, то есть бебутом, или с заряженной винтовкой, являлся лицом неприкосновенным и подчинялся только своему караульному начальнику, разводящему и особе его императорского величества.

Самой трудной считалась третья смена — от двенадцати до трех ночи.

Я стоял на посту номер один у оружейного парка. Но это только так называлось, что я стоял. Я имел право ходить вокруг расставленных в большом порядке орудий, передков и зарядных ящиков. На мне был надет поверх шинели громадный, кисло пахнущий козлом постовой тулуп, на ногах постовые валенки, и в руке, приложив к плечу, я держал обнаженный бебут, то есть большой артиллерийский кинжал длиной более половины шашки.

Пост ответственный. Мало ли что может случиться в полной темноте. Немецкая тыловая разведка может взорвать зарядные ящики. Ведь до неприятельского расположения, в сущности, не так далеко, верст двадцать от силы. А может подкрасться свой же фельдфебель — проверить, не спит ли часовой, и если спит, то возьмет да и снимет с орудия замок или выкрадет из железного ящичка оптический прицельный прибор — панораму, которая, как утверждал солдатский телеграф, стоила шестьсот рублей. И тогда часовой идет под суд, а военно-полевой суд шутить не любит.

Не дай бог заснуть на посту. А стоит только замечаться, прислониться к зарядному ящику или, что еще хуже, присесть на открытый снегом оружейный лафет — и кончено дело! Не хочешь, а заснешь.

Ночная темень окутала все вокруг. Снежные вихри крутились и бегали, догоняя друг друга. Трудно было что-нибудь разглядеть вокруг.

Увязая по колено в сугробах, я протоптал валенками тропинку и ходил по квадрату, внутри которого белели засыпанные снегом орудия и зарядные ящики.

Производя в уме сложное арифметическое действие, я вычислил, что каждый час моего пребывания на посту содержит в себе

3600 секунд. Каждый шаг примерно секунда. Значит, каждые 3600 шагов — час. Каждый час надо загигать один палец. Как только загнул три пальца — тут тебе и смена.

Я ходил в облаках метели и считал шаги. Сначала считал сознательно. Потом шаги считались в уме, как бы автоматически, сами собой. Время тянулось бесконечно, но воображение все время рисовало картины минувшего, и мысль тщетно пыталась объяснить, что же со мной, собственно, произошло. С чего началась моя горькая, неразделенная любовь, о которой я переставал думать во время отливов и которая мучила меня, как только начинался прилив.

Сейчас начинался прилив, и он уже нес предчувствие ее появления.

Каким же образом она вошла в мою жизнь и стала ее частью?

Виновицей была Калерия, о существовании которой я было совсем забыл, всецело занятый письмами к Миньоне. Впрочем, тогда Миньоны не было еще и в помине. Тогда еще Миньона со всей своей семьей жила в Тирасполе, где стояла «их» бригада. Миньона еще не существовала в моем воображении. И душа моя была свободна.

Если бы не глупые ухищрения Калерии, ничего не случилось бы. Но Калерия нарисовала себе сентиментальную картину загородной прогулки за фиалками, где ее кавалером буду я. Для того чтобы не спугнуть меня и придать всему этому предприятию характер чего-то вроде пикника, она составила квартет: во-первых, конечно, она со мной в паре, а во-вторых, ее брат Вольдемар в паре с ее задушевной подружкой, некой Ганзей, в которую Вольдемар был влюблен.

Две парочки. Какая идиллия!

Ранняя весна. Загородная прогулка к морю. Поиски первых фиалок. Квартет разбредается в разные стороны: Вольдемар с Ганзей, Калерия со мной. Что может быть прекрасней?

Из дому вышли в четыре часа. Как и предполагалось, Вольдемар пошел в паре с Ганзей, а я с Калерией. Предполагалось, что Вольдемар и Ганзя влюблены друг в друга. Как и полагалось влюбленным, они все время отставали, а мы с Калерией летели вперед. Нам то и дело приходилось останавливаться, поджидая отстающих. Калерия была возбуждена, взволнована, заглядывала на ходу мне в лицо влюбленными глазами и была так хороша, что если б не рост, не нос и не невозможное имя Калерия, то еще неизвестно, чем бы кончился поход за фиалками.

Чувствуя себя предметом неразделенной любви, я, конечно, испытывал глупую гордость и скрывал ее, как говорится, «под маской печоринской иронии».

Мне недавно исполнилось семнадцать, и я уже выдавливал перед зеркалом прыщи — «бутон д'амур», — говорил уже не по-детски, а грубым голосом и, отрастив волосы, до сих пор стриженные под машинку, в поте лица трудился над устройством прически и по нескольку раз в день драл свои жесткие черные волосы на две стороны палочкой сального фиксажура, завернутого в серебряную бумажку, хотя настоящего джентльменского пробора так и не получалось, потому что волосы на макушке продолжали торчать в разные стороны и не хотели ложиться.

Я завел себе диагональные брюки со штрипками и светло-серые гетры а-ля Макс Линдер.

Шагая по протоптанной в снегу тропинке и считая секунды, я живо представил себе Калерию, которая тогда шла рядом со мной быстрыми мелкими шажками и при этом все время болтала всякий

вздор, употребляя множество гимназических поговорок и острот, и сама первая смеялась. Было件нятно, что она несет чушь просто от хорошего настроения, оттого, что получается такая дивная прогулка и что она идет рядом с тем, кого любит, и даже как бы случайно касается его локтем, то есть меня.

Шли по загородному шоссе сначала мимо домиков местных скульпторов, где в садиках виднелись глыбы каррарского мрамора и незаконченные кладбищенские ангелы, потом мимо пустых дач с еще по-зимнему заколоченными окнами сквозь голые ветви. Кое-где уже просвечивало море. Подул тяжелый ветерок, и уже по шоссе катили, воняя бензином, автомобили городских богачей, трещали мотоциклетки, блестя лаком крылья экипажей. Но теперь было еще почти пусто, и лишь гимназисты с развевающимися шарфами гоняли на велосипедах да с грохотом проносились пустые вагоны новой трамвайной линии, оставляя за собой струю ветра, поднимающего с земли прошлогодний сор.

— Ну, как вам, Саша, понравилась моя Ганзя? — спросила Калерия меня. — Вы совсем не обращаете на нее внимания. И напрасно. Она прелесть. У нее с Вольдемаром роман. У Вольдемара губа не дура.

Дул весенний ветер. На ходу оправляя подол выбившегося из-под пальто темно-зеленого форменного платья, придерживая поля черной касторовой шляпы с овальным гимназическим гербом и салатного цвета бантом, Калерия сделала непоправимую глупость, сказав:

— Напрасно вы иронически улыбаетесь...

(Я действительно иронически улыбался.)

— Знаете, в нее все поголовно влюблены, и Вольдемар просто с ума сходит от страсти. Так что имейте в виду... — И она шаловливо погрозила мне пальчиком и как бы нечаянно взяла меня под руку.

Я обернулся и посмотрел на Ганзю.

У нее было незапоминающееся лицо с мелкими чертами и, кажется, карие глаза. меховая зимняя шапочка, черное плюшевое пальто с перламутровыми пуговицами, из-под которого выглядывали маленькие ножки. Правая рука ее в это время — как на моментальной фотографии — была на отлете, кисть откинута в сторону, и пальцы подогнуты. Маленькая, она казалась еще совсем девочкой.

Рядом с ней шел Вольдемар, брат Калерии, в своей узкой аккуратной гимназической шинели. В его форменной фуражке со щегольским, как бы офицерским лакированным ремешком на околыше, в бледном лице с пробивающимися усиками, а главное, в какой-то деланной напряженной улыбке было нечто, свойственное красивым ревнивцам.

Я почему-то понял, что он безумно влюблен, а она — так себе... Может быть, только позволяет себя обожать, не больше. Мне показалось, что они совсем не пара. Он для нее слишком взрослый, гимназист-переросток. Хотя и красивый, но самолюбивая посредственность, вышибленный из казенной гимназии и перешедший в частную.

А она... А что она? Только то, что маленькие ножки! И в лице что-то молдаванское. Уж если на то пошло, то она больше подходит мне, неожиданно подумал я.

Через глухой приморский переулочек мы вышли к обрывам и увидели по-весеннему туманное море, откуда дул в лицо крепкий мартовский ветер, так называемый верховой константинопольский.

— Какая красота! — не вполне натуральным голосом воскликнул я, еще не сознавая, что это патетическое восклицание относится, в сущности, к совсем не замечательной Ганзе.

— Ничего особенно красивого не замечаю, — тотчас же отозвался Вольдемар, как бы почувствовав во мне соперника. — Море как море. Много воды — и больше ничего. Фантазия поэта.

Это был тонкий намек на то, что я сочинял стихи.

Голос у Вольдемара был как бы с трещиной. Высокий тенор. Фальцет.

— Не правда ли, Ганя, — прибавил он, пожимая ее руку, — не более чем много соленой воды?

— Не нервничайте, — ответила она. — Вам море не нравится, а Саше Пчелкину нравится. У каждого свой вкус.

Сказано это было тем расчетливо двойственным тоном, как будто она хотела дать мне понять, что не стоит обращать внимания на Вольдемара, потому что (вы же видите!) он нервничает, а море, конечно, очень красиво, ему не очень нравится, что вы сумели заметить его красоту; но в то же время, как бы обращаясь к Вольдемару, говорила доверительно: стоит ли вам спорить с мальчишкой? Вы же взрослый человек, и я с вами вполне согласна, что все эти речи насчет красоты моря не больше чем фантазия доморощенного поэта. Но будьте же снисходительны.

Она, по-видимому, уже научилась мирить соперников.

— Ганзя, рыбка, — нежно сказала Калерия, которая тоже была влюблена в свою маленькую гимназическую подружку, — а как ты? Нравится ли тебе море? Ведь правда до ужаса прекрасно!

— Ничего себе, — ответила Ганзя равнодушно и сейчас же засмеялась, показывая, что ей самой смешно ее равнодушие к свободной стихии, которая «катит волны голубые и блещет гордою красой».

Да она просто обыкновенная ломака, подумал я и перестал обращать на нее внимание до той минуты, когда мы, совершив ритуал поисков хилых диких фиалок, вылезших из-под прошлогодней листвы, возвращались домой на трамвае с новенькими плетеными откидными сиденьями, уже при свете электрических лампочек в стеклянных тюльпанах, и трамвайные окна были того грустного синего цвета, какой бывает во время великопостной всеобщей. На одной из остановок в полупустой вагон ввалилась шумная толпа гимназистов, возвращавшихся с футбольного матча. Среди них выделялся знаменитый инсайд-правый, наверняка забивший сегодня два гола. Он держал под мышкой грязный футбольный мяч. С расстегнутым воротником куртки, в белых футбольных бутсах, с красивым римским носом и сдержанной улыбкой победителя, он протискивался боком к передней площадке и вдруг увидел Ганзю.

С особым шиком приподняв над кудрявой головой измятую фуражку с наполовину отломанным гербом, он произнес слегка фатовским голосом:

— Бож-ж-же мой, кого я вижу! Ганзя! Собирали фиалки? Это шикарно! Когда же мы с вами наконец опять встретимся у Козубских?

— Со временем, — весело ответила Ганзя.

Не без иронии оглядев меня и Вольдемара, чемпион протиснулся, подняв над головой мяч, на переднюю площадку и, еще раз улыбкувавшись Ганзе, прыгнул на ходу и пропал в потемках.

Я с удивлением понял, что ничем не замечательная Ганзя не такая уж простая, как могло показаться. Оказывается, у нее есть какой-то свой, недоступный для меня мир, где она, может быть, даже царит среди всех этих спортсменов, между которыми попадают

даже дети известных богачей, как, например, этот знаменитый инсайд-правый.

Подобное открытие неприятно поразило меня.

Какое, однако, пошлое лицо с красивым римским носом и наглыми глазами у этого богатенького сыночка. Вот уж действительно инсайд-правый. Именно такие типы нравятся девчонкам.

Я, который уже в мыслях своих успел отвергнуть ничем не замечательную Ганзю, вдруг почувствовал ревность.

— Что это вы такой грустный? — спросила у меня Ганзя, когда мы подходили к воротам.

Я промолчал. На лестнице мы стали прощаться. Прежде чем войти в квартиру Калерии и Вольдемара, Ганзя бережно, обеими руками сняла свою котиковую шапочку, протянула Вольдемару и повелительно сказала:

— Держите.

Потом взяла у Калерии круглое карманное зеркальце и мельком взглянула на себя, и когда отдавала обратно, зеркальце блеснуло мне в глаза, бегло отразив электрическую лампочку, горевшую в подъезде.

Извинившись передо мной, Ганзя стала перчесываться. Набирая шпильки одну за другой в губы, она отколола косу, обернутую вокруг головки, как корона.

С поразительной ясностью я вспомнил, как она одной рукой придерживала освобожденную косу, а другой вынула шпильки изо рта и не глядя протянула их Вольдемару:

— Держите.

Вольдемар с рабской покорностью взял шпильки и посмотрел на Ганзю с выражением почти отчаяния. А она озабоченно посмотрела на Калерию, тряхнула головой, и коса, медленно раскручиваясь, опустилась. Волосы у Ганзи были темно-каштановые с еле заметным золотистым отливом, густые, длинные, с рыжеватыми пушистыми кончиками.

Я еще раз, как бы проверяя себя, посмотрел на Ганзю, на ее слегка веснушчатый носик, маленький подбородок, и мне стало горько оттого, что, собираясь перчесываться, она извинилась только передо мной, а перед Вольдемаром как перед своим человеком не посчитала нужным извиниться. А может быть, это потому, что она его просто не уважала? Да, именно так. Она его не любит, подумал я, как Чацкий.

Когда же она, взяв у Калерии гребешок, стала расчесывать косу и водопад волос, потрескивающий электрическими искорками, упал на ее лицо, я понял, что в моей жизни случилось нечто неизбежное, как бы заранее предопределенное судьбой. И сердце мое помертвело...

Ночная вьюга продолжала кружить над артиллерийским парком, покрывая белыми подушками и пухлыми перинами орудия и зарядные ящики. Дверь караульного помещения вдруг отворилась, бросив в метель яркую призму света, в которой возникли и пошли прямо на меня две фигуры: разводящий и новый часовой.

Значит, третий палец был автоматически загнут и кончилась мучительная третья смена.

Через пять минут я уже спал глубоким, как забытье, летаргическим сном в караульном помещении на нарах, подложив руку под щеку, как в детстве, и мне снилось, что я летаю в какой-то знакомой большой комнате под самым потолком, а когда проснулся, увидел избу, наполненную очень ярким светом позднего зимнего солнца; в печке трещал огонь, было тепло, даже жарко, караульные ели из

котелков, и моя душа еще некоторое время никак не могла вернуться из ночных странствий.

«12-III-16 г. Действ. арм. Милая Миньона, примите эту несколько запоздавшую поэму в прозе.

Сижу. Перед глазами на фоне подземной черноты как бы вырезан огненный квадрат. Топится печка. Слышно, как бурлит вода в невидимом чайнике. Дрова почти прогорели, трещат, и поленья покрываются клетчатым пеплом. Под ними — угли, похожие на слитки расплавленного золота, которого я, по правде сказать, никогда в жизни не видел, но так мне представляется.

Огонь жжет глаза, губы, руки, волосы..

Сижу как слепой, вокруг ничего не разглядишь. Напрягаешь изо всех сил зрение и слева от себя улавливаешь (скорее угадываешь) бледный дневной свет, проникающий сквозь оконце размером с тетрадку для слов. Под оконцем на нарах — силуэт солдата, пишущего письмо, пристроив на колени какую-то досочку.

При еле проникающем в землянку дневном свете лицо солдата кажется бледно-зеленоватым.

Во тьме нашариваю папаху, перчатки. Куртку нечего искать: она всегда на мне, даже когда сплю. Ощупью выбираюсь на свет божий. После подземной тьмы даже бледный вечерний свет с такой силой бьет в глаза, что некоторое время передо мной плавают только как бы тени предметов, их обморочные отпечатки.

Весна. Справа шоссе. Оно обсажено очень старыми, еще позимнему голыми березами, слабо видными сквозь голубоватую мартовскую дымку. Под сапогами пружинит и всхлипывает, оттаивая, земля.

Воздух так влажен и нежен, что, кажется, пахнет фиалками. Но не теми темно-лиловыми бархатными пармскими фиалками, букетики которых продаются весной у цветочниц на углу Дерibasовской и Екатерининской, а теми дикими фиалками, которые я когда-то собирал на Малом Фонтане..

...Хилые, почти бесцветные цветочки, быстро вянущие, жалкие, но так нежно, неповторимо пахнущие весенней сыростью..

Кажется мне или на самом деле пахнет фиалками? Вряд ли. А может быть, и вправду.. или это только..

Небо серое, бессолнечное. Вечереет. Не хватает только мирного великопостного звона. Я влюблен в весь мир. В жизнь, в весну, даже в ту сырость. Сердце мое готово раскрыться, как цветок, и ждет первого весеннего, теплого дождика.

На батарее веселье: играет гармоника и откуда-то взявшаяся скрипка. Танцуют мой взводный Чигринский и бомбардир Котко, маленький, чернявенький, в своей папахе из телячьего меха, чем и отличается от других солдат. Танцуют вдохновенно под прыгающие звуки полочки, положив руки на плечи друг другу и с силой топая сапогами по еще не вполне оттаявшей земле, оставляя на ней отпечатки подметок, подбитых гвоздями.

Как-то весело и как-то грустно.

Ночь подходит; незаметно подкрадывается; синяя, зовущая к любви, к нежности. Загорается огонек ночной наводки: фонарик, привешенный на середине белого шеста дневной наводки, вбитого в землю несколько отдаленно позади орудий. При стрельбе днем отмечаемся по этому шесту, наводя на него оптический прибор, называемый панорамой, а еще лучше выбираем в далеком лесу какое-нибудь отдаленное дерево. Чем дальше дерево, тем лучше создается наиболее точный угол прицела. А во время ночной стрельбы отмечаемся по нашему бессонному фонарику. Вам понятно? Наводимся

назад, а стреляем вперед. Непонятно? Впрочем, это не важно. Вы мой бессонный фонарик. Простите за армейскую пошлость.

Милая.

Боюсь произнести: любимая. А. П.».

Кому же в конце концов предназначалось это лирическое послание? Миньоне? А фиалки? А ранняя весна и великопостный звон?

«Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей блистанье...»

«7-III-16 г. Действ. армия. Миньона! В нашей землянке душно и дымно. Играют в лото. Со стороны третьей батареи доносится редкая орудийная пальба. Как у нас принято говорить, тюкают трехдюймовки. Звуки привычные. Каждый выстрел, как тугой резиновый мячик, ударяет в наше маленькое окошечко, стекло дребезжит.

Ведется нескончаемая окопная беседа о женах, о детях, о родной деревне или о родном городе, о надоевшей войне, которой и конца не видно, о мире, о дороговизне в тылу... Мало ли о чем еще... Даже туманные намеки на грядущие политические перемены...

На минуту артиллерийская перестрелка стихает, и вдруг раздается сильнейший разрыв, даже скорее взрыв — словно кто-то швырнул в наше оконце горсть дроби. Высказывается предположение, что немецкий снаряд угодил в один из зарядных ящиков третьей батареи и снаряды взорвались.

Все тревожно замолчали.

Зловещий звук, который мы услышали, не был похож на обычные звуки артиллерийских дузлей: выстрел, полет снаряда, разрыв. Было что-то другое.

— Побегать посмотреть? — сказал кто-то.

— А ну на самом деле...

Мы выбегаем наверх из землянки, оставив на дощатом столике в полном беспорядке фишки, карты, бочоночки лото.

По ту сторону шоссе над хвойной маскировкой третьей батареи стоит желтовато-черное облако еще плотного, нерассеявшегося дыма и пахнет горелой взрывчаткой.

— Что это? Разрыв?

— Да, и здоровый разрыв... на самой батарее.

...из окопа телефонистов вылезает старший телефонист. Все к нему:

— Что такое? Разрыв? Прямое попадание? Кто-нибудь ранен? Или убит?

Старший телефонист оглядывается — нет ли поблизости офицеров. Офицеров нет.

— Свой же снаряд, — говорит он, понижая голос. — Разорвался перед самым дулом, как только вылетел, так и... Продают нас. Собственными снарядами уже бьют. Измена в тылу. Ранены наводчик и второй номер.

Наши батарейцы, у которых есть в третьей батарее земляки, встревожены.

Больше всех волнуются Колыхаев и Ковалев, у них у обоих близкие дружки там.

— Какого орудия наводчик ранен? Какой номер зацепило?

Но старший телефонист этого не знает.

— И сильно ранены?

— Один, говорят, сильно: распорол живот осколками. А другой полегче, хотя тоже крепко. Но не так чтоб...

— Слышь, узнай по телефону, кто ранен.

Мы расходимся по землянкам в томительной неизвестности. Тягостное молчание, уже ни играть в лото, ни разговаривать никто не может. Трудно смириться с мыслью, что разорвался свой же снаряд. Значит, тыл посылает нам бракованную шрапнель. А может быть, это и вправду измена?

У Колыхаева и Ковалева на лицах печать тревоги. Время тянется мучительно долго. Наконец в землянку спускается всеведущий разведчик.

— Ну что? Кто? — спрашивает Ковалев.

— Да недостоверно, — мямлит разведчик, отводя глаза от Колыхаева.

Но Колыхаев каким-то таинственным образом прочитал правду на отвернутом в сторону лице разведчика.

— Стародубец? — почти шепотом спрашивает Колыхаев.

— Он, — со вздохом отвечает разведчик.

— И сильно?

— Здорово.

Колыхаев бледнеет, и мне страшно видеть эту как бы пророческую бледность на его грубоватом рыжеусом лице рыбака с Голой Пристани. Стародубец — земляк и кум Колыхаева.

— Помрет? — спрашивает Колыхаев с деланным спокойствием: дескать, мы все здесь, на позициях, под богом ходим — сегодня тебя, завтра меня. — Помрет?

— Не скажу. Может, и вытянет. Хотя... Кто его знает... Доктор...

— А что доктор?

— Доктор ничего...

Колыхаев берет за шапку.

— Надо идтить. — В дверях останавливается. — А кто еще? Другой кто?

— Другой канонир Сурин, второй номер.

— А...

Больше ничего не говорит Колыхаев. Ведь Сурин не земляк Колыхаева.

Я иду вместе с Колыхаевым в третью батарею, которая как две капли воды похожа на нашу, только расположена в другом месте. Возле землянки Стародубца уже стоит бригадный экипаж, привезший доктора. Несколько батарейцев. Они почтительно и молчаливо пропускают Колыхаева в землянку. Задев папайхой за бревно нижнего наката, Колыхаев спускается вниз. Я за ним.

На нарах, покрытых, как водится, ельником, лежит Стародубец, которого я еще никогда не видел. У него обыкновенное солдатское лицо, спокойное, но очень бледное, почти белое, как известь. Дневной свет скупо проникает в крошечное окошечко землянки и ложится на опущенные веки Стародубца, отчего они как бы отсвечивают смертельной зеленью. Возле него фельдшер и знакомый бригадный врач, громоздкий, рыжеусый, с вороньими глазами.

Фельдшер, тоже мне знакомый, тот самый, который недавно вкатил мне в лопатку шприц, делая противохолерную прививку, держит в руках таз с окровавленной водой. У его ног на земляном полу валяются вымоченные кровью тряпки. У Стародубца под вздернутой окровавленной гимнастеркой с Георгиевской медалью — туго забинтованный живот. Но уже сквозь бинт проступает кровь. Доктор держит Стародубца за руку и поглядывает на свои серебряные часы, раскрытые, как раковина, считает пульс, но, видимо, пульс уже не прощупывается, так как тараканы брови доктора хмурятся. Несколько человек собирают и увязывают вещи Стародубца: полотенце, мешочек с пайковым сахаром, пачки пайковой махорки, спички, узелок ржаных сухарей, приготовленных Стародубцем для отправки жене и детям в голодный тыл.

Никто не знает, умер уже Стародубец или еще жив.

В дверях — взводный офицер Стародубца, он смотрит на Стародубца умоляющими глазами и тревожно повторяет одно и то же: «Стародубец... Ну, Стародубец...» — словно хочет его разбудить.

Вдруг веки Стародубца вздрагивают и приоткрываются над изумленными зрачками, подернутыми туманом. По губам его под усами, такими же точно, как у нашего Колыхаева, проползает нечто вроде насильственной улыбки. Он узнает своего друга и земляка Колыхаева и силится что-то сказать. Колыхаев наклоняется над ним.

— Ты что, Стародубец?.. Ранен?

— Вот, Прокоша, видишь сам,— с величайшим трудом выговаривает Стародубец, двигая помертвевшими губами.— Прощай, кум... Пускай там напишут...

Его глаза закрываются.

Потом раненого с величайшей осторожностью и не без труда выносят из землянки наверх, в наклонном положении укладывают в экипаж и в сопровождении фельдшера и доктора увозят на станцию Залесье в госпиталь.

Хоронят Стародубца через два дня. Колыхаев возвращается с похорон голодный, злой и усталый. Он садится, не снимая шинели, на земляные нары, вытирает мокрые усы и говорит:

— Так и так. Нема больше Стародубца. Был, а теперь нема.

Вдруг лицо его искажается, и он кричит сорванным голосом:

— Скажите мне кто-нибудь — кому все это надо? Немцы бьют. Свои бьют. Одно побоище вокруг. И кто ее выдумал, эту войну? Покажите мне этого хриstopродавца, антихриста! Я из него душу вырву... И когда это убийство кончится?

Потом он молча обедает, молча моет ложку, молча ложится спать. Во сне храпит и стонет. А вечером при свете колтылки диктует мне письмо в город Херсон, на Голую Пристань, жене Стародубца:

«Дорогая Прасковья Никифоровна, проливаю слезы и пишу вам известие, что сего числа и месяца...»

...разрыв собственного бракованного снаряда и смерть Стародубца вызвали у солдат глухое, видимо, долго скрываемое озлобление, смысл которого мне хотя и неясен, но очень меня тревожит. По-моему, в умах этих людей созревает что-то ужасное. Кажется, они верят в антихриста. Дай-то бог. Пошлю на всякий случай это письмо с нарочным, а не по полевой почте. А то не дойдет...

Мне уже, кажется, приходилось писать Вам, что наша батарея левее широкого шоссе, обсаженного очень старыми, даже уже почерневшими березами. Представьте себе, что это и есть то самое историческое шоссе Отечественной войны двенадцатого года, а березы эти кутузовские. По этому Виленскому шоссе, мимо этих самых берез отступала разбитая великая многоязыкая армия Наполеона.

Тогда вся война была на виду. Воины не зарывались в землю и не отыскивали скрытых мест, чтобы спрятать там свои батареи. Пушки стреляли прямой наводкой. Кавалерия красовалась на самых открытых местах, мигая на солнце саблями, пиками, яркими блестящими мундирами. Пехота шла сомкнутым строем и рассыпалась в цепь лишь в крайних случаях, уже дойдя почти вплотную к неприятелю. Артиллерия выезжала на возвышенности и оттуда била по хо-

рошо видной цели без всяких наблюдателей и тем более телефонистов.

Теперь не то. Местность вокруг нас буквально напичкана воинскими частями, артиллерией всех калибров, пулеметными командами, минометами, огнеметами... А если средь бела дня обойти окрестности, то можно подумать, что попал на необитаемый остров: все ушло в землю, все тщательно укрывается и маскируется от хищных биноклей наблюдателей с аэропланов, привозных аэростатов, с вертушек деревьев. Неопытный человек (а то, пожалуй, и опытный) может пройти рядом с батареей и ничего не заметить. Кововязи с лошадьми спрятаны в лесных чащах. Пехота сидит в глубоких узких окопах, огражденная кольями проволочных заграждений, закиданных ельником, так что и не заметишь. Земля изрезана замаскированными ходами сообщения, извилистыми, ломаными, мудреными. Артиллерия таится на обратных склонах холмов, заставлена целым лесом срубленных елей, так что нащупать ее очень трудно. Почти невозможно. Но именно что почти. А «почти» на войне не считается.

Зато ночью все вокруг преобразается. Откуда ни возьмись на дорогах появляются пехотные колонны, едут кухни, пулеметы, обозные и санитарные повозки, пароконные двуколки, передвигаются артиллерийские батареи.

Солдаты в сером, походном, защитном. Их массы. Они похожи один на другого. Даже лица их кажутся одинаковыми. Движение всю ночь.

Но при первых лучах зари местность как по мановению волшебного жезла опять превращается в необитаемый остров.

На шоссе, сравнительно недалеко от нашей батареи, местечко Сморгонь. Может быть, это даже не местечко, а город. Полулитовский-полубелорусский, место тоже историческое. Через Сморгонь, бросив армию, в двенадцатом году зимой, на легких саночках, в собольей шапке бежал Наполеон со взводом своих гусар.

Отступая из Восточной Пруссии, наша теперешняя армия дошла до Сморгони и здесь остановилась, прочно остановив наступление немцев. Здесь пролегает линия нашего Западного фронта, а мы просто называем это «у нас под Сморгонью». Ваш А. П.».

Следующее письмо:

«9-III-16 г. Действ. армия»...

Я никогда не забывал украшать свои письма этой пометкой, еще тогда не потерявшей для меня свой особый смысл: она являлась доказательством моей причастности к великому событию несправой войны и, быть может, русской военной славы.

Ах как я был наивен!

«Дорогая Миньона! Опять передвижение. Из резерва мы перешли на позицию. Ввиду того, что окопы и земляные сооружения оказались в неисправности, всю боевую часть отправили с шанцевым инструментом, то есть с лопатами, кирками, топорами и пилами, вперед, с тем чтобы мы поскорее исправили дефекты.

В два часа дня мы вышли. Представьте себе мокрый мартовский день, непролазную грязь, в полях едва-едва еще зазеленевшие озимые, а в сосновых лесах зеркальные лужи.

Если желаете увидеть меня о натюрель, извольте: грязная-прегрязная папаха (даже не верится, что некогда она была девственно белая), мешковатая шинель, тяжелый револьвер в потертой кобуре, малиново-красный револьверный шнур на шее, бебут на поясе, че-

рез плечо — противогаз, да еще к тому же на ручке бевута (нашего большого артиллерийского кинжала) в черных ножнах с медным шариком на конце болтается кружка, сделанная из пустой консервной банки, а за голенищем правого сапога деревянная ложка, порядочно уже облезлая и обкусанная.

Чем Вам не настоящий фронтовой солдат?

Шагаем прямо по четвертьаршинной грязи. Я повыше забираю и заворачиваю полы шинели, отчего делаюсь похож на страуса или в крайнем случае на кургузого аиста.

Весенний ветер задувает в ресницы.

Идет нас человек пятьдесят. Поручик Тесленко верхом на лошади провожает нас примерно версту, а потом поворачивает назад. Он, видно, устал: маленькое, пестрое, простонародное личико, как бы немного примятое, с припухшими от бессонницы глазами, лошадь — по брюхо забрызганная грязью. Вид совсем не воинственный. А ведь он герой. Человек очень храбрый. Почти легендарный. Солдаты про него даже песню сложили, как я Вам уже, кажется, писал.

Справа и слева слышим звуки каких-то боевых действий. Пулеметы не смолкают. Орудийные очереди. Отдаленные, слышные крики «ура». Но нас это пока не касается.

На следующий день после переселения на вновь отремонтированную позицию наша батарея ведет огонь по закрытым целям. Впервые меня ставят наводчиком, и я, наведя орудие, выпускаю три снаряда. Телефонист, высунувшись из своего окопчика, сообщает, что мои снаряды угодили в скопление немцев, которые тут же разбежались, оставив на месте нескольких убитых.

Ночью внезапная тревога: «Батарея, к бою!» Опять стрельба. Стреляем много, часто, очередями, торопясь. Оказывается, мы отбили ночную атаку немцев.

Чувствую себя прекрасно. Даже не очень одиноко. Огрубел. Ругаюсь нецензурно и курю махорку. Зато поздоровел. Колю дрова. Хожу по воду. Да! Во время ночной тревоги впопыхах надел правый сапог на левую ногу, а левый на правую. Так и провел возле орудия весь бой.

Солдатский телеграф сообщает, что ожидаются большие события. Молитесь за Россию, которая, не жалея сил и крови своих сынов, оттягивает немецкие корпуса с запада, с французского фронта из-под Вердена. Спасаем Париж!

Получил Ваше письмо. Спасибо. Оно согрело меня, а это очень кстати: в землянке сыро, холодно, со стен течет, спать можно лишь согнувшись, да, кроме того, единственное стеклышко окна разбилось от звуков стрельбы, и теперь сидим в темноте, так как пришлось заделать дыру доской. Пишу кое-как. Дорогая Миньона, в Вашем письме поразительно верно сказано о моей теперешней и прежней жизни. Именно такое сознание и у меня: что-то навеки потеряно. Вспомнил, что еще прошлым летом, в прошлой жизни, нацарапал стишки, которые вдруг вспомнил:

«Перед вечером дорожки покропил июльский дождик, застучали тихо капли мелкой дрожью по асфальту. Перед вечером над книгой я задумался в качалке. Сонно, сумеречно, грустно было в комнатах прохладных. Я о чем-то светлом думал, я о ком-то дальнем думал, и с востока незаметно подошел душистый вечер, нежно пахло матиолой. Дождь прошел. И небо в звездах черным зеркалом каза-

лось, отражавшим душный город разноцветными огнями. А в раскрытое окошко прилетев на свет из сада, мотыльки кружились плавно над зеленым абажуром».

Тогда я, каюсь, был немного в Вас влюблен. Помните мое идиотское объяснение в любви у Вас на балконе осенью? Но почему же «я о ком-то дальнем думал»?

А славное все-таки было время. Но его уже никогда не вернешь. А сейчас у меня радость: выдали сахар. Пишите же. А. П.».

По этому письму я мог заключить, что, кроме того, что я продолжал попытки втянуть Миньону в любовную переписку, меня уже обмундировали, как полагалось по уставу (кроме папахи). И уже перестал быть волонтером-охотником в духе толстовского Оленина из «Казачков», а приобрел вид Грушницкого из «Героя нашего времени». Мне наконец выдали отличную, по-артиллерийски длинную шинель с черными петлицами, обведенными красным кантом. Мне повезло. Незадолго до моего прибытия в бригаду, осенью 1915 года, как раз где-то в районе станции Залесье или, может быть, Молодечно состоялся высочайший смотр войск Западного фронта, куда входила 64-я артиллерийская бригада. Для царского смотра солдатам выдали новые шинели, пошитые из сукна высшего качества, хотя и солдатского, так называемого гвардейского. В цейхгаузе осталось несколько таких шинелей, и мне досталась именно такая шинель с суконными погонами, на которых масляными красками по трафарету была изображена цифра 64 и над ней две скрещенные пушки; слой краски был такой толстый, что даже, высохнув, потрескался, придавая новой «смотровой» шинели вид как бы уже побывавшей в боях.

Подобные шинели солдатского гвардейского сукна без пуговиц, а на крючках были очень в моде и их носили по примеру государя императора почти все не только обер-, но также штаб-офицеры и генералы-фронтовики, щеголяя своим солдатством. Шинели были так скроены, что грудь их, застегнутая на невидимые крючки, казалась особенно красиво вышуклой.

Таким образом, моя меховая куртка была отменена, а желтый офицерский пояс заменен черным солдатским с медной бляхой, украшенной все теми же двумя скрещенными пушками. Белую романтическую папаху, ставшую довольно грязной, оставил до весны, до перехода на летнюю форму одежды. Юфтевые сапоги оставил тоже, хотя они имели неположенные ремешки на голенищах.

Я принял наконец вполне пристойный вид настоящего скромного артиллериста-фронтовика, вольноопределяющегося, солдатские погоны которого в портняжной команде бригады обшили черно-желтым шнурком, что соответствовало моему первому разряду. Выдали мне также бязевое исподнее с черными штемпелями воинской части — кальсоны с одной оловянной пуговицей и нижнюю рубаху с тесемками на вороте.

Что же теперь осталось от прошлого? Разве только киевский крестик на тонкой серебряной цепочке, который болтался на моей худой, еще мальчишеской шее, да рядом с ним ладанка, маленький холщовый мешочек с зашитым в нем зубком выветрившегося чеснока, — общепринятое средство от скарлатины. Домашнее мое исподнее белье пришло в ветхость. В сущности, от него осталась лишь клочок кальсон с двумя оловянными пуговичками, обшитыми полотном, с дырочками, смотревшими, как детские глазки. Ноги мои в вечно сырых нитяных ковриках болтались в сапогах и всегда

мерзли и натирались. Теперь же по милости фельдфебеля Ткаченко, тонкого политика, мне выдали особенно редко кому попадавшиеся портянки, но не полотняные, а суконные, обширные. Научившись обматывать ими ноги, что оказалось весьма непростой наукой, я вбил ноги в сапоги и сразу почувствовал себя человеком: ноги уже не мерзли, были в тепле, не болтались в сапогах, а угрелись, как малятки, укутанные в шерстяные одеяльца.

Хорошо было бы еще надеть на сапоги шпоры, но, увы, шпоры полагались только фейерверкерам, а до фейерверкерских нашивок следовало еще дослужиться. А пока что я был по званию всего лишь рядовой, называвшийся в артиллерии канониром. Меня утешало, что «канонир» звучало гораздо эффектнее, а главное, непонятнее, чем серое слово «рядовой». Штатские люди даже могли посчитать канонира кем-то вроде офицера. Но с точки зрения старых солдат, канонир был всего лишь самым младшим солдатским званием, как говорилось в армии, серая порция.

Я был всего лишь серой порцией, и это печально.

Мой чемодан, набитый сахаром, папиросами, печеньем «эйнem» и множеством всякой домашней чепухи, по мнению тети и папы, необходимой для фронтовой жизни, скоро заметно отоцал, сахара съеден, папиросы выкурены, глицериновое мыло смылилось, бумага исписалась.

Теперь я зависел исключительно от солдатского пайка и от посылок из дому. Паек был хороший, артиллерийский, но сахара никогда не хватало. Дома я привык потреблять много сахара, бросал в стакан чая по два или три куска, то есть по солдатским понятиям пил чай внакладку (неслыханная роскошь), так что за один день выходило кусков пятнадцать, половина месячной порции. А потом сидел на бобах и пил чай без сахара. Никто из солдат не пил чай внакладку. Это почиталось величайшим, непростительным барством, офицерской, дворянской привилегией.

Солдаты пили чай вприкуску, держа в зубах крошечный осколок рафинада, которого хватало на несколько кружек и даже иногда остававшегося на потом, до следующего чаепития. Большинство же пили чай даже не вприкуску, а вприглядку, то есть только смотря на кусочек сахара, а свой сахарный паек копили в холщовых мешочках, с тем чтобы при первой okazji послать домой, где сахар с каждым днем дорожал и вообще считался недоступной роскошью.

Когда я бултыхал в кружку большой кусок колотого рафинада, мои товарищи по оружию многозначительно переглядывались не то с осуждением, не то с восхищением: вот, мол, хоть и простой канонир, хоть и вольноопределяющийся, а позволяет себе вроде офицера. Ничего не поделаешь, как-никак барин, привык пить чай внакладку.

«Ну, конечно, когда, даст бог, выйдет из вольноперов в прапорщики, тогда заживет!»

Несмотря на все мои попытки внушить товарищам-батарейцам, что я живу на солдатском положении из соображений высокого патриотизма, желая разделить с простым народом все тяготы войны, солдаты меня хотя и не опровергали, но про себя знали, что «их Саша» тянется в прапорщики и скоро дотянется, так как имеет сильную руку в лице генеральской дочери.

А в общем, орудийцы, присмотревшись ко мне, приняли меня за своего и даже научили хорошо колоть дрова — вещь не простая.

«Я научился ровно и глубоко всаживать топор в сосновый чурбачок, поставленный на попа. Не без усилия вскидывал этот чурбачок вместе с топором вверх, поворачивал над головой и с силой обрушивал на землю, причем чурбачок разваливался пополам, и я лихо колол его половинки на отдельные поленья, так замечательно пахнувшие скипидаром. При этом в крепком морозном воздухе раздавался музыкальный звук лопающегося дерева. Я и бельё научился стирать казенным казанским мылом, серым с синими прожилками, так что и синьки не требовалось...»

(Я, извините за грубость, бегал до ветру и, сидя довольно далеко от батарейной линейки над очком специально открытого нужника, кряхтя и по-солдатски повесив на шею ремень, отчаянно боялся, что именно сейчас начнется обстрел, налетит немецкий снаряд и я буду убит при столь постыдных обстоятельствах. Так что, едва справив нужду, я поскорее возвращался, застегиваясь на бегу, при общем добродушном смехе батарейцев...)

«16-III-16 г. Действ. армия. Милая Миньона! 14 марта батарея говела. Возле козырька, под которым стоит первое орудие, устроили нечто вроде иконостаса из срубленных елочек и установили походный алтарь. Расчистили площадку и посыпали ее песком. Утрамбовали. Над орудием арка из хвойных веток и над ней буквы, сплетенные тоже из хвои: Б. Ц. Х. (Боже, царя храни.) Ранним утром нас вызвали из землянок в «церковь».

Очень пасмурный, дождливый, пронзительно-холодный день. Вокруг непроницаемый туман. Дождь пополам со снегом и ледяной крупой, которая бьет по лицам и спинам. На площадке толпа серых шинелей, потемневших от дождя. Вхожу в эту толпу; стоим лицом к хвойной арке, откуда, из-под козырька орудия, доносится голос бригадного священника. Он громко читает молитву. После этого мы по очереди подходим к походному окладному алтарю: высокие козлы с брезентовым верхом, где лежит Евангелие. Видно, как священник, в теплой рясе с каким-то военным орденом, взмахивает епитрахилью, накрывает чью-то стриженую солдатскую голову, кладет на нее крестное знамение и наскоро бормочет невнятную формулу отпущения грехов, в которой улавливаю только «да простит господь бог». Склоненная голова без головного убора поднимается, рука крестит лоб, и фигура в мокрой шинели, согнувшись, уходит в сторону, давая место другой мокрой фигуре.

Собственно, исповеди никакой нет. Одна формальность. Все делается быстро, по-походному. Вот тебе и отпущение грехов. А каких, собственно, грехов? Какие грехи у солдат?

По окончании исповеди минут через пятнадцать краткая речь священника отца Аркадия и сейчас же без промедления причастие, совершающееся так же быстро, автоматически, как и исповедь.

Три солдата почтенной наружности — два баса и звенящий тенорок — поют нечто великопостное, и от этого пения в душе у меня вдруг начинает звенеть какая-то забытая с детства струна».

...что-то увиделось, как тогда в трамвае... Великопостная синева церковных окон, лампы, стройное тихое пение хора, запах ладана...

«Потягивало ладаном. Солдат, исполняя роль церковного прислужника, машет огнедышащим кадилом. Все причащаются, и я тоже причащаюсь теплым кагором и крошкой белого хлеба, превращенными в тело и кровь Христовы.

Причащаюсь и отхожу в сторону.

И от всего этого у меня осталось впечатление склоненных, коротко остриженных солдатских голов с красными от холода ушами, на мочках которых висят капельки дождя, как сережки.

Вокруг уже не морозящий, а проливной дождь, и скука в землянке, и чувство неловкости и даже стыда от этой евхаристии перед орудием, украшенным хвойными гирляндами.

Вспомните же дождливый день в конце некоего августа на даче, срывающий все планы на свиданье в садовой беседке!

Наш бревенчатый потолок как нарочно протекает над моей головой. А назавтра — вдруг! — солнечный день без единого облачка. Нет, Миньона, Вы только представьте себе: настоящая русская северная весна, словно бы картина из «Снегурочки». Звенят жаворонки. Кричат вороны. Все вокруг ослепительно блестит: лепечут бриллиантовые ручьи, ключи, речки, сияют озера. Из каждой лужи бьет в глаза солнце. В каждом солдатском зрачке — весна. Даже колесо белорусского колодца, из которого я набираю в ведро воду, скрипит и поет, как свирель Леля.

Господи, как прекрасен мир, а мы...

Если бы мне пришлось нынче умереть, я, пожалуй, пожалел бы о своей жизни, о молодости, о любви.

Неприятельские аэропланы, перестрелка, озера небесного цвета. Война!

Кто же все это смешал воедино, какой антихрист?

Ваш А. П.».

А вот и следующее письмо:

«11 мая 1916 г. Действ. армия. Пожалуйста, пришлите мне свою фотографическую карточку»...

Однако в чем дело? Почему такой длинный перерыв в переписке? Ах да! Я все-таки добился, конечно не без содействия Миньоны, командировки и провел пасхальную неделю в тылу, в родном городе, дома.

Об этой пасхальной неделе у меня сохранились самые смутные воспоминания, хотя осталось общее представление, что именно в этот короткий период в моей душе произошел какой-то странный поворот, а телесно я превратился из юноши, почти мальчика в молодого мужчину, и этому возмужанию содействовало все вместе: и яркая южная весна, и пасхальная неделя, которую я провел совсем не так, как предполагал, а главное, то ощущение причастия, которое я принял еще на страстной неделе в действующей армии перед походным алтарем, поставленным возле орудия смерти, на батарее, с непокрытой, коротко остриженной головой, мокрой от дождя по полам с мартовским снегом.

Меня не покидал серебряный и винный вкус причастия, которое торопливо сунул мне глубоко в рот бригадный священник. Впервые в жизни я не испытал таинственного страха, восторга и умиления, принимая святую частицу тела Христова и каплю теплой его крови. Я как бы почувствовал в тот миг, что это мое последнее причастие и отрешение от церкви. Я еще не сознавал, что со мной случилось нечто непоправимое: потеря веры. Веры уже не было. Ее убила война. А церковь еще продолжала меня волновать всеми соблазнами пасхальной заутрени, бумажными цветами, кострами свечей, перевитых тончайшими сусальными парчовыми и газетовыми

ризами священнослужителей, резкими восклицаниями хора, восторгом воскресения того, кто, «смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав...».

Не знаю, даровал ли он живот, то есть жизнь, мертвому Стародубцу и тем солдатам, которые тогда ночью лежали на снегу в лужах крови...

В эту пасхальную ночь я отбросил все мучительные мысли. Судьба несла меня куда-то, не спрашивая, хочу я этого или не хочу. Все сделалось вопреки моим намерениям.

...бренча неположными мне по званию шпорами, купленными в галантерейном магазине, подтянутый, без шинели, впервые в жизни побрившийся в парикмахерской, где меня щедро обрызгали цветочным одеколоном, я окунулся в теплую мглу южной пасхальной ночи, озаренную огнями плашек, свечей, бумажных и стеклянных трехцветных коронационных фонариков, которые все же не могли затмить созвездий, висевших над городом. Созвездия как бы колыхались от слитного колокольного звона, гудевшего над крышами и ходившего тяжелыми волнами.

Не помню уже, каким образом, но я очутился в кладбищенской церкви за Привозом, среди толпы празднично разодетых мещан, христосующихся друг с другом. Незнакомая, не слишком юная девица с наркотическими глазами, прижатая ко мне толпой, сказала:

— Христос воскрес, солдатик!

Мы трижды поцеловались, и ее напомаженный рот оставил на моем лице неизгладимые следы.

Под ее праздничной кофточкой трещал корсет всеми своими пластинками китового уса, и матерчатая роза уже вываливалась из прически а-ля Вяльцева. На ее грубо нарумяненной щеке рядом с несколькими точками невыдавленных угрей была прилеплена модная в то время мушка. Модница, подумал я, и мы, пробиваясь сквозь толпу, выбрались из храма на свежий воздух, под звезды, и она, крепко взяв меня за руку своей грубоватой рабочей рукой, повела в глубину кладбища, отыскивая глазами подходящее местечко, которое было не так легко найти: всюду сидели и лежали парочки. На некоторых могилах горели свечи. Под ногами хрустела скорлупа пасхальных крашенок.

Мы быстро добрались до кладбищенской стены, где в конце кладбища уже начали хоронить погибших на фронте военных летчиков, ставя на их свежих могилах вместо обычных крестов скрещенные пропеллеры. Здесь было глухо, безлюдно, темно и пахло фиалками.

Мы разговелись салом, крупными крашеными яйцами и несладким куличом в ее маленькой комнатке, оклеенной цветными картинками из пасхальных номеров иллюстрированных журналов.

Пасхальная командировка, на которую я возлагал столько надежд, обманула меня. С Ганзей я не увиделся, так как она уехала на праздники в деревню, в имение ее отца. Миньона выздоравливала после инфлюэнцы и ходила закутанная в оренбургский платок. Дома тоже было неладно. Тетя переехала в Полтаву. Отец постарел. Жильцы, которых пустили в свободные комнаты, не платили денег.

Казалось, что все в мире разладилось...

«Простите, что до сих пор не писал Вам. Мне нет оправдания. Почему не писал? Сам не знаю. Просто так. Никому не писал. О том,

как я доехал до позиций, можете судить по стишку, приложенному к этому письму. У Вашего отца я был. Он обошелся со мной очень приветливо, и меня удивляет, почему, Миньона, Вы всегда рисуете его этакой грозой всех Ваших поклонников. Ничего подобного! Если же это так, то я исключение. Он поинтересовался, как я провел в тылу пасхальную неделю, беспокоился о Вашем здоровье, спросил, почему я до сих пор не произведен в бомбардиры, и даже поинтересовался, прислали ли мне на станцию лошадей. Он расспрашивал обо всех молодых людях, бывающих у Вас в доме, в частности припомнил верного рыцаря Вашей старшей сестрицы, небызвестного красавца студента. Ох, чувствую я, что скоро Ваша старшая сестрица сделается мадам Ольшевской.

В батарею у нас нового мало. Все по-прежнему, если не считать, что перестроены окопы, блиндажи и землянки. Стоим на прежней позиции. Чего-то ждем. Зеленеют березы. Вечера стоят тихие, розовые, какие-то необычайно чуткие. Появились майские жуки, которые поют в воздухе, как виолончельные струны. В полях какие-то простенькие цветочки: желтые, розовые, белые, голубые. В лесу есть фиалки, но они почти не пахнут, а так, лишь чуть-чуть. Раскручивается молодой папоротник. Вероятно, скоро будут ландыши, уже предчувствуешь их тонкий водянистый запах. А потом пойдут и грибы. По крайней мере, в темных глубинах леса появился грибной дух.

В городе Сморгони, который от нас в сторону неприятеля за две с половиной версты, вокруг разбитых домов, среди развалин буйно цветут сирень, конские каштаны.

Пользуясь сравнительным затишьем, я часто хожу в Сморгонь.

Эти путешествия связаны с некоторой опасностью, но так жутко интересно. Город разбит вдребезги. Повсюду из груды мусора и обгорелых балок выглядывают где уцелевшая стена с обоями, где высокая кирпичная труба. Тишина вокруг поразительная. Тишина небытия. А сады благоухают так, что с ума можно сойти. Одурманивают. Развалины заросли бурьяном. Жутко бродить по изломанным деревянным тротуарам. Город небольшой, захолустный. Идешь мимо какого-нибудь провинциального особняка с дырами вместо окон, заглянешь в палисадник, где как ни в чем не бывало разбушевались сирень и жимолость, и живо представляешь себе, как в этом самом палисадничке еще совсем недавно, в мирное время, мечтала какая-нибудь барышня литовочка или белоруска с косами белыми, как лен. Может быть, даже и целовалась с каким-нибудь студентом, приехавшим сюда на летние каникулы, или с юнкером местного сморгонского юнкерского училища, так называемым шморгонцем.

...наломаешь себе огромный-преогромный букетище сирени всех оттенков синего, лилового, розового цветов — и по глубокому ходу сообщения тащишь его домой, на батарею.

Вокруг леса, сосновые — синеватые, березовые и ольховые — янтарно-зеленые против солнца. А вечер розовый. Идешь — и в сердце грусть оттого, что некому бросить в окно этот роскошный букет сирени. Понимаете, как это печально, что некому?

Вспоминается детство, когда я крал в чужих садах сирень и, ужасно смущенный, носил ее черноволосой девочке Тане, прилежно учившей уроки под окном, поглядывая на меня, стоящего возле дома с большой рогатой веткой краденой персидской сирени в руке.

Одиноко!

Придешь домой на батарею. Уже темнеет. Вокруг заброшенные поля. Давно уже не кошенные жита и овсы. В родной землянке товарищи мои, орудийцы. Наберешь в бак для каши воды, поставишь

в него букет, сидишь на нарах и нюхаешь. Какой чудесный запах сирени! Немножко горький, миндальный, неповторимый.

А сколько этот запах вызывает воспоминаний!»

Описывая свое хождение за сиренью, я почему-то умолчал о главном. О том впечатлении, которое произвел на меня полуразрушенный костел. Проваленная черепичная кровля на трубах поверженного органа, разломанная раковина кропильницы, остатки раскрашенного деревянного распятия, опрокинутая кафедра — все это лежало на полу среди каменного мусора, покрытое остатками стрельчатых готических окон, напоминающих рыбы кости.

Я стоял по колено в мусоре, среди подавляющей тишины этих руин, тишины, быть может, еще более оглушающей, чем взрывавшиеся здесь фугасы.

Казалось, отсюда было изгнано все живое, и все-таки из трещин уже пробивалась какая-то растительность, скользнула ящерица. Дух божий продолжал присутствовать здесь, ограниченный с четырех сторон остатками готических колонн.

Прижимая к груди букет сирени, я сел на камень и как бы слился всем моим существом с могущественной тишиной разрушенного храма, тягостной, как обвинительный приговор, вынесенный не кому-нибудь другому, а именно мне. Я был обвиняемый. Моя вина была огромна и доказана. Я признавал свою вину, еще не понимая, в чем она заключается. Я только смутно подозревал: неужели судьба выбрала именно меня стать последней каплей безумия, охватившего мир?

Это я, мальчишка, второгодник, бездельник, молил у судьбы бурю. Это передо мной тянулась бесконечная, как загробная жизнь, безлюдная, раскаленная улица, и я требовал у бога войны. Неспособный к созиданию, я стал разрушителем.

Теперь все в мире по моему хотению рушилось, как обрушились эти готические своды, на обломках которых валялось раскрашенное распятие с ярко-красным сердцем, нарисованным на грудной клетке распятого.

Не я ли убил Христа? Не я ли был от рождения антихристом?

Эта догадка привела меня в ужас, который вспыхнул, как взрыв, и, не успев меня испепелить, вдруг погас и был мгновенно забыт, как слишком мучительное сновидение.

Что-то пришло у меня угнетающее, чего уже невозможно было вспомнить, проснувшись. Может быть, меня постигло мгновенное умопомешательство, умоисступление?..

«Был у нас бой. Несколько раз батарея попадала в такой переплет, что господи упаси! Например, немец бил по батарее шестидюймовыми бризантными и фугасными снарядами. Я сто раз умирал и сто раз воскресал. После обстрела вся площадь батареи оказалась изрытой, исковерканной, перепаханной, засыпанной кучами сырой земли. Ни одного живого места! Снаряды рвались за четыре-пять шагов от нашей землянки. И самое удивительное, что ни одного человека не только не убило, но даже не оцарапало. В землянку телефонистов угодил снаряд — только щепки вверх полетели, оставив лишь глубокую яму, но, представьте себе, в землянке, на счастье, не оказалось ни одного человека: все были «в гостях» в первом взводе у земляков, которые только что получили посылку из дома и угощали их нежнейшим домашним свиным салом, завернутым в хустку.

Осколок от первого же снаряда, налетевшего внезапно, пока я еще не успел укрыться в блиндаж, попал в меня, но так как снаряд разорвался далеко, тупой осколок был на излете и просто стукнул,

как камень. Даже не разорвал гимнастерку. Только синяк. Кровь, к сожалению, не пошла, а то подумайте — ранен и остался в строю. Верный Георгиевский крест! Досадно.

А бомбардира мне до сих пор не дают. Пустяки. А в команду связи телефонистом не назначают. Это уже не пустяки, это штуки Тесленко, который, кажется, меня почему-то невзлюбил.

Сегодня описывать наш батарейный быт не хочется.

Ходят слухи, что командиром нашей батареи назначается капитан Де Спиллер, а поручику Тесленко дают штабс-капитана и оставляют старшим офицером. Пожалуйста, напишите, знаете ли Вы Де Спиллера, и если знаете, то сообщите, что это за человек? Каков у него характер? И вообще...

Ради бога, пишите. Мне никто не пишет. Все меня забыли.

«Чем дальше от юга и моря, тем в сердце спокойней и проще, тем в сердце спокойней и проще и сердце полно тишиной. В открытые окна вагона дышали весенние рощи, дышали весенние рощи прохладой и мокрой землей... Заря занималась сквозь слезы, туманы скользя по елям, и пели в садах станционных, в росистых садах соловьи...»

Не сердитесь на эти дилетантские стишки, где смешались две пасхальные поездки: с фронта в тыл и из тыла на фронт. Я ведь ни на что не претендую. Но они посвящаются Вам. Вы же знаете, что я Вас люблю».

И тут я соврал.

«Нет, не тебя так пылко я люблю...»

«На одной станции на рассвете я увидел на платформе две фигуры, стоящие под высоким деревом с шапками вороньих гнезд. Это была курсистка в маленькой шапочке пирожком и рядом с ней студент с длинными семинарскими волосами из-под фуражки.

Около них виднелся жалкий багаж: баульчик, плед с подушкой, затянутыми двумя ремнями с деревянной ручкой, стопка книг. Кто они? Куда едут? Что ждет их в жизни? Брат и сестра? Жених и невеста? Я увидел их заспанные счастливые лица, чуть тронутые приливающим светом весенней зари, такие милые, такие русские, такие провинциальные.

Но паровик свистнул, эхо полетело куда-то в лесную даль, и эта жанровая картинка, как бы специально написанная художником-передвижником для весенней выставки, поехала назад и скрылась навсегда, оставив в сердце чувство умиления и странной горечи.

Извините за лирические отступления. Ваш А. П.»

И вот опять начались мучительные приливы неразделенной любви. Как же это все-таки случилось? — в сотый раз задавал я себе праздный вопрос. Ну ходили за фиалками. Ну, когда она сняла шапочку, коса раскрутилась, рассыпалась, и на ее незаметное лицо упали волосы с золотистыми кончиками... Ну, потом я стал подниматься к себе на четвертый этаж, машинально считая ступеньки, что сохранилось у меня с детства, так же как привычка переступать через тени деревьев: между первым и вторым этажами было сорок четыре ступеньки, а между остальными по сорок пять. Лестничный марш с четным количеством ступенек считался счастливым, а с нечетным — несчастливым. Но в тот вечер все лестничные марши казались мне счастливыми потому, что меня как бы незримо сопровождала Ганзя или, во всяком случае, ее душа, в то время как

она сама, ее телесная оболочка осталась внизу пить чай у Калерии и Вольдемара.

Не зажигая огня и не снимая шинели, я распахнул окно в своей крошечной отдельной комнатке и боком сел на подоконник. С моря дул ровный ветер, и казалось, что звезды дрожат не то от этого ветра, не то от весенней сырости.

Я перегнулся вниз до тьмы черного двора, куда падал свет из окон первого этажа, где в данное время находилась Ганзя и, вероятно, пила чай вместе с Калерией и Вольдемаром. У меня закружилась голова, плечи дрожали, я боялся упасть вниз с четвертого этажа. Я еще не вполне оправился после скарлатины, которой переболел зимой, и поход за фиалками был первой длительной прогулкой после выздоровления.

Красивую, но носатую Калерию я отверг, а с ее братом Вольдемаром сблизился.

Вольдемару уже пошел двадцатый год, и он казался мне вполне взрослым мужчиной, чуть ли не пожилым человеком с черными усиками и небольшими, косо подбритыми бачками, хотя, в сущности, он был таким же гимназистом, как я сам. Он учился туго, часто оставался на второй год, хотя был усидчив, педантичен и старателен.

В его высоком, как бы сломанном голосе, стройной, несколько старообразной фигуре, волосатых руках, в правильном красивом лице и тщательной прическе было что-то, как мне тогда казалось, приказчиье.

...Такие молодые люди обыкновенно играют на мандолинах...

У него был высокий тенор неудачника, и когда он пел своим надорванным фальцетом романсы, то непременно на самой высокой ноте или срывался, или до того вытягивал шею, будто хотел дотянуться прической до потолка. И когда Вольдемар пел для гостей под аккомпанемент сидящей за пианино Калерии, я испытывал за него чувство неловкости.

Кроме того, будучи в душе натурой артистической, Вольдемар считал себя художником и писал масляными красками разные картинки, злоупотребляя черной краской в неразбавленном виде. Когда же я говорил ему, что чисто черного цвета в природе, а особенно в живописи, вообще не существует, то он мне снисходительно, как старший младшему, улыбался и, показывая на свои гимназические брюки, говорил своим высоким тенором:

— А брюки, по-вашему, какого цвета?

И был уверен, что прав и остроумен.

Рисовал он — именно рисовал красками, а не писал — главным образом портреты вымышленных красавиц или пароходы в открытом море, очень тщательно вырисовывая в женских портретах черные прически, брови и глаза, а в пароходах — мачты, спасательные круги, снасти, шлюпбалки, иллюминаторы и клубы очень черного дыма, выходящего из наклонных труб. На спасательных кругах особо тонкой кисточкой он выводил славянской вязью название парохода: «Русь», «Варяг» или что-нибудь вроде этого, патристическое, — а также изображал бело-сине-красный кормовой флаг, как бы желая еще больше подчеркнуть свой патриотизм.

Волны у Вольдемара на картинках всегда выходили светло-зелеными, зубчатыми, с зигзагами пены — в духе Айвазовского.

Пароходы и море изображал он с таким знанием дела потому, что отец его плавал на пароходах Добровольного флота старшим механиком, и я иногда видел его во дворе, по которому он проходил, отправляясь в рейс, в черной военной фуражке с белыми кантами, по-нахимовски надвинутой на затылок, в короткой, как бы горбатой,

тоже нахимовской шинели, держа в руке загадочный ящичек палисандрового дерева, содержащий в себе какой-то драгоценный прибор особой точности.

Вольдемар до страсти любил сниматься и дарил свои фотографии знакомым с цитатами из Кольцова или Апухтина. Снимался он на Дерibasовской улице в «Электрофотографии» и всегда в разных позах, но с одинаковым выражением красивого лица. Несмотря на нашу видимую дружбу, я и Вольдемар никак не могли сойтись на ты и говорили друг другу вы, в чем заключалось нечто тайно-враждебное.

Калерия сразу же поняла, что сделала непростительную ошибку, затеяв глупейшую прогулку за фиалками и познакомив меня с Ганзей. Ей стало ясно, что я потерян для нее навсегда:

Случилось то, что не могло не случиться.

Как только Ганзя стала перечесываться и Калерия посмотрела на меня, она поняла все даже раньше, чем понял это я. Слезы покапались по ее прелестным щекам и по крыльям большого носа.

Но уже было поздно и ничего нельзя было поправить.

...Я сидел на подоконнике и упорно думал о Ганзе. Она уже полностью овладела моей душой. Почему? Кто на это ответит? Быть может, это самая великая тайна жизни.

Мне представлялось, что я нахожусь на пороге прекрасной, небывалой любви. У меня на душе было так чисто, ясно, просто, я не сомневался, что стоило бы Ганзе приглядеться ко мне, узнать меня поближе, то она сразу бы полюбила меня, потому что я особенный. я почему-то ни на миг не сомневался.

Эта уверенность была во мне так крепка и естественна, если можно выразиться — так врожденна, что я не только не пытался ее объяснить, но даже вряд ли ощущал ее в себе. Она была таинственной предпосылкой моего бытия, нечто как бы дарованное мне какой-то высшей силой.

Впоследствии я понял, что появление мое на свет божий от меня не зависело, так же как от моей воли не зависело ничто.

Все зависело от случайных обстоятельств. Необъяснимые обстоятельства сделали меня единственным и неповторимым, точно так же как единственным и неповторимым чувствует себя каждый человек, появившийся в мире.

Высшие силы распорядились моей судьбой. Высшими силами были обстоятельства. Даже любовь явилась следствием не зависящих от меня обстоятельств ранней весны, морского ветра, мигающих звезд, освобожденных из-под котиковой шапочки волос и шпилек, набранных в бесцветные, скорее женские, чем девичьи, губы.

Она все время была рядом с ним невидимкой.

То, что она была почти невестой Вольдемара, не имело для меня никакого значения, потому что я в это не верил, не мог верить. Мне казалось, что я уже давно, с незапамятных времен, знаю и люблю Ганзю, что было бы странно, если б я не любил ее, что ее нельзя не любить и я буду ее любить всю жизнь, как бы длинна моя жизнь ни оказалась.

Стало холодно.

Я слез с подоконника и захлопнул окно, в стеклах которого мелькнули и закачались звезды. Я включил электричество, и моя крошечная комнатка с выбеленными стенами, предназначенная, по мысли архитектора, для прислуги, но доставшаяся мне, так как ку-

харку переселили в кухню, показалась мне такой же особенной, неповторимой, каким был я сам, отгороженный от всего мира.

Я положил локти на жиденький письменный столик рыночной работы с неряшливыми гимназическими учебниками и тощими тетрадами, погладил свой нафиксатуренный пробор и решил, что новое положение впервые в жизни полюбившего человека обязывает меня завести дневник и подробно описывать в нем все свои чувства. Все так делают. По обстоятельствам всеобщности я уже неоднократно начинал дневник и тут же бросал его за неимением значительных, важных событий жизни, а также за неимением мыслей.

Теперь же со мной случилось не только нечто важное, значительное, но единственное на всю жизнь, и мне захотелось немедленно же выразить то странное душевное состояние, в котором я находился. Я вынул из ящика новенькую, еще скрипучую общую тетрадь в черном клеенчатом переплете, купленную специально для домашних работ по алгебре (красный обрез, страницы в клетку), развернул ее слипшиеся листы и на первой странице написал красивым почерком: «Дневник Александра Пчелкина». Затем подумал и написал внизу: «Весна 1914 года».

Подождал, когда чернила высохнут, перевернул страницу и задумался. Только что мне казалось, что повествование о любви с первого взгляда польется само собой, а теперь находился в затруднении, не зная, что же, собственно, нужно писать, с чего начать. Не худо бы, думал я, все, что случилось, изобразить по порядку: сначала как я пришел к Вольдемару и Калерии и вдруг увидел в столовой незнакомую девочку-гимназистку Ганзю, как мы познакомились и как она сказала: «А я вас представляла по описаниям Калерии совсем другим». Потом поход за фиалками и прочее.

Однако в этом не было ничего достойного тех чувств, которые охватили меня. Значит, следовало начать как-то иначе. Но как? Начну просто, подумал я, — я полюбил, а потом уж пойдет все само собою: как? почему? когда?

Я тер голову руками, но так ничего и не мог придумать, потому что на самом деле писать было не о чем.

Я старался сосредоточиться, силился представить себе Ганзю, описать ее возможно подробнее, объяснить, почему я ее полюбил, а вместо этого мне представлялась желтая полоса зари за каким-то цветочеством, бегущие трамвайные столбы, деревья, Калерия в касторовой форменной шляпе, весело рассказывающая про какую-то гимназическую подружку, толстую дурочку, перепутавшую что-то на уроке естественной истории и не умевшую сказать, что на что падает — рыльце на пыльцу или пыльца на рыльце...

Я встал со стула, прошелся по комнатке, отделявшей меня от всего громадного мира, подошел вплотную к оконному стеклу, отразившему мой нос и блестящие пуговицы моей черной гимназической куртки, возвратился к столу, снял пальцами с пера волосок, вытер испачканные чернилами пальцы о брюки и написал:

«Я полюбил».

Поставил многоточие и больше уже ничего не мог придумать. Так и осталась на всю жизнь эта единственная недописанная строчка...

«15-V-16 г. Действующая армия. Милая Миньона. Вы, кажется, интересуетесь нашим бытом? Извольте.

Вообразите себе, что у нас на батарее нечто вроде «мобилизации промышленности», как сейчас любят писать газеты. Возле четвертого орудия открылся ложечный завод. У нас на фронте это не ново. Солдаты — народ сообразительный, привыкли применяться к обстановке и местности. Извлекают пользу из чего только можно. Теперь у нас,

солдат-батарейцев, не встретишь традиционной деревянной ложки. Теперь мы все хлебаем борщ алюминиевыми ложками уже не деревенского фасона, а вполне городского.

Дело вот в чем.

Дистанционные трубки шрапнели и головки некоторых видов других снарядов изготавливаются преимущественно из алюминия. После артиллерийских дузлей дистанционными трубками и боевыми головками немецких снарядов вокруг нашей позиции усеяна земля.

Предприимчивые батарейцы собирают их, как грибы, затем плавят на огне и отливают в формы. Получаются очень приличные алюминиевые ложки. Место их производства называется в духе времени — «литейный завод».

Теперь представьте себе, милая Миньона, такую картину: среди елочек, маскирующих батарею, возле блиндажа четвертого орудия — куча песка, пылает костер, пахнет горелым, и в песке возятся, как дети, наши солидные, многосемейные батарейцы.

Что же происходит?

В костре стоит стакан стреляного орудийного снаряда, в котором плавится алюминий. В кучке песка копается с засученными рукавами гимнастерки мой друг бомбардир-наводчик, бывший рыбак с Голой Пристани Прокоша Колыхаев. О нем я уже Вам, кажется, писал. Русоусый симпатичный дядька.

Он поглощен работой — весь внимание. Он делает из песка литейную форму. Работа аккуратная, чистая.

Маленький немец-колонист из Малой Акаржи по фамилии Веварт сидит возле костра на корточках и закуривает от уголька сигарку. На его обязанности лежит поддерживать огонь и подбрасывать в костер сухой валежники.

Сибиряк Горбунов колет дрова.

Возле Колыхаева разложено уже штук пять готовых, но еще не отшлифованных алюминиевых ложек. Они еще грубые, пористые, шершавые.

Колыхаев расчищает ровную гладкую площадку, посыпает ее слоем мелкого песочка. Затем берет деревянный ящичек без дна — ящичек от посылки, — набивает его мокрым песком, утрамбовывает своей могучей ладонью, намозоленной еще в мирное время веслами, и вдавливают в песок одну уже вполне готовую и отшлифованную ложку. Потом с величайшей осторожностью он переворачивает ящик и накладывает его вниз вдавленной ложкой на песчаную площадку. Опять трамбует все это литейное сооружение и с такой же осторожностью поднимает ящик. Затем бережно извлекает из мокрого песка ложку, прокладывает круглой палочкой желобок для расплавленного алюминия и опять накладывает одну половинку уже пустой формы на другую.

Все это продельвается с чрезвычайно серьезным лицом, с видом собственного достоинства.

Немец-колонист Веварт сует палочку в шрапнельный стакан, где плавится алюминий. Палочка загорается.

— Колыхай, металл уже готов, — говорит Веварт на своем ломаном языке. — Белый, как мильх, как молоко, как сметан.

Колыхаев берет заранее приготовленные две палки, связанные вместе с одного конца телефонным шнуром, ухватывает ими раскаленный стакан.

— А ну тикай, тикай! — кричит он, устремляясь от костра к литейной форме. Палки на глазах обугливаются и дымятся. Колыхаев действует быстро, уверенно, сноровисто. Пока палки еще окончательно не загорелись, Колыхаев наклоняет шрапнельный стакан над формой, и тонкая струйка молочно-белой светящейся жидкости льется в желобок.

Готово!

Батарейцы окружают литейную форму и терпеливо ждут, когда металл остынет и настолько затвердеет, что готовую отлитую ложку можно будет вынуть из формы. Вскоре песок выбивают из ящика. В его сероватой горке поблескивает белая новорожденная ложка. Ее извлекают на свет божий. Она еще горяча, и Колыхаев любовно перебрасывает ее с ладони на ладонь. Полюбовавшись своим изделием, он присоединяет ее к другим еще не отшлифованным ложкам.

В стакан бросают обломки неудачно отлитых ложек, дистанционные трубки, разную алюминиевую мелочь, и все начинается снова.

Может быть, я неточно, бестолково и непонятно описал Вам, дорогая Миньона, процесс изготовления алюминиевых ложек, но, вероятно, я сам нечто вроде неудачно отлитой алюминиевой ложки и меня надо заново переплавить. Как Вы думаете?

Колыхаев так усердно старается потому, что ему хочется непременно сделать собственными руками ровно дюжину алюминиевых ложек, чтобы, когда поедет в отпуск, отвезти их в подарок своей жинке, о которой мы ничего толком не знаем кроме того, что ее зовут Нина. Или, как он говорит, «моя дорогая супруга Ниночка». В свободное время он шлифует свою дюжину, доводя ее до блеска. Вот это называется любовью!

Остается одно — постараться остаться в живых, дожидаться своей очереди и поехать домой на побывку, захватить заодно с дюжиной алюминиевых ложек, также фунтов десять ржаных сухарей, насушенных из остатков хлебного пайка, и мешочек сэкономленного рафинада.

Солдатский телеграф сообщает, что у нас в тылу начинается голод.

...Но едва Колыхаев успел отлить очередную ложку, как из своего окопчика высовывается дежурный телефонист:

— Батарея, к бою!

И мирная картина вмиг меняется.

Вот Вам одна из подробностей нашего быта. Извините, прерываю письмо. Сейчас будем стрелять. Черт бы его побрал!. Ну вот, слава богу, благополучно отстрелялись. Вы не думайте, что стрелять мы не любим. Стрелять мы любим, это наше постоянное занятие. Но, к сожалению, после каждой стрельбы полагается чистить дуло орудийного ствола, а это занятие тяжелое, хлопотливое, надоедливое, и мы его терпеть не можем.

Чистят орудийный ствол так называемым банником. Банник — это длинная круглая палка, состоящая из двух свинчивающихся половинок. В развинченном виде банник обычно прикреплен к лафету. Когда баннику надлежит идти в работу, обе половинки свинчивают и к концу одной из них еще привинчивается цилиндрической формы щеточка. Получается длинная палка с вращающейся щеткой на конце.

Опишу Вам процесс чистки дула орудийного ствола, который производится следующим образом, будь он проклят! Прежде всего ствол орудия приводится в строго горизонтальное положение, а затвор открывается. В самой чистке участвуют все восемь номеров орудийной прислуги под строгим наблюдением фейерверкера. Номера обносят банник вокруг пушки и останавливаются перед дулом. Фейерверкер поливает щетку банника керосином, и орудийцы, взявшись все вместе, осторожно вводят банник в канал ствола, что дело совсем не простое, так как щетка идет туго. Раз десять полагается провести банник туда и обратно из конца в конец канала ствола. А это не так-то легко.

Но это лишь начало!

После того как канал ствола прочищен как следует керосином, щетку обертывают чистой полотняной ветошкой, и снова начинается чистка — туда и обратно, — на этот раз для того, чтобы вытереть насухо от керосина. Тоже раз десять. Мускулы рук устают от напряжения.

Теперь канал ствола чист. Орудийный фейерверкер, зажмурив один глаз, заглядывает в ствол, как в подозрную трубу, внутри которой винтовая нарезка очищена до зеркального блеска.

Но тут появляется монументальная фигура фельдфебеля подпрапорщика Ткаченко. Он отстраняет величественным мановением руки орудийного фейерверкера и заглядывает сам, лично, в канал ствола своим хозяйским глазом. Не дай бог, если он обнаружит на зеркальной поверхности стали хоть одно пятнышко! Тогда процедура чистки начнется снова, а орудийному фейерверкеру — два наряда вне очереди! Однако бог миловал. Фельдфебель не имеет претензий и величественно удаляется, заложив руки за свой кожаный желтый пояс офицерского образца.

Однако это еще не все.

Теперь надлежит смазать канал ствола орудийным салом, которыми обильно покрывают щетку, обернутую новой ветошкой, и наконец, как выражаются с досадой орудийные номера, — опять двадцать пять!

Короче говоря, чистка орудия продолжается часа полтора и повторяется каждый раз после стрельбы, даже если был произведен хотя бы один выстрел.

От чистоты канала ствола зависит точность стрельбы, которой мы особенно гордимся.

Зато потом, заглянув в ствол, я вижу витые зеркальные нарезки и маленький кружочек голубого неба с верхушкой елки.

Отбой!

Но так как батарее приходится стрелять по три, по четыре, даже по пять раз в день, то жизнь наша превращается в сплошную мучительную чистку орудий. Я думаю, что чистка орудий — самое ужасное следствие войны!

Ах дьявол!.. Простите... Прерываю письмо, так как опять зовут чистить орудие. Бегу, бегу. Ваш А. П.».

Я откладываю в сторону письмо и, вытирая платком утомленные чтением своего же молодого, неразборчивого почерка, слезящиеся, слабые глаза, вспоминаю свою жизнь на батарее.

...«Литейный завод» работал полным ходом не только у нас на позиции, но также и в резерве и на передках у ездových. Была даже, помнится, установлена рыночная цена на алюминиевую ложку. Сорок копеек штука.

Куда ни посмотришь, всюду сидят солдаты и, согнувшись, шлифуют только что отлитые шершавые алюминиевые ложки наждачной бумагой.

Во время одного из очередных обстрелов немцами нашей батареи налетевшая бомба, как на грех, угодила прямо в «литейный заводик». После этого непрошеного визита «литейных цех» оказался на крыше землянки в другой батарее. Дровишки, приготовленные для костра, обращены в труху, а куча чудесного речного песка исчезла вообще, рассеялась от взрыва.

Наши батарейные остряки говорили, что герман (то есть немец) нарочно из любезности пустил свой снаряд вместе с алюминиевой

дистанционной трубкой прямо в стакан, чтобы не затруднять наших производителей ложек.

Солдаты изобрели еще один вид окопной промышленности. Они научились красить белую материю в защитный, зеленый цвет. Делалось это очень просто. В котле кипятится на костре вода, бросаются в нее болотная трава, крапива, березовые листья, лопухи и тому подобные «красящие вещества». Когда настой хорошенько уварится, приобретет темно-зеленый цвет, в котел бросают исподнюю бязевую рубаху и кипятят часа полтора. После этого рубаха оказывается окрашенной в отличный защитный цвет и превращается из нижней в верхнюю, в гимнастерку.

По вечерам, если нет стрельбы, у нас музыка и танцы. Играют на гармонике, на скрипочке и... на лавровом листе, добытом у повара. На батарейной линейке у правого фланга на самодельной скамье, вбитой в землю, сидят трое солдат: гармонист Фока Терещенко, называющий себя почему-то Абдул Фарис из Батума, работающий парень с чересчур крупным носом, высокий, нескладный, как Петрушка или Ванька Рутюто уличного кукольного балаганчика, затем канонир Куликов, играющий на чрезвычайно маленькой, почти детской скрипочке, и еще некая неизвестная нам личность, солдат из резерва. Он засунул в рот лавровый лист и извлекает из него тонкие жалобные звуки, не совпадающие со слитными звуками гармоники и скрипки. Однако именно это несовпадение и создает какую-то необъяснимую прелесть мелодии».

Несовпадение... Да, именно несовпадение, подобное несовпадению моей странной, необъяснимой, вечной любви к Ганзе со всем окружающим меня миром, со всей моей жизнью отчаянное несовпадение. Но такова уж, видно, была моя судьба.

Звуки гармоники, скрипки и лаврового листа почему-то до слез напоминали мне Ганзю, которую я никак не мог себе представить, а только всей душой чувствовал, что она как-то незримо, бестелесно присутствует в мире.

Мелодия моей любви.

«Гармоника испорчена, у нее западает несколько клавишей. И в этом тоже есть какая-то необъяснимая прелесть несовершенства.

Перед музыкантами большой круг хорошо вытоптанной земли. Батарейные танцоры посреди этого круга щеголяют друг перед другом четкостью и выделанностью танцевальных па. Преобладают танцы салонные — полька-кокетка, полька-стоп, вальс «На сопках Маньчжурии», венгерка и прочие. Но есть танцы и характерные, русские народные: казачок, барыня, классический малороссийский гопак.

Не знаю, может быть, я и ошибаюсь, но мне всегда кажется, что в этих танцах, порою и неуклюжих, есть и красота и грация. Вот, например, пара: взводный фейерверкер второго взвода в паре с телефонистом-наблюдателем Марченко. Трио играет польку-стоп. Крепкая, мощная фигура взводного плавно, ритмично нагибается; ноги ходят ходуном, и нежно побрякивают шпоры. Наблюдатель Марченко — совсем иное дело. Он танцует как бы неподвижно — танцует, не передвигаясь по площадке, стоя на одном месте, танцует выражением лица, глазами, бровями, губами, осанкой, всей фигурой. Самый процесс танцев для него не важен. Скорее он не танцует, а статично переживает музыку, ее мотив, ритм.

Любил я солдатские танцы! И было мне грустно, да и сейчас жадко, что не научился я танцевать. Сколько радости потерял я в жизни...

...вот выходит в круг здоровенный, плотный, даже толстый, что редко бывало среди солдат, хохол по прозвищу Тарас Бульба, старший фейерверкер, кавалер двух Георгиевских крестов, и начинает гопак. Он тоже, собственно, не танцует, а плавно выступает и время от времени выкрикивает нечто веселое, озорное, вроде:

— И-и-эх-ма! Пошел! Веселей, не жалея! И-и-эх!

Глядя на его огромную фигуру и круглое обширное лицо, более всего похожее на смеющееся солнце, все зрители помирают со смеху.

А тем временем где-то слева за лесом уже давно кипит ужасная артиллерийская перестрелка, от которой тяжело вздрагивает земля. Скоро, наверное, дойдет и до нас.

«Действ. арм. 27 мая 916 г. А вот Вам, дорогая Миньона, чтобы Вы не скучали, для развлечения — фантастический роман, как бы вроде «перевод с английского» в духе обожаемого Вами Локка, но сочинения Александра Пчелкина.

Итак, начинается роман:

«— Миньона! Какими судьбами? Главное, каким сверхъестественным образом?»

Все это было так невероятно, так похоже на сон, что у меня в первую минуту не нашлось ничего другого, кроме этих банальных восклицаний.

Она подняла на меня свои серовато-сиреневые глаза и, чуть-чуть улыбаясь, промолвила:

— Вы, кажется, меня не ожидали.

Я молчал, придумывая, что бы предпринять, если все это окажется не сном, а действительностью.

Я был ошеломлен.

Миньона провела своим кочашьим язычком по губам и протянула мне руку.

— Ну здравствуйте. Как поживаете?

Я пожал ее нежную ручку, нерешительно помял в своей отвратительной невымытой лапе и, перевернув, поцеловал в розовую ладошку.

Она звонко рассмеялась:

— Фу, какой вы смешной и... глупый.

Признаться, вид у меня был в ту минуту не очень умный. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Войдите в мое положение: быть дневальным на новой, только что построенной саперами и еще не занятой артиллерийским взводом позиции в полуверсте от немецких окопов, сняв сапоги, греть на костре в котелке воду для чая, обернуться и вдруг увидеть ее здесь, наяву,— исключается всякая вероятность, и тем не менее... Однако!.. Гм... Я думаю, что не только меня, но всякого нормального человека подобное явление поставило бы в тушик в угол носом.

Впрочем, мое смущение продолжалось недолго. На всякий случай я ущипнул себя за ухо, убедился, что не сплю, и решил быть невозмутимым.

Бывают же на свете чудеса.

— Миньона... Миньночка... Но... какими же все-таки судьбами?

Она неопределенно махнула рукой, и я понял, что это, в сущности, не так важно.

— Садитесь,— сказал я,— за неимением дивана вот сюда, на траву. Я так давно вас не видел. Дайте же на себя посмотреть.

Она села рядом со мной на траву, подобрала под себя ноги в туфельках номер тридцать четыре и тут же съехидничала:

— Во-первых, вы меня видели сравнительно недавно, на пасху, но вам тогда, кажется, было не до меня. А во-вторых, нечего на меня смотреть так внимательно: я такая же, как всегда.

И действительно она была совершенно такой же, как всегда, как дома. Как на балконе. Белая матроска с большим желтым шелковым бантом, серенькая юбка; коротенькие кудряшки, перехваченные темной лентой. Лицо кукольное и от носика к роту характерная складка. Все как следует, туфельки ничуть не запачканные. Шляпы нет. Как будто бы она только что вышла из дома пройтись по Французскому бульвару, да и прошла совершенно случайно, незаметно, мгновенно тысячу верст от Одессы до наших передовых позиций, что случается только в фантастических романах.

А может быть, как-то перенеслась по воздуху, даже туфелек не испачкала.

— Однако у вас здесь, на позициях, недурненько,— сказала она,— хотя офицеры неважнец. Грязные такие. Закопченные. Да вы сами тоже не особенно... Надеюсь, вы меня угостите чаем?

— Это можно,— ответил я,— вопрос только: есть ли у вас сахар?

Она с удивлением посмотрела на меня.

— Одну минуточку,— в замешательстве пробормотал я,— я сию минуточку сбегая к пехотинцам в штаб батальона, там дежурит наш батарейный телефонист, может, у него разживусь сахаром, кстати и заваркой. А вы пока что постерегите котелок. Как только вода закипит — снимите.

Она понимающе кивнула. Я сорвался с места и ринулся к высокой железнодорожной насыпи, где виднелась землянка телефонистов пехотного батальона. На бегу я обернулся: она сидела возле костра на зеленой травке среди желтых, белых и синих луговых цветов. Она и сама была похожа на цветок.

Сердце мое дрогнуло. «Милая!» — подумал я и хотел послать ей воздушный поцелуй, но в этот миг вспомнил что-то важное и крикнул ей издали:

— Да! Еще вот что: если в блиндаж полезут пехотинцы, гоните их ко всем чертям, а то они порастацат все доски!..

Она кивнула.

Пока я бегал в штаб батальона и унижался перед телефонистами, умоляя позычить до следующей выдачи десять грудок сахара, заварку чая и кусок сала (хлеб у меня был), Миньона сидела и с любопытством разглядывала местность, куда она попала по воле автора этой фантастической повести.

Что же она увидела?

Справа шагах в ста тянулась высокая железнодорожная насыпь линии Минск — Вильно, надежно прикрывая нашу артиллерийскую позицию от глаз неприятельских наблюдателей. Под насыпью виднелись серые бугорки землянок, над которыми вился легкий дымок. Слева белели свежими сосновыми бревнами и обшитыми досками два резервных блиндажа, куда в случае наступления немедленно будут выдвинуты два наших орудия, так сказать, «кинжальный взвод». Эти блиндажи я и послан был охранять. Невдалеке от блиндажей извивалась, блестя на солнце, и тихонько журчала маленькая речушка, даже не речушка, а скорее ручей. В ярком небе плыли все еще как бы пасхальные облака. За железнодорожной насыпью, на переезде кудрявились березы, и далеко впереди, за бугром как декорация рисовался разбитый снарядами мертвый город. Из пожарища торчали остатки кирпичных стен и печные трубы, вокруг которых как ни в чем не бывало зеленели цветущие сады... Продолжение следует»...

Прочитав это, я усмехаюсь. Вот, оказывается, на какую хитрость пустился я, чтобы убить двух зайцев: описать свою фронттовую жизнь и в то же время поддержать полулюбовные отношения с генеральской дочкой. Выдумка с фантастическим романом давала для этого полную возможность.

«Д. арм. 1 июня 916 г. Фантастический роман без заглавия. Перевод с английского. Продолжение.

«Глава вторая. Через десять минут я вернулся из штаба батальона; подходя к ручью, у меня было опасение, что Миньоны я не увижу и вся эта история окажется не более чем плодом моего воображения. Но о счастье!

Она сидела в траве на прежнем месте между моими сапогами и серебряными извилами ручейка, вся в полевых цветах и сама, как уже было замечено, похожая на цветок.

— Ну как, моя дорогая,— спросил я,— вода в котелке закипела?

— Вода? А разве она должна была закипеть?— спросила Миньона, сделав большие глаза, и засмеялась, хотя ее смех показался не вполне уместен, так как вода в котелке клокотала и уже выкипела наполовину.

Я вздохнул, снял котелок с огня и бросил в кипящую воду щепотку заварки, добытую у телефонистов путем некоторых унижений. Я расстелил на траве носовой платок, который, к счастью, выстирал рано утром в ручье, положил на него кусок свиного сала, четверть пайковой буханки ржаного солдатского хлеба и десять грудок рафинада. Потом я сбегал в блиндаж, который охранял, захватил шинель, бинокль и единственный сдобный сухарь— высушенный ломоть пасхального кулича, привезенного мной из дома. Шинель я разостлал для Миньоны, сам сел подле нее на траву, и мы принялись за чай.

До сих пор я воображал, что Миньона питается исключительно утренней росой, цветочной пылью, лунным светом и запахом фиалок. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что полфунта свиного сала как не бывало! Сдобный сухарь под ее жемчужными зубками перешел в область самых отвлеченных воспоминаний. А опустошенный котелок стоял в траве как надгробный памятник, будя грустные воспоминания о девяти отошедших в вечность грудках рафинада.

Лично я съел кусок черного хлеба, сгрыз последнюю грудку сахара и взглянул на мир еще более оптимистично.

Да и можно ли, о читатель, смотреть на мир иначе, когда вокруг нежное, солнечное утро, десять часов, роса на полевых цветах еще не высохла, у ног щебечет ручеек, а рядом с вами очаровательное существо с большими серо-лиловыми глазами, маленькими ручками, еще более маленькими ножками в туфельках номер тридцать четыре и волшебным именем Миньона?

Да-с!

— А теперь поболтаем,— сказала Миньона, облизывая кошачьим, как уже упоминалось, язычком прелестные губки, созданные не для свиного сала, а для поцелуя.— Объясните, где мы с вами сейчас находимся? И почему в то время как идет война, вы болтаетесь здесь без всякого дела?— И в ее девичьем голоске прозвучала генеральская нотка.

— О прелестная!— ответил я.— Находимся мы возле города Сморгонь, развалины которого вы видите, если можно так выразиться, на горизонте. А нахожусь я здесь, в непосредственной близости от неприятеля, в качестве сторожа, дневального. Сторожу же я вот эти два новеньких оружейных блиндажа в три наката. Мой взвод— две трехдюймовки— скоро перейдет в эти хорошенькие блиндажики

и в должный срок неожиданно ударит по немцам с самой близкой дистанции, и даже, может быть, прямой наводкой, картечью. Через два часа, ровно в двенадцать, меня сменит другой дневальный, и я должен буду возвратиться обратно на батарею...

Она не дослушала и, прижавшись ко мне, с ужасом прошептала: — Боже мой! Вы меня пугаете. Мы находимся в непосредственной близости от немцев? В таком случае у меня одна надежда на вас. Не оставьте меня!

— О, не бойтесь! Со мной вы как за каменной стеной! — воскликнул я, ловя себя на глупом желании поцеловать ее в шею.

В этот миг за железнодорожной насыпью тяжело бухнуло, раздался сверлящий свист, и высоко над нашими головами пронеслась немецкая граната. Я по привычке сразу же припал к земле и потянул за собой Миньону. Мы услышали сухой дробный разрыв снаряда, и через некоторое время вокруг нас пропело несколько осколков. Немец стрелял через наши головы по ближнему лесу.

Миньона лежала у меня на руках как убитая. Лоб ее был холоден, а руки горячи. Я растер ей виски платком, смоченным остатками чая. Она очнулась.

— Миньона, дитя мое, — прошептал я, — не бойтесь. Это далеко. Это неопасно. Это обычно.

Она виновато посмотрела на меня.

— Если это обычно, тогда я не буду больше бояться. Я уже не боюсь.

В это время ударил второй пушечный выстрел. На этот раз она не вскрикнула и не упала в обморок. Я сунул ей в руки бинокль «цейс»:

— Смотрите туда.

Она приставила бинокль к глазам и посмотрела туда, куда я ей показывал. До нас долетал грохот взорвавшегося снаряда.

— Ах, как забавно! — восхищенно воскликнула она. — Жаль, что здесь нет моих сестричек. Вот бы тоже полюбовались взрывом. Пропели осколки.

Потом я повел ее в Сморгонь посмотреть развалины. Ведь в фантастическом романе все может случиться.

Мы долго бродили по грудам обгорелых кирпичей, по запущенным садам, забирались на обгорелые чердаки разбитых снарядами домов. Наломали громадный букет отцветающей сирени. Она посмотрела в сторону полуразрушенного костела, стоявшего как призрак.

— А туда можно? — спросила она.

— Туда нельзя, — почти с ужасом ответил я, вспомнив расколотую раковину кропильницы, поверженное распятие и красное деревянное сердце на грудной клетке мертвого спасителя.

И я обошел костел стороной, как убийца, который преодолевает чувство притяжения к тому месту, где он совершил преступление.

Мы молчали. Между нами как бы стояло видение полуразрушенного храма с поверженным в прах распятием богочеловека. А он был так хорош. А мы были так молоды... Продолжение следует». А. П.».

Продолжения не последовало; моя фантазия исчерпалась. Но главное, конечно, было не в том, что фантазия исчерпалась. Исчерпалась вера в то, что банальная влюбленность в хорошенькую Миньону может вытеснить из моего сердца Ганзю. А на фронте началось уже настоящее, и я впервые понял, что такое война.

«15 июня 916 г. Действующая армия. Дорогая Миньона, только что офицер, командующий стрельбой, объявил пятнадцатиминутный перерыв. Голова болит от жары и грохота. На наблюдательном пунк-

те, кажется, Ваш отец вместе со стариком Шеллем. Они ведут стрельбу всей бригадой, то есть всеми шестью батареями сразу, стрельба редкая, но ужасно методичная, упорная, назойливая.

Это, вероятно, последние приготовления перед прорывом немецкого фронта. Так называемая артиллерийская подготовка. Господи, только бы...

Право, кажется, если бы нам удалось прорваться и отнять у немцев ближайшую цель нашего наступления — город Вильно, то не надо мне ничего: ни славы, ни здоровья, ни даже Ваших писем...

Простите, прерываю письмо: надо идти чистить орудие, будь оно трижды... Виноват!.. Ей-богу, для нашего брата-батареяца страшен не бой и даже не самая смерть, а чистка орудий...

..Ну, слава богу, почистили.

Я весь в орудийном масле и керосине. Время тянется невыносимо скучно. Я ждал жарких боев, передвижений, наступления, атак и прочего. А вместо всего этого скучное стояние на позиции, которую герман обстреливает шестидюймовыми бомбами. На днях пришлось пережить страшный обстрел. Я как раз был дневальным на новой позиции своего взвода. Позиция еще не занята орудиями. Блиндажи еще пустые. Я их охраняю. Но они находятся очень близко от пехотных окопов, всего саженях в двухстах. Так как одному дневалить скучно, то я забрался в окоп к телефонистам штаба батальона, где вместе с пехотными дежурят также и наши артиллерийские телефонисты — мои друзья.

Мы варили суп из молодого щавеля, который в изобилии растет среди развалин Сморгони, а также грели чай на костре. Вдруг нас побросало на землю, и по головам изо всех сил хлопнул упругий выстрел, как бы на один миг окрасивший все вокруг в кроваво-красный цвет. Сразу запахло какой-то химической гадостью. Вроде фосфора. Запах, характерный для немецких тяжелых бризантов. Мы ринулись в окоп спасаться.

А тут — массированный обстрел!

Снаряд за снарядом. Крыша землянки, как назло, жиденькая, тощенькая, всего в два наката. Бомбы ежеминутно рвутся рядом с землянкой.

Грохот... Химический запах... Сумбур в голове... И страх, страх... Даже не страх, а ужас... Непреодолимый, животный. Одна-единственная мысль острым гвоздем стоит в сознании: если немецкий снаряд прямым попаданием угодит в нашу землянку, то не то что убьет, а испепелит, превратит в ничто. И самое ужасное, что ведь, если разобраться, я сам этого захотел, пошел добровольно.

Я смотрю на телефониста. Он бледен. Губы сиреневые. При каждом свисте прилетающего снаряда мы все как по команде втягиваем головы в плечи и для чего-то прижимаемся к земляным стенкам, как будто это может спасти. Бьет лихорадка. Хочется убежать куда-нибудь в более надежное место. Но без разрешения командира мы не имеем права покидать свой пост. За это военно-полевой суд.

Я хватаю телефонную трубку и даю зуммером сигнал: одно тире. Слышу:

— Квартира у телефона.

— Доложите командиру, что штаб батальона под сильным обстрелом шестидюймовых батарей. Что делать? Просим разрешения перейти в укрепленный блиндаж второго взвода.

Медлительная пауза.

— Командир приказал, если возможно, уйти из штаба батальона.

От сердца отлегло. Мы быстро хватаем свой телефонный аппарат, разъединяем провод и бежим как обезумевшие к спасительному блиндажу. Вокруг ад. Фонтаны черной и рыжей земли. Вокруг осколки. Но вскоре мы уже в сравнительной безопасности. И тут

же начинаем с непонятной жадностью есть сало, захваченное в штабе батальона.

(Свое сало солдат ни при каких обстоятельствах не забудет захватить с собой, хотя бы черти тащили его в пекло!)

В блиндаж вкатывается кубарем сверху телефонист-пехотинец. У него как-то странно согнуто тело, глаза дикие, налитые кровью. И жалко, и смешно, и в то же время до ужаса страшно. Он с ног до головы дрожит мелкой дрожью, перепачкан глиной, лоб мокрый от пота. Из трясущихся пальцев валится открытый перочинный нож и кружок черной изоляционной ленты, которой он, видимо, соединял перебитый осколком телефонный провод.

— Вы что? Ранены? Контужены?

Он ничего не в состоянии вымолвить, только продолжает дрожать и плачет. Оказывается, возле него разорвался снаряд, не убил, не ранил, а только подбросил и ударил об землю — и он до сих пор не может опомниться.

В блиндаж вкатываются еще несколько пехотинцев, застигнутых врасплох внезапным артиллерийским налетом. Они все дрожат как в лихорадке, у всех в глазах мольба: жить!

В угол блиндажа попадает бомба. Разрыва я не слышу и прихожу в сознание неизвестно через сколько времени. На меня смотрят несколько пар солдатских глаз. Оказывается, блиндаж не пробит. Счастливая случайность? Может быть. Но мне кажется, что бог наказал меня бессмертием. Он карает меня необходимостью и в дальнейшем участвовать во всем этом мировом безумии, которое я сам накликал.

Я не ранен. Даже не контужен. Душа моя потрясена.

Обстрел прекратился.

Но мы все сидим еще полчаса в чудом уцелевшем блиндаже не в силах унять дрожь и никак не можем прийти в себя.

...потом тихий летний вечер, трава розовая от закатного солнца, цветы. Березки четко рисуются на фоне заката. Через ручей — мостик. На мостике носилки с убитым солдатом. Убитый похож на большую куклу, наряженную в большие сапоги и рваную, окровавленную гимнастерку. Возле носилок стоят, видимо отдыхая, два санитары. Отвернувшись в сторону, они курят сигарки, свернутые из газеты, и сплевывают в ручей. А. П.»

«22 июня 1916 г. Д. арм. 19 июня рано утром, часа в три, на рассвете, из телефонного окопа выскакивает старший на батарее:

— Батарея! Приготовить противогазы!

Это что-то новое и очень грозное. Неужели немцы пустили удушливые газы?

Я дневальный и только что собрался смениться и отправиться в землянку спать. Теперь же я бросаюсь вниз по земляной лестнице уже не спать, а будить спящих.

— Ребята, — кричу, — приготовьте противогазы!

Начинается суета, некоторое даже замешательство: впервые надо воспользоваться противогазом. А где эти самые противогазы, обязательное ношение которых до сих пор считалось ненужной формальностью? Противогазы всегда засовывались куда-нибудь подальше, в самый низ походных ранцев или вещевых мешков. Теперь противогазы разыскиваются, извлекаются на свет божий, и их начинают примеривать. Никто толком не умеет с ними обращаться — знали, да забыли.

Я как дневальный, то есть лицо ответственное, среди общего замешательства стараюсь сохранять спокойствие и быть распоряди-

тельным. Вместо того чтобы разыскать свой противогаз и надеть его, приходится расталкивать заспавшихся батарейцев.

Со стороны пехоты слышится быстрый, какой-то непривычно бестолковый, нервный ружейный и пулеметный огонь.

— Батарея, к бою!

Никогда этот, в общем-то, привычный приказ не звучал так тревожно.

В начале войны противогазы были чрезвычайно примитивны: матерчатые наморднички, которые надевались на лицо и завязывались на затылке тесемками. Их следовало смачивать какой-нибудь жидкостью: водой, чаем, а если под рукой ничего другого не было, то и просто собственной мочой, всегда имевшейся под рукой. Смачивать наморднички мочой считалось даже лучше, так как, дескать, упомянутая жидкость хорошо нейтрализовала ядовитый газ. Но потом на вооружение поступили новые, более усовершенствованные противогазы: жестяные коробки с угольным порошком и резиновым респиратором, через который надо было дышать. Затем имелись очки в жестяной оправе для предохранения глаз, а также особые щипчики, которыми следовало зашипнуть нос, чтобы удушливый газ не попал через ноздри в легкие. Щипчики висели на веревочке. Все это надо было долго прилаживать, а между тем огонь на передовой усиливается до шквального.

Нервы дрожат, как натянутые струны. Ведь именно нынче вечером должно было начаться наше наступление. Неужели немецкая разведка пронюхала это и немец упредил нас?

— Противник на участке Аккерманского полка выпустил газы! — раздается отчаянный крик из телефонного окопчика. — Надеть противогазы!

Мы быстро, но не совсем умело надеваем противогазы, надеваем очки, зажимаем щипчиками носы, прилаживаем ко рту резиновые респираторы. Сквозь мутные, непротертые стекла очков плохо видно, но еще труднее дышать. Сидим как чучела друг против друга со щипчиками на носках, стараясь дышать поаккуратнее. Дверь в землянке распахнута. Лампа, висящая над столом, еще не погашена и горит по-утреннему тускло, как бы утомленно.

Дышать все тяжелее. Тишина. В висках стук. Чувствуешь, как кровь с напряженным шелестом струится по венам и артериям. Сверху в дверь начинает вползать слабый зеленоватый туман. То ли это обыкновенный утренний туман, то ли... ужасная догадка: неужели это и есть тот самый страшный удушливый газ, о котором мы столько слышали?

Но почему-то никому не приходит в голову, что нужно выйти из землянки наверх. Как-то привыкли считать, что в землянке, под тремя накатами безопасней.

Через несколько минут напряженного молчания и сопения кто-то начинает кашлять в респиратор. Канонир Ищенко по прозвищу Старик клонит голову и делает руками какие-то умоляющие знаки. Он задыхается. И никто не знает, что нужно делать, как помочь. Еще несколько человек с хрипеньем опускают головы. Они явно задыхаются. Я же почему-то чувствую себя замечательно. Мой респиратор хотя и хрипит, но довольно хорошо пропускает очищенный воздух.

Но что же делать? Чем разогнать газ, медленно наползающий, мощный, как тяжелая вода, сверху в наше подземелье?

Инстинктивно хватаю из ранца пачку писем мне, зажигаю и кидаю на земляной пол. Огонь и дым. Прощайте, милые письма, полученные мною из тыла от друзей и близких. Они так помогали

мне переживать все тяжести войны. А Ваши письма особенно. Я бер их как драгоценность и часто перечитывал. Но что же делать, если другой бумаги не нашлось?

Костер горячей бумаги. Дым и огонь борются с наползающим удушливым газом.

Старик погибает. Вот он уже лежит на земляных нарах, хрипит и судорожно пытается сорвать со рта респиратор, который, как видно, засорен и не дает дышать. Если сорвет — верная смерть. Я хватаю его за руки. Мы боремся. Но в этот миг сверху раздается крик:

— Батарея, к бою!

Мы выползаем наружу. Я буквально силой выволакиваю Старика наверх. Все вокруг в газовом тумане. Каждое движение затрудняет дыхание. Но все-таки легче, чем под землей. Взводные передают команду своим орудиям. Их голоса звучат сквозь респираторы противогазов каким-то диким хрипом. Каждое слово для них почти губительно. Но ничего не поделаешь — надо же командовать стрельбой. В этом их подвиг: вести стрельбу во время газовой атаки.

От утреннего холода начинает знобить. Хочется лечь на землю и уткнуться головой в траву. Но воинский долг есть воинский долг. Батарея ведет огонь, но работать при орудии невероятно трудно. Забираясь под очки, газ щиплет глаза. Дышать уже почти невозможно. Еще несколько минут — и мы погибнем. Батарейный фельдшер в противогазе пронсит на своем могучем плече, как мешок с овсом, кого-то из потерявших сознание. Кто-то обезумевший срывает противогаз, пробегает с кровавыми глазами и кровью из носа и в судорогах падает на землю.

Но батарея, хотя и с трудом, с перебоями, не прекращает огня. Стреляем из последних сил. Почти в бессознательном состоянии я ставлю ключом дистанционные трубки, еле различая цифры на алюминиевом кольце шрапнельной боеголовки.

— Прицел сто тридцать, трубка сто двадцать пять, десять патронов беглых!

Умеренный утренний ветерок медленно рассеивает и уносит шлейф удушливого газа. Старший по батарее отрывает от губ респиратор противогаза, подавая пример и всем нам. Мы с облегчением следуем его примеру.

Но теперь неприятель начинает обстреливать нас восьмидюймовыми снарядами. Первый же снаряд попадает в соседнее орудие, только обломки колес полетели вверх ко всем чертям. Результаты: пять человек контужены, один ранен, четверо еще раньше отравлены газами.

Обстрел батареи продолжается. Снаряды рвутся совсем близко, глушат и притупляют сознание. Мы отвечаем, стреляя до изнеможения, и я уже ничего не чувствую, ничего не сознаю, ничего не боюсь и хочу всем своим существом только одного: тишины, степной южной ночи, сверчков, звездного неба.

По-моему, подобные мысли на батарее, ведущей смертельную дуэль, — признак начинающегося сумасшествия. Но что же делать, если это именно так.

Бой кипит до полудня. Потом отбой. Все батареи в изнеможении от усталости. Устали от грохота, от свиста осколков, от газов, от работы при орудии, от ежесекундного стража смерти..

Подсчитываем потери. Уносят раненых. Уводят контуженных. Убитых, как это ни странно, нет. Это сама судьба бережет меня и всех моих окружающих для каких-то неизвестных нам высших целей. Нет, серьезно. Даже странно. Я все время чувствую какую-то свою зловещую неприкосновенность. Теперь бы залезть в землянку и погрузиться в беспмятство сна.

Двое из контуженных еще продолжают лежать в землянке на нарах. Они спаслись от верной смерти просто чудом. Бледны, измучены, истерзаны ужасом, в полуобморочном состоянии. Я стараюсь помочь им чем могу. Но чем могу я им помочь? Я сам еле стою на ногах, наглотался газов, тошнит, в глазах темно. Безумно хочется спать, спать, спать...

Но черта с два! Не тут-то было! Изволь носить пустые лотки, подбирать стреляные гильзы, которых накопились кучи, выгружать ящики новых, только что привезенных снарядов и т. д.

Наконец — чистить оружие! А ведь я Вам, кажется, писал, какая это мука!

Производим всю эту работу, собирая последние силы. Но это только так кажется, что последние. Их хватит, этих последних сил, еще на многое... Служба есть служба!

Мимо батареи по шоссе, мимо столетних кутузовских берез проносят носилки с ранеными. Сплошной вереницей тащутся с передовой санитарные и простые обозные повозки, нагруженные, как дровами, почерневшими трупами и полутрупами пехотинцев, попавших первыми под удушливые газы.

А когда газы дошли с передовой линии до нашей батареи, то их убойная сила почти иссякла. Да и ветерок нам помог. А то бы... И подумать страшно.

...Идут по шоссе в тыл на переформирование, еле передвигая ноги, с трудом таща на плечах винтовки, серые пехотные солдатики с пепельными лицами... и офицеры, пехотные прапорщики, мальчишки девятнадцати—двадцати лет, которые еще совсем недавно гоняли голубей, играли в футбол, ухаживали за гимназистками, писали в альбом стихи...

Из дивизиона прибегает телефонист. Оказывается, землянка дивизионного командира разворочена до основания восьмидюймовым снарядом, превращена в яму с водой. Все место вокруг обстреляно специальными снарядами с удушливыми газами; соединение цианистого калия еще с какой-то химической дрянью называется хлорциан. Ветерок приносит со стороны разбитой дивизионной землянки запах, похожий на испарение эфира или чего-то в этом роде. Что-то одуряющее, сладковатое, миндальное, зловещее.

Однако, как это часто бывает, в дивизионной землянке как раз случайно никого не оказалось. Все были на наблюдательном пункте.

Часа два отдыхаем, а потом на батарею приходит приказ: в восемь часов вечера приготовиться к бою и навести орудия по такому-то и таким-то целям, заранее уже пристрелянным.

Солдатский телеграф тут же сообщил, что мы будем наступать на высоту правее дороги, которая проходит как раз рядом со вторым дивизионом нашей бригады. В восемь часов вечера предполагается взорвать минные галереи. Их уже давно втайне от немцев выкопали саперы впритык к неприятельским позициям. После взрыва наша пехота бросится в атаку и попробует выбить ошеломленного неприятеля с высоты, командующей над местностью.

Розово. Закат. Березы. Дула наших трехдюймовок смотрят на багровый диск заходящего солнца. Ни единого звука, кроме неугомонных жаворонков. Синие лампы васильков.

Васильки — как синие лампадки в алом храме золотой зари.

Что, не нравится? Слишком кудряво? Безвкусно? Согласен. Но ведь каждый миг... Эх, да что там говорить! Где наша не пропадала! Рядом со смертью даже обыкновенная пошлость делается священной. Может быть, это моя последняя мысль?

— Через пятнадцать минут всем укрыться в блиндажи и окопы. Будет взорвана подземная галерея. После взрыва оставаться пять минут в укрытии, а затем номерам занять свои места у орудий. Будет бой. Открывать быстрый и точный огонь. — Таков приказ с наблюдательного пункта, переданный по телефону на батарею.

Все укрываются в блиндажи и с напряжением ловят малейший звук со стороны пехотной линии. Пятнадцать минут проходят. Ожидается страшный взрыв, грохот, землетрясение. Шутка ли? В минную подземную галерею заложено пятьдесят пудов динамита. Но никакого грохота нет. Вместо этого земля вокруг нас начинает потихоньку вздрагивать. Дрожь земли усиливается. Окоп, в котором мы сидим, качается, как корабельная каюта во время крепкой волны. Со стороны пехоты до нас доносится глухой слитный треск ружейной пальбы.

Выскакиваем из-под земли наверх. Взираем на земляной отвал окопа. На западе из-за леса поднимаются тяжелые зелено-желто-черные скалистые массы дыма. Они медленно ползут в зенит безмятежно розового закатного неба. Вокруг темно, как в пещере. В ужасающей тишине опять слышится крик фейерверкера:

— Батарея, к бою!

И через миг вокруг нас уже настоящий ад: артиллерийский бой, который много раз уже пытались описать, и всегда неудачно, потому что ни слов подходящих, ни красок таких нет.

Грохот пятнадцати батарей разных калибров сливается с ружейной и пулеметной дробью, сквозь которую слышится отдаленное «ура» пехоты, идущей в атаку. В ушах нечто вроде кузницы.

Смеркается.

Я работаю орудийным номером. Номеров мало, а потому приходится исполнять обязанности за троих: устанавливать дистанционные трубки, заряжать и подносить лотки с унитарными патронами. Лотки тяжелые. Ввалишь на каждое плечо по лотку и бежишь от погреба к орудью.

В ушах стоном стоят надорванные голоса орудийных фейерверкеров, бегающих по батарейной линейке с записными книжками, где записаны цели и прицельные установки.

— По цели номер двенадцать два патрона беглых!.. Четыре патрона беглых!..

Почти каждую минуту мое орудие бросает в сгущающуюся темноту багровые полотнища яркого огня, и тогда елочки маскировки вдруг выхватываются из тьмы, словно отлитые из червонного золота, и тут же погружаются во мрак до следующего выстрела.

Из дула прыгающего орудия летит сноп искр.

Я ослеплен и оглушен. Со стороны пехоты «ура» усиливается. Офицер, командующий стрельбой, кричит сорванным голосом, стараясь перекрыть грохот боя:

— По телефону передают!.. По телефону!.. Аккерманский полк!.. Передают из пехоты!.. Аккерманцы заняли первую линию немецких окопов!.. Немецких окопов!.. Девяносто восемь немцев взято в плен!.. Девяносто восемь!.. Захвачено четыре пулемета!..

В душе вспыхивает радость. Впервые я неожиданно для самого себя чувствую поэзию и вдохновение боя.

Батарея работает с удвоенной энергией, ведя огонь безукоризненно точно и быстро. Недаром же наши трехдюймовочки называются скорострельными.

Через час новое сообщение:

— Аккерманцы заняли вторую линию! Высота наша! Немцы отступают!

От восторга я чуть не кричу «ура».

Бой продолжается всю ночь до утра. На рассвете все стихает. Мы ложимся отдыхать возле своих пушек прямо на земле, среди стреляных неубранных гильз и осколков. Сквозь сон слышу, что Аккерманский полк залег между второй и третьей линиями неприятеля. Слава богу! В наказание за газы пленных не брали. Перекололи всех. Так им и надо!

Впрочем, нет. Голос порядочности говорит, что колоть пленных — гадость и низость. Но другой голос, как бы опьяневший от крови, кричит: неправда! так и надо! коли! бей! уничтожай! И вдруг я сам себе делаюсь отвратителем... Боже мой! И это я? Тот самый нежный, мечтательный влюбленный, который... Нет! Я уже ничего не понимаю. Понимаю только одно: есть и спать. Но нет! Опять «батарея, к бою!». Опять бой. Опять оглушающий грохот. Теперь мы отбиваем немецкие контратаки. Бьемся без перерыва двое-трое суток. Высота наша. Ее взять помогли взорванные минные галереи, проложившие в земле траншеи, в которых закрепилась наша пехота.

Сейчас уже 22 июня. Наверное, ночью снова будет бой. Вот уже наша соседка справа, третья батарея, начинает стрелять очередями. Сейчас будем и мы. Я устал, устал. На душе темно. Отчего Вы не пишете? Я с каждой почтой ожидаю от Вас весточки. Неужели Вы забыли прошлое лето? Ваш собственный корреспондент А. П.

Газы выели вокруг всю зелень. Трава, как осенью. Листья берез пожелтели, будто их облили серной кислотой. Жуткий вид. Вот Вам пожелтевший от фосгена молодой березовый листок, сорванный мною на нашей батарее. Сохраните его в назидание потомству. Саша».

Я тщетно искал среди ветхих страничек березовый листик, некогда сожженный фосгеном. По-видимому, он давно уже истлел и рассыпался в прах.

Как сейчас вижу кучу сжигаемых мною писем на земляном полу землянки, и особенно мне жалко одно-единственное от Ганзи, которое она прислала мне на фронт скорее всего лишь потому, что считалось хорошим тоном хотя бы раз написать на фронт знакомому воину — офицеру или солдату, как бы подчеркивая этим свой патриотизм. В письме Ганзи было несколько строк, в которых она ободряла меня и желала всего лучшего, однако же не просила меня ей писать. Помню, как я был взволнован, получив в канцелярии конверт, надписанный ее полудетским почерком. Помню, как я шел с ее письмом в кармане из канцелярии на батарею.

«22 июля 916 г. Д. арм. Дорогая... Дождь. Холод. Сыро. Серо. В халупе неуютно и пусто. Не хочется ни читать, ни писать. Натер себе ногу и не могу ходить. Батарея стоит по аэропланам. Охраняем стоянку нашего знаменитого аэроплана — гиганта «Ильи Муромца». Впрочем, их не один, а два, но не знаю, как будет родительный падеж, множественное число: «Ильей Муромцев»? Ну, кончаю. Всего Вам доброго, моя славная, дорогая Мин. Живите счастливо и весело. Не болейте. Не протужайтесь. Влюбляйтесь в студентов. Берите от жизни все. Я сейчас в очень скучном настроении и не могу написать Вам ничего интересного. Был отравлен газами. Ваш отец навестил меня в лазарете. Я был очень тронут. Но все обошлось, остал-

ся лишь кашель. Ну улыбнитесь же мне! За окном дождь и порывистый, совсем не южный, холодный осенний ветер, а во дворе кричат куры. Кажется, надо говорить не кричат, а квохчут? Ну пусть квохчут. Но это не важно. Ваш А. П.».

Столько событий — и такое коротенькое письмо, всего одна страничка небрежным почерком. Видно, опять начался прилив любви к Ганзе, как я ни старался заменить ее в сердце своим Миньонкой.

Я думаю, что этому приливу способствовала сумрачная, холодная погода, напомнившая мне ту осень, когда однажды собралась наша постоянная компания и очутилась в глухом приморском переулке, в саду чьей-то дачи с заколоченными окнами и уже по-зимнему завернутыми в солому штамбовыми розами на клумбе, усыпанной рыжими листьями.

В поисках уголка мы забрались в беседку и некоторое время прислушивались к гулу штормового прибоя, звеневшего бронзой в прибрежных скалах, и к пронзительному крику чаек, летающих среди ключев морской пены.

Черные стволы осыпавшихся деревьев, ранняя ржавая заря, запах гниющих астр.

Мы сидели — кто на сырой скамье, кто прямо на дощатом круглом столе, кто верхом на перилах. Девочки были уже в зимних пальто, но еще в касторовых форменных шляпах, а мальчики в теплых шинелях, попахивавших нафталином.

Нас было всего человек шесть.

Ганзя Траян сидела на столе, свесив ножки все в тех же почти детских башмачках на пуговицах, и все в том же черном плюшевом пальто, в котором была в тот незабвенный мартовский день, когда я впервые увидел ее.

Я вспомнил, как тогда вечером сидел на подоконнике один, думал о ней и мне казалось, что начинается прекрасная, светлая, ясная любовь, которую я предчувствовал еще зимой, выздоравливая после скарлатины, а в тихой квартире на обоях краснели закатные отпечатки окон.

В моем юношеском романе это было описано примерно в таком роде. У него (то есть у меня) на душе было так чисто, хорошо и просто. Он (то есть я) не сомневался, что если бы она узнала его поближе, прислушалась к его словам, пригляделась к нему, то, наверное, сразу бы полюбила его (то есть опять же меня, так как роман был написан в третьем лице, хотя я имел в виду именно самого себя).

«Ему (то есть мне) было досадно, что тогда, в марте, когда ходили за фиалками, я так мало говорил с ней, и мне очень хотелось поскорей увидеться с ней снова и доказать, что он достоин любви, что он не такой, как все, а особенный. В том, что я особенный, неповторимый, я почему-то никогда не сомневался. Уверенность в своей неповторимости была так крепка, так естественна, что я никогда даже и не пытался объяснить себе, почему, собственно, я единственный и неповторимый. Эта уверенность была как бы врожденной. Он напряженно и бессознательно повторял ее странное имя, сквозь которое все вокруг получало как бы некое новое значение. Мир вокруг обновился. В этом мире царила только она одна. У нее такое особенное лицо. А какое такое? На этот вопрос я не мог ответить, потому что не мог его вспомнить. Оно было неуловимо, абстрактно. И у нее были такие печальные, тоже абстрактные глаза. Вероятно, она глубокая, но скрытная натура. Несомненно, у нее есть какой-то свой, особенный, прекрасный, ни для кого не доступный душевный мир, в котором она живет одна и в который никого не

пускает. Даже влюбленного в нее Вольдемара. Она одинока. Одиночество ей тягостно. Но когда-нибудь, и даже, наверное, очень скоро, она встретится с таким же, как она, умным, глубоким, одиноким, особенным, единственным в мире молодым человеком, который поймет ее, полюбит — но, конечно, не такой пошлой, мещанской любовью, как, например, Вольдемар, а любовью возвышенной, прекрасной, достойной ее, впустит ее в свой тайный душевный мир, и с ним она будет вполне счастлива. Этим человеком будет он. Иначе и быть не может, потому что разве есть на свете хоть один человек, который умел бы так сильно ее полюбить с первого взгляда и был бы лучше и поэтичнее его? Надо только, чтобы она поняла это. И он беспрестанно думал об их будущей любви и счастье, которое ему представлялось несколько литературно: запущенный сад, кусты цветущей сирени, закат, а может быть, и не закат, а раннее солнечное утро, и они идут вдвоем, совсем одни по благоухающей аллее. Самой судьбой они предназначены друг для друга. Но только она должна это понять, и тогда... О, тогда!..»

Так оптимистично я представлял себе дело в своем романе, путая «он» и «я».

Однако что же? Да ничего. Наступило и прошло лето, на время приостановившее болезнь моей любви, так как все разъехались. Потом наступила осень, а с нею и на время забытая любовь. Я не сказал бы, что любовь вспыхнула с новой силой. Она просто при первой же встрече обнаружилась, как не слишком опасная, но неизлечимая болезнь, довольно мучительная.

И вот:

«Деревья шептались, а сад пожелтый отжившие листья ронял».

Расстегнув шинель, Вольдемар достал из бокового кармана щеточку для усов и бровей, а также гребешочек, которым, сняв фуражку, поправил пробор. Затем, повернув к Ганзе красивое лицо с черными бровями, усиками и подбритыми височками, запел с надрывом: «Я вновь пред тобою стою очарован и в ясные очи гляжу».

Он пел высоким любительским тенором, дрожащим фальцетом, откровенно обращаясь к Ганзе, только к ней одной. Он отдавал ей всю свою душу. И это понимали все. Он вымаливал у нее взаимности, а она с лицом, полузакрытым полями форменной шляпы, казалась совершенно равнодушной.

Я силился угадать, какие чувства владеют Ганзей. Скорее всего ею не владели никакие чувства. Она как бы даже не понимала, что Вольдемар поет исключительно для нее. Или делала вид, что не понимает. А у него в глазах стояли слезы, и горло с небольшим кадыком вылезало из узенького крахмального воротничка и напряженно дрожало.

«Она его не любит», — думал я словами Чацкого, сам себе и веря и не веря. Но одно только чувствовал я: что меня она не полюбит никогда.

Почему? Неизвестно. Между нами с самого начала возникла как бы непреодолимая преграда. Мы легко разговаривали друг с другом, даже шутили, больше того, мы чувствовали друг к другу приязнь. Но мне этого было мало. Я жаждал взаимной любви. А ее-то и не было.

Я любил Ганзю, если так можно выразиться, отвлеченно, как будто не я ее увидел, и выбрал, и вспыхнул, а кто-то другой, не ве-

ДОМЫЙ ни мне, ни ей, выбрал ее для меня на всю жизнь, не спрашивая, хочет она меня полюбить или не хочет.

Все совершалось помимо меня и помимо нее.

Может быть, моя любовь к Ганзе была не материальная, а то, что называется платоническая, и не вызывала в ней ответной искры.

Но, боже мой, насколько эта платоническая, еще даже не юношеская, а детская любовь оказалась сильнее той, другой, уже не вполне платонической, а материальной, даже почти страстной влюбленности, которая ненадолго вспыхнула летом, когда у нас во дворе появились девочки в кружевных платьях, из которых одна была уже совсем взрослая барышня, две другие — близняшки-третьеклассницы, а средняя с короткими бронзовыми кудряшками и серо-лиловыми глазами была Миньона.

Жаркими июльскими ночами Миньона снилась мне, она овладела моей душой, и я забыл Ганзю.

И вдруг осенью в осыпающемся саду, куда уже незаметно прокрались ранние сумерки, а в беседке, где сидела наша компания, сделалось совсем темно, я почувствовал такой прилив любви к Ганзе, что у меня похолодели руки. Я понял, что люблю по-прежнему ее одну и никакой другой, кроме нее, не существует, а почему — неизвестно.

Я почувствовал щемящую грусть.

«Деревья шептались, а сад пожелтый отжившие листья ронял. Смеркалось. И вдруг чей-то голос несмелый в вечерней тиши задрожал. Окрепли и льются певучие звуки, и с каждым мгновением растет в них властная нота непонятой муки и слез накопившихся гнет».

«Я вновь пред тобою стою очарован и в ясные очи гляжу».

«Певец неизвестный, ты счастлив, страдая, ты можешь хоть в песне любить и, в звуки дрожащие душу влагая, страданья свои облегчить. А я, я с любовью своей одинокой, никак не согретой, живу без жгучего взгляда, без песни глубокой, без светлого сна наяву».

Все померкло в моей душе. Чем же все это могло кончиться? Ничем.

И вот теперь в белорусской халупе, где-то в районе, под шум холодного ветра, глядя в маленькое окошко на белые пузыри проливного дождя, я с отчаянием произносил ее имя: Ганзя, Ганзя, неужели ты меня никогда не полюбишь? Уж лучше тогда пусть меня убьет осколок немецкой гранаты.

«25 июля 916 г. Действующая армия. Дорогая Миньона, докладываю, что после боя 19 июня, о котором я подробно писал Вам, началась полоса боев. Ночи превратились в непрерывный оглушающий грохот, блеск разрывов, пулеметную дробь, напряженную, сверх человеческих сил работу возле орудия и пр.

Дни — мертвая тишина на батарее, ослепительный летний зной, тяжелый, кошмарный сон без сновидений, без мыслей и ощущений бытия.

Только когда в полдень приезжает кухня с обедом, люди в силу физической необходимости выползают из прохладной глубины окопов-погребов. Лица у всех помятые, опухшие от сна. Тоже бредят во сне, вскакивают, скрипят зубами, стонут, мычат. Я так утомлен, истерзан. Болят глаза. И я это чувствую во сне. Мучительно! Навер-

ху, на батарейной линейке, тягостная тишина. Зной. Слышатся чьи-то шаги и звон шпор. Дверь открывается, и в подземный сумрак блиндажа косо падает широкая полоса яркого полуденного света.

В блиндаже храп, сопение, стоны сквозь сон... Можно подумать, что на нарах лежат тяжело больные, умирающие...

Я открываю глаза и вижу в дверях, в столбе солнечного света сухую фигурку Тесленко с биноклем через плечо. Он подходит к нарам и долго, внимательно всматривается в спящих солдат. Вся его фигура выражает трогательную заботу. Он как бы шепчет спящим солдатам: «Спите, милые, отдыхайте».

Спросонья я удивленно смотрю на Тесленко и ничего не понимаю. Сажусь на нарах и что-то бормочу непонятное.

Тесленко смотрит на меня и смеется. Говорит:

— Вольноопределяющийся Пчелкин, спасибо за службу. Как себя чувствуете? Ну спите, спите... Не вставайте. До свиданья, Пчелкин, вы вчера ночью были молодцом!

Он выходит из землянки, и только тогда я вскакиваю и становлюсь по стойке «смирно». Но уже поздно. Его шпоры звучат наверху, на батарейной линейке. Вслед ему я бормочу: «Рад стараться, ваш... всок... бродие» — и тут же падаю на нары, погружаясь в сон, похожий на небытие.

Вокруг сопят, храпят, плачут во сне, тяжело стонут, всхлипывают»...

Прочитав полустертые временем строки, я вспоминаю этот случай с Тесленко, имевший тогда для меня большое значение. Дело в том, что недавно произведенный в штабс-капитаны и назначенный командиром нашей батареи Тесленко был, как тогда говорилось, из простых, чем очень отличался от других офицеров нашей бригады, в большинстве дворянских и помещичьих сыновей.

Все в Тесленко, начиная от фамилии, было простонародно, а внешностью своей он скорее походил на пехотного солдатика, чем на артиллерийского офицера, разве что от солдата его отличал цейсовский бинокль и хромовые офицерские сапоги, впрочем довольно потертые. Ну и, конечно, четыре новенькие звездочки на офицерских полевых погонах, не золотые, а защитного цвета.

Он был, как уже упоминалось, любимцем солдат и быстро делал карьеру, но не по протекции, а по личным качествам самого храброго офицера в бригаде, умевшего лучше всех стрелять, то есть вести огонь батареи с наблюдательного пункта: быстро, точно, не хорясь от неприятельских пуль и осколков за бруствер. Если надо, он стоял во весь рост, наблюдая за тем, как ложатся наши снаряды.

Остальные офицеры бригады — чаще всего так называемая белая кость — его недолюбливали; впрочем, как и он их. Конечно, это не имело характера антагонизма, а скорее скрытой неприязни.

Тесленко видел во мне недоучку, попавшего в бригаду по протекции генеральской дочки, с тем чтобы пробиться в прапорщики или даже, чего доброго, схватить Георгиевский крестик. Единственно чего Тесленко не мог понять — почему я не воспользовался привилегией жить вместе с офицерами, а зачислился на батарейный котел и поселился с солдатами. Он сразу же взял меня на заметку и через фельдфебеля подпрапорщика Ткаченко, своего верного слугу и помощника, стал приводить меня в христианский вид, то есть выбивать из меня дух свободного волонтерства: романтическую дагестанскую папаху, кожаную куртку, офицерский пояс и слишком широкие погоны с накладными пушечками, но без номера части.

Через того же фельдфебеля он обмундировал меня, как положено нижнему чину артиллерии — канониру, — и засадил за зубрежку всех воинских уставов. Он неукоснительно следил за тем, чтобы при

встрече с ним я становился во фронт, чего от других батарейцев не требовал. Дело в том, что по уставу нижним чинам, как правило, полагалось становиться во фронт не только генералам, но также и своему ротному или батарейному командиру, если даже он был младшим офицером. В действующей армии, в виду неприятеля, под огнем это не очень соблюдалось, но так как я уже один раз нарвался на командира дивизиона, а Тесленко строго следил, чтобы я не манкировал, то я тянулся изо всех сил.

Короче говоря, Тесленко решил или сделать из меня исправного солдата, или замучить дисциплинарными взысканиями и в конце концов выпереть из батареи.

Я это понял и решил не давать повода к неудовольствию своего батарейного командира, старательно исполняя все свои обязанности.

В последнем бою таскал на плечах тяжелые лотки со снарядами из погреба на батарею, обливаясь потом; торопясь и еле дыша, холодея от свиста немецких снарядов, которые рвались совсем близко и даже иногда осыпали меня фонтанами сырой земли и оглушали скрежещущим полетом зубчатых осколков, я все-таки, пробегая мимо командующего стрельбой Тесленко, каждый раз становился ему во фронт и делал это до тех пор, пока он не крикнул мне сквозь грохот разрывов:

— Ну уж ладно, хватит! Можете не становиться во фронт! — Махнул рукой и вытер свое маленькое, как бы помятое личико перчаткой.

Теперь же, спустившись в землянку к спящим батарейцам, он похвалил меня за хорошую службу, и я понял, что в устах легендарного Тесленко это была не только похвала, а как бы даже боевая награда вроде Георгиевской медали, посвящение меня в настоящие боевые солдаты.

Может быть, именно с этого дня началась моя подлинная фронтовая жизнь.

Странно, что об этом важном событии я ничего не написал Миньоне. О каком только вздоре я ей не писал, а об этом, быть может самом значительном, — молчок.

Да что ж... Мальчишка был, о себе прошлом думаю я, мальчишка довольно-таки скверный. Может быть, я, этот мальчишка, и был носителем бациллы войны: становился под артиллерийским окном во фронт и чувствовал себя героем.

«В разгаре боев, — было написано дальше в моем письме Миньоне, — днем иду я в лавочку, чтобы купить кофе и папирос, без которых уже не могу обойтись. Привык! По дороге встречается какой-то пехотный подпоручик, который, увидев меня, кричит во всю глотку:

— Пчелкин! А чтоб ты пропал! Иди сюда!

Я обдергиваюсь, направляюсь к нему строевым шагом и строго по уставу, с рукой под козырек, не доходя четырех шагов, останавливаюсь как вкопанный и рапортую:

— По вашему приказанию прибыл. Чего изволите, ваше благородие?

— Ты что — выпил или опупел? Какое я тебе благородие? Не узнал, что ли?

Вглядываюсь. И вдруг, к своему крайнему изумлению, узнаю в пехотном подпоручике своего бывшего гимназического товарища Мишку Подольского, который еще в прошлом году бросил гимназию и поступил в военное училище, выпекавшее за четыре месяца пехотных прапорщиков. Теперь он уже дослужился до подпоручи-

ка, на его шашке болталась красная лента темляка ордена Анны четвертой степени, так называемая клюква, и он даже ввиду большой убыли пехотных офицеров уже командовал ротой.

Я его сразу не узнал, потому что на его сильно загорелом лице выросли довольно большие усы и вообще... Офицерские погоны, на шашке клюква... Сами понимаете!

— Ах, черт возьми! Какими судьбами? Ты где?

— В Аккерманском полку. Командую ротой, брат. А ты?

— В Шестьдесят четвертой артиллерийской.

— Артиллерия — бог войны.

— Пехота — царица полей.

Обменявшись армейскими любезностями, через некоторое время я уже сижу у Подольского в землянке, и мы пьем чай из настоящих стаканов, с настоящим вишневым вареньем без косточек и курим настоящие папиросы фабрики Попова «Сальве» с противоникотиновым фильтром в мундштуке.

Шикарно!

Все-таки мне как-то не по себе, и я никак не могу отделаться от мысли, что мне, нижнему чину, приходится сидеть в присутствии офицера, хотя этот офицер всего только Мишка Подольский, не более. То и дело я вскакиваю, тянусь и называю его «ваше благородие». Видно, школа Тесленко и Ткаченко дает себя знать.

Впрочем, вскоре, как Вы понимаете, начинаются интимные разговоры о женщинах, о любви...

А о чем еще могут разговаривать на фронте два молодых военных в перерыве между боями?

Он повествует о своей последней любви, а я ему о своей, разумеется, не называя имени.

Говорит подпоручик Подольский настоящим армейским баритоном и обращается к своему денщику (подумайте только, у Мишки уже есть денщик, пожилой тульский благообразный мужичок в солдатской одежде) примерно таким образом:

— А ну-ка, братец, подлей нам еще кипяточку.

Разговор у нас самый задушевный. Мы вспоминаем гимназию и учителя арифметики, которого некогда так боялись. Вспоминаем, как я разбил стекло в актовом зале. Боже мой! Как это было давно и как это было прекрасно!

Мишка Подольский кладет ноги на свою походную офицерскую кровать и, пуская колечки табачного дыма в бревенчатый потолок, вещает многозначительно, поднимая брови:

— Да, брат Саша, ничего не скажешь: женщины в нашей жизни — это все! Как хочешь, а без любви не проживешь: любовь, братец Пчелкин, великая вещь!

И он довольно многословно и отчасти витиевато развивает мысль о любви.

Я выпил чай с вареньем (с вареньем!), выкурил штук пять «Сальве» и не имел основания оспаривать его соображения насчет любви.

Тем более что... Впрочем, не буду об этом...

— Да, Миша, — говорю я со вздохом, — любовь — это великая вещь. Полюбить можно раз, только раз всей душой, и любовь эта будет чиста, как лазурное море на юге весной, как росинка в изгибе листа...

— Росинка? — с некоторым изумлением поднимает он брови, но, немного подумав, говорит: — Н-да... Росинка... Пожалуй, ты прав.

Мы условливаемся почаще встречаться, благо служим в одной дивизии, и я ухожу.

Вечером перед началом очередного ночного сражения я мельком вижу его на шоссе рядом с нашей батареей. Он едет верхом на сивой

лошадке, ведя свою уже довольно потрепанную роту из резерва на передовую.

Ночью бой, в котором Миша убит, о чем я узнаю от раненого пехотинца Аккерманского полка, бредущего по шоссе в полевой госпиталь.

Вот тебе и чай с вареньем, вот тебе и последняя любовь! Действительно последняя. Спи с миром, дорогой боевой товарищ! Сегодня ты, а завтра я. Тот, кто сумел умереть за родину, вероятно, умел по-настоящему и любить! Умел и имел право на большую взаимную любовь.

Вот так, дорогая Миньона. Скучно на этом свете, господа, как выразился Гоголь».

Прочитав эти строки, я сначала поморщился, а потом рассмеялся, вспомнив, как однажды вскоре после революции в толпе гуляющих по традиционному круговороту (Дерибасовская — часть Екатерининской — Пале-Рояль — узкая щель между Пале-Роялем и стеной городского театра — Николаевский бульвар — опять часть Екатерининской — и опять Дерибасовская; замкнутый круг, вернее некое городское кровообращение во мгле декабрьского вечера, скупо освещенного еще действующими электрическими фонарями), среди демобилизованных офицеров-фронтовиков, черноморских моряков с посыльного судна «Алмаз» и броненосца «Синоп», студентов, гимназистов, приказчиков, проституток, эмансипированных горничных и работниц с табачной фабрики Попова, среди папиросных огоньков — и вдруг нос к носу столкнулся с убитым Подольским, который уже без погон и с красным бантом на груди, зажатый фланирующей толпой, вел под руку сестричку милосердия в косынке, едва прикрывающей кокетливую челку над широким крестьянским абом с двумя вертикальными морщинками и подкрашенными бровками в шнурок.

По-видимому, это была его последняя любовь, самая что ни на есть последняя, уже послереволюционная.

Как и следовало ожидать, раненый солдат что-то напутал, потому что Подольский был передо мной вполне живой, и мы с ним обменялись веселыми приветствиями, приложив руки к козырькам.

«22 июня утром, едва только кончился бой и батареи повалились как мертвые в своих блиндажах и один только я остался наверху, будучи дневальным по батарее, как прилетел немецкий тяжелый снаряд и со страшной силой разорвался недалеко от батареи. За ним другой, третий, четвертый... Да не простые, а восьмидюймовые... И — все они делают порядочный перелет, и вдруг я вижу, что из воронок, вырытых этими снарядами, на батарею ползет какой-то странный, необычный желтовато-зеленый дым, и я чувствую зловещий миндальный запах фосгена. Ясно, что снаряды газовые. Бросаюсь в блиндаж, одной рукой хватаю висящий на стене противогаз, а другой рукой начинаю трясти первого попавшегося спящего батарейца. В мозгу гвоздем сидит одна-единственная мысль: если не успею разбудить, погибнет от газа. И все остальные спящие тоже погибнут.

— Ребята, — кричу, — подъем! Вставай! Живо надевать противогазы!

Потом выскакиваю наверх и начинаю бегать по блиндажам будить спящих. Ведь я дневальный. На мне ответственность.

— Ребята! Вставай! Газы!

Я выкрикиваю эти слова и в то же время пытаюсь натянуть на голову резиновую противогазовую маску новой конструкции, выданную нам взамен устаревшей.

Но уже глаза начинает жечь и щипать. Горло сжимают спазмы.

Не имею силы вздохнуть. В груди острая боль, отдающаяся в лопатках. Мысль-молния: наглотался фосгена.

Восьмидюймовые немецкие снаряды продолжают рваться за батареей, и оттуда легкий ветерок тянет на батарею тяжелый ядовитый туман.

Солдаты выскакивают из блиндажей. На их лицах ужас. Они торопливо натягивают на головы новые противогазы. Мне худо. Головокружение. При каждом вздохе в легких кинжальная боль. В висках оглушительный шум. Сначала стучит сильно, звонко и часто. Потом все реже и реже. Сознание неотвратно уходит. Я уже еле сознаю, что со мной делается. Где? Почему вокруг меня какие-то люди? Кто они? Ах да, тень фельдшера и рядом с ним тень моего взводного. А я сам почему-то лежу на одеяле, разостланном на траве, и почему-то призрак фельдшера берет призрак моей руки, потом подносит к моему носу какую-то склянку. Что-то пронзительно острое. Нашатырный спирт. На миг сознание проясняется. Фельдшер наклоняется надо мной и что-то говорит. Не слышу. Не понимаю. Два спорящих голоса доносятся как бы из-за глухой стены. Я делаю усилие, стараюсь улыбнуться, дать понять, что я жив еще, и в тот же миг лечу в пропасть небытия.

Где я? Трава. Солнце. Ветер. Деревья. Шевелится стеклянная листва. Я укрыт шерстяным одеялом. Ах да! Я узнаю это одеяло. Такие одеяла, пахнущие карболкой, имеются у нас в околотке. А вот и знакомый доктор. Рыжий. Громадный. Вороньи глаза. Тараканьи усы.

Сразу почему-то вспоминается, как он орудует у себя в околотке вместе с фельдшером по фамилии Шкуропат. Какая странная фамилия. Оба в халатах поверх военной формы.

— Открой рот. Покажи горло.

Доктор немного боком, как ворона, мельком заглядывает в разинутую солдатскую пасть.

— Ангина. Шкуропат, смажь ему горло йодом.

Шкуропат берет из стакана специально обструганную лучинку, оборачивает ватой, макает в склянку с японским йодом и лезет черной, как деготь, ваткой в багровое горло.

Солдат морщится, кривится, сплевывает.

— Иди в батарею. Следующий!

У меня до сих пор при виде не то рачьих, не то вороньих глаз доктора возникает во рту резкий и в то же время мучительно сладковатый вкус японского йода. Почему именно японского? Потому что японцы наши союзники и присылают нам всякие медицинские товары, в частности йод, который выдвывают в Японии из океанских водорослей, а также очень маленькие, крошечные термометры — стеклянные палочки немногим больше спички. Их надо не ставить под мышку, а держать во рту, что очень смешит наших больных солдат...

Но теперь доктор наклоняется ко мне, выслушивает меня стетоскопом и командует:

— Шкуропат! Быстро! Поверни его спиной вверх, задери ему рубаху!

Меня переворачивают, и доктор крепкой опытной рукой вонзает мне шприц в ту же лопатку, куда он недавно вкатывал противохолерную прививку. Я не успеваю крикнуть, как он вгоняет второй шприц. Это камфора.

Впоследствии доктор как-то заметил мне:

— Скажите спасибо, что я не пожалел для вас казенной камфоры и вкатил вам по знакомству не один, а два укола. А то бы вы были уже давно на том свете.

Меня несут в санитарную повозку. Чувствую себя легче. В повозке, кроме меня, еще четверо раненых и отравленных газом. Двое хрипят, умирают. У них почерневшие, как уголь, лица. Повозку трясет по набитой фронтовой дороге. И под хрипенье умирающих я вдруг засыпаю и через какое-то время вижу чисто вымазанные белые стены какой-то комнаты. Сознание возвращается. Я слышу паровозные свистки, стук вагонных буферов и понимаю, что нахожусь в дивизионном лазарете на станции Залесье. Дышать легче. Понимаю, что спасен. Меня спас второй укол, сделанный по знакомству. Ведь мне приходилось встречаться с доктором еще до фронта у Вас в доме. Кажется, он даже пытался ухаживать за Вами? Значит, в конечном счете это именно Вы спасли меня. Вам я обязан жизнью...

Белый хлеб. Слабый больничный супчик. Халат и туфли. Понимаю, что меня здесь держат на офицерском положении, чем я тоже, вероятно, в конечном счете обязан Вам...

Утро. Солнце бьет в окно. Я только что проснулся. Сажу на постели и думаю. Хочу восстановить в памяти по порядку, что же со мной произошло в течение последних суток. Но все как-то не складывается. Кашляю.

Из соседней палаты доносится позвякивание шпор, и у моей койки появляется Ваш папа. Ну да. Для Вас он просто папа, но для меня, артиллерийского солдата, он ваше превосходительство, генерал-майор, командир бригады, мое самое высшее прямое начальство, так что можете себе вообразить мое самочувствие. Смесь страха, радости и гордости: меня, ничтожного канонира, посетил сам командир артиллерийской бригады.

Это надо понять!

— Здравствуйте, Пчелкин.

Я делаю отчаянную попытку вскочить с койки, но из этого ничего не получается, я падаю обратно на тюфяк.

— Здрав... желей... ваш... дительство...— только и успеваю я проормотать хриплым голосом.

— Ничего, ничего, лежите,— говорит Ваш папа, улыбаясь Вашей улыбкой. И снова его круглая, ежиком стриженная, серебряная голова, его небольшая фигурка, его розовые щеки и подстриженные усики, его внимательные серо-голубые глаза сиреневого оттенка напоминают что-то глубоко Ваше, фамильное, милое.

Я очень тронут его посещением, которое произвело большое впечатление на весь лазарет: еще бы, генерал посетил нижнего чина!

Мои шансы в лазарете повысились.

К вечеру Ваш папа присылает мне с адъютантом несколько переводных романов, иллюстрированных журналов и газет. Мне приносят также и почту. В том числе письмо от Вас.

Боже, как хорошо: дни солнечные, душистые, июльские. Поправляюсь после фосгена. Разрешают выходить. В полдень лежу на стого только что скошенного сена в халате, в туфлях и читаю.

Меня хотели отправить на лечение в Москву. Большой быд соблазн увидеть первопрестольную! Но я упротил начальство, чтобы меня отправили долечиваться обратно в батарею, тем более что через неделю вся бригада уходит со старых позиций под Сморгонью. А у меня легкие не задеты. Только бронхи, так что надеюсь скоро совсем выздороветь. Может быть, буду хрипло разговаривать — только и всего...

Моя батарея снова назначена по аэропланам. Переход более двухсот верст пешком...

...На днях опять уходим. Если верить солдатскому телеграфу, уходим очень далеко, чуть ли не на другой фронт. Будем грузиться на поезд.

До свидания, до следующего письма, в котором все опишу подробно. А. П.».

В этом моем старом письме, полном множества событий, чувствуется спешка. Я стал вспоминать события, не попавшие в письмо. Прежде всего прощание со старыми позициями под Сморгонью, с местностью, где я прожил почти семь месяцев, к которой привык, где так много пережил, передумал, перечувствовал, где остались развалины костела, поверженное распятие, красное сердце на грудной клетке деревянного Христа.

Всякое расставание — это расставание навсегда, хотя кажется, что все прошлое еще может вернуться. Нет! Прошлое превращается в воспоминание, в нагромождение минувших событий, мыслей, чувств, расположенных уже без всякого порядка. Время уже не властно над памятью. У памяти свои законы. Время исчезает, оставляя лишь хаос раскрепощенного сознания.

Мучительное мгновение превращения настоящего в прошлое. А подлинные события, ушедшие в небытие, вдруг возвращаются откуда-то, как из черного провала обморока, видоизмененные, очищенные, препарированные и бесконечное число раз повторяющиеся в двух перспективах, как отражение горящей свечи, поставленной между двух зеркал, уходит в бесконечность прошлого, а также одновременно в бесконечность будущего.

В бесконечность прошлого и в бесконечность будущего ушли вспомнившийся мне прифронтовой лес, желто-красные колонны мачтовых сосен и маленький пехотный солдатик, мужичок-землячок, сидящий на снегу под сосной. Лес, казавшийся мне до сих пор пустынным, вдруг оживился. Откуда ни возьмись появились солдаты: ездо-вые в стеганых телогрейках, пехотинцы в коротких порыжевших шинельках, санитары в бязевых халатах. Они стояли вокруг солдатика под сосной, в ужасе глядя на его окровавленную смерзшуюся бороденку, безумные глаза великомученика и трясущиеся руки, протянутые вперед. Ужасные руки с оторванными кистями. Вместо кистей из запястий висела странная лапша, как бы составленная из красных, желтых и синих оборванных волокон, сочившихся сукровицей.

Солдатик мычал, как немой, и все его тело дрожало мелкой дрожью. Он мычал и плакал. Слезы текли по его лицу.

Оказывается, у него в руках взорвалась дистанционная трубка, которую он свинтил с неразорвавшегося немецкого снаряда. Солдатик пытался развинтить эту боеголовку, дистанционную трубку, с тем чтобы добыть из нее алюминиевые кольца, необходимые ему для изготовления алюминиевой ложки.

Чувство самосохранения подсказало ему, что боеголовка — штука опасная, и он, чтобы уберечься от возможного взрыва, спрятался за надежный ствол мачтовой сосны, обнял его руками и начал ковыряться ножиком в боеголовке; спасая голову, он забыл о руках. Боеголовка, как и следовало ожидать, взорвалась в руках у неопытного пехотинца и напрочь оторвала ему обе кисти, которыми он, еще не сознавая, что случилось, схватился за лицо и обмазал борodu кровью, уже свернувшейся и почерневшей на морозе.

Эта картина, возникшая из прошлого, встала теперь передо мной с такой стереоскопической детальностью, что я застонал.

Другая картина из прошлого представляла летний пейзаж с песчаным косогором, поросшим диким кустарником, по которому я пробирался из обоза на батарею. Внезапно я увидел небольшую суглинистую плешину и три фигуры.

Двое из них, судя по поганам, были комендантского взвода,

а третий — худой, высокий, белобрысый человек в какой-то странной синеватой шинели, висевшей на нем, как халат, — усердно копал лопатой яму и уже стоял в ней по пояс. Один из солдат комендантского взвода держал ружье наизготовку, а другой, как бы дожидаясь чего-то, курил козью ножку, свернутую из газетной бумаги, и поплеывал себе под ноги.

В этой группе, расположившейся в глухом месте, вдалеке от артиллерийских и пехотных позиций, показалось мне что-то неприятно-странное, и я спросил:

— Что это вы, братцы, делаете?

На мой вопрос тот солдат, что курил и поплеывал, держа винтовку у ноги и обнимая рукой штык, ответил:

— Да вот поймали в нашем боевом расположении шпиона: чи он переодетый немец, чи поляк. Ничего особенного. А вы, господин вольноопределяющийся, идите себе, куда идете.

Я откозырял и пошел своей дорогой, пробираясь сквозь кустарник, и лишь отойдя на порядочное расстояние, вдруг со всей ясностью осознал значение только что увиденного, в особенности согбенную спину человека в синеватой шинели, стоявшего с лопатой в руках по пояс в яме, его желтые волосы, шевелящиеся на ветру.

В первое мгновение я обомлел, но тут же мне пришла спасительная мысль: ничего, мол, не поделаешь, так надо, война есть война, а шпион есть шпион.

Все же мутный осадок остался на всю жизнь.

Оба случая — и солдат с оторванными кистями рук под мацтовой сосной, и белобрысый шпион, копающий собственную могилу под наблюдением двух стрелков из комендантского взвода, — являлись случаями исключительными. А жизнь на батарее текла своим привычным порядком.

Как это ни странно, война научила многих неграмотных солдат читать и писать.

Зимой, когда почти все боевые операции были приостановлены и жизнь ушла глубоко под землю, в блиндажи и землянки, батарейцы стали скучать. Время заполнилось перечитыванием писем с родины, игрой в самодельные щашки, или, как они назывались, в дамки, чтением вслух неизвестно откуда взявшихся потрепанных лубочных книжек с заглавиями вроде «Любовь авантюристки», «В погоне за золотом», а также классической повести еще, вероятно, со времен Ермолова и покорения Кавказа «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа».

Иногда до глубокой ночи в нашей орудийной землянке чадила керосиновая лампочка без стекла, копоть щипала глаза, в густом воздухе топор можно повесить — и батарейцы, затаив дыхание, слушали назидательный голос грамотея, который почти по складам читал им всю эту чепуху.

Я, считая своим долгом «сеять разумное, доброе, вечное», написал отцу, чтобы он прислал мне какую-нибудь книгу Льва Толстого, и, получив «Анну Каренину», начал читать солдатам вслух этот роман. Солдаты слушали его, затаив дыхание, как, впрочем, и все предыдущие книжки, причем больше всех им понравился Стива Облонский, его они весьма одобряли, а что касается Анны Карениной, то она была единогласно названа шлюхой.

Разумное, доброе, вечное мои товарищи по батарее воспринимали весьма своеобразно.

Вообще-то грамотных в батарее оказалось больше, чем неграмотных. Неграмотных всего трое: мой друг Прокоша Колыхаев, цыган из города Ананьева по фамилии Улиер и огромный, как мед-

ведь, но по-детски добрый и даже ласковый, со щербатыми зубами сибиряк Горбунов откуда-то с берегов Байкала.

Первым научился грамоте Колыхаев. Он получал через каждые два дня письма от своей обожаемой, как он выражался, благоверной и благочестивой супруги Нины, в которую до сих пор был влюблен и тайне страдал от вынужденной разлуки. Его угнетала необходимость читать ее письма и отвечать на них. А так как в письмах содержались откровенно любовные, а также семейные секреты, то Колыхаев пытался сам их читать, а иногда обращался за помощью ко мне. А уж ответ приходилось писать кому-нибудь из грамотеев под его диктовку, например столяру Попленко, и это Колыхаева очень стесняло.

Потом Колыхаеву пришла дерзкая мысль написать жене письмо самому, не прибегая ни к чьей помощи. Попробовал. Забился в угол землянки, достал из вещевого мешка заветную стеариновую свечу, которую очень берег на всякий случай, зажег ее, прилепил к выступу мазаной печки и развернул последнее письмо своей «благоверной, благочестивой и сильно грамотной» супруги Нины. Он изучил его детально и всесторонне, а потом «позычил» у меня лист почтовой бумаги, приладил его к какой-то дощечке и стал что-то царапать химическим карандашом, время от времени обильно его облизывая, отчего губы его стали лиловыми.

Он действовал бесхитростно: переделывал письмо своей супруги, обращенное к нему, мужчине, применительно к ней, к женскому роду. Жена писала «дорогой Прокоша» — значит, следовало написать почти то же самое, но только заменить слово «Прокоша» словом «Нина».

«Дорогой Нина», — вывел он крупными буквами, так называемыми воробьями. Дня через два письмо было готово и отослано. Благоверная Нина, конечно, ничего не поняла, но любящим сердцем угадала, что хотел написать ее дорогой супруг Прокоша. С тех пор Колыхаев писал жене сам, в крайних случаях советуясь со мной, напрактиковался и стал писать весьма недурно.

Потом под моим руководством научился писать сибиряк Горбунов. Начал он писать как-то сразу, хотя и с ошибками, но, в общем, толково. У него появилась мечта стать вполне грамотным, и я обещал летом научить его как следует писать и читать, а он за это помогал мне стирать белье и научил пилить и колоть дрова.

Цыган Улиер с черно-синей бородой и кудрявой шевелюрой цвета ежевики тоже брал у меня уроки грамоты и даже пытался писать самостоятельно, но ничего у него не вышло. Он был чудесный, добрый, хороший человек, но уж очень неразвитый от природы. Одно письмо жене своей в город Ананьев он писал месяца три, всю зиму, да так и не дописал.

За пять верст от батареи, в тылу, в деревушке Бялы открылась лавочка земского союза. В ней продавались белые булки, сало, табак, рафинад, печенье «Мария» и «Альберт». Когда становилось известно, что лавочка открыта, орудейная прислуга приходила в волнение. Сейчас же снаряжались два-три человека за покупками. Деньжата у солдат водились. Ведь мы получали денежное довольствие. Канонир получал пятьдесят копеек в месяц, бомбардир — семьдесят пять, младший фейерверкер — рубль десять копеек. У кого был Георгиевский крест, тот, кроме того, получал в месяц три рубля.

Были также среди солдат картежники, игравшие на деньги, а у картежников, как известно, всегда то пусто, то густо, но чаще всего густо.

Мой взводный фейерверкер Чигринский, о котором я уже упоминал, был крупный картежник. Когда позволяла обстановка, он ходил куда-то в пехоту, где велась крупная игра в очко и железку.

Иногда он возвращался в выигрыше. У него всегда имелось в наличности рублей десять — сумма для нас фантастическая.

Однако впоследствии я понял, что его исчезновения из батареи, хождение в пехоту и в соседние артиллерийские дивизионы имели двойную цель: во-первых, игру в карты, а во-вторых, еще что-то гораздо более значительное. Я думаю, игра в карты являлась только прикрытием тайной, подпольной политической деятельности. В чем заключалась эта деятельность, я тогда совсем не понимал, но чувствовал в ней что-то скрытно революционное.

Однажды я случайно услышал, как, дежуря по батарее и расхаживая по линейке вдоль орудий, красавец Чигринский мурлыкал про себя: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, братский союз и свобода — вот наш девиз боевой». Мотив и слова были мне до сих пор неизвестны. Песня была не общеизвестная солдатская, не народная, а какая-то совсем другая...

...Лавочка представляла обыкновенную бедорусскую халупу, разделенную на две части. В одной помещалась собственно лавочка, а в другой жила заведующая лавочкой сестрица. Лавочка обыкновенно открывалась в одиннадцать часов утра, так как земсоюзовская сестрица любила поспать в полное свое удовольствие. Но уже с девяти часов у двери лавочки, на которой висел амбарный замок, собирается длинная очередь, именуемая по-армейски затылок. Кого только нет в этом затылке: саперы, артиллеристы, пехотинцы, санитары, фельдшеры, даже однажды появился мортир Черноморского флота, прикомандированный к пехоте вместе со своей двухдюймовой морской скорострельной пушечкой системы Гочкиса с деревянным прикладом, из которой он палил по немцам с самого близкого расстояния. Пушечка эта была снята с какого-то военного корабля.

...Затылок шумит, волнуется, в морозном воздухе пахнет махоркой. Здесь особенно заметна работа солдатского телеграфа.

Из уст в уста передаются самые последние новости и слухи — не только фронтовые, но также и тыловые, политические, подчас зловещие: насчет воровства в интендантстве, насчет полковника Мясоедова, повешенного за шпионаж и измену, насчет сибирского мужика Распутина, хозяйничающего в доме Романовых, как у себя в избе, насчет голодающего народа, насчет лучших земель, захваченных кулаками и помещиками, насчет неизбежного военного поражения и скорого заключения мира, о котором вся армия только и мечтает.

Хватит! Повоевали! Будя! Попили нашей солдатской кровушки!

Обо всем этом говорилось больше намеками, с присказками, ужимками, многозначительными умолчаниями, скорее ворчливо, чем грозно.

Солдаты не стеснялись высказываться в моем присутствии. Меня давно уже считали как бы своим, несмотря на мои погоны вольноопределяющегося.

Ах, как это было непохоже на мое прежнее представление о войне!

Вот бы, думал я тогда, привести сюда авторов военных рассказов, заполняющих газеты и журналы того времени, и поэтов, воспевающих в своих патриотических стихотворениях безымянных героев в серых шинелях, идущих на врага «с железом в руках и с крестом в сердце».

Но вот ровно в одиннадцать появлялась неизвестно где ночевавшая сестрица в черной кожаной куртке на меху, в валенках и шапке, не без лихости заломленной над блудливым румяным личиком с кудряшками на лбу.

— Здравствуйте, солдатики!

— Здрав... жлай... сестрица!

— Ну-ну, не толпитесь, не напирайте. Всем хватит.

Щелкает амбарный замок.

— Кто с передовых позиций, вперед!

Несколько пехотинцев протискиваются вперед. Они вне очереди. Это их священное право.

Вскоре по всем фронтовым дорогам и тропинкам идут на позиции солдаты с узелками и кульками, а больше всего с пачками махорки «Тройка» и книжечками папиросной бумаги, оттопыривающими карманы их потрепанных, а местами слегка обгорелых боевых шинелек.

Лица счастливые, розовые с мороза. Они уже выбросили из головы все, что принес им солдатский телеграф, пока стояли в затылке у входа в лавочку.

Но нет. Они не выбросили из головы. Не забыли.

...Они не забыли... Они не забыли...

Против лавочки рубленая избушка — солдатская банька. Возле нее христоролюбивое воинство топчется со свертками белья и березовыми вениками под мышками. Вениками, наломанными с кутузовских берез, они запаслись впрок еще прошлым летом и хранили их в своих вещевых мешках вместе с противогАЗами, не зная, доживут ли они до зимы.

В промежутке между боями шла монотонная армейская жизнь, страх смерти исчезал, а «равнодушная природа» продолжала свой круговорот: морозы сменялись оттепелями, зима переходила в весну, сверкали ручьи, голые деревья покрывались зеленью, наступало лето, солнце жгло неимоверно, случались грозы и ливни со всей их неопишуемой красотой, в лесах пахло грибами, незасеянные крестьянские поля зарастали сорняками, скудная белорусско-литовская земля, истерзанная войной и засоренная камнями, принесенными сюда еще со времен ледникового периода, которые давно уже никто не убирал и не складывал на обочинах, как водится, белыми пирамидками, кое-где рождала хилый колос самосеяной ржи или синюю коронку василька, теплящуюся, как лампадка.

В один из таких знойных дней я сидел на лафете, грелся на солнышке и думал о Ганзе, о своей страшной безответной любви, когда сзади ко мне подошел Кольхаев, постоял некоторое время молча и наконец произнес:

— Вот это насекомая так насекомая!

С этими словами он осторожно двумя пальцами снял с воротника моей гимнастерки и показал жирную полупрозрачную платяную вошь, зеленовато-черную внутри.

Добродушно улыбаясь в усы, он положил насекомое на ноготь большого пальца и прищелкнул другим ногтем так, что послышался звук лопнувшего пузырька.

Я был ошеломлен. Я так тщательно следил за собой, ходил в баню, часто стирал белье, даже в лютые морозы. Выстиранные рубахи и подштанники, развешанные на елочках маскировки, надувались от жгучего северного ветра, да так раздутые, с раскнутыми рукавами и леденели, гремя, как жестяные. Когда я вносил их в натопленную землянку, они оттаивали, но оказывались совершенно сухими. Мороз высушивал их. Приятно было надевать свежестыранное белье, пахнущее с мороза ландышем!..

И вдруг на мне нашли вошь!

Конечно, подумал я, это простая случайность. Вошь напозла на меня с кого-то другого. Но Кольхаев внимательно осмотрел меня со всех сторон своими зоркими рыбацкими глазами и снял с моего погона еще одну вошь, которая с медленной скоростью секундной стрелки мелкими стежками ползла по нагретому солнцем сукну.

— Так что поздравляю вас, обовшивевши,— добродушно сказал Кольхаев, казня второе насекомое.

— Не может быть!— воскликнул я, покраснев так ярко, словно меня уличили в чем-то постыдном, в позорной болезни.

— Что тут, друзья, за происшествие?— раздался сановный голос фельдфебеля Ткаченко, вместе со всеми остальными батарейцами вылезшего из своей особой фельдфебельской земляночки погреться на солнышке.

Я резво вскочил на ноги и вытянулся.

— Ничего. Не тянитесь. Седайте обратно,— сказал Ткаченко, выпятив по своему обыкновению живот и грудь с Георгиевскими крестами и медалями, и сделал передо мною несколько шагов туда и назад, как бы перед фронтом.

Он обдумывал происшествие: в армии велась неусыпная борьба со вшивостью.

— А ну, господин вольноопределяющийся,— наконец сказал он,— попросю вас, скидайте гимнастерку, и давайте побачим, что у вас там такое завелось.

Я снял пояс и стянул через голову гимнастерку, ту самую, из толстого японского сукна, некогда купленную на толчке. Гимнастерка вывернулась наизнанку, показав все свои внутренние швы и завязанные узелочками шнурки, которыми были прикреплены пуговички погонов. Шнурки эти оказались покрытыми белесым бисером гнид, которые блестели также внутри швов.

Ткаченко нахмурился и приказал вызвать на линейку всех свободных от нарядов батарейцев. Он прошелся несколько раз туда и обратно вдоль строя, погладил себя по своему офицерскому поясу, облежавшему живот, и сказал:

— Вот что, друзья. Скидайте гимнастерки и рубахи, и посмотрим, что у вас там делается.

Мне и сейчас, уже старику, неприятно вспомнить картину знойного июльского дня и ряд полуголых батарейцев, сидящих кто на земле, кто на лафете; кто на пороге землянки и под наблюдением фельдфебеля бьющих вшей, выловленных в складках нижних рубах и гимнастерок.

— Вот, друзья, до чего вы себя допустили за долгую зиму в землянках. А ну-ка скидайте шаровары, так как насекомые больше всего любят размножаться в суконных штанах и подштанниках. Не стесняйтесь, так как здесь в радиусе на двенадцать верст вы не найдете ни одной жинки, кроме дивчины из лавочки земского союза. Так что действуйте смело!

Развели костер из сухого валежника, и батарейцы трясли над ним верхнюю и нижнюю одежду, выжаривали насекомых, которые, падая в огонь, электрически потрескивали.

Фельдфебель, в общем, был удовлетворен: его батарея не слишком сильно обовшивела за зиму. Могло быть и хуже.

(Окончание следует)

ГЕОРГИЙ ПРЯХИН

★

ДЕНЬ И ЧАС

Повесть

СРОЧНО ВЫЛЕТАЙТЕ ПОГИБ ОТЕЦ ПОХОРОНЫ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО МАМА

Сергей смотрел на пляшущие, нестройно отстуканные буквы, на слова, не упорядоченные ни знаками препинания, ни элементарными пробелами, и поначалу ничего не понимал.

Отца у него никогда не было. То есть он, пожалуй, был, но Сергей его никогда не видел, не знал, ему с детства внушалась мысль, что он, Сергей Гусев, родился как бы сам собой, и Серега так привык к ней, что не задумываясь захватил ее и во взрослую жизнь. Удобная формулировка: захотел — и родился. Нет отца — и как будто одного берега нет: откуда хочешь, оттуда и живи. Живи без ограничений.

Мать он похоронил шесть лет назад, но чувство потери было еще так свежо, что и в телеграмме его сразу полоснуло именно это слово — м а м а, хотя полоснуть положено было другому — о т е ц.

Потом на миг подумалось: ошиблись адресом? Девчонка, принесшая телеграмму и теперь стоявшая, потупившись, в дверях, была незнакомой. Почтальонку, которая носила письма по их улице, Сергей хорошо знал. Маша — ей лет пятьдесят, а она все Маша да Маша. Маленькая, желтоволосая, как первоклассница с непомерно тяжким ранцем, она проворно сновала по улице от одного двора к другому, будто сметывала ее широко разнесенные, а в осеннюю непогоду почти не сообщавшиеся края. Машу на улице ждали, но, пожалуй, нетерпеливее всех, даже нетерпеливее пенсионерок, ее ждала Антонина. Завидев почтальонку, стремглав неслась со двора, бежала навстречу, перехватывая на дальних подступах, хваталась за лямки брезентовой сумы.

— Напрасно подлизываешься, — смеялась Маша. — Пишут!

В доме с ними жил котенок Шурик — хозяйка весной занесла: «Вот, топить в Курунту несуд, может, возьмете на разживу?» В сенцах, в двери со снисходительного позволения хозяйки Сергей выпилил узкую, забивавшуюся на зиму щель, чтобы днем, когда они с Антониной были на работе, кот мог выбираться на свежий воздух. Лаз так понравился Шурику, что и в дни, когда дверь была нараспашку, он предпочитал пользоваться этим своим персональным ходом.

Когда им действительно писали, то, приходя с работы, они поднимали с полу (Антонина никогда не могла дождаться, пока он отчинит гиревой замок) разогревшийся за день конверт — солнце набивалось в щель и стояло с той стороны, в сенях, теплой и мелкой лужицей.

Письма если и приходили, то не Сергею — Тоне. Справедливости ради надо сказать, что Сергей там тоже значился, но только в первой строчке, как в заголовке: «Здравствуйте мои дорогие детки Тоня и

Сережа». И все. Письма писала Тонина мать, и Сергей всегда поражался их существенности. Насущности. Про погоду — она занимала в них значительное место. Про огород: «Нарыли картошки варили варили а она как бубен». Про младшего сына Петьку, у которого «за-место головы футбол». Про последние уличные новости: кто заболел, кто помер и как помер...

Письма были короткие, корявые и наивно безграмотные. Ни знаков препинания, ни пробелов между словами. Как и в полученной им телеграмме.

Бойтесь телеграмм, которые в поздний час приносят вам незнакомые почтовые служащие.

Сергей с захолонувшим сердцем вертел в руках телеграмму, а девочка все не решалась спросить с него расписку. Она, конечно, знала о содержании телеграммы. Это мы, непосвященные, считаем, что у телеграмм есть множество разрядов: срочная, обычная, с ответом и т. д. и т. п. Для почты же таких разрядов только два: с м е р т н а я и все остальные. Все остальные — и смертная, не терпящая отлагательств.

Эта тоже не терпела, поэтому и принесла ее Сергею ученица телеграфистки с их районного узла связи.

— Где расписаться? — догадался наконец Сергей.

Девочка молча протянула ему книжку и огрызок карандаша. Пальцы у нее, заметил Сергей, были в чернилах. Он что-то черкнул на бумажке и машинально сказал телеграфистке спасибо. За что?

Та, торопливо попрощавшись, вышла. Сергей невольно пошел вслед за нею. Проводить?.. Двор, улицу плотно заложила тьма. Через минуту, уже во дворе, Сергей понял: это был порыв не столько вежливости, сколько малодушия. Он, сам того не понимая, сбегал от листка, оставшегося в комнате на столе. Во дворе было пусто. Из окна лился бледный электрический свет. Слово кто-то просовывал в темноту перочинный ножичек, пытаясь нащупать в ней хотя бы один зазор. Ночь была подогнана к земле плотно, по размеру, без заусениц. Тихо, только собачий лай лениво перекачивается из одного конца поселка в другой. В таких глухих райцентрах, как Курунта, собачья служба всенощная. Телеграфистки уже и след простыл. Как будто и не было ее. И полного стука в дверь, который так всполошил Сергея и на который первым бросился с кровати свернувшийся у него в ногах Шурик. И телеграммы, этих нелепых скачущих слов — не было.

Как у человека, кроме центральной нервной системы, есть периферийная, так и эти смутно роившиеся мысли были не главными, периферийными. Они и рождались-то, кажется, не в голове, а где-то на отшибе, в рецепторах пальцев, под ложечкой, под дыхом, в противном холодке.

Главной мыслью, жарко стучавшей в висках с той самой секунды, как он понял смысл телеграммы, даже поверх жалости, поверх первого печального изумления, безотчетного страха, вызываемого пусть чужой, но рядом ударившей смертью, была мысль о том, как же он с к а ж е т. Как сообщит жене о случившемся? Пробовал представить это и не мог. Слова, которые ему предстояло выговорить, казались еще более чудовищными, чем в телеграмме.

Ее дома не было. Она была далеко, за сто двадцать километров, в Саратове. И даже не в Саратове, а еще дальше, через Волгу, в городе Энгельсе. Занималась там устройством их нового жилища. «Гнездышка», как она писала в письмах.

Еще точнее было бы назвать его насестом.

...Старуха цепко, как будто прицелялась, осмотрела их и повела во двор. Притворив за собою калитку, они вступили в буйное плодущее царство огорода. Каждый квадратный сантиметр двора плодоносил или готовился к плодоношению. Темные, жирные, туманным ворсом подбитые помидорные кусты, подвязанные веревочками к

жердинкам, чтоб не разодрались от своей наливающейся ноши. Плетистое, густо усаженное цветом узорочье огурцов, в редких прорехах которого непременно виднелся пупырчатый, с цыплячьим пушком новобранец. Перец болгарский и горький, чьи жаркие, жгучие сосульки соперничали яркостью с редким маковым цветом, разбросанным по двору там и сям. Лук с лопнувшими потоптанными будыльями, укроп, тыква под забором с мощной, корявой, с кулак завязью и лохматыми оранжевыми, будто топленным медом залитыми цветами. В половодье зелени был оставлен единственный брод — выложенная битым кирпичом дорожка от калитки к крыльцу. Идти по ней можно было только гуськом. Сергей, замыкавший шествие, вынужден был делить стежку еще и со злобно наседавшим на него кобельком — вдоль дорожки была проложена стальная проволока толщиной с палец, на проволоке на свободном ходу помещалось кованое колечко, а уж к кольцу на коротком поводке крепился кобелек. Устройство было так основательно, а кобелек столь энергичен, что казалось — провались бабулин двор в тартарары, он и там, в подземельном пространстве, будет мыкаться на своей струне, как циркач на канате. Хотя проволока в данном случае страховала не жизнь кобелька и даже не жизнь бабкиных посетителей, а здоровье окружающей среды. Растительности. Среда тут властвовала безраздельно, и Сергей мимоходом удивился, как ухитрится квелия старушеница — в гроб краше кладут — содержать в порядке свое обширное хозяйство. В этом была какая-то ворожба: старость, ветхость, обреченность — палка у нее в руке казалась живее ее самой — и такое сочное, тучное, молодое изобилие.

Старуха провела их через сени в комнату.

— Тут я сплю, — показала клюкой на высоко взбитую постель, стоящую под образами как кулич. — Тут будете спать вы, — сунула палкой за печь, в простенок, отделенный от комнаты цветастой ситцевой ширмочкой.

Сергей с Тоней переглянулись. «Перспекти-и-ва», — протянул Серега про себя. Вероятно, он чересчур выразительно посмотрел при этом на дверь, ведущую в другую комнату, ибо старуха тотчас продолжала:

— А там стоят Верка с Мишкой, сейчас они в отпуску...

И обиженно поджала губы.

Уже два месяца каждое воскресенье Сергей с Антониной первым автобусом приезжали в Саратов и допоздна, до отхода вечно потерянного на путях курунтинского поезда били ноги в поисках жилья. Им не везло. Они, казалось, исходили все закоулки большого города, все его «вторые», «третьи» и последующие «линии», бесчисленные Садовые, стучались в самые сомнительные двери, но нигде их на постой не брали. Кто знает, что было тому причиной. Их молодость — им только-только исполнилось по двадцать, и никакими хитростями, никаким супружеским важничаньем скрыть это было невозможно. Домохозяйва опасались скорых детей, хлопот, притеснений. Или их останавливало отсутствие у парочки саратовской прописки? А может, просто невезенье? Или то, и другое, и третье, вместе взятые? В Курунту поезд тащился всю ночь, приходил в пять утра, и Сергей с Антониной, измученные, измятые, являлись несолоно хлебавши к терпеливо дожидавшемуся их Шурику.

Сергей работал в районной газете, мечтал о Журналистике, которая в его представлении была нерасторжима с областной комсомольской газетой «Заря молодежи». Перво-наперво командировки, настоящие, далекие: автобусом, поездом, а то, глядишь, и самолетом. Не то что тут, в Курунте. Придет редактор Коньков из райисполкома, встретит Серегу в крошечном предбаннике редакции, раз-

мещавшейся в обыкновенной избе, скажет, сметая снег с белых валенок:

— Я тут сейчас Митрича встретил, управляющего третьим отделением, из Выдрова, в райпо приехал. Ты бы, Сергей Никитич, подскочил туда, у него место в санях есть. Мотнулся б в Выдрово. А то можешь и не мотаться, прямо там, в райпо, побеседуй с Митричем. Узнай, как там у них со снегозадержанием. Снегозадержание — это, брат, два-три центнера прибавки в урожайности, — явно цитировал кого-то Семен Алексеевич.

Цитировал он всегда одного и того же человека: председателя райисполкома Пономаренко. И галифе у него, никогда не служившего в армии по причине чрезмерной близорукости, были сшиты на манер пономаренковских. И так же, как предрика, держал Семен Алексеевич по весне за высоким, хромовым, тоже командирским сапогом складную металлическую линейку. Приезжая в совхоз ли, колхоз, первым делом требовал, чтобы его проводили на сев, и со значительным видом ширял линейкой в размлевшую пашню: мерил глубину заделки семян.

— Правильная агротехника — главный залог стабильных урожаев, — наставлял он механизаторов и сеяльщиков.

Куда мог ездить Сергей, работая в районке?

В санях на соломе, а то еще пешком — в «командировку» на пивзавод или, скажем, в Сельхозтехнику: как у вас с планом девяти месяцев?

А встречи? Где только не побывает журналист областной газеты: строительство канала, лаборатории ученых, — а тут ни каналов, ни, в общем-то, жизни. Посевная, уборочная, взмет зяби, посевная. Снегозадержание — это только по радио звучит завлекательно. А на самом-то деле елозят тракторы плугами снег — вот и все задержание. С тем же Митричем Серега третий раз за год встречается. Сам уже может рассказывать, как у того идет снегозадержание или окот романовской овцематки.

Да и престиж у человека из области повыше, нежели у пешего командированного. Заглянешь в начальственный кабинет, «а вы откуда?» — спросят тебя. «Из «Ударного труда»...» «А-а. Ну подождите у машинистки».

Ну и сидишь, машинистка семечками, глядишь, угостит.

Из «Ударного труда» — как будто из соседнего совхоза.

А то еще было: шел Сергей по центру поселка, по людному тротуару. Слышит: грохочет сзади по мостовой бричка. Возница поравнялся с ним, встал в телеге во весь рост, вытянул лошадей арапником. Те понесли, подымая пыль, а мужик, бросив кнут на днище телеги, перехватил вожжи в одну ладонь, обернулся к Сереге и другую, правую, десницу сжал и задрал кверху. Здоровенный кулак образовался. И адресован он был ошарашенному Сергею.

Бричка уже протарахтела мимо, когда он узнал ездового: это был бригадир из колхоза имени Парижской коммуны, которого Сергей на посевной застал пьяным в лесополосе и раскритиковал потом в заметке под первоначальным заголовком «Стыдно!».

И вот на тебе — набрался позору при всем честном народе. Не в милицию же на него заявлять.

С областной печатью подобных казусов быть не может уже хотя бы потому, что в городах на центральные улицы брички не допускаются.

Но главным было не это. Главным было различие стилей, которыми пользовались районная газета и молодежка. Стоило только Сергею подсунуть ответственному секретарю заметку, начинавшуюся заветными словами: «Я добрался до глухого сельца Венеция (было такое в районе — память о причудах местного барина, от которого остался одичалый сад, изрезанный затравевшими канавами: по

ним, говорят, когда-то дефилировали крепостные гондольеры) одно-временно с первыми звездами...» — секретарь сначала внимательно просматривал листок в предварительном порядке, с заметным удовольствием вынимал из внутреннего кармана тоненькую, похожую на сапожное шильце авторучку и делал ею несколько аккуратных, экономных движений. И эти движения, и выражение лица бессменного редакционного секретаря Степана Федотыча в такие минуты чрезвычайно живо напоминали Сергею движения, выражение лица — выхватки, как говорят в его родном селе, — лучшего деревенского вальдера деда Кустри: считай, каждый двор в селе приглашал его валить под рождество кабана, валуха или просто какую захворавшую скотину. Он так же вот удовлетворенно осматривал объект живодерства, вынимал откуда-то из потайного кармана особенный, строго сберегаемый в холщовой тряпочке ножичек, делал им несколько аккуратных, экономных движений, в результате чего бедная животинка покорно отправлялась на тот свет.

«Мы приехали в Венецию в конце рабочего дня», — выводило вечное перо Степана Федотыча.

Ни ячества, ни беллетристики, ни очернения действительности.

Бог с ним, с ячеством. Бог с ней, с беллетристкой. Самое обидное заключалось в том, что Серега действительно допер пехом до этой самой Венеции, ибо «пассажирка» из района ходила только до центрального отделения, а Венеция у черта на куличках: барин, видать, любил уединение.

Что касается первоначального заголовка «Стыдно!», то он под шилом Степана Федотыча преобразовался в «Бригадир во хмелю». Поневоле кулаками замашешь.

Вообще-то Сергей любил свою шептунную профессию. Хотя чувствовал себя в ней стесненно. И по возрасту: где бы он ни объявлялся, его первым долгом спрашивали, сколько ему лет, а вторым — требовали удостоверение. Из интереса. Покрутив его, возвращали с неизменным вопросом:

— Что же такое вы закончили, Сергей Никитич?

— Ничего. Учусь заочно на первом курсе Московского университета, — отвечал Сергей Никитич, багровея.

Он чувствовал себя стесненно в ней еще и потому, что профессия предполагала общительность. Умение и даже желание быть на людях. На виду. Сергей был разговорчив, но — про себя. Даже излишне разговорчив — с собой. О, как он там, в себе, был находчив и остроумен! Как ловок и уверен крот в норе и как он беспомощен, попадая на поверхность. Может, потому Сергея и тянуло всегда писать, что это тоже, в сущности, кротовая нора: разговорчивость, подчас без удержу, находчивость, остроумие — без собеседника. У него, кстати говоря, была слабость: любил читать свои заметки вслух. Но — в одиночестве, без слушателей. Даже без Тони. Сидит в пустой комнате, при закрытых дверях — терпеть не мог, когда двери настезь, — и декламирует с листа.

На людях, на виду, при открытых дверях он в досталь пожил в интернате.

Странное дело, больше всего он стеснялся не директоров. Не председателей и даже не бригадиров. Рабочих. Стоять у них над душой, да еще задавать при этом одни и те же рикошетные вопросы: «Как норма? Как жизнь? Как с любовью к профессии?»

Пытаясь преодолеть неловкость свою и чужую, он лез на мостик комбайна, просил штурвал у снисходительно отодвигавшегося комбайнера, сажая мазутные пятна на свою единственную парадно-выходную белую рубаху (стоцентный нейлон!), тянулся к слесарным ключам и гайкам. Но, увы, его чуждались не только люди. Его чуждалась действительно знакомая ему работа. Не признавала в нем своего.

Подростком Сергей работал прицепщиком на взмете зяби. Плугатарем, как с гордостью и горечью называла его, усаживая за стол, мать. В их загонке ходило два трактора, один новый, тогда еще неприличный в селе «ДТ-75», он и плуг имел поновее, с механической системой. При таком плуге плугатарь не положен.

Остальные плуги были старые, целинных времен. «Едем мы, друзья, в дальние края» — Серегино поколение росло под этот перелетный аккомпанемент. Были они тяжелы, громоздки и на станине имели железную, в дырках сидушку и огромное скрипучее рулевое колесо. И то и другое предназначалось для плугатаря.

Серега крутил руль, который ничем не рулил, а только заглублял или поднимал лемеха, глотал пылицу, весь вечер выходявшую потом из нутра сгустками соленой грязи, и втихомолку мечтал о том, чтобы хоть однажды переместиться с плуга на трактор. В кабину. К рычагам. К рулю, который действительно рулит. Ведет. Командует.

В мечтаниях он посягал даже на чужое здоровье. Случилось ЧП, например аппендицит у тракториста, и бригадир Ложенко просит Серегу принять на время трактор. «Ты же умеешь, я знаю. А плугатаря мы тебе найдем, это не проблема. Вон хотя бы Ванька Мазняк. Он хоть и твой одноклассник, а технически еще неграмотный человек. Не то что ты...»

И нечто вроде ЧП действительно случилось.

Привезли зарплату, трактористы сгоняли Серегу в село за перцовкой и устроились в лесополосе, в реденькой, благостной, уже предосенней тени. Тракторы остались посреди поля, в загонке. Поле было как будто бы раскроено. Половина — темная, вспоротая, вспаханная. Распахнутая. Половина — еще зашторенная стерней.

Мужики вошли во вкус. Два застывших на приколе трактора могли привлечь внимание Ложенко. Тогда по пьяной лавочке Сереге и предложили сесть на один из тракторов, на «ДТ-75», и продолжить пахоту самостоятельно.

Трактор был новенький, передач у него было больше, чем у другого, старого, рыжего, выцветшего, таскавшего Серегу с его допотопным плугом, управление у него тоже было легче, плавнее. Сергей был счастлив. Руки его покоились на заветных рычагах, правой ногой он пробовал муфту, голову, как заправский тракторист с Доски почета, высунул в дверку, и слабый ветерок ласково охлаживал лицо, перебирал жесткий, свалявшийся от пыли чуб. Всем своим куценьким, подростковым телом ощущал он и мерно ревущую махину, и заглубившийся плуг. И землю — как она послушно, без особой натуги раздвигается, оборачивается ноздреватым пластом — словно поворачивается с легким вздохом на другой бок, прежде чем упокоиться до весны. «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты и я!» — горланил он от полноты чувств.

Сергей тогда, казалось, сам был и трактористом, и плугом, и землей. Работой. А работа, в свою очередь, была им. Разъять их было невозможно. Зато теперь, когда он поднимался на тот же трактор или комбайн в качестве гостя, экскурсанта, этого единения не было. И не холодок он ощущал, не землю, не работу, а лишь любопытно-насмешливый взгляд хозяина трактора или комбайна. Работника.

Хуже нет иметь над душой работника. Неуютно.

Работа не любит поддавков — это Сергей понял со временем. Пройдут годы, прежде чем он поймет, что и люди тоже не любят игры в одни ворота.

Как работа? Великолепно.

Как с любовью к профессии? Замечательно.

Полтора года назад, пока его как рабкора не пригласили в районку, он сам был одним из тех, кому адресуют эти беглые вопросы, подмастерьем в их родном с Тоней городке у заводского

слесаря Алексея Васильевича Маслюка, к которому устроился, перейдя из интерната в вечернюю школу. Тем очевиднее была теперь для него необязательность и даже бесполезность этих дежурных вопросов — как для вопрошаемого, так и для вопрошающего.

Пройдет время, и он станет не только расспрашивать их, но и сам рассказывать о себе. Сергею, для которого замкнутость бог знает с каких времен была средством самозащиты, самосохранения, придется разоружаться. Учиться разоружению. Случалось, и не раз, что эти усилия пропадали даром. Не оправдывались. И все же чаще — вознаграждались.

Писать в областную газету он начал с первых курунтинских дней. Сначала писал без задней мысли — «заветные слова» требовали выхода. Задние, честолюбивые мысли появились потом, когда заметки стали печатать.

На том, возможно, все и кончилось бы. Мало ли у газет внештатных авторов! Год-другой, а там, смотришь, запас честолюбия, как и запас «беллетристики», и подызрасходовался бы.

Так, возможно, и случилось бы, не повстречай Сергей на своем пути селькора Грошева.

Поезд приходил в Курунту в пять утра. Не лучшее время для приездов, особенно осенью, да если еще ты сходишь на станции, где тебя никто не ждет. В тамбуре в открытую железную дверь потянуло таким холодом, сыростью, бесприютностью, что у Сергея мелькнула мысль: а не вернуться ли в вагон? Не вернешься: поезд дальше никуда не шел. Тупик. Спустился с подножки на землю и почти на ощупь, стараясь держаться попутчиков, пошел туда, где, по его соображению, должен быть вокзал. Оттого, что все вокруг было чужим — он ничего не видел, но чувствовал, что все вокруг чужое, — темнота казалась еще гуще, беспросветнее. Народ прошел через вокзал не задерживаясь: каждый торопился домой, каждого ждали где-то за пределами этих голых, слабо освещенных стен. Сергею идти было некуда. Он остался на вокзале один, решил дожидаться утра, но не дождался, замерз, встал, вышел, поевживаясь, на улицу. Темнота рассеивалась, как бы снашивалась на глазах, обнажая унылое и уже как будто не новое, не чужое, а сотни раз виденное: приземистые, словно не выстроенные, а высаженные в грунт домики, слякоть, сваленная ветром с деревьев и мокнущая, гаснущая в кюветах листва. Сперва Сергей хотел спросить дорогу к редакции у прохожих, но вовремя сообразил, что народ, который встречается в шесть утра, вряд ли сведущ в таких адресах: кто гонит в стадо корову, кто бежит на утреннюю дойку. Навстречу ему на стареньком велосипеде катил хмурый, невыспавшийся человек, видимо привязанная на длинном учкуре к багажнику такая же хмурая, невыспавшаяся собачонка. Сергей даже повеселел от несвоевременности своего воображаемого вопроса. Редакция наверняка в центре. А центр наверняка там, где нога коснется асфальта. Сергей доверился ногам. Постоял на мосту, посмотрел на воду. Он не знал, что здесь, в Курунте, есть река, и был приятно удивлен этой встречей: Сергей родился в степях, в засухах, и редкие дни, когда по их сухой балке с азиатским названием Шан-гара с глухим глубинным ропотом шла желтая ливневая вода, были днями буйного мальчишеского счастья, хотя паводок сносил и коров, и лепившиеся вдоль балки хаты, а то и самих мальчишек. Вода в речке тоже была желтая, все ее узкое ложе было застлано, завалено палой листвой — где-то осыпались леса. Так было и с Шан-гарой: ливни били где-то, на чужих полях, а к ним выносило только эту, в сущности, бесполезную и даже опасную воду.

Через полчаса Сергей уже стоял перед избой с вывеской

«Ударный труд». На дверях висел огромный, лоснящийся от сырости замок. «Поцеловала пробой и вернулась»,— говорила Серегина мать, когда опаздывала куда-нибудь. Серега не опоздал— он пришел слишком рано, да и возвращаться ему было некуда.

Сначала просто ходил вокруг избы, останавливаясь, озабоченно пиная ногой полопавшиеся от старости, неошелеванные бревна, как будто проверял избу на прочность. Потом стал ходить— не останавливаясь, с приплюсом. Был он в поношенном, реденьком, как эти расплзающиеся утренние сумерки, пальто, и липкий осенний холод пронял его до костей. За этим занятием его и застала машинистка Раиса. Они столкнулись: Серега вывернул из-за угла, а она как раз подходила к двери. Женщина остановилась, смерила незнакомца вопросительным взглядом:

— Вам чего?

— Здравствуйте,— по инерции плясал Гусев.— Меня на работу к вам прислали...

— Сторожем?

Женщина чем-то смахивала на птицу— не лицом, скорее фигурой.

— Редактором!

И тут же с решительностью вконец замерзшего человека взял у нее из рук уже приготовленный было ключ, соперничавший размерами с ломом, с первого попадания открыл скрипучую, несмазанную дверь:

— Прошу.

Несмотря на язвительное выражение лица, женщина приглашение приняла. И даже провела его в свою комнатку, согрела электрический чайник, поставила на край своего низенького стола жаркий, словно докрасна раскаленный стакан, придвинула к нему початую полулитровую банку дегтярно-черного смородинового варенья.

— Редактором,— не удержалась, насмешливо протянула она.— Своего девать некуда.

Так что путь в редакторский кабинет, куда его пригласили через час, когда редакция до отказа заполнилась людьми, сотрудниками, Сергей начал отсюда, из этого закутка.

Изба, в которой размещалась районная газета, на Сергея Гусева рассчитана не была. И дело даже не в том, что она была тесна. Просто народ, собравшийся в ней порой самыми неисповедимыми путями: тут были бывший председатель колхоза, бывший заведующий районо, шофер единственной в райцентре пожарной автомашины, тоже, разумеется, бывший,— народ этот давно притерся друг к другу (что не мешало некоторым из них находиться в многолетней, узаконенной и забавной вражде) и к своему насиженному рабочему гнезду. Казалось, сдвинь их, пересади за другой стол— и на прежнем месте останутся проплешины, как от сдвинутой старой мебели. А пересаженные на новом месте не примутся. Завянут.

Новичка сажать было некуда.

— Итак, куда мы определим Сергея Никитича?— бодро воскликнул Семен Алексеевич, выводя Сергея в первый день из своего кабинета в комнату под названием общая. Как съезжая.

Ответного энтузиазма не последовало. Народ как сидел в согбенных творческих позах, так и остался сидеть. Столы здесь стояли впритык, подселиться сюда было сложно.

Зашли в корректорскую, где, кроме корректоров, ютились заместитель редактора и ответственный секретарь. Персональных комнат в редакции было две— у Семена Алексеевича и у машинистки Раисы. Охотников сидеть с машинисткой в редакции не было: народ ценил тишину, а из ее комнатки, как из скворечни, несли раздражительный стрекот. Поскольку взять Сергея к себе Семен Алексеевич,

естественно, не мог, он определил его к Раисе. Да и вести Сергея дальше было уже некуда — дальше были нежилые сенцы. Опять же, мог ведь он, редактор, хоть кому-то хоть что-то в этой редакции приказывать — и должен же хоть кто-то эти приказания выполнять.

— Вот Сергей Никитич, он будет сидеть здесь, — сказал скороговоркой Семен Алексеевич, возвышаясь над оранжевыми клубами крашенных Раисиних волос, но глядя почему-то в сторону сеней.

Возможно, Сергей и очутился бы в сенях, если бы не был знаком с Раисой раньше, по крайней мере раньше, чем с Семеном Алексеевичем...

— Тут так тут, — равнодушно сказала Раиса, хотя Семен Алексеевич, надо признать, ее уже не слушал: произнеся свой вердикт о местопребывании литсотрудника Гусева, он поторопился развернуться и выйти.

Вердикт остался в силе.

Сидеть Сергею пришлось не за настоящим письменным столом, а за таким же, как у Раисы, — низеньким столом для пишущей машинки. Серегини колени под него не втискивались — стол тогда вставал на дыбки, — поэтому сидел Сергей на значительном отлете от него. Чтобы хоть как-то разминуться с Раисой, стол вплотную придвинули к громоздкому, полкомнаты отнимавшему шкафу, в котором хранился редакционный архив. И в часы творческих раздумий Сергей основательно изучил его рассохшиеся дверцы.

Впрочем, прошло время, он свыкся и со столом и особенно со шкафом. Весь архив «Ударного труда» состоял из подшивок. Оставаясь один, Сергей любил вытаскивать их из пыльного шкафа, раскладывать на столе, листать, вдыхая едкий мажорочный запах минувших времен. Чем дальше в глубь времени, тем громче были заголовки и тем тоньше становилась газетная бумага. Отсюда, из этого бумажного тлена, и появилось перед ним впервые имя селькора Грошева. Сергей несколько раз встречал эту фамилию в подшивке за двадцать четвертый год.

«Совет хутора Львовка, движимый революционным сочувствием голодному пролетариату, собрал с каждого двора по 1 мере пшеницы и 1/2 мере овса для посылки в города Саратов и Петроград... Да здравствует мировая революция! Селькор Грошев».

«ТОЗ хутора Львовка пригнал со станции трактор «Катерпилер-2» для пахоты совместной пашни и дальнейшего продвижения к коммунизму. Кулаки Миронов, Конарев, служитель культа Благовосветлов, а также некоторые несознательные пытались воспрепятствовать въезду трактора в хутор. Пришлось применить революционное насилие... Да здравствует мировая революция! Селькор Грошев».

«Во время всенощной в канун так называемого отмирающего ложного церковного праздника пасха на хуторе Львовка местными театральными силами был дан спектакль выдающегося певца угнетенных масс А. С. Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде». Да здравствует мировая революция! Селькор Грошев».

Возможно, фамилия эта и не запомнилась бы так ярко — подписанные ею заметки если чем и выделялись среди других, то лишь избытком революционного романтизма, — когда бы в одном из номеров прямо на первой странице в уголке Сергей не прочитал:

«Злодейское убийство селькора Грошева.

Ночью... из обреза... в своем доме... председатель сельсовета... он же активный селькор... Да здравствует мировая революция!»

Сергей тогда жил один, в редакции засиживался допоздна. Горела печка — машинистка Раиса была по совместительству истопницей, и Сергей охотно помогал ей, — в окно лизалась мокрая ранняя тьма. Он сидел оглушенный. Казалось, выстрел раздался не там, в прошлом, не за горизонтом, откуда и выстрела-то не слышать,

лишь белый безобидный пушок на мгновение распустился в прозрачной глубине, а грохнул здесь, сейчас, за этим черным окном... Поражала жестокость кары. Мера пшеницы и полмеры овса, спектакль, сами заметки, в которых даже сквозь обглоданный временем типографский шрифт проступала трудная, забавная для чужого глаза клинопись самоучки — чуть позже он увидит ее, такую же, в тещиных письмах. Таким почерком пишут только самое насущное, когда не писать уже нельзя, когда приперло: расписки или материнские мольбы. Сергей на всю жизнь запомнил, как мучительно, заливаясь медленным румянцем, расписывалась его неграмотная мать в ведомости на зарплату. Выведение подписи занимало больше времени, чем пренебрежительно-мгновенная выдача совхозной кассиршей Клавкой Молотилиной трех-четырёх бумажек. Он и писать-то научился еще до школы от соседки-школьницы для того, чтобы расписываться за мать. И расписывался — Клавка великодушно разрешала: чтобы очередь не держать.

Сергей перечитывал заметки селькора Грошева и сквозь революционную пылкость различал другое: мечту. Наивную, бескорыстную, тем и опасную. Такая кара — кровью — могла обрушиться только за насущное. За мечту.

Мера за меру.

Сергей листал тощую изодранную подшивку, вылушивал из нее все, что относилось к селькору Грошеву, и среди чувств, охвативших его, было одно, которого он стыдился. Он стыдился его, затакивал вглубь, изгонял, вытапывал, а оно не изгонялось и не вытапывалось, холодным подпольным огоньком бежало в жилах. Потому что это было и не чувство вовсе, а чутье, лишенное стыда и совести, если не звериное, то уж охотничье точно: Сергей понял, что надыбал нечто, сулившее ему газетную удачу. А она, понимал Сергей, во многом была обусловлена выстрелом. Этого он и стыдился.

Он жалел селькора Грошева, он переживал его гибель и одновременно как будто кралясь по его следу.

Надо ли говорить, что уже на следующий день он побывал на хуторе Львовка. Потом на центральном отделении совхоза имени Мичурина, куда давно перебрались большинство хуторян. Потом в Саратове — по следам грошевской родни. Поиски растянулись на месяцы, Сергей сжился с селькором Грошевым, как сжился со своим столом, со шкафом напротив, с хищным клетотом машинки за спиной. А если говорить точнее, то селькор Грошев как раз и представлял противовес всему обыденному, самой обыденной и однообразной работе районного газетчика. И, может, благодаря ему, Грошеву, Сергей и сжился так быстро и безболезненно и со столом, и со шкафом, и вообще с редакцией, и даже — с чужбиной.

Сергей, казалось, уже знал о селькоре Грошеве все, что сохранилось о нем в людской памяти, — разрозненное, рассеянное, оно как бы воссоединилось, сконденсировалось в нем, Гусеве. Самое бы время теперь пролиться полнокровным дождем. А не проливалось. Сколько ни брался Сергей за перо, ничего путного не выходило. Чутье, предвещавшее удачу, обмануло.

Какое чутье! Стоило Сергею сесть за стол, как слова, люди, детали обступали его, путали, сбивали со следа, уводили в сторону. Все просилось на волю: ему хотелось написать и про нынешнюю Львовку, от которой осталось пять домов, да и то три нежилых. Среди них и дом селькора Грошева. Последние жильцы — уже не родня, чужие люди — уехали из него лет пять назад. Дом стоял незаколоченный — первый признак того, что никто уже возвращаться в него не собирался. Он крепко подался на одну сторону, словно припал на костлявое, старческое, негнущееся колено. Прохудившуюся крышу раньше, видать, часто мазали глиной, смешанной с **коровьим** навозом, и теперь она густо поросла воскресшей озимой

шерсткой. Сергею хотелось написать, как он ходил вокруг покинутого дома, даже в позднюю осеннюю непогоду ощущая лицом вкрадчивые могильные сквозняки, тянувшие из его выставленных глазниц, как, понимая наивность и тщетность своих стараний, пытался отыскать хоть какие-то следы давней ночной драмы. И когда нашел, обнаружил их — сам себе не поверил. В одной из оконных рам заметил аккуратную, с мизинец, дырку. Раньше ее, вероятно, заделывали замазкой, но за последние беспризорные годы замазка выветрилась, вымылась дождями — и зажившая было рана открылась вновь. Сергей приложил к отверстию ладонь и опять отчетливо ощутил все тот же неживой, погребной холодок. Значит, стреляли не в стекло, а через раму. Промач? Вряд ли. Скорее всего убийца стоял прямо здесь, под окном, и если бы стрелял через шибку, осколки могли брызнуть ему в лицо. Поэтому целился через стекло, а стрелял — через раму. Боялся пораниться, но еще больше не хотел промазать. И стрелял, стало быть, не из дробовика или привычного в нашем представлении о злодейских убийствах селькоров обреза. Настоящая боевая винтовка или, на худой конец, карабин.

Никакого дилетантства. Все — полной мерой. В упор.

Серегину догадку подтвердил и старик Гужелин, один из последних львовских обитателей. Их всего-то было двое: дед Гужелин и бабка, латышка, по прозвищу Пастушка, — придя на хутор в войну, она нанялась пасти общественное стадо и пасла до тех пор, пока пасти стало нечего. Несмотря на такое сиротливое соседство, на то, что оба давно вдовели, — хутор вообще не знал, была ли когда Пастушка замужем, — несмотря на это, старики держались автономии: Пастушка придерживалась ее даже в языке, до сих пор выворачивая каждое русское слово, как свой толстый шерстяной носок.

Старик Гужелин принял самое заинтересованное участие в Серегиных изысканиях. Узнав, зачем явился на хутор этот долговязый, опрятно огибающий лужи журавель, он даже сбегал в дом и предстал перед Серегой в сукодном, не по сезону картузе. Провожатый высказал такую расторопную осведомленность (где стоял контра, и из чего стрелял, и в какое время суток: «Только-только коров по домам пригнали, еще и не смеркалось как следует, дело ж летом было, и рама, обратите внимание, товарищ, летняя, одинарная»), что у Сереге засвербило подозрение: уж не белогвардейского ли кроля кепель у ветерана?

Потом, уже за чаем, понял: соскучившийся по живой человеческой душе дед хотел доставить интересующемуся товарищу удовольствие. Они сидели перед окном, за столом, накрытым клеенкой с изображением подпорченных временем ананасов. Дед подливал в чаек водку, на его желтой, маленькой, как очищенная картофелина, лысине выступила испарина. Тут же на столе посреди ананасов возвышалась широкогорлая стеклянная банка с откинутой марлевой повязкой. В банке было варенье из райских яблочек. Раньше Сергей таких яблочек не знал, на его родине они не растут. Зато в этих местах они в изобилии. Крохотные, с голубиное яичко, яркие — каждая яблоня прямо усыпана ими. Утыкана — они напомнили Сергею пестрые булавочные головки, ипильки-невидимки: осень грубо вычесала, проредила некогда пышные яблонево-прически, и вся подпольная, подноготная женская галантерея высунулась наружу. Варенье и впрямь было райским: каждое яблочко как будто сварено в отдельности, с оскоминой, с сыринкой, и заточено в разбухшей капле меда: так и хотелось пощекотать, понянчить его на языке, прежде чем прокусить тончайшую кожицу. Варенье означало Пастушкино участие в пире. Самой же Пастушки за столом не было. Она как только вошла — молча поставила на стол эту четырехлитровую, толстого синего стекла банку, которую перед тем бережно

прижимала к впалому старушечьему животу,— так и взгромоздилась на покрытый рядом сундук, стоявший у деда в этой же комнате. И сидела там, на отлете, во все время мужской неторопливой беседы.

Чем больше пьянел старик Гужелин, тем больше трезвела его память. Так что часа через два выяснилось: Грошева в селе никто Грошевым не звал. Безгрошев — как без царя в голове. Дело в том, что в первый год, когда вышли советские деньги, Гришка Грошев сжег свою зарплату прямо в сельсоветской печке при большом стечении народа и впредь от получения таковой отказался — вплоть до полной и бесповоротной отмены этого постыдного пережитка капитализма, о чем письменно известил уезд.

Впоследствии к Григорию Грошеву неоднократно прискакивал посыльный из укома. Привязывал коня к воротам, решительно входил в избу, сунув кнут за голенище, и сурово, как будто речь шла о расстрате, спрашивал: «Одумался?» Грошев одумываться не желал. И однажды просто-напросто послал осточертевшего ему посыльного на хутор бабочек ловить. Хорошо, парень оказался свой. «Тю, дурак, я же для тебя, шабра, стараюсь», — только и сказал он, а после чаепития, окончательно утратив предписанную суровость, признался, что тоже предпочел бы получать за службу не деньгами, а салом и яйцами. Натурой то есть. Как раньше, когда был батраком у кулака Плещеева.

Грошев смеялся. Хотя потом стало уже не до смеха. Деньги вопреки его ожиданиям не отмирали, наоборот — набирали силу. Третий год Грошев непреклонно ходил по хутору в одних и тех же вусмерть зачиненных яловых сапогах и в матросском траурном бушлате, революционными ветрами занесенном в степную Львовку. Хорошо еще, что по молодости лет жил пока в родительском доме, у отца с матерью, у которых были корова, подсвинок, с десятков овец и некоторые другие пережитки, на которые власть председателя Совета пока не простиралась.

...Сергей смотрел в окно, напротив которого лежал пруд, находившийся когда-то в центре хутора. Мощные ветлы (без листьев, голые и черные, как чугун, они казались еще мощнее), росшие на его плотине, явно не соответствовали самому пруду: мало-мальски сильный порыв осеннего ветра буквально задирали, сворачивал в рулон всю его наличную воду, обнажая давно не чищенное дно, и с унылым плеском — рулоном же — гнал ее к ветлам. Хлопнувшись в источенное водой, стрижами, чьи норки чернели в нем, как пробойны, основанье дамбы, которая и держалась-то одними только подмытыми корнями ветел, обнявшимися в земле так же крепко, как обнялись снаружи их облетевшие кроны, волна покорно влачилась назад... Сергей потом часто вспоминал эту картину, думая о неминуемом разрыве мечты и действительности, — как написать о нем? Как написать о жене Грошева, маленькой хлопотливой старушке, проживающей в Саратове? Сергей ездил к ней с Антониной и был поражен обилием рисунков в ее чистенькой коммунальной комнатухе. Рисунки — они висели по всем стенам в рамках, под стеклом и просто так, без рам и стекол, на кнопках — были сделаны карандашом на старых, будто закопченных листах одинаковой величины, и люди, изображенные на них, были похожи, как братья. Все они были в военной форме — кто в гимнастерке, кто в шинели, кто в плащ-палатке — и все были молоды, даже юны.

Оказалось, что у Грошева оставался сын, родившийся уже после гибели отца. Мальчишка выказал недюжинные способности к рисованию (возможно, сказались гуманитарные устремления отца), достиг, по словам Татьяны Ивановны, матери, «самой Москвы», то есть поступил сначала в Саратовское художественное училище, а потом в числе лучших учеников был переведен в Москву.

«Мама, сегодня нас, нескольких выпускников, первый раз возили в Кремль, где мы должны будем рисовать членов правительства. Мне достался Климент Ефремович Ворошилов...» Такое любопытное письмо, свидетельство не столько таланта, сколько времени, оказалось в аккуратной связочке писем в накрахмаленном батистовом платке, который Татьяна Ивановна вынула откуда-то из своих закромок и доверчиво выставила на стол перед неожиданными гостями. Так в отбеленном, на особый манер завязанном узле выставляют кутью под рождество. Сергей сам носил ее по селу. Выбелит, отгладит мать свою лучшую выходную косынку, поставит в нее полнехонькую тарелку с подслащенной, из высеянной пшеницы сваренной кутьей, подхватит он шуршащий от крахмала узел и поскачет по соседям, по родне. Смело входил в каждую хату — и прямо к столу. Ставил узел на самую середку, развязывал: вот, мамка просит попробовать. Пробовали. Хвалили. Благодарили, щедро подсыпая в заранее припасенный ходоком сумец колотого сахара, конфет, орехов. В конце пятидесятых поднялось село, встало на ноги, и пацаны понесли по домам уже не пшеничную кутью, а рисовую, да еще с изюмом, который, правда, случалось, сами же по дороге и выковыривали, выклеивали. И отдаривали их уже не только сахаром или ирисками, а нет-нет да и крученный-перекрученный рубль попадал в дырявые мальчишеские карманы.

Попробуйте. Вкусите. Причаститесь...

Из Москвы писем было мало. Сразу же после них пошли письма с фронта. И в конце каждого непременно приписка: «Мама, посылаю тебе еще один набросок. Это Вася Грязнов, он тоже с Волги. Мы с ним в одном расчете. Сбереги...», «Это Митька Смирнов. Такого друга у меня еще никогда не было...», «...Шура Панченко. Я тебя прошу, мама: сохрани краски, которые я высылал из Москвы, и все эти рисунки. Жив останусь — напишу картину про мою минометную батарею. Только бы руки не потерять...»

Тут же находилось похоронное извещение — серая, протершаяся на сгибах осьмушка несортовой бумаги, на которой почти все слова были напечатаны типографским способом. Кроме двух: фамилии — Грошев (та же фамилия на таком же старом и несортовом газетном листе бросилась Сергею в глаза) и места гибели — Бобруйск.

Последним в стопке было письмо за подписью старшего сержанта Дмитрия Смирнова:

«Вашего сына знала и любила вся батарея. Он никогда не выхвалялся перед нами ни своей грамотой, ни талантом. На передовой фотографов не бывает, но у каждого из дома просят карточку. Костя никому не отказывал, всех рисовал. Только веселый он был: каждому обязательно подрисует медаль или орден, даже у кого их нету. «Авансом», — говорит. Мы все хотели его уберечь. Знали, что он мечтает нарисовать после войны картину про всех нас. Но мы его, мамаша, не уберегли. Мы брали город Бобруйск, заняли позицию во дворе одной школы. Тут его и задело — осколком. Так что знайте, мамаша, Ваш сын похоронен прямо в школьном дворе, под березой (он сам когда-то просил меня похоронить его, если придется, под березой) — номер у той школы, говорят, шестой, стоит она на окраине. Что еще написать Вам, не знаю. Мне самому кажется, что я потерял родного брата. Одно могу сказать Вам, мамаша, твердо: мы Костину кровь отомстим. Высылаю Вам планшет с последними Костиными рисунками: он никогда минуты без дела не сидел. Все за руку боялся. Один набросок, с Вашего дозволения, оставляю себе: на нем Костя нарисовал одну нашу общую знакомую. Ее сейчас тоже нету. Пусть мне будет память о них обоих. Над Костиной могилкой мы дали залп из всех шести стволов в направлении отходящего противника.

Смерть немецко-фашистским оккупантам!

Доживу до победы, обязательно заеду к Вам. А если когда будете в Воронежской области, то беспременно заезжайте к нам в Меловатку, дом трактористов Смирновых Вам покажет каждый, и в доме том Вас всегда примут как свою, даже если меня тоже уже не будет. До земли кланяюсь Вам и прошу прощения от лица всей нашей батареи 120-миллиметровых минометов. Старший сержант Смирнов».

Татьяна Ивановна привычно промокнула глаза концами того самого платка, в котором только что лежали письма.

Вкусите. Причаститесь...

Сергей спросил, рисовал ли Константин на фронте себя. Автопортреты?

— Рисовал, часто рисовал и присылал,— с готовностью отозвалась Татьяна Ивановна.

— А можно посмотреть, где тут он? — сказал Сергей, подходя к стене.

Затяжное молчание, образовавшееся у него за спиной, заставило его обернуться.

— Там его нету,— тихо произнесла старуха.— Он тут,— показала она в угол на старинный, жестяными полосами схваченный сундук.— Все листы тут,— сказала она, подходя к сундуку.

Перед тем как поднять уже непосильную ей крышку, посмотрела почему-то на Антонину, как будто ища у нее большего понимания, чем у Сергея, проговорила с какой-то виноватой, опять же Антонине адресованной улыбкой:

— Нельзя их выставлять. Примета есть: повесишь — значит, уже не вернется никогда.

Почуяла в ней, молодой, мать.

Сергею хотелось написать и об этом, он чувствовал, что без этого, без сына, нельзя, что, может, здесь и заключен смысл жизни селькора Грошева, но связать все воедино не мог. Повествование расплозалось. Раздиралось, как перегруженная плодами яблоня: ветви еще не были готовы к плодоношению — Сергею не хватало опыта, школы. Может быть, просто возраста. Жизни.

Измучившись сам, замучив своими сомнениями жену, Сергей в конце концов принял такое решение. Списал заметку «Злодейское убийство селькора Грошева», добавил к ней копии Костиных писем и письма Дмитрия Смирнова (они с Антониной сняли их в тот же вечер у Татьяны Ивановны, затеявшей на кухне ужин с пирогами), приложил сюда же набросок — Костин фронтальной автопортрет, подаренный им Татьяной Ивановной на следующий день при расставании, снабдил все это страничкой собственного, сугубо сопроводительного текста и отправил бандеролью на имя редактора областной молодежной газеты.

Честно говоря, отсылать портрет Сергею не хотелось. Но он понимал, что с фотокопии — если, конечно, газета примет его материал — клише получится хуже, чем с оригинала. Тем более что сам рисунок, как и картон, на котором он был выполнен, был уже тронут временем: карандаш местами осыпался, стерся и оттого напряженно глядевшее с него лицо с крупными глазами казалось еще моложе. Незавершенней.

Оно было моложе самой картонки.

От селькора Грошева ни рисунков, ни фотографий не осталось, и в Сергеевом представлении два этих человека слились воедино. Они были похожи, как солдаты на стенках у всеми, кроме воспоминаний, покинутой старушки Татьяны Ивановны, которая, сама того не ведая, стала частью задуманной когда-то сыном картины о батарее 120-миллиметровых минометов.

Их трудно было представить отцом и сыном. Их легче было представить братьями. Близнецами.

Надо же было случиться такому: буквально на следующей неделе посланное Сергеем было опубликовано в газете. Заметка о злодейском убийстве за 1924 год. Письма Константина Грошева за 1941—1944 годы. Письмо старшего сержанта Дмитрия Смирнова. Карандашный эскиз и страничка сопроводительного текста... Все это заняло в газете целую полосу.

Еще через пару дней Сергей получил от редактора письмо с благодарностью и — с приглашением на работу. Приглашение содержало одну оговорку: если он, С. Гусев, сумеет самостоятельно прописать в Саратове и найти частную жилплощадь на неопределенное время.

Сергей ответил в тот же день телеграммой — боялся опоздать. Телеграмма была безоговорочной: согласен.

И вот теперь уже без малого два месяца они с Антониной каждое воскресенье скитались по Саратову и по его спутнику — Энгельсу, а когда в понедельник утром являлись на службу в «Ударный труд», редакция, зная о письме-приглашении, встречала их сочувственным молчанием.

И все эти два месяца Сергея мучил вопрос: а вправе ли он переезжать? делать карьеру на Грошеве?.. Было в этом что-то, чего он стыдился. В чем не признался бы никому, даже Антонине. Только себе.

Может, потому и поиски жилья были так безуспешны и тягостны, что сидевшее в нем сомнение лишало его энергии, пробойности?

— ...Мы согласны.

Она сказала престарелой домовладелице «мы», хотя на Сергея даже не взглянула. Больше того: сказала украдкой, скороговоркой, как бы боясь, что он ее перебьет. Встрянет.

Сергей не перебил.

Дня через три она, получив расчет, переехала на новое место — обживать, Сергея же попросили поработать еще недели три: время было горячее, а заменить сразу двоих человек в районке трудно.

Так он оказался один в чужом угрюмом доме с запущенным садом, состоявшим в основном из низкорослой, перепутавшейся художными кронами шпанки — морозоустойчивой вишни средней России. Дом сдала им Пелагея Ивановна Дротова, известная в Курунте как Дротиха. Он принадеждал ее сыну, ныне отбывавшему срок за драку с женой и за попытку поджечь по пьяному делу это самое жилище. До сих пор, сколько ни белила Антонина потолок, всякий раз по мере подсыхания известки в самом центре его мрачно обозначался черный, застарелый кровоподтек: хозяин, чудом не осмолвившись, макнул спичку в канистру с керосином и из ее горловины в потолок вымахнуло узкое бездымное жало. Дом спасли, хозяйина судили. Жена с ним развелась и, забрав детей, уехала из этих мест.

Дом долго пустовал. Квартиросъемщики обходили его стороной: отпугивала и его дурная слава, и, может, еще больше дурной норой Дротихи.

Сергей никогда не забудет, как в первый же день после вселения они с Антониной пытались разжечь голландку. Давно не топленая печь отсырела, тяги не было — напустили дыму. На дым прибежала Дротиха и, невидимая в горьком чаду, прямо с порога лупанула в молодоженов таким матом, что они опешили. И стояли так, разинув рты, размазывая по щекам едкие, злые, под стать вызвавшему их дыму слезы, пока старуха, не переставая изгиляться, выставляла с помощью захваченного с собой топора кирпичи и, чуть ли не с головой всовываясь в образовавшиеся пробоины, чистила дымоход от многолетней сажи. Дротиха была так щедедушна, что появившись в тот миг хорошая тяга, ее самою могло бы совершенно свободно высвистнуть в трубу. Один топор бы остался, не взлетел. Хотя что топор — метла была бы Дротихе сподручнее.

Но это было после. Вселяясь же, они еще не знали толком ни дома, ни его истории, ни его хозяйки и радовались, что будут наконец одни.

В дом идти не хотелось. Он, освещенный, надежный, обжитый ими, пугал сейчас больше, чем темнота... Там на столе осталась телеграмма. Четвертушка плохо гнущейся несортной бумаги с пляшущими, казенно одинаковыми по росту буквами, со словами, не упорядоченными ни знаками препинания, ни элементарными пробелами, пришедшими как будто оттуда, где все это уже не имеет ровно никакого значения.

Что делать, Сергей, в общем-то, знал. Ехать в Саратов, найти жену, объявить ей о гибели отца и лететь с нею на родину. На похороны. Что еще делают в подобных случаях?

Прежде всего надо занять денег. Расчет он еще не получил, в кармане гроши, на Антонину надежды нет.

Первый автобус в Саратов отправляется в шесть утра. Значит, деньги надо достать сейчас. Ночью. Сию минуту. Он вышел за ворота. За его спиной покинуто брезжили два окна и — ранкой — лаз в двери, которым раньше, размягчавшись до бескостности, пользовался Шурик и из которого теперь, тоже по-кошачьи, выскальзывал на волю неяркий свет.

Терентьев врывается в редакцию, как сквозняк. Бах! — захлопали двери, зашелестели, съезжая со столов на пол, бумаги. В годы гражданской войны Терентьев был кавалеристом и склонность к революционному натиску сохранил до старости.

— Раечка, сдавайтесь! Раечка, вы окружены! Оставьте свой паршивый пулемет. Работа дает женщине деньги, но ворует красоту. Забудьте! Кстати, на базаре появилась первая черешня.

И кулек бледной, будто из липового меда слепленной черешни с невнятно просвечивающими косточками, возникнув откуда-то из бездонных складок длиннополого, вытертого и вылинявшего, на кавалерийскую шинель смахивающего пальто, оказывался в руках у растаявшей Раисы.

— Физкульт-привет! Привет! Привет! Закройщик из Торжка урождает жилет! — гремело уже в следующей комнате.

Закройщиком из Торжка, к тайному Серегиному удовлетворению, именовался ответственный секретарь Степан Федотыч: то ли из-за неизменного строкомера, то ли из-за огромных — и впрямь портняжных — ножниц, которые, как и свою злодейскую авторучку, Степан Федотыч тоже всегда держал наготове.

Терентьев не чинясь распахивал дверь и в редакторский кабинет, минуту стоял на пороге, прислушиваясь к чему-то сугубо конфиденциальному в глубине комнаты, потом на всю ивановскую кричал высоким, козлиным, суворовским фальцетом:

— Лизнул! Лизнул-таки, не удержался! Хоть по телефону, а все-таки сумел. Достал. Нет, Семен Алексеевич, должен тебе сказать как большевик большевику...

Что там хотел он сказать Семену Алексеевичу как большевик большевику, оставалось неизвестно, ибо Семен Алексеевич вскакивал как ужаленный и, прежде чем протянуть старику руку, плотно закрывал дверь. Как ни напрягала слух давившаяся хохотом редакция, расслышать ничего не удавалось: дверь у Семена Алексеевича была с двух сторон обложена ватой, обтянута дерматином и пухлостью соперничала с присутственным диваном.

Так пронесило Терентьева по всем комнатам, и в каждой из них на каждом столе после него всегда что-нибудь оставалось: кулек черешни, самодельная трубочка (дед резал по кости и каждый мосол

на дороге обнюхивал, как голодный пес), бутылка пива, а то и наливки жесточайших домашних кровей.

Он уходил, а в редакции все еще как будто продолжало дуть: чуть-чуть знобило, но было все-таки свежей. Бодрей. И поднятый им шум не выветривался даже после его ухода — как-то задерживался, держался еще некоторое время в редакционных стенах. А почти бессловесный коллектив, мир хорошо притершихся и порядочно приевшихся друг другу людей, начинал вдруг выказывать непривычную потребность в тепле и разговоре.

Терентьев в редакции не засиживался. Отдавал несколько тетрадных листков, сшитых суровой ниткой, с обеих сторон исписанных неоднократно псалоявленным химическим карандашом и озаглавленных всегда одним и тем же словом: «З а м е т к а», — заваривал бучу, заводил народ и так же внезапно, как и появлялся, исчезал.

Заметки его были обычно самого ругательного свойства. «Прокламации», — называл их в отместку за ж и л е т ответственный секретарь Степан Федотыч.

Прокламация о том, что жители улицы Тихой в зимнее время по своей лености высыпают печную золу прямо на проезжую часть. «Это ж безобразие как с внешней стороны — по улице сейчас, зимой, пройти невозможно, ветер несет золу, как пыль, и даже снег тут лишен здорового цвета, а что будет весной, когда развезет, когда кучи расквасятся и устремятся загрязнить речку Курунту и окружающую природу? А если говорить со стороны внутренней, то кто ж не знает, что зола — ценное удобрение, ее надо собирать, хранить и компостировать... Позор жителям улицы Тихой!»

Прокламация о вскрывшемся воровстве в районном хозмаге — позор работникам хозмага!

Позор бригадам обособительной артели!

Бескомпромиссностью формулировок терентьевские прокламации напоминали Сергею заметки селькора Грошева — они как будто были выходцами из одной эпохи. Только там, где у Грошева стояло восторженное «да здравствует!», у Терентьева значилось суровое «позор!».

В сущности, и «да здравствует!» и «позор!» выполняли одну — революционную — функцию и отражали различие не столько времен, сколько методов. Характеров. Романтика и рубаки. Мечты и кавалерия.

Терентьев входил в парткомиссию при райкоме партии, в народный контроль, в десяток других комиссий и контролей, без конца кого-то проверяя, «тряс» и был в этом весьма усерден, одним своим появлением вселяя ужас в нижние чины районной торговли.

И не только торговли.

Проводил «Ударный труд» какой-либо рейд — и в редакционный «газик» срочно затребывался и внедрялся на почетное место, рядом с шофером, представитель широкой общественности Терентьев. Не хотелось никому заниматься очень уж хлопотным письмом или проверкой какого-либо запутанного дела, сулившей неприятности самому проверяющему, — и письмо или дело сбавривалось Терентьеву.

Хотя какое там сбавриванье! Делу, человеку везло, если им занимался Терентьев. Уж он-то докапывался до сути, до дна, чего бы это ему ни стоило. А докопавшись, всеми силами потом тянул, поднимал, вытаскивал попавшего в беду человека.

Года за четыре до войны стремительно вознесшаяся революционная звезда бывшего прапорщика армии его бывшего императорского величества, организатора братаний на румынском фронте, а затем активного участника гражданской, одного из руководителей героической защиты Царицына, покатила, как пасхальное яичко, в это ветхозаветное, укромное, пухом и прахом высланное гнездо. Строго говоря, она дрогнула, приостановила свой горный бег еще в тридцать

пятом, когда боевому командиру, кавалеру ордена Красного Знамени тактично, с перечислением заслуг, стоивших, несомненно, и здоровья и душевного износа (про свое здоровье Терентьев слушал с удивлением, потому как никогда на него не жаловался), но настойчиво предложили возглавить строительный техникум.

Два года он пробыл директором строительного техникума и почти двадцать лет — рядовым строителем...

Несмотря на известное беспокойство, которое доставлял поселку этот человек, вывалившийся в районную действительность прямо из двадцатых годов, к нему постепенно приуспокоились и даже привязались. Коренному курунтинскому обывателю было уже как-то и не по себе, если хоть раз в день за его окном — как раз на уровне подоконника — не мелькала лысина Терентьева. С особой цепкостью поглядывали в окошко старухи, чтобы тотчас по обнаружении выдубленной и надраенной, как самовар, — с солнцем, с морозцем — лысины кинуть вслед, а то и повторить, выскочив в сенцы, с порога: «Поскакал, агел!..»

«Позор священнослужителю Переведенскому!» — с этой прокламации, посвященной финансовым злоупотреблениям местного батюшки, началось внештатное сотрудничество Терентьева с «Ударным трудом». С батюшкой они, надо сказать, были ровесники.

Курунтинские старухи никак не могли простить ему этот наскок и, убрав из божественного слова «ангел» одну букву, создали специально для Терентьева понятие совершенно противоположное.

Разбойник, охальник.

А возможно, были подучены тем же батюшкой. Смотри Даля: аггелъ, м., црк., — злой духъ, діаволь, сатана.

Злой дух, диавол, сатана.

Сатана?.. Шинель, которую он не снимал ни зимой, ни летом, лысина, что зимой и летом осеняла неизменную шинель. По какому-то каторжному молодечеству ни шапок, ни фуражек, ни даже мичуринских соломенных шляп Терентьев не признавал, и в особо знатные морозы его лысина лишь чуть-чуть розовела, заветривалась, как остывающая покова. По этой покове как будто бы уже и стукнули: спереди она была странно сплюснута. Выпученные, уже совершенно бесцветные глаза, широченный голый рот — рот до ушей, хоть завязочки пришей, — глубокие старческие морщины. Все это придавало лицу если не сатанинский, то, во всяком случае, очень явственный лягушиный облик. Если совместить два этих не очень приятных существа, то забрезжит третье, и не сатана, и не диавол, а водяной — вот на кого больше всего смахивал Михаил Петрович Терентьев. Тем не менее старухи возводили на него напраслину. Ибо каждая пусть нелепая черта его была исполнена живости, улыбки, озорства и, в свою очередь, вызывала улыбку. Располагала. Он был настолько живым, что когда еще только заговаривал, и морщины, и старческие губы, и глаза, и даже сама лысина его приходили в неистовое движение, и это вызывало невольную ответную улыбку. А когда он начинал смеяться сам, заводясь с пол-оборота и сразу до отказа, безоглядно, до жалобного потенькивания пружин — с ужимками водяного, с мучительным смаргиваньем слез, со стариковским кудахтаньем и похлопыванием себя по бокам, — окружающие тоже заходились от хохота.

Нет, напраслину возводили на него курунтинские старухи.

А может, они только затем и высказывали в сенцы, чтобы оттуда, с порога, увидеть лихо задранный вверх красный, как и лысина, шелудящийся от стужи — варежек-перчаток Терентьев тоже не признавал — кулак: «Физкульт-привет, Антоновна!»

«Поскакал, агел...»

...В момент, когда Сергей выходил за ворота своего дома, он и не знал еще, к кому направится за деньгами. Дорога сама повела его

к Терентьеву. Почему именно к нему? — на этот вопрос, будь он задан, Сергей не смог бы ответить ни тогда, в ту бессонную ночь, ни позже. Более или менее тесных отношений, позволявших не чинясь перехватить у человека денег, между ними не было. Да и какие отношения могут быть между чужими людьми, один из которых вчетверо старше другого? В первый день их знакомства Сергей даже обиделся на Терентьева. Ворвался, напустив холоду, старикан, сунул Райсе какой-то сверток, бесцеременно оглядел прилежно корпевшего над бумагой Сергея, даже отодвинулся маленько, приложил ладонь щитком, чтоб сподручнее было, продекламировал нараспев:

Он пишет, не ведая дум,
Работа его легка.
Пуускай не работает ум,
Работала б только рука.

Потом запустил руку в карман и высыпал перед Сергеем пяток грецких орехов:

— Лучше будете соображать, молодой человек.

И двинулся дальше.

Стихи Сергея задели, он даже принял твердое решение не придрагиваться к орехам — что он, мальчик, что ли, еще бы жменю семечек вывалил, — но Райса вскоре тоже вышла, а орехи были такие ядреные, выспевшие, что Сергей изменил своему твердому намерению, поколол их на пороге и быстренько слопал.

С тех пор Терентьев включил Сергея в свои обходы: при каждом появлении в редакции в его необъятных карманах оказывалось что-нибудь и для Гусева.

А в день, когда областная молодежная газета напечатала страничку про селькора Грошева, Терентьев приволок в редакцию две бутылки шампанского и предложил отметить литературный успех товарища Гусева. Как ни поправлял его Сергей — какой же это литературный успех, когда там его, Серегинного, творчества всего-то полсотни строк? — Терентьев настырно придерживался этой формулировки. Речь была произнесена, бутылки опорожнены.

Но и этот факт вряд ли был решающим.

Терентьев жил на другом конце поселка, за рекой, дальше, чем кто-либо другой из Серегиных знакомых, вот это-то и решило дело. Сергею не хотелось возвращаться в пустой, заговоренный телеграммой дом, но точно так же, если не в большей степени, ему не хотелось сейчас, без передышки, оказаться среди чужих людей с объяснениями, с просьбой, в которой было что-то унижительное: нет денег, чтобы добраться на похороны. Выбирая Терентьева, Сергей по наитию выбрал дорогу, одиночество, пусть недолгую, но инерцию. Они нужны были ему уже хотя бы для того, чтобы собраться, сгруппироваться перед тем лихорадочным забегом, который начнется завтра.

К тому же, вспомнил Сергей, Терентьев сам недавно похоронил жену. Она, оказывается, давно уже болела туберкулезом. А в Курунте была старая, еще царских времен кумысолечебница — для нижних чинов неудачной и весьма кровопролитной русско-японской войны 1904—1905 годов. Из-за кумысолечебницы Терентьев при всей своей непоседливости никуда и не двинулся из Курунты. Остался, прирос. А жена заплошала. Всю жизнь ее дети держали. А дети вылетели — и отпустило. Слегла. У детей уже были свои дети в Москве, в Горьком, а они доживали здесь, и Терентьев каждое утро бежал рысцой с эмалированным бидончиком в императорскую лечебницу за кумысом. Насколько известным был в райцентре он, Терентьев, настолько же незаметной была его жена, хотя переехала сюда значительно раньше его. На людях она почти не появлялась, отвыкнув за время терентьевской отлучки от людей, да и открывшаяся

хвороба заставляла ее чуждаться чужих, привязывала к постели, к дому с вечно занавешенными от солнца окнами. Сергей, например, вообще не знал о существовании при Терентьеве старухи — его жены — до того часа, пока тот однажды не вошел в редакцию необычно молчаливый, растерянный, с пустыми руками. Полы его шинели не развевались, как прежде, а волочились намокшими крыльями, прошел не здороваясь мимо удивленно замерших Раисы и Сергея, сел на торопливо подсунутый кем-то стул. Он сидел на стуле, а из всех комнат без оповещения стекался к нему народ. Терентьев еще ничего не сказал, но всем было ясно, что у него что-то стряслось. И так же, как это еще не известное, но уже ясно обозначившееся горе, проступило в нем другое — старость. Он сидел ссутулившись, опершись руками о колени, и молчал, глядя перед собой.

Терентьев пришел звать на поминки.

Жену он уже похоронил и зашел в «Ударный труд» прямо с кладбища. За два рейса редакционный «газик» перевез к нему всех сотрудников. На похороны приехали и сыновья Терентьева и их жены, но хозяйничали в доме, бесшумные и бесплотные, те самые старухи, что совсем недавно были с Терентьевым в решительных контрах.

«Поскакал, агел!»

Терентьев сидел тихий, оглохший, покорно, как в ресторане, принимая и отодвигая тарелки. Сергей видел, как старухи за его спиной коротко переглядывались и жалостно покачивали сухими, сморщенными, как подсолнечные шляпки по осени, и так же, как подсолнечные шляпки — чтоб не просыпались, чтоб птица не выхлостила, — наглухо укутанными в темное головами.

С тех пор Терентьева Сергей больше не встречал, тот как-то пропал из виду...

Вспомнившаяся чужая беда пропустила, как гостью, свою. А может, она, чужая, и вспомнилась лишь в связи со своей? Ну если и не со своей, кровной, то — менее чужой. В памяти по какому-то странному противоречию неожиданно возникло веселое, счастливое лицо жены.

Вот она, ахнув, принимает от него огромный, скрипучий от ледящей свежести букет ландышей — Сергей, возвращаясь из очередной командировки, набрал в лесу на ландышевую полянку. Антонина, выросшая, как и он, в степях, в суши, никогда в жизни не видела такого количества ландышей — в ее родном городке их продавали поштучно, — невнятно ругала его за варварское отношение к природе, а сама все прижимала букет к себе, окуная в него подбородок, нос и взглядывая на него исподобья ясными, счастливыми, благодарными глазами.

Вот он впервые целует ее — под акацией, что растет у ее ворот. Тычется губами — как она в те ландыши — в ее лицо, в щеки, в сухие смеженные ресницы, не решаясь еще опуститься ниже, к губам, и исподтишка разглядывая ее зорко, в упор, до мельчайших выветренных полнолунием веснушек, до самых тайных тайников. Да она и не утаивает их: ее лицо щедро, безоглядно запрокинуто, оно само источает свет.

Вот она вспоминает об отце — они любили по вечерам у растопленной печки рассказывать друг другу о своем детстве. Они как бы поселяли его вместе с собой в чужом доме, и он уже не казался чужим. Они поселяли друг в друге каждый свое и сами друг другу казались роднее.

Отец у нее, пока не сдали глаза, крутил баранку. Когда она была еще совсем крохой (Белка — звали ее в семье за прямые, совершенно белые, выгоревшие волосы, накрывавшие ее подобно шалашику с макушки до подбородка), отца часто и подолгу не бывало дома. Шоферов тогда не хватало, у них чаще, чем теперь, были дальние

поездки, длительные командировки. Она ждала его, может, больше всех, хорошо помнит то состояние душевной смуты, маеты, неприкаянности, которое овладевало ею после отцовских отъездов. Она и засыпала в такие дни, как мышка, по-сиротски, без обычных капризов. Ожидая отца, она играла не во дворе, в тенечке, под сараем, как обычно, а на улице, за воротами, на солнцепеке, чтоб не прозевать машину, первой встретить ее. Она была маленькая, косолапая, как уточка, и старшие брат с сестрой, устремясь к загремевшему наконец под самыми окнами отцовскому самосвалу, всегда ее обгоняли: Белка ковыляла последней, влекомая не столько своими слабыми, ватными еще ножонками, сколько силой любви и ожидания.

Вот она увидела, как открывается дверца и из кабины, душной, прокаленной, как жаровня, степным зноем, провонявшей бензином и пылью — она любила этот запах, потому что он исходил и от самого отца, — выбирается ее отец. Отец маленький — и потому шустрый, ловкий, он и из кабины обычно не вылезает, как другие, а выпрыгивает, как мальчишка, ничем, кроме стоптанных кирзовых сапог, не обременен. Но сегодня он что-то мешкает, с лукавой осторожностью вынимает что-то из кабины. И девочка на полдороге останавливается, замирает, и старшие брат с сестрой, выбежав со двора, где застал их рокот причалившего к дому отцовского самосвала, как всегда, обгоняют ее. Но отец, ласково поворошив их вихры, все-таки направляется к ней, младшей, держа в руке свою невестомую ношу.

Кукла! — розовощекая, чистотелая, как будто только что вынутая из того самого корыта, в котором каждую субботу мать решительно скоблит и выполаскивает Белку, с настоящими бантиками в белых, как у Белки, волосах, в настоящем, с маками, платице, в носочках и в башмачках, каких никогда еще не было у самой Белки. Отец ставит ее на землю перед дочкой. Глаза в глаза: блестящие, подсиненные стеклышки прекрасной незнакомки и живые, радостно распахнутые глазенки Белки.

Уже по тому, как она рассказывала о нем, Сергей давно понял, догадался, что какое бы расстояние ни пролегало между Белкой и ее отцом, связывавшие их узы не оборвутся и не загрубеют. Наоборот: расстояние как бы натянуло их, настроило, добавив чуткости и глубины. Стоило коснуться их — воспоминанием, письмом (хотя письма писала только мать, отец же в них появлялся, как и Петька, эпизодически и далеко не всегда в выигрышном свете), — стоило коснуться их, и они тотчас отзывались... Белка была у отца любимицей, понимала, какой осенний рубеж обозначает в его искалеченной войною жизни. Тем преданнее любила его сама.

И вот теперь через несколько часов, утром Сергею предстоит известить Белку, что отца не стало. Что и она — осиротела. Что расстояние между нею и отцом — бесконечное. Он медленно брел по поселку. Курунта спала. Лишь изредка попадались на пути полуосвещенные окна, и по их усталому свету можно было без труда установить: у кого кто-то родился, у кого кто-то заболел. Но ночь уже не казалась такой непроглядно темной, как во дворе. Глаза привыкли к ней и вполне довольствовались тем непросеянным обойным светом, которым, как мукой, притрушивал все вокруг — и улицу и дома — высоко зависший в небе косоротый месяц. Даже деревья, днем зеленые, яркие, тоже как будто постарели, их тяжелые сивые купы тучно парили над землей на невидимых в тени стволах. Сергей шел не по стежке вдоль заборов — ее тут называли тротуаром, — а прямо по середине улицы, по пустой пыльной дороге. Однажды зимой, в метель, когда райцентр по самые трубы завалило снегом, они с Антониной по этой же дороге добивались на работу. Сергей шел впереди по глубокой узкой тропке, прорезанной в снегу еще более

ранними пешеходами. Ветер с ночи ослабел, но был еще зол. Антонина шла следом, держась за его отведенную за спину руку. Как ни старалась метель замуровать, отгородить его от всего белого света, Сергей все время чувствовал в руке теплый, испуганно сжавшийся комок — ее рукавичку.

Зима быда такая снежная, что и домой они ходили не через калитку, а доверху, над воротами, на месте которых сиял под солнцем огромный, покатый, отъевшийся за зиму сугроб. И когда у них кончились дрова и Сергей достал на станции неподъемные пиленые комли, он закатывал их во двор этим же путем, поверху, почти по небу — лошадь такой подъем не взяла: по брюхо проваливалась в снег. Она осталась с санями внизу, с лукавством, как казалось Сергею, наблюдая за самоличным упиранием своего недавнего повелителя, а впереди, на порогах, до бровей укутанная в белый пуховый платок, его встречала Антонина...

Теперь ему казалось, что тогда за сыпучим бугром, на который он взбирался со своим грузом, его ждала не жена — дочка.

В домике, где жил Терентьев, света не было. Сергей снял с калитки протершийся до невесомости металлический ободок — других запоров на ней не было — и вошел во двор. Прошел по мощеной дорожке, поднялся на крыльцо. Минуту постоял, освобождаясь от дорожных видений и воспоминаний, постучал в дверь.

— Заходи! — с неожиданной готовностью отозвались за дверью.

Сергей толкнул настывшую, в холодной испарине ручку. Дверь оказалась незапертой. Ступил в сени — вот где темнота обвалилась на него, как сажа. Он даже задохнулся в ней. Пару раз зацепив что-то гремячее, нащупал следующую дверь и ввалился в комнату, где было, слава богу, посветлее, чем в сенях: два занавешенных окошка незряче сквозили в темноте.

— Включай свет, — вяло скомандовал Терентьев, неразличимый в утробном сумраке.

Сергей повиновался, пошарил рукой по стенке возле двери, нашел выключатель.

Терентьев, смешно жмурясь от яркого света, сел в кровати. Сергей поразился его маломерности: в шинели тот казался куда значительнее, чем сейчас — в подштанниках и в белой нательной рубашке. Маленький, ссохшийся...

Привыкнув к свету, Терентьев узнал Сергея и опять не выказал особого удивления.

— А, это ты, — протянул с некоторым разочарованием. — Садись. И пальцем прямо с кровати показал на стул.

Сергей сел — спинка у дерматинового стула была такой прямой и жесткой, что, казалось, не просто помогала поддерживать тело в надлежащем положении, а вполне заменяла позвоночник. Ощущение скованности явилось тотчас, как он уселся. Что было тому причиной: стул, заставлявший принимать сугубо официальную позу, или старик, все так же невозмутимо сидевший в исподниках на кровати? Только сейчас Сергей понял всю неловкость своего ночного вторжения.

— Стало быть, у тебя кто-то умер и ты пришел просить денег, — сказал Терентьев как бы самому себе.

Сергей вздрогнул. «У тебя кто-то умер» — он готов был услышать от старика все что угодно, но только не это. Дело даже не в том, что этот ведун в кальсонах каким-то непостижимым образом угадал причину Сереегина появления здесь. Сергей был сражен жесткостью формулировки, словами, впервые за ночь произнесенными вслух и вследствие этого как бы обретшими плоть, ставшими реальностью: «У тебя кто-то умер...»

У тебя.

— Да, Михаил Петрович, я пришел к вам просить денег,— чуть слышно сказал Сергей.

— Ну так возьми их.

Терентьев развернулся к Сергею, спустил с кровати ноги — его худые растоптанные ступни, торчавшие из белых штанин, были необычно красны: точь-в-точь гусиные лапы («Обмороженные», — догадался Сергей). Старик был не просто лысый — голомызый, как говорили в детстве. Ни волоска ни на голове, ни на груди, чей око-стеневший конек выглядывал в прореху натальной рубахи, ни на ногах — все вытерлось, выветрилось...

— Ну так возьми,— повторил Терентьев и показал на старый, разошедшийся, тоже вытершийся до проплешин комод.— В третьем ящике снизу. Возьми, сколько тебе нужно.

Сергей встал, тронул указанный стариком ящик — дерево было таким сухим, что ящик, казалось, выехал сам, обдав склонившегося над ним Сергея выдержанным, легким духом столетней чинары. Внутри были какие-то бумаги, документы, фотографии. Сверху аккуратной стопкой лежали деньги. Денег было не так много. Сколько же ему нужно? Сергей до сих пор не задумывался об этом. Да и не предполагал, что определять размеры займа придется самому, единолично. Как ведь чаще бывает: просящий задирает планку, дающий сбавляет — целый торг. А тут — возьми сколько нужно. Он вообще многого не предполагал... Оглянувшись за подсказкой к Терентьеву. Тот, по-мальчишечьи отвернувшись от Сереги, топтался у кровати, пытаясь попасть ногой в штанину. Сергей отсчитал четыре двадцати-пятирублевые бумажки, хотел доложить старику, что взял сотню, но когда обернулся, дед уже стоял над ним в штанах и пристально прямо смотрел в лицо.

— Так кто же у тебя умер, парень?

— Отец у жены погиб, Михаил Петрович,

— Отец у жены,— укоризненно повторил Терентьев.— Тесть — так и скажи.

— Тесть.

— Садись.— Терентьев показал Сергею на тот же стул, а сам вышел в сени.

Сергей, в общем-то, обрадовался приглашению — Терентьев все-таки был еще живым человеком. С ним было спокойнее. Он возился где-то в сенях, как мышь в амбаре, а Сергей удовлетворенно отмечал про себя его поскребыванье, шебуршанье, отмечал, что он, Гусев, не один. В отличие от первых минут после телеграммы ему теперь не хотелось оставаться одному.

Он огляделся. В комнату, в которой он сидел, выходила другая, смежная. В дверном проеме висели легкие чистенькие занавески, подвязанные понизу лентами на манер того, как подвязывают рушники вокруг иконы. В красиво вычерченном пространстве между занавесками была заключена — действительно как старая икона — необычно черная, тяжелая, непроглядная тьма, присмотревшись к которой можно было различить в глубине смежной комнаты закутанное в кашемир зеркало.

Сорок дней еще не прошло...

Когда Терентьев вновь появился в комнате, в одной руке он держал тряпкой сковороду с длинной ручкой — в сковороде еще шкварчала и пузырилась яичница, — а в другой нес за узкое горло бутылку с наливкой. Поставил на стол сначала бутылку, потом исхитрился переместить тряпку с ручки сковороды под ее днище и рядом с наливкой уместил яичницу. Затем опять отлучился в сени и вернулся с железной миской, в которой, одним своим ароматом вызывая приятную оскомину, горкой лежала антоновка. Яблоки были крупные, ребристые, их как будто лепили, как лепят снежки.

Рука сама потянулась к миске. Яблоко ласково холодило ладонь и так ловко к ней прилаживалось — ребрами, вмятинами, всем несовершенством формы, — словно действительно вернулось туда, где возникло.

Терентьев раскупорил залитую смолой бутылку, стал разливать в стаканы. Наливка была, видать, со смородиной: из наклоненного жерла забил черно-красный, с гвоздичным высверком на излучине ключ. Он был такой силы, что старик не справлялся с бутылкой, она мелко-мелко позванивала о стакан.

— Хороший был человек? — спросил он, придвигая к Сергею оставленную на клеенке кровотокающий след граненую посудину.

— Хороший.

Они выпили. Наливка имела терпкий, вяжущий привкус. Сергей опростал стакан до дна — стоило ему пригубить, как сразу же почувствовал всю допившуюся в нем за ночь жажду. Он пил крупными, жадными глотками, пытаясь заглушить ощущение сухости, выпаренности, пустоты, обжигавшее небо из глубины, из самого нутра.

Помолчали.

— Жена у меня тоже была хорошим человеком, — спокойно произнес Терентьев.

Сергей плеснул себе в стакан наливки — бутылка оказалась холодной, запотевшей и тяжелой, как будто сама была плодом, заключавшим в себе терпкую живую кровь. Терентьеву не доливал: его стакан остался почти полон. Выпили не чокаясь еще раз.

— Что с ним случилось? — спросил Терентьев.

Сергей пожал плечами.

— Понятно, — сказал Терентьев, хотя понятно как раз ничего и не было, и сделал неожиданное заключение: — У тебя жена тоже хорошая.

Сергей невольно улыбнулся: все в редакции заметили особую благосклонность Терентьева к его жене. Как только она появилась в «Ударном труде», самые изысканные презенты стали делаться ей. Подношения, сопровождаемые галантными жестами и шарканьем сбитых кавалерийских хромачей, извлекались не из бездонных карманов, как для других, а из-за спины, укрываемые там до времени в заложенной назад руке (что говорило о том, что и по дороге в редакцию Терентьев нес подарок не в кармане, а в руках, помня о предстоящей встрече). Белка принимала игру: делала книксен, чмокала Терентьева в щеку. Представление имело успех и собирало зрителей.

Наливка и впрямь как бы прибавила крови, жизни. Захотелось есть, двигаться. Утро с его тягостными заботами как будто отдалилось. Как будто начало движение вспять. Старик поворачивал сковороду, чтоб Сергею сподручнее было управляться с яичницей, заботливо подсовывал ему хлеб, но наливки больше не предлагал.

Сергей видел, что и старик — то ли от наливки, то ли от его, Серегиного, аппетита — тоже ожил. Исчезла его пугающая отрешенность, он как будто проявился, материализовался, вновь обрел утраченную было плоть. И хотя Терентьев по-прежнему молчал, но и молчание стало другим — живым.

— Как вы узнали, Михаил Петрович?

— Что узнал?

Старик сидел напротив, выложив на стол костлявые длиннотелые руки. Сергей отметил про себя, что глаза у него выцветшие, реденькие, но огромные, как у ребенка: лицо с годами подсыхало, ссыхалось, урезалось, глаза же оставались в прежних берегах, все больше и заметней выделяясь на старческом морщинистом лице, вбирая, задерживая в себе уходящую жизнь.

— Ну, по какому случаю я к вам..

Старик усмехнулся, на мгновение отдаленно напомнив того Терентьева, к которому Сергей привык: с его суворовским фальцетом, с его заразительным, без удержу — до жалобного потенькивания невидимых постаревших пружин — смехом.

— А по какой другой нужде приходят в такой час? Да еще к старикам. Смерть или деньги — одно из двух.

Он помолчал, рассматривая свои руки, поворачивая их перед глазами с той недоверчивостью, с какой старики обычно рассматривают свое обглоданное годами, изменившее им тело.

— Я как услышал, так и подумал: смерть идет. Явилась не запылилась. А когда увидел, что это ты, понял: не моя. Чужая. А ты говоришь — как узнал. Я ее теперь за три версты чую, подлюю. Жду — кого ж еще ждать, — а она, сука, опаздывает...

Терентьев хоть и сказал грубое слово, но злости в его голосе не было. Разве что удивление: опаздывает.

Как ни занимало Сергея собственное несчастье, но и сквозь него, вглядываясь в Терентьева, он ясно различал: опоздания не будет.

Что он мог сказать старику?

— Я пошел, Михаил Петрович...

Сергей встал, удивившись коварству наливки: голова его как будто посвежела, проветрилась, а вот ноги отяжелели, стали непослушными, чужими. Старик молчал, но когда Сергей уже переступил порог, окликнул его:

— Посиди еще минуту. Байку одну хочу рассказать.

Сергей вернулся, сел. Дед отвлекся наконец от своих рук, пристально, долго — Сергею показалось: ласково — посмотрел на него.

— Это было давно, в семнадцатом, после Февральской. Я тогда был прапорщиком, сидел в придунайских плавнях. Каждый день митинговали. Офицеры требовали не покидать позиций, солдаты кляли все на свете и потихоньку дезертировали. Вошь оголяла фронт. Спасу не было, жрала поедом. Как раз в это время в Одессе собирали Советы румынского фронта, Черноморского флота и Одесской губернии. Выбирали ЦИК Советов, так называемый Румчерод. Пришла разрядка и в наш батальон. Офицеры настаивали на своей кандидатуре, солдаты выдвигали меня. Горлопанили двое суток. В конце концов большинством голосов прошел я. Провожали меня до самой станции. И харчей полный вещмешок насовали, и даже сапоги трофейные, германские, яловые, снесу им потом не было, дали. В тряпке принесли, касторкой смазанные, в подарок. Обулся, прошелся — в самый раз. А они, депутация, стало быть, и говорят: ты, Терентьев, сапоги-то бери да помни — вернешься без мировой, вместе с ногами повыдергаем.

Терентьев улыбнулся, и его слабая улыбка, как зажженная в темноте спичка, ненадолго, пока не догорела, осветила лицо прежним знакомым выражением.

— Большинство солдат мира ждали. Надоело заживо гнить. Потому и выбрали меня: все-таки свой брат, из тягловых, а что прапорщик — так даже лучше, грамотный, боевой, сумеет, если что, постоять за правду-матку. А по слухам, на том самом съезде должно было решаться: воевать, во всяком разе на нашем участке, дальше или разбегаться. Были, конечно, и оборонцы, в том числе добросовестные, но моя установка была твердая: разбегаться. До станции меня проводили, в поезд помогли протолкнуться и еще за вагоном бежали, в окно кулаками сандалили: мол, не забыл, зачем едешь? Добрался до Одессы, разместился. Наутро — в оперный театр, съезд собирали там. Народ уже сходится, кучкуется. Знакомого повстречал, Климку Рогова, вместе воевать начинали, после его по ранению отправили в тыл, а из госпиталя он попал в другую часть. Договорились вместе держаться.

Сели рядышком. А перед началом человек в вечернем костюме, галстук-бабочка, обращается к публике и говорит, что он уполномочен приветствовать съезд от лица революционного союза воров-экспроприаторов Одессы-мамы. Так и так, граждане военные, ежели что у кого нечаянно пропадет, просьба без промедления обращаться к нашему коллеге, который сидит за столиком в фойе театра. И действительно, скажу тебе, Сергей,— в голосе Терентьева прорезалось что-то петушиное,— когда у Климки чухнули-таки в лавке кошелек, деваться было некуда, пришлось обращаться к этому представителю организованных грабителей, и не поверишь, через полтора часа кошелек тот самый, без обмана, со всем содержимым был подан Климу на блюдечке. Извинились: не член союза, мол, спер. Но я отвлекся,— сказал Терентьев, отхлебнув из своего недопитого стакана.— Рассказать-то я тебе хотел не о ворах. Начались прения. Одни, в основном из офицеров, требовали повиновения. Но наш брат нес временных на все корки. Какая война? Какое наступление? Что за смысл тогда был в революции? Что дала она народу? До каких пор будем кровь лить? И что мы забыли в этой мамалыжной Румынии, чьи интересы сейчас якобы защищаем, и тем более в Болгарии, куда нам велят наступать? Домой надо, там дети с голодухи пухнут. Дома, в Расее-матушке, порядок пора навести. Мир надо заключать, пока нас самих германец не попер до самой Одессы. И мы с Климкой вслед за оратором орем: «Правильна-а! Мир! Домой!» — И легкий, сухой, шелушащийся кулачок взлетел ввысь над лысиной. Как жаворонок.

Сергей сидел перед стариком и поначалу никак не мог вникнуть в его рассказ. Мешали собственные мысли, мешала смородиновая. А главное, Сергею хотелось самому выговориться, а не выслушивать кого-то.

Но когда дед дошел до съезда, до дебатов, когда Сергей увидел этот вспорхнувший над головой кулак, он, сам того не заметив, переменялся. Прислушался. Как будто этот щуплый, как прихваченное засухой пшеничное зерно, кулачок пробил невидимую твердь, отделявшую их друг от друга.

Они встретились.

И, улыбнувшись, узнали друг друга: физкульт-привет!

Сергей долил себе в стакан смородиновой, сел посвободнее, поудобнее.

— И тут председательствующий объявляет, что слово предоставляется Александру Федоровичу Керенскому. Мы с Климкой и моргнуть не успели, как откуда-то из первых рядов выбегает среднего роста ладненький человек. Френч без погон, лаковые сапожки, голова бодливо выставлена. Быстренько так боковым петушиным поскаком — к сцене. И как раз перед самой сценой на его пути оказалась маленькая, лет пяти, девочка. Косички, бантики, платьишко в горошек, бельенкие носочки. Откуда она взялась? В зале не то что детей не было видно — женщин. Это уж я потом, задним числом понял, что очутилась она там не случайно. Что все там было продумано и подстроено. А тогда, признаюсь, не сообразил. Прямо как ангел к нам слетел, в солдатню, в матросню, в многолетнюю тоску нашу по дому и по детям. В зале замешательство, кто-то кинулся убрать девчурку с дороги. А Керенский, напротив, остановился, хватя ее под мышки — и на сцену. Стук-стук-стук по ступенькам — не взбежал, а взлетел. Взлетел и раз — прямо на председательский стол ее ставит. «Граждане солдаты! Граждане матросы! Граждане офицеры! Граждане! Мы правильно говорим о необходимости совершенствовать нашу величайшую из революций. Она несомненно нуждается и в развитии и в углублении. Но как вот эту девочку,— кладет ей левую руку на маковку,— как эту вот непорочную детскую душу каждый из нас

независимо от положения и социальных идеалов должен свято беречь и защищать, точно так и родную нашу Россию каждый из нас — каждый! — обязан любить, беречь и защищать от любых грязных посягательств. И в ряду любых важнейших дел не забывать это главное, богом и народом порученное нам дело! Можете вы себе представить, чтобы кованный германский сапог раздавил это невинное существо, растоптал, уничтожил?!» Мы этого представить не могли. Скажу честно: мне даже совестно стало за мои кованные германские, наверняка с убитого «изверга» снятые сапоги. Девочку эту, не поверишь, Сергей, запомнил навек: стоит на кровавом бархате, как свеча в алтаре. А он — левая рука на русой детской головке, правая в кулак и вперед, в зал: «А ведь именно это — поруганье России, отторжение ее исконных земель — ставят своей целью кроважадные псы Гогенцоллернов, этого ненасытного молоха войны, этой злодейской прусской псарни, вечно скалящейся на Русь, на мир и покой в Европе. Поработить нас, а в конечном счете и нашу великую революцию, удушить ее в зачатке, в утробе — вот зловеющая цель Германии и ее союзников в нынешней войне. О каком развитии и углублении революции может идти речь, если вместо только что сброшенного окровавленного хомута самодержавия на наших с вами выях окажется еще более губительное, унижительное ярмо иноземного владычества?! Когда наших детей, жен и матерей, в том числе нашу с вами единую, единственную, богом заветную мать — Россию, будут топтать, жечь и насиловать новоявленные варвары двадцатого столетия! Можем ли мы в таких условиях покинуть фронт, фронт, который сегодня с полным правом можно назвать и фронтом борьбы за новую, революционную Россию, позорно бежать, впуская в собственный дом по своим же пятам коварного, змеиносердного, только и ждущего подобного момента врага?» Зал взорвался: «Воевать! До победного!» И мы с Климкой тоже орем: «Защитим! Уничтожим!..» И сапогами топчем, а мои кованные, «злодейские» грохают, кажется, громче всех.

Старик снова помолчал, словно воздух набрал, чтобы опять с головой — туда.

— Вечером банкет в ресторане с приглашением нижних чинов, опять речи, тосты, лютры пылают... Утром просыпаюсь в гостинице, кумпол трещит, на душе так тошно, так подло, как будто мать родную продал. Вспомнить стыдно вчерашнее. И хоть оставшимся-то умишком понимаю, что даже если б я, допустим, и голосовал против той резолюции, если б я, допустим, и выступил публично наперекор Керенскому, ничегошеньки бы мой голос не изменил. Понимать-то понимаю, но легче от этого не становится. В часть возвращался, как побитый бобик. Знал: первый вопрос будет — вожем или по домам? А второй — за что голосовал я сам? Что я мог сказать им, три года не за хвост собачий гноящимся в грязи и крови? — я, выходит, голосовал за войну...

И бессонная ночь и рассказ дорого стали Терентьеву: он устало откинулся на стуле, на его лице проступила синюшность. Она прокинулась на щеках, как мгла, потому, может, что Терентьев прикрыл глаза, потушил их, доселе делившиеся светом, жизнью со всем лицом.

— Ну как, поднял я тебе настроение? — спросил он, не открывая глаз.

Вопрос застал Сергея врасплох. Он догадывался, что притча, конечно же, рассказана не для поднятия его, Сереегина, настроения, но для чего именно? — тут требовалось размышление, сосредоточенность, а он к этому не был готов.

— Спасибо, — сказал он, имея в виду и деньги, и вино, и настроение. И опять: — Ну, я пошел Михаил Петрович?

Терентьев наполнил стаканы.

— Давай-ка еще разок. Последний. За память...

Они выпили — до дна. Встали.

— До свиданья, Михаил Петрович...

Терентьев проводил его до порога, невесомым, как жокон, кулачком постучал на прощанье по спине:

— Пока.

Как перекрестил.

И сходя с крыльца под блекнувшие предутренние звезды, Сергей твердо знал: последнюю каплю Терентьев пил за себя. В память о себе.

Пока.

Он и сам не помнил, как заснул. Извертелся на кровати в ожидании пяти часов. Никогда раньше их семейное ложе не казалось ему таким жестким и неудобным. Оно, строго говоря, не принадлежало им с Белкой — по крайней мере в своей основной, железной части. В своей железной части оно принадлежало бабке Дротихе, а если точнее, ее сумасшедшему сыну. Показывая хоромы, Дротиха подвела их к огромной, в нескольких местах поржавевшей от сырости металлической кровати и сказала, что наниматели могут распорядиться ею по собственному усмотрению. Подойдет — спите, не подойдет — снесите в сарай. Это был самый демократичный пункт их неписаного договора: всем остальным, включая печку, они могли распоряжаться только по усмотрению самой Дротихи.

Кровать была без сетки. Она одна обозначала в доме мебель: другое давно откочевало либо к Дротихе, либо значительно дальше — вслед за покинувшей дом невесткой. Громадная, с вычурными гнутыми спинками, соединявшими в себе и литье и дутье, она занимала весь простенок и обозначала не только мебель, но в определенной мере и весь дом: добротный, основательный, с коньком, с узорчатыми наличниками, но — с провальной пустотой внутри. Лишенная сетки железная рама угрюмо окаймляла пустынное пространство, в котором виден был кусок давно не мытых полов да болталась, как воздушные гимнасты, пара старательных пауков, тщето пытавшихся заштопать, заткать на живую нитку образовавшуюся прореху. Пробоину — там, где должна быть жизнь. Разор — там, где должно быть гнездо.

Молодожены кроватью воспользовались.

В сарае Сергей отыскал несколько старых, почернелых досок, подпилит их, подровнял, уложил на раму, сверху они кинули свои пальто, еще кой-какое барахлишко — так и слепили семейное ложе.

Сон на нем был жестким, но приятным.

Чуть позже в ответ на Белкино сообщение о том, что она практически бросила институт — перевелась на заочное, уехала из Саратова в Курунту и вышла замуж (все сразу!), — теща прислала невероятных размеров матрас. Сергей сам получал его на почте. Перевязал бечевкой, взвалил на плечи и понес, согнувшись в три погибели и ничего, кроме собственных ботинок, перед собой не видя. Это было даже удобно: он не хотел встречаться глазами с прохожими. Ему казалось, что все вокруг знают о назначении той тонны ваты, которую он пер на горбу, как вьючный осел, спеша, боясь столкнуться с редкими еще здесь знакомыми, без остановок и передыхов. Взмок, но погода была подходящая: распутица уже отошла, уже мороз попробовал землю и она уже как будто оборвалась — облетела, выпросталась из-под листвы и птичьего гомона, успокоилась. Все ждало снега, но снега еще не было. Был тот короткий, как вдох, момент межсезонья, когда все вокруг исполнено холодной слюдяной ясности, даже само небо, кажется, берется молодым ледком, и только вдали над самым горизонтом, как паруса

чужестранной армады, кипенно копятся, ворочаются, грозят снеговые облака.

Доволок матрас до дома, бухнул его, как вязанку дров, на пол. Белка вспорола ножницами холстину, которой он был обшит, они вместе раскатали его на полу — раскинулось море широко, рябое, волнистое, блекло-синее, едва разместившееся в комнате. В матрас оказались засунуты два яблока. Огромные, с детскую голову, и настолько выпевшие, вылежавшиеся где-то в соломе в далеком тещином погребе, что и матрас, а через минуту и весь пустой дом прониклись их неразбавленным ароматом. Яблоки имели слегка коническую форму, и снизу их как будто лизнуло пламя — густокрасные огненные язычки так и прилипли к медовым бокам. И мощная, стеариновая, почти прозрачная мякоть покоится, казалось, в огненном венце. Или наоборот — стремится вон. Выскочить. Вырваться. Спаслись — отсюда и удлиненность формы. Толкачики — называют их.

Эти два были толкачи — под стать матрасу.

Кроме яблок, в матрасе оказалась записка. «Чему быть тому не миновать, — было выведено в ней крупным, натужным, неумелым почерком. — Поздравляю с законным браком». И дальше про то, что с огородами управлялись рано, что корова в этом году осталась яловой. Что померла Чирчиха...

Матрас был водружен на доски, и сон в кровати стал еще слаще. И даже когда появился диван, желанный и долгожданный, как всякая первая серьезная покупка молодых, они кровати не изменили.

Что касается законного брака, то тут вкралась ошибка. Опечатка. Сергей и Белка жили пока нерасписанно...

Теперь, вернувшись от Терентьева, он лежал на их кровати один. Один, и чувство одиночества было не главным, второстепенным. Сергей даже стыдился его; жалеть надо было не себя, а Белку. Белку! Но ощущение одиночества, неприкаянности помимо его воли нарастало, захлестывало. И Дротихин дом, и даже то далекое гнездышко, которое Белка пока обживала одна, были в большей степени Серезиными, чем Белкиными. Их дом — в первую очередь его, Сергея. Ибо у Белки при всех переездах был, оставался неизменным действительно свой, отчий, родительский дом. У Сергея же такого дома не было — смерть матери еще в детстве разрушила, разорила его. Он, отсутствующий, всю жизнь болел у Сергея, как болит у человека давно отнятая рука. И Сергей, живя по казенным углам, всю жизнь мечтал о доме. И теперь, худо-бедно, воссоздавал его, дом-угол, дом-атмосферу. Семью. Для постройки своего дома ему пока приходилось пользоваться чужими стенами — бог с ними. Его дом был там, где была Белка. В его жизнь она вновь принесла, возвратила воздух жилья.

И дело не в том, что в данную минуту Белки рядом не было. Ушедшее было чувство бездомности, забытости, оставленности возникло не от этого. От другого. Сергей понимал, что беда разразилась над самым существонным из того, что было его домом, — над Белкой. И почувствовал угрозу: смерть как будто вторично вторглась к нему и вторично его сиротила. Сиротила, хотя, казалось бы, кто он ему, тот далекий, почти незнакомый человек, названный в телеграмме отцом?

Он заснул, когда заснуть уже отчаялся.

Ему приснилось как вспомнилось: вот он впервые увиделся с Белкиным отцом... Они с Белкой условились встретиться у кинотеатра «Комсомолец». В их городке это было самое популярное, если не единственное место подобных встреч. Так все и говорили: «Встретимся у «Комсомольца». Кинотеатр был окружен тополями и кустарниками, с танцплощадкой неподалеку, у которой тоже имелось

свое, правда неофициальное, прозвище «Тигрятник» — то ли за высокую металлическую сетку, которой была обнесена, то ли за твист, чарльстон и прочие неприличные для порядочной провинции танцы, исполнявшиеся здесь в сугубо местном, то есть почти карикатурном варианте.

Назначенное время прошло, гомонящая нарядная толпа вползла, как пестрая гусеница, в дверь кинотеатра, и уже Сергей слышал гремевшие сквозь стены выстрелы и бешеный скок коней: шла «Великолепная семерка». Белки не было. Он стоял один на широких ступенях, оглядываясь в глубину тополиной аллеи — единственного пути к «Комсомольцу». Никого. Совершенная пустота и тишина впереди, зато за спиной в звукоусилителях — выстрелы, конский топот, взрывы хохота.

Сергею показалось, что смеются над ним.

Спустился со ступеней, пошел по аллее. Вечерело. И день и зной отступали медленно, неохотно. Пирамидальные тополя замерли, не шелохнутся ни единым листом. Листьев на каждом дереве было так много, они были так густы — стоял июнь, и жара еще не успела проредить их, — так слитны, что казались наверченными, навитыми на ствол, как пряжа на веретено. Казалось, что и прохлада, и прозрачные еще летние сумерки тоже свиваются, густеют, как листва, вокруг этих же стволов.

Сергей подумал, что Белка могла задержаться дома, а значит, он сможет встретить ее по пути. Вышел на бульвар, пересек центр, пятачок, «брод» — то ли от заграничного «Бродвей», то ли от сугубо русского «бродить». Или от «брода» — на нем уже появлялись его обычные, под хмельком, завсегдатаи.

Сергей не раз удивлялся: пока он учился в интернате, заправилы пятачка, случалось, и поколачивали его, а стоило перейти в вечернюю школу, как пятачок потерял к нему интерес. Сергей и своим не стал, и чужим уже как будто не приходился. Да и трогать его теперь было не так уж безопасно. Парень сам окреп и мог дать сдачи, да и в вечерней школе он учился и дружил с перестарками — кто после армии, кто после тюрьмы, — а стильный пятачок втайне побаивался угрюмых кулаков ШРМ.

Шел прямо посередине улицы, где жила Белка, по дороге. По тротуару, вдоль домов идти не хотелось: каждая лавка, завалинка, приступочка напоминали мерно жужжащий пчелиный рой. Были буквально унижены старушками и играющей перед ними детворой. Так по давнему южному обычаю два крайних поколения городка коротали летние вечера. В каждом рое была своя матка, своя основа, вокруг которой теснилась беседа, и свои непоседы, перебежчики, делавшие рой сообщающимися, — детвора. Маткой, как правило, была какая-нибудь сухонькая, как сторевшая спичка, армянка с желтыми пронзительными старческими глазами.

Вообще даже несведущему человеку сразу бросилась бы в глаза двукровность каждого роя. В этом смысле городок у них был удивительный. Русские и армяне спокон веку владели им на паритетных началах. Он, говорят, был основан еще в стародавние времена армянами, бежавшими сюда, на Северный, степной Кавказ, от турецких ножей. Кара ба гла. Одни переводят черная яма. Другие — черная дорога. Дорога, черная от крови? Город, конечный пункт, который мог быть и ямой, потому что — чужбина? Другое, следующее название тоже смутно связано с исходом и спасением — Святой Крест.

Но на этом дело не кончилось. И потом трижды перекрещивали Святой Крест: сперва на Буденновск, потом на Прикумск, потом опять — и теперь, кажется, навсегда — на Буденновск. Хотя Буденный здесь никогда не воевал, а воевал другой, тоже лихой конник гражданской — Иван Кочубей. Он и сейчас здесь — в могиле. Пове-

шенный бельми 22 марта 1919 года двадцати шести лет от роду. Похороненный неподалеку от уютной деревянной православной церковки, куда по престольным дням со всего городка сочатся ветхие прародительницы двух городских кровей: русской и армянской.

Обе крови текут в городских жилах мирно, но довольно автономно: есть улицы преимущественно армянские, есть преимущественно русские — после вечерних посиделок собеседницы, поймав, как воробышка, уже сонную, смирную ладошку внука или внучки, расходятся, разымаются в разные стороны в четком соответствии с цветом головенки, которую они ласково подталкивают перед собой. И кто у кого поводырем, тут непонятно: старухи у детей или сонные дети у слепых старух. Старухи все — и русские и армянки — изжелта-белы, седы, у детей же свой, довольно строго разграниченный цвет: чернявый и русый.

Так, держась по возможности нейтральной проезжей части, Сергей дошел до Белкиного дома. Остановился напротив. Незнакомый человек («Отец!» — догадался Сергей), худой, маленький, даже тщедушный, в суконном картузе защитного цвета, докрашивал глухие ворота. В левой руке держал ведро с краской, в правой кисть, окунал ее в краску и, бережно на лету поворачивая ее, чтоб ни одна капля не пропала зря, подносил к сухому, облупившемуся от непогоды дереву. Широкий вольный мазок — и еще одна латка ворот обретает темно-зеленый, как новенький картуз у хозяина, колер. От каждого движения на спине под мятым хлопчатобумажным пиджачком остро выступают худые лопатки. Сапоги на ногах — сбитые, скривленные, почти сожранные едучей буденновской пылюкой и в нескольких местах все же тронутые зелеными кляксами. Человек то вставал на цыпочки, дотягиваясь до самого гребня ворот, то приседал — ловко, не цепляя кистью земли, растирал краску по самому споду.

Человек пел:

Сушил-крушил парень девку своим голосочком...

Минуту помолчит, словно переживая, проживая молча им же обозначенную драму, потом снова — вполголоса, сам с собой, но с тем особенным вздохом, в котором всегда непонятным образом совмещаются и печаль и тайная мужская удаль:

Эх, сушил-крушил парень девку своим голосочком...

И ничего больше. Помолчит, прислушается и снова сам с собой, как старый холостой скворец:

Сушил-крушил парень девку своим голосочком...

То ли не знал дальше, то ли ему вполне хватало одной этой строчки, чтобы увидеть все, что там дальше последовало — или не последовало — у парня с девкой. А ведь и впрямь достаточно: сушил-крушил парень девку своим голосочком...

Сергей не знал, подойти ему или повернуть назад. «Не укусит же», — подумал. Подошел.

— Здравствуйте, — сказал, попадая в паузу.

Человек обернулся. Он был вовсе не таким уж старым, как могло показаться со стороны. Поношенный только. Эту поношенность выдавали не столько впалые, провалившиеся щеки, не столько морщинки, сколько виски. Обернувшись, человек машинально поднес к козырьку фуражки ручку кисти и приподнял ею, столкнул фуражку на затылок — и Сергей сразу же увидел виски. Они тоже странно запали, вогнулись, резко обозначив прямой четырехугольный лоб и круто выпершие скулы, провалились, как будто человек всю жизнь носил не вот эту зелененькую фуражку с картонным или еще чаще газетным ободком, вставлявшимся в него, чтоб

фуражка не теряла своей щегольской формы, а что-то более жесткое.

Печать неведомых мук лежала на висках, и позже, когда Сергею суждено будет увидеть эти же виски, обвитые узкой восково-желтой полоской церковной бумаги с начальной строчкой молитвы, откуда-то издали мимоходом мелькнет удивление: как же естественно, повторив все бугры и впадины, пролегла по вискам эта узкая бумажная полоска. Приникла, обняла — последний бинт, последний обруч.

Сушил-крушил парень девку своим голосочком...

— Здравствуй,— сказал человек, не выпуская из рук ни ведра, ни кисти.

— Нельзя ли позвать Белку? Тоню то есть...— неуверенно попросил Сергей.

Белкин отец помотал головой и хмыкнул, что означало только одно: нельзя. Сергей не на шутку встревожился:

— Она что, заболела?

И опять хмыканье — только с другой, теперь уже утвердительной интонацией.

Сергей ничего не понимал. Если Белка действительно больна, то почему у дядьки такое спокойное, даже лукавое выражение? Он недоуменно вглядывался в него, а Белкин отец тем временем рассматривал его самого — дочкиного ухажера, которого тоже еще ни разу не видел.

— Что с ней?

Глаза у дядьки улыбались. Подтрунивали над Сергеем. В них, темных, заглубившихся, вовсе не Белкиных, расположенных на лице под чуть заметным углом друг к другу — это впечатление, наверное, создавали брови,— таился, как ни странно, не плач, а смех. Благодаря этому Сергей, кажется, и стал соображать в нужном направлении. Соображал и — сам чувствовал — заливался таким горячим багрянцем, что Белкин отец в свою очередь участливо спросил:

— Что-нибудь срочное?

— Да нет,— промямлил Сергей.— Просто не пришла.

— Завтра придет. Обязательно придет,— утешил его человек и повернулся к воротам.

Сергей сказал ему «до свидания» и побрел по улице дальше, теперь уже не обращая внимания на старух.

Сушил-крушил парень девку своим голосочком,—

послышалось за спиной...

Все в этом сне было верно. И дорога от кинотеатра, и чувство тревоги, с которым он брел по улице. И Белкин отец увиделся — явно, подробно. Подробнее, чем тогда, на самом деле. Сапоги, пиджачок. Все старое, сношенное. Один картуз только новый, воскресный. Оно и понятно: фуражку сменить легче, чем костюм. Купил человек под праздник новенький картуз и сам как будто бы поновел без особых затрат.

Все во сне было верно. Только одно расходилось с действительностью: человек повернулся и Сергей увидел, что глаза у него закрыты. В правой руке кисть, в левой ведро, а глаза закрыты. Наглухо. Намертво.

Значит, он и красил вслепую? И пел с закрытыми глазами?

Догадка была страшной (или это явь опять просочилась в сон?), и Сергей закричал и проснулся. Еще не придя по-настоящему в себя, кинулся к часам. Первая мысль была: проспал,— таким мучительно долгим показался сон.

И в комнате и за окном светло и тихо. Какая-то взвешенная, дремлющая тишина и взвешенный, дремлющий свет.

Пять.

Натянул штаны, со смеженными еще глазами нашел в сенях ведро с водой, сунул в него голову. Как в пасть. Вода ожгла, остудила, ее росный утренний холод судорогой прошел по всему телу. Вынырнул из ведра, отфыркался, как конь на лугу, размазал по груди густо посыпавшиеся с головы брызги, причесался пятерней — и готово. Рубаха, портфель с пожитками, деньги — Сергей пощупал: они хрупко, как кладка воробьиных яиц, лежали в нагрудном кармане. Подхватил под мышку сонного Шурика, чем тот был крайне изумлен — раньше его никогда не сгоняли с кровати, где он так уютно умащивался на ночь в ногах у хозяев, а, наоборот, это он, Шурик, по утрам щекотно будил своих лежебок, — замкнул входную дверь, сунул котенка через штaketник в заросший малиной соседний двор, побежал, разогреваясь на ходу, к станции.

Белка с вечера почувствовала неладное. Была суббота, завтра ей снова на базар.

Секрет изобилия на хозяйкиных грядках оказался чрезвычайно прост.

«Устраивать гнездышко» она приехала через неделю после того, как они с Сергеем побывали здесь вместе, сговорились с бабкой о долгожданном угле. Приехала под вечер, сидела на чемоданах, раздумывая, с чего ей завтра начать. Побелить? Покрасить пол? Чтоб хоть каким-то своим, незаемным, их с Сергеем духом повеяло в этом чужом доме. Бабки Дротихи дом был почти как свой. Был ими обжит, отдышан. Тем более что он был пуст, а значит, охотней принимал их. Он сам был брошен, а значит, как им казалось, и привязанность была обоюдной. Этот не пуст. Очень даже полон, чересчур полон, если учесть еще каких-то Верку с Мишкой, отсутствующих лишь временно, по причине трудового отпуска. И забит барахлом: этажерки, тумбочки, занавески-рюшечки, дорожки, накидки — старье копилось в нем годами, намываемое постояльцами, как ил. Тут все вплоть до затхлого приторного душка — чада медленного тления, старости — было чужим. А ей хотелось, чтобы к приезду Сергея хоть что-то в доме уже обнаруживало ее. Стало своим, узнаваемым. И узнающим. Привечающим.

Деятельная молодость сидела на чемоданах, прикидывая в уме, с чего начать выживание тлена. Старости.

Старуха раз шаркнула мимо, другой. Потом приблизилась к самому уху — она, видать, была глуховатой, а потому подозревала в глухоте всех.

— Чего сидеть, дева? Пошла бы мне водицы принесла.

— Давайте, — охотно поднялась Антонина.

В сенях старуха вручила ей две внушительные оцинкованные ци-барки:

— Вылей сорок ведер...

Поймав недоумение в Белкиных глазах, взяла ее за руку, вывела из дома, подвела к грядке:

— Сюда, под огурчики. Счас, после захода солнушка, будет в самый раз. И сюда, — показала на тропические заросли помидоров.

Белку удивила не сама просьба полить — чего ж не полить, она и дома, бывало, каждый вечер летом вместе с младшим братом поливала материны грядки, — а четкая определенность: сорок ведер.

Сорок ведер, которые она притащила-таки от колонки за воротами, оторвали ей руки.

С утра старуха разбудила ее рвать вишни.

Белка с истинно белчицей сноровкой сновала по старым шершавым стволам в липких потеках янтарной, почти прозрачной смолы, «клея», таская за собой маленькое жестяное ведро. Она проворно наполняла его крупным, спелым вишенем и не забывала при этом собственный роток, куда ее слипшиеся, засладевшие пальцы с вишнями загля-

дывали сперва значительно чаще, чем в ведро. Наполнив его, передавала вниз бабке, подбиравшей в траве падалицу. Та ссыпала вишни в давешние цибарки и, с трудом, с хрустом разгибаясь, вновь подавала Белке ее посудину. Так они работали. И работа эта, несмотря на столь ранний час, на то, что каждая неосторожно сорванная вишня непременно влекла за собой с листа такую же крупную, прямо за пазуху целившую каплю росы, на утренний ключевой ветерок, дерзко раздвигавший листву в поисках самой сладкой ягоды — живого девичьего тела, несмотря даже на молчаливо возвышующую внизу бабу-ягу, к которой Белка с самого начала почувствовала смутную вражду, — несмотря ни на что, работа эта Белке нравилась. Она опять напомнила ей родительский дом. Правда, в их саду-огороде больше места отводилось капустке-картошке, вещам, более существенным для многодетной семьи, чем вишня. К тому ж какая это вообще работа — собирать плоды? Спокон веку — праздник...

Когда цибарки были полнехоньки, оказалось, что Белке надо спешно, пока не рассосались утренние цены, снести вишню на базар. И ей же самой — распродать. И, упаси бог, не ведрами. Баночками. Пиисят копеек баночка. Тут будет — старуха снизу, но зорко, цепко глянула Белке в душу — на восемнадцать рублей. А если ведрами — на шашнадцать. Понимаешь, дева? — старуха, как все волжанки, съедала гласные в окончаниях. Плата платой, дева, а угол еще и отработать надо. Чай, без прописки пускаю. Оштрафовать меня могут. Кто бы вас еще пустил? Никто — только я...

Что делать? Не перекусив, не вымыв заскорузшие, запятнанные алым руки («Опосля, опосля, все равно такие же будут»), потащилась дева на базар. Шла и кляла себя на чем свет стоит: безвольная, бестыжая, в спекулянтку по чужой указке превращаешься... И так же, кляня себя, стояла потом за прилавком в бойком, горластом, неуступчивом ряду разбитных дебелих теток, старух и восточных старцев, с величавостью горных орлов воспарявших над всеобщей суетой то тут, то там и время от времени вонзавших в разноголосицу базара свой устрашающий клеток:

— Пять!

— Десять!

По эту сторону прилавка Белка была самой молодой. Зато по ту... Больше всего она боялась встретить кого-либо из своих бывших конкурсов. Жители Саратова в выходные нередко бывают в Энгельсе: то искупаться приезжают на здешний пологий и более естественный, не забраный пока в бетон, как в Саратове, волжский берег, то еще по каким делам и обязательно заглянут на базар — Энгельс когда-то славился богатым привозом, и вдруг здесь, за Волгой, что-то окажется дешевле, чем на Сенном рынке. Наивные люди!

А баночный покупатель известный: студент, школьник, карапуз, притягивающий отца или мать за руку к багряному, ароматному вишневному ряду, над которым даже осы уже не летают, а, пьяные, перегруженные, ползают по прилавку, лишь гудят остерегающе, дабы не угодить вместе с вишенем в чью-то кошелку, а там, глядишь, и в рот. Это другой, оптовый, матерый, не уступающий в нахрапистости торгующему покупатель берет сразу ведрами: на закрукту, а то, возможно, и на перепродажу. А тут — мелочь, баловство, сластенство.

Белка торговала, не поднимая глаз: студентка, пускай и заочница, юридического института торчит в базарном ряду, да еще цену какую дерет — полтинник баночка, хотя рядом отдают по сорок. Так или примерно так, казалось ей, думал каждый, кто видел ее в этот час. Как будто у нее на лбу написано, что она студентка. Студентка, а в недавнем прошлом продавщица в магазине...

Так и повелось. В будни она то ползала по грядкам, рыхля и пропалывая их, то поливала огород, таская воду от колонки, или, если подходила очередь клубники-земляники, с утра заполняла многове-

дерную деревянную кадущку, стоявшую во дворе на самом солнцепеке, с тем чтобы вечером «после захода солнушка» черпать из нее и мягонькой, тепленькой, отстоявшейся за день водицей ублажать благородную бабкину флору. А в субботу и воскресенье уже без прежней легкости лазала по деревьям — уборка вишни перестала быть праздником, стала работой, барщиной, каторгой — и брела на базар. Со стыдом принимала там теплую мокрую мелочь, мятые рубли, совала их в карман передника. Стоило ей, вернувшись, предстать перед бабкой, как та тотчас же спрашивала:

— Восемнадцать?

— Восемнадцать, — вяло отвечала Белка, и бабка сама выгребала деньги из Белкиного кармана.

Вообще-то с недавних пор Белка торговала уже не на баночки. Приходила на базар, в пять минут сбывала свой товар какому-нибудь оптовому покупателю и шла в город (первый раз тут же было возвратилась домой, и старуха потом целый день недоверчиво ворчала: «Штой-то больно рано ты, дева, обернулась, не торговала, чай»). Сунув ведро в ведро, она бродила по незнакомым улицам, искала втихомолку новое жилье. Бесплезно. Домовладелицы, старые ли, молодые, перехватив ее у высоченных ворот, с ягинской прозорливостью всматривались в Белкин живот и, хоть ничегошеньки там не обозначалось, были непреклонны: «Нету».

Может, потому и непреклонны были, что живота не было?

И снова, готовая реветь от злости и тоски, тащилась она в постылый, ни капли не породнившийся с нею дом.

Да, секрет изобилия на бабкиных грядках был изумительно прост. Потому они и были так неестественно тучны, потому и находились в столь разительном контрасте с немощной своей хозяйкой, что были паразитами. Кровососущими. Питавшимися исключительно чужой силой и чужой — преимущественно молодой — кровью. Сегодня Белкиной, вчера Верки-с-Мишкиной. Не зря старуха ехидничает: «Путевку, видите ли, дали. Никак не можем отпуск перенести. Ну и лети-те — в ж... перушко...»

Возвращаясь с базара, надо было не забыть сунуть в передник два, а потом уже и три рубля. Таким образом Белка не только покрывала разницу в выручке от розничной и оптовой торговли, но и поддерживала в счастливом неведении капризную старуху: вишня уже начала падать в цене, но та об этом и слышать не хотела. Или делала вид, что не слышит. Не понимает. Засовывая в карман эту дополнительную квартплату, Белка чувствовала себя преступницей: «Он там зарабатывает, а я тут пуляю». Но и не совать уже не могла: осточертел ей базар, не чаяла, как побыстрее вырваться с него. А то вдруг злость на Сергея разбирала: чего он там сидит, не едет? Конечно, ему там хорошо, сам себе хозяин, а того не знает, каково здесь ей.

Хотя сама-то отлично знала: не сидит он там, а работает, дорабатывает и ничего не ведает только потому, что она, Белка, ничего ему про это не пишет. «Жива-здоровая, очень жду...»

Разругаться с бабкой, послать ее к чертовой матери или хотя бы отказать от базара? Но Белка чувствовала, что даже малейшее послушание действительно будет стоить им с Сергеем с таким трудом отысканного угла — она знала, догадывалась, какие радужные планы, надежды связывал с обоснованием в большом городе Сергей.

И снова и снова понуро плелась в чужой постылый дом, где ничего своего ей не успевалось сделать: ни побелить, ни покрасить. Плелась с единственной надеждой, что ведь когда-то же выпадет и ей дальний трудовой отпуск.

Сегодня, с вечера поучув неладное, она встала с трудом, с трудом нарвала с бабкой вишен и поплелась на базар с особенно тяжелым сердцем. Разбитая, невыспавшаяся: ночью донимал хозяйкин храп — что ему, способному взять крепостные стены, Белкина ситцевая шир-

мочка! — тревожный шум деревьев за чужими, пустыми, равнодушными окнами. Так шумят, хлопают крыльями, сбиваясь в стаю, большие перелетные птицы перед отлетом. Сад как будто тоже хотел сняться, улететь. Одна Белка оставалась здесь — привязанная, притороченная (вон аж руки немеют) к этому ненавистному ей дому, из которого она давно бы сбежала куда глаза глядят, если б не Сергей. И только пришла на базар, только угнездилась на своем обычном месте, заплатив за него пятьдесят копеек пошлины, как перед нею появилась маленькая, белая, подслеповатая старушка. Миткалевый платочек, стираная-перестираная, штопаная-перештопаная кофта — все на ней, как и сама она, было изношено до того предела, когда кажется: дунь — и рассыплется. Развеется без остатка.

— Здравствуй, милая,— ласково протянула старушка снизу.

— Здравствуйте.

— Угости вишенкой.

— Пожалуйста.— Антонина зачерпнула в ведре горсть вишен — они с хозяйкой обрывали у ягод подсохшие плодоножки, чтобы товар был первый сорт,— и протянула через прилавок покупательнице.

Старушка деликатно взяла одну, попробовала.

— Вишня у тебя славная, старинного заводу. Любская?

— Не знаю, бабушка,— смутилась Антонина.

— По вкусу, по цвету — любская. Ишь как чернит. Продай мне, милая, сюда...

И протянула сито. Старенькое, обтерханное липовое ситечко с побелевшей то ли от муки, то ли от времени сеткой.

— Да я,— замешкалась Антонина,— на баночки не продаю. Ведро возьмете?

И — как будто кто дунул. Исчезло несмело протягиваемое через прилавок ситечко, пропала, оставив по себе едва уловимый, осенний запах стираного, старушка. И лишь теперь, когда ее уже не было, когда перед Антониной возникли другие, напористые лица, она вспомнила, почему таким знакомым показался ей бабулин голос, где она видела раньше этот устало брезжащий взгляд, где слышала этот робкий запах тихой, опрятной, печальной осени.

Татьяна Ивановна Грошева.

Белка нагнулась и, поразив покупателей, ринулась под прилавок. Пронырнула, вынырнула по другую сторону, огляделась. Татьяны Ивановны нигде не было. Было много похожих на нее, таких же старых, таких же изношенных, в таких же насунутых на лоб миткалевых платочках в горошек, но ее — не было. Забыв о своих беспризорных вишнях, Белка бродила по базару, приглядываясь к старухам и даже спрашивая у некоторых, очень уж похожих:

— Простите, вас не Татьяной Ивановной зовут?

— Нет, милая,— удивленно отвечали ей.

На душе было гадко. Белка вспоминала их немудрящий разговор и казнила себя не за то, что она не узнала (могла не узнать, всего-то раз и виделись), а за последнюю, поспешную, виновато-извиняющуюся фразу: «Ведро возьмете?» Теперь, задним числом, ей самой слышалась в ней издевка — какое там ведро: старуха и поднять его не смогла бы.

Поблекшие, с почерневшими краями — как будто бы и впрямь только-только из огня — рисунки на стенах, все лица на которых похожи, как у братьев.

Чистый, выглаженный, накрахмаленный узелок с письмами: вкусите, причаститесь.

«Нельзя их выставлять. Примета есть: повесишь, значит, уже не вернется никогда...»

Что-то в ней надломилось. Продала вишни, пришла домой, швырнула жалобно зазвеневшие, покотившиеся в разные стороны цибарки,

опустилась на ступеньки и заревела в голос, размазывая кулаками горячие, горючие слезы, уткнувшись локтями в тесно сведенные заострившиеся колени и медленно, подчиняясь какому-то внутреннему маятнику, раскачиваясь из стороны в сторону.

Надолго, ох надолго заходил этот плач. Не беспричинно-легкий, капризный, освежающий — обложной. Гнетущий. Пугающий. Молча стояла над Белкой хозяйка, скрестив на груди костлявые руки, — к такому она не была готова. Сидела перед Белкиными коленями хозяйкина зверюга Дружок, успевшая смириться, а потом и подружиться с ласковой постоялицей; в отличие от хозяйки Дружок время от времени подавал голос, пытаясь как бы урезонить Белку, но с каждым разом и его гавканье становилось все жалобней, тоскливей, всё больше рондьясь с Белкиным воем.

Кого она оплакивала? Себя давнюю, иную? Свое так скоро отлетевшее беззаботное девичество? Свою любовь, которая тоже как будто бы отлетела, облетела, как облетает с яблони-дичка цвет, оставляя на месте благоуханных, как девичьи грезы, соцветий невзрачные кукиши чего-то горького, жесткого, несъедобного? Судьбу старушки Татьяны Ивановны, которую невзначай обидела?

Горе уже грозно простерло над нею свое крыло, но ей еще казалось, что она плачет о себе, о Сергее, о Татьяне Ивановне...

Асфальт еще не просох от ночной росы, и тяжелый автобус несся по нему с сердитым гусиным шипеньем, кренясь и приседая на поворотах, густым протяжным воплем распугивая, разбрызгивая в поселках первых кур, промышлявших на шоссе чем бог послал, будя заспавшихся поселковых дворняг: к каждой промежуточной станции автобус подкатывал в сопровождении своры собак, которые разве что на боках у него не висели, и то лишь по причине их неуязвимости.

Сергей не спал, смотрел в окно, думал, вспоминал... Полгода назад он ездил в Москву, сдавал в университете зимнюю сессию. Чувствовал себя не в своей тарелке: еще не разъехавшиеся на каникулы бывшие однокурсники узнавали его, подходили с соболезнующими улыбками: ну что, старый, ты, говорят, где-то в тмутаракани? Новые же однокашники, заочники, тоже отнеслись к новичку со снисходительным подозрением: врет, пожалуй, что сам попросился на заочное, люди годами добиваются перевода с заочного на дневное, вымели небось как миленького. Да и сами угрюмые, холодные, монастырской кладки университетские стены на Моховой были ему враждебны. К исходу этих десяти шепутных дней он уже спал и видел себя дома, в Курунте, а главное, спал и видел Антонину. Никогда не думал, что будет так скучать по ней. Прямо с последнего зачета, на который он явился уже с чемоданом, дунул в Быково, в аэропорт, и через два часа был уже в Саратове. У Белки тоже шла сессия, и она была здесь. Нашел ее в какой-то задрипанной гостинице — ее институт общежитий заочникам не давал. Комната была огромной, холодной, в гостинице вообще стояла холодрыга: ударили невиданные рождественские морозы и отопительные трубы лопнули, как камышинки. В первую минуту Сергей растерянно застыл на пороге: на полутора десятках кроватей, напоминавших солдатские, сидели, подобрав ноги, полтора десятка женщин, по самые макушки укутанных одеялами, простынями, матрасами и прихлопнутых сверху подушками. Белка первая увидела его, подбежала, растеряв по дороге и подушку, и одеяло, и простыню, повисла у него на шее.

Ей оставался еще один экзамен, но они тут же, пока она висела у него на шее, решили послать все к черту, перенести экзамен на лето и сегодня же ехать домой.

Он понимал, что делают они что-то не то: зачем переносить, если есть возможность сдать. зачем осложнять институтские дела? Да и

финансовые тоже — ведь из-за этого отложенного экзамена ей могут прислать не оплачиваемый вызов на летнюю сессию. Не проще ли ему уехать домой одному и два-три дня подождать ее в Курунте? Но Белка — в пальто, в платке из кроличьего пуха, который она так тщательно начищала мукой перед отъездом на сессию, — висела на нем таким желанным грузом, он был согласен на все что угодно, лишь бы скорее, немедленно, сию секунду очутиться с нею наедине в бабки Дротихи доме.

Той же ночью они сели в курунтинский поезд, в котором Сергей когда-то чувствовал себя таким чужим и сирым. Нашли самый малонаселенный полутемный вагон, сели рядышком в уголке и все теснились, теснились. Ничто, кроме собачьего холода, их уже не разделяло, а им все казалось, что они по-прежнему слишком далеко друг от друга, и она всяческими уловками — то ласково забираясь пальцами ему в рукава, то шепча что-то маловразумительное, то просто дыша в ухо, «чтоб оно хоть чуть-чуть оттаяло», — сокращала это расстояние и в конце концов оказалась у него на коленях. И угрелась в его руках, умолкла. Он снова ощутил глухой и одновременно вызревшие-легкий — как яблоки в траву — стук ее сердца. Сидел, обхватив ее руками, не шевелясь, не досаждая ей, словно боясь спугнуть: возьмет и упорхнет, что было вполне возможно при ее весе и той явственной способности летать, выскользывать, выпархивать, которая угадывалась в ней, даже когда она была неподвижна, даже когда она спала. Она вся была слитная, живая, пульсирующая.

Поймайте, если удастся, птицу: кажется, будто держишь одно сплошное сердце...

Сейчас, в автобусе, он почти физически чувствовал мертвую, тяжелую, неподвижную пустоту в своих руках. Утрату. Как будто бы в той телеграмме значился не ее отец, а сама Белка...

А тогда, зимой, после сессии, они приехали в Курунту под утро и первым делом кинулись к Дротихе, у которой, уезжая, оставляли ключи от дома — чтоб присматривала. Долго стучали ей в запертые ворота, кричали, бегая вприпрыжку вдоль забора, чтоб не обезножеть окончательно на лихом безветренном морозе. Уже и у них голоса сели, и у Дротихиной собаки, что носилась, повторяя их маршрут, по другую сторону забора, когда Дротиха наконец высунулась на крыльцо и поинтересовалась, кто тут.

— Мы, бабушка! — дружно завопили молодые, испытывая в этот момент к своей сварливой хозяйке самые непривычные, самые горячие чувства.

Бабка их узнала, провела в избу, глянула на них при электрическом свете и сжалилась. Мол, так и быть, располагайтесь до утра у меня, у вас вон уже зуб на зуб не попадает, а изба ваша десять ден стоит не топлена, в ней чертей морозить, а не спать. Ступайте в переднюю, там кровать стоит чистая, неразобранная, а я тут буду. Не-е-ет, дружно отказались молодые. Не затем они из Саратова сорвались, не затем кругом ее дома с кобелем наперегонки бегали, чтоб ночевать под чьим-то приглядом. Только в своем семейном ковчеге.

Глянула Дротиха на них зорче, потеплела смурными со сна глазами, похитрела:

— Ну и черт с вами. Было бы предложено. Дров хоть захватите с собой, а то ж у вас ни полена про запас не наколото, лень было, как на пожар летели. — Последнюю фразу она сказала больше по инерции и не обычным своим, не скандальным, а скорее поощрительным тоном.

Вообще-то надо признать: на какие бы недочеты в их хозяйственной жизни ни указывала суровая Дротиха (даже касательно дров, то есть чисто, так сказать, мужской заботы), свои выговоры она всякий раз адресовала — где словом, где взглядом — исключительно Белке, соблюдая по отношению к Сергею молчаливый нейтралитет. В его лице она, думается, выгораживала весь мужской пол, а значит, и

своего непутевого сыночка, обвиняя во всех возможных разладах исключительно пол противоположный, то есть тот, к которому принадлежали и она сама и, главное, ее бывшая невестка.

Дротиха отдала им ключ, сунула в широко расставленные руки по охапке дров из сухой, вылежавшейся, духовитой поленицы, что была сложена у нее тут же в комнате за русской печкой, и они заторопились к себе. Шли в темноте сперва по глубокой, отвесными сугробами зажатой дорожке, протоптанной и прочищенной вдоль домов. От этого общего русла к каждой калитке отпочковывалась своя тропка. Только к их дому никакой стежки не было. Свернули — и сразу чуть ли не по пояс провалились в сугроб. Загребая в валенки снег, еле удерживая на вытянутых руках поленья и портфели, барахтаясь в нем, как в вязком иле, они добрались наконец до входной двери. Негнуцимися, закоченевшими пальцами Сергей долго отмыкал замок, потом что было сил давил на дверь плечом: через Шуриков лаз в сени все-таки порядком намело снегу и дверь заклинило.

В избе, казалось, было холодней, чем на улице. Так она выстыла, помертвела. Время от времени то в одном, то в другом ее углу слышалось жалобное поскрипыванье: мороз как будто пробовал ее на излом. И, вымерзая, выдавливая, как слезу, бог весть из какого нутра давяню-предавяню влагу, бревна в венцах шли долгими трещинами. Стекла в окнах были чисты, прозрачны, без малейшей наледи — первый признак того, что температура и по ту и по эту сторону стен была одинакова. Значительно ниже нуля.

Они обнялись.

Трещали в голландке бабки Дротихи дрова — тепло от них тут же с гулом вылетало в трубу, уходя пока на обогрев самого дымохода и никак еще не обнаруживая себя в избе. Кровать они подвинули почти вплотную к печке, к ее устью — тут ввиду гудящего зарева было не то что теплее, а уютнее. Он привез ей из Москвы в подарок куценькую нейлоновую сорочку с множеством кружев. Примерка шла в кровати. Белка расхаживала по ней, зябко прижав ладошки к матовым ключицам, вся в живых летучих сполохах, выбивавшихся из-за неплотно прикрытой выгоревшей чугунной заслонки, счастливо смеялась и столь же счастливо требовала от него, лежащего, чтобы он ни в коем разе на нее не смотрел.

Окна в избе потихоньку помягчели, потемнели, углубились, застезились, покрываясь изнутри тонким, паутинным кружевом льда.

Сергей познакомился с Белкой в вечерней школе. Их познакомила Нина Васильевна, завуч, знавшая, что Сергей работает в районной газете. В один из дней, точнее вечеров, на перемене она подвела к Гусеву совершенно незнакомую ему девчонку, десятиклассницу, и сказала, что им надо выпустить к 7 ноября стенгазету. Нина Васильевна говорила о стенной печати, а девчонка, потупив глазки, слушала, нарочно не вынимая руку из ладони учительницы — поза послушницы. Правда, тут же на Серегу был брошен такой откровенно насмешливый взгляд, что Сергей покраснел. Он предпочел больше не встречаться глазами с девчонкой, с которой ему предлагали разделить редакторские заботы, но все в ней, чего он касался взглядом после этих огромных, действительно как бы враз обнаженных («Сабли вон!») глаз, влекло его.

Много позже, весной, прогуливаясь с Белкой по узеньким тротуарам родного городка, Сергей будет польщен тем, что каждый раз при их приближении старушечьи рои, облеплявшие все лавочки и завалинки, мигом смолкали, брали на караул, даже подсолнечную шелуху забывая смахнуть с увядших губ. Они передавали их с Белкой по цепочке при гробовом молчании как высокопоставленных покойников, но стоило парочке миновать последний кордон, как старухи тотчас заговаривали вновь. «Ну и змея... Так и вьется так и вьет-

ся», — услышал он однажды за спиной восторженное шипенье, хотя Белка шла своей обыкновенной походкой. То есть лилась. Ручеек на тротуаре — бабки смотрелись в него, как в вешее зеркальце: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду покажи...» И зеркальце не врало.

Газету он тогда выпустил один: девчонка от работы всячески отлынивала, а ему это было даже на руку — спокойнее. Встречались они лишь изредка на переменах. Она издали насмешливо кивала ему, он здоровался. Иногда по вечерам, возвращаясь в одиночестве из школы, Сергей видел ее впереди себя в облетевших, истрепанных дождем и ветром аллеях — девчонка жила где-то неподалеку. Так бы, возможно, все и кончилось — ничем. Тем более что школу Сергей окончил на год раньше ее и они перестали видаться даже на переменах. Но как раз через год в эти же осенние дни он получил письмо из Гурьева от интернатской девочки Лены, в которую был влюблен и с которой они расстались полтора года назад, когда там расформировали старшие классы. Он пошел в вечернюю школу, она уехала сначала под Пятигорск к деду, а потом поступила учиться в каком-то далеком (Сергею казалось — на краю света) неведомом Гурьеве. И вот теперь от нее пришло письмо, в котором она просила его приехать к ней хотя бы на день. Она хотела видеть его во что бы то ни стало. Сергей был поражен в самое сердце — до сих пор на его почти ежедневные послания она отвечала редкими, спокойными, если не сказать холодными, записками. И поехал. Оказалось, Лена выходит замуж. Она хотела увидеть его на прощание. Увидеть человека, в любви которого была уверена, но которого сама не любила.

А может, не была уверена в любви другого человека — которого любила?

Лишенная отца с матерью, круглая сирота, заброшенная, занесенная судьбой бог знает куда, она прощалась не только с Сергеем — с интернатом. С юностью.

Из Гурьева Сергей возвратился разбитым и опустошенным. Являлся в редакцию, отсиживал положенные часы и шел домой — он квартировал в семье своего бывшего одноклассника Вити Фролова. Когда он спешно уезжал, семья — и Витя, и его младшая сестра, и их мать, переплетчица, — провожала Сергея весело, с добродушными подковырками, с пожеланиями возвратиться непременно вдвоем. Вернулся же он с таким унылым видом, что в семье без слов поняли все. Его не расспрашивали, над ним не подтрунивали, его опекали. И в доме, обычно веселом, насмешливом, воцарилась больничная тишина. Сергей и сам тяготился ею: горя здесь хватало и без него. Своего, кровного, подспудного — переплетчица ставила детей одна, без мужа. Но пересилить себя не мог. Не мог притвориться, не мог солгать: мол, всего-то делов — плюнуть да растереть...

В одну из суббот Сергей ушел в город; не хотел своим чайльдгарольдовским видом портить настроение всем. Добравшись до центра, зашел в магазин «Галантерея». Тут надо сказать, что, отъезжая в Гурьев, он тогда заскочил в этот магазинчик, расположенный неподалеку от редакции: решил купить Лене в подарок часы. Влетел возбужденный, взвинченный предстоящим. На бегу удивился, увидав за прилавком повзрослевшую девчонку из вечерней школы. Раньше ему как-то не приходило в голову спросить, где она работает, а в «Галантерее» он прежде никогда не бывал: не было нужды. Удивился, но тут же не мешкая — времени оставалось в обрез — попросил подать вон те дамские часики «Заря».

Девчонка наблюдала за ним с насмешливым интересом.

— Возьмите лучше другие: «Луч», для нагрудного ношения. Это сейчас моднее...

Для нагрудного ношения стоили дороже, но делать было нечего — моднее. А эта девица, видать, в моде сечет.

Она всучила к ним еще и златотканую нить. Не помогло. Ни золоченые часики для нагрудного ношения, ни золотой аркан.

И вот теперь, сам не зная зачем, снова зашел в «Галантерею».

Опять была ее смена. В магазине толпились люди, преимущественно парни: то ли вокруг часов, то ли вокруг продавщицы. Девчонка слушала их вполуха, чуть свысока улыбалась им — сразу всем, никого в отдельности не выделяя. Была она спокойна, независима, в руках, в каждой ладошке, приподнятой на уровень плеч, — маленькой, нежно-розовой, просвечивающей, как развернутая раковина, — держала сердцевидные часики «Луч» для нагрудного ношения.

Завидя эту братву, осаждавшую девчонку с копной добела выгоревших, косо устремившихся на одно плечо волос, Сергей с несвойственной решительностью двинулся вперед. Протиснулся к прилавку, остановился, глянул в ее изумившиеся глаза, выговорил глухим, точно не своим голосом:

— Ты пойдешь за меня замуж?

«Ты» — он сам был шокирован собственной наглостью.

В магазине установилась мертвая тишина.

Замолчали парни, умолкли покупатели и зеваки, которых в этот субботний день в магазине было предостаточно, чутко замерли Белкины товарки, расставленные вдоль всего длинного прилавка и шустро щелкавшие на крошечных пластмассовых счетиках.

Торговля повсеместно остановилась, на крошечных счетиках незрелищно несметные недостатки, когда ладошки с сердцевидными часиками «Луч» дрогнули, плавно поплыли вниз и в концентрированной тишине негромко, но вполне отчетливо прозвучало:

— Да, я пойду за тебя замуж.

Ему показалось, что в произнесенной фразе она выделила местоимение «я». Пусть. Переживем.

Так решился вопрос с женитьбой.

Заворачивая в «Галантерею», ни о какой женитьбе он не помышлял. И даже когда увидел ее, тоже не планировал. Все решилось в какие-то секунды.

То ли ему показалось, что эта жадно льнущая к прилавку косматая толпа может увести у него из-под носа и эту? Потому и рванулся к ней — через толпу, через прилавок. Напролом.

То ли мелькнуло, подумалось: а, помирать — так с музыкой! Все равно ведь когда-то надо будет решиться. Так лучше уж на этой.

Или то был мгновенный, как незримый лет раздвоенного жала, акт запоздалой мести? Той, другой, далекой, уведенной, которая в эти дни становилась чьей-то женой.

Так или иначе, вопрос с женитьбой был решен положительно.

Что касается практической части дела, то обе стороны с одинаковой настойчивостью желали избежать свадьбы. Хлопот, которые она доставила бы ее родителям, — а свадьбы в их городе шумные, многолюдные, расточительные: с брезентовыми навесами во дворах, под которыми разом усаживаются за сколоченными на скорую руку длинными дощатыми столами до сотни человек, с обильной выпивкой и снедью, с песнями до слез и весельем до драк. С воплями «горько!», которые слышать на три улицы.

У Гусева за душой не было ни копейки — она это понимала и с тем большим рвением отрещивалась от свадьбы. Гусев боялся ущемленья своей самостоятельности: надо было либо влезать в непомерные долги, либо становиться на ее родительский кошт — она понимала и это.

И щадила его.

В общем, было решено, что летом, как только она окончит один-

надцатый класс вечерней школы, они уедут и там, вдалеке, без шума и песен поженятся. То есть — распишутся.

Время отъезда подоспело незаметно.

Он ждал Белку на вокзале, но ждал, как и договаривались, одну и теперь растерялся, увидав ее в сопровождении многочисленной свиты. Он стоял у входа в вокзал, Белка со своим семейством — ясно, что семейство! — шла через крехотную привокзальную площадь, уже шипевшую, несмотря на ранний час, как смазанная салом скоророodka: асфальт жирно лоснился, пузырился, плавился, прилипал к подошвам. Первым его желанием было убежать, спрятаться и встретиться с Белкой уже в поезде, без свиты. Но, во-первых, сопровождающие наверняка не ограничатся перроном, а столкнуться с ними в вагоне было бы еще неудобнее. Да и нехорошо так постыдно бежать. Белка еще решит: опоздал или того хуже — передумал. Дерзтировал. А главное, в ее глазах, уже отыскавших Гусева, он издала угадал редкое для них выражение вины, покаяния, какой-то щемящей робости.

И он пошел ей навстречу, на ходу присматриваясь к людям, обступившим Антонину. Собственно говоря, абсолютно незнакомой ему была только молодая черноволосая женщина, не несшая в отличие от других ничего из многочисленных пожиток отъезжающей — руки ее были заняты грудным младенцем, таким херувимчиком, которого она держала так, как держат горшок со сметаной, арбуз или что-то еще, чья ценность многократно умножена хрупкостью. «Сестра», — решил про себя Гусев и поразился их несхожести: рядом с этой прочной, смуглой, круто замешанной женщиной его Белка выглядела почти бесплотной и очень уж светлой, маркой. Можно подумать, что одна из них росла на солнце, а другая в тенечке: отсюда и вкрадчивая гибкость, присущая всем тенелюбивым, и цвет — волос, лица, обнаженных рук. Даже в то знойное лето Белка исхитрилась ни капельки не загореть, как будто и впрямь прожила его в тени.

Если о ее старшей сестре он только слышал, то с матерью, тоже проважавшей Белку, он уже виделся. Было это при следующих обстоятельствах. Белка сдавала в вечерней школе выпускной экзамен — русский и литературу устно. Все шло нормально: кому ж неизвестно, что в вечерних школах двойку на выпускных экзаменах вообще не ставят — тут она редка, как судимость. Если обычные школы во время экзаменов напоминают салоны новобрачных — не только нарядами, — то в вечерних царит спокойный оптимизм серебряных свадеб: здесь ни та, ни другая сторона уже не ждет друг от друга никаких неожиданностей. Выпускницы явились на экзамены с кавалерами (это в обычной школе волокут родителей, чтоб было кому поплакаться в случае неудачи). Это были в основном рабочие парни, шоферы, слесари, и пока выпускницы нарядной стайкой кучковались у дверей в класс, где заседала экзаменационная комиссия, парни, тоже нарядившиеся, как на танцы, табунились отдельно, устроив складчину и договариваясь о месте обмывания очередного успеха подруг: на природе, то есть где-то у реки, или на хате. Были здесь и завсегдатаи городского «брода», в том числе его предводитель: приземистый, как вросший в землю валун, Джага и его неразлучный друг Паутка, с которыми Сергею в интернатские годы не раз приходилось сталкиваться на улочках их городка. Белкины экзамены довершили процесс нормализации отношений: сначала из чужого, потом из постороннего Сергей стал своим. И даже как представитель интеллигенции пользовался некоторым приоритетом: взимание денег для сабантуев начинали с него. Честно говоря, Белка не приглашала его болеть, он приходил в школу сам, потому что лучше Белки знал ее неписанные правила: год назад и он стоял под этой же дверью в качестве экзаменуемого.

Все шло нормально, но когда Белка вот-вот должна была войти в класс — тут действовало свое, внутреннее расписание, составленное накануне экзамена, — ее вдруг обуял страх. Она обнаружила, что за-была дома шпаргалку. С бледным, испугавшим Сергея лицом отвела его в сторону:

— У меня все из головы вылетело...

Сергей пробовал убедить ее, что бояться там, в классе, за дверь, некого — не Нину ж Васильевну или, что еще смешнее, учителя физики Дмитрия Николаевича, тоже входившего почему-то в комиссию, в прошлом военного летчика, списанного из авиации по нездоровью, тишайшего человека, который меньше всего был в школе учителем, его чаще видели то за починкой проводки, то за наладиванием устройств, подчас весьма далеких от теоретической физики, например отопительных батарей; на уроки он являлся как на перерывы от вечного своего трудолюбивого копания, поддерживавшего жизнь в бедном, расстроеном школьном хозяйстве, и сам имел при этом такой обреченный вид, что пестрая, жестковатая публика вечерней школы невольно теплела: многим из них учиться было так же трудно, как ему — учить. Но напрасно успокаивал Сергей Антонину — она, закусив обескровленные губы, твердила одно:

— Сегодня я на экзамен не пойду...

Пришлось Сергею снимать свои новые тесноватые штиблеты, купленные специально к отъезду (сейчас, на вокзале, они как раз и красовались на нем), и бежать к Белке домой. За шпорой. Постучал в знакомые уже зеленые ворота, за которыми тотчас, симулируя несусыпное бдение, залилась дворняга. Минут через пять, как бы давая Жулику (Сергея и его знал по Белкиным рассказам) возможность выслужаться в полную меру, в калитке появилась крупная, полная, тяжеловатая в ходу женщина.

Сергей стал сбивчиво объяснять, кто он и зачем явился. Женщина слушала его молча, одной рукой придерживая калитку, а другой поправляя сбившийся при ходьбе фартук. Спокойствие, хладнокровие, даже равнодушие, с которыми она встречала торопливые Серегины слова, находились в странном противоречии с ее взглядом, смущающе пристальным, выпытывающим. Сергей понял, что женщина глуховата, и взял нотой выше, что незамедлительно повторил и Жулик, бесновавшийся за спиной хозяйки. Вообще-то они здорово смахивали друг на друга: Серега в своем стремлении пробиться сквозь чужую глухоту и пес, явно неравнодушный к Серегиним штанам. Впрочем, стоило Сергею ступить наконец во двор, как Жулик ментально смолк, сменил враждебность на преданность и с безмолвным почтением проводил его до входа в дом — с тем чтобы и самому, завернув за угол, с чувством выполненного долга растянуться, вывалив язык, в прохладной коротенькой тени.

Этажерку (Белка говорила, что тетрадка должна быть на этажерке) Сергей заметил сразу и с порога двинулся к ней. Женщина остановилась у раскрытой двери и по-прежнему молча, спокойно наблюдала за ним. Сергей боялся показаться ей чересчур любопытным, но глаза сами цеплялись за каждую мелочь: торопливо брошенное на спинку стула ситцевое платье — в его складках еще лился неусмиримый ручей Белкиного тела, — батарея склянок перед зеркалом. Зеркало было старое, на рассохшихся, разъезжающихся ножках, оно уже немощно привалилось затылком к стене. Да и вся мебель в двух смежных комнатах была под стать зеркалу — если не старая, то старомодная: и железные кровати, и вытертый диван с высокой деревянной спинкой... Одно выбивалось из общего тона — сервант. Окна в комнате были занавешены от жары, и в полутьме — Сергей быстро привык к ней — сервант парил, как месяц в призрачном тумане. Он чужд здесь был всему, небольшой, ладный, томно, глубоко поблескивавший полировкой и ретиво натертым стеклом. Весь из дру-

гих сфер, небожитель, а все кругом — земное, к земле клонящееся, в землю собирающееся. Он явно был чужд всему здесь, но стоял на самом заметном и почетном месте, удобном во многих отношениях, в том числе для дальнейшего наступления на старье. «Приданое», — понял Сергей и был в своей догадке прав: сервант в хате появился вскоре после того, как и сюда, до этих стен, дошел (от завалинки к завалинке, от роя к рою) слух о Сереевном предложении, сделанном Белке прямо в магазине, на ее рабочем месте.

Правда, вытребовала сервант у отца не Белка — Белкина мать. Выгадала в бесконечных ночных расчетах и подсчетах: известно ведь — чем меньше в доме денег, тем дольше, сбивчивей, горячее их считают...

Любопытное совпадение: сервант доставлялся примерно таким же способом, каким был доставлен после, уже в их с Белкой семейный дом, диван — первая самостоятельная покупка молодых. На лошади... Белка шла с работы. Шла по тротуару, а по дороге, по шоссе, ее медленно нагоняла телега. На телеге тряся, посылая во все глаза и окна ослепительные блики, современный немецкий сервант (Белка давно приметила его в мебельном магазине и даже как-то обмолвилась о нем матери), а рядом с ним сидел ее отец. Сидел, свесив ноги в сбитых кирзовых сапогах, устало сторбившись, отпустив сырмятные вожжи. Маленький, легкий, выдохшийся, в неизменной своей защитной фуражке.

Как воробей на голой осенней ветке.

Шофером он уже не работал: стали слабеть глаза, врачи сказали — на нервной почве. Перешел в экспедицию какого-то совхоза: получал на станции грузы для него, сторожил их, перевозил из города в село, в хозяйство. Не доверяя себе, своим глазам, куцей своей грамоте, выгребал вечерами перед Белкой из всех карманов накладные, расписки, просил сличить, пересчитать. Белка сличала, пересчитывала, разглаживала его бестолковую бухгалтерию, и из вороха получалась аккуратная тоненькая стопочка, которую отец сдавал потом куда-то по начальству и даже, как он хвалился, имел устные благодарности за прилежное ведение документации. С переходом в экспедицию он получил в свое безграничное владение лошадь по кличке Енот. Коняга был старый, пережил не одного экспедитора, изощрился и закоснел в непробиваемой лени и ушлости. Вожжи как будто были протянуты не от человека к нему, а от него к человеку. Не боялся кнута — что кнут такой выдубленной шкуре! — шел как хотел, преимущественно размеренным прогулочным шагом, и даже куда хотел.

Отец сначала пытался воевать с Енотом, подчинить его, образумить, а потом свыкся, смирился. Они здорово дополняли друг друга: маленький, живой, шустрый человек и могучая, воловьей стати, царственно равнодушная ко всему животина. Смириться смирился, но новой своей должности стеснялся. Стеснялся вожжей — после баранки-то! Стеснялся Енота. Лишний раз предпочитал с ним не связываться, беспокоя мерина только ради служебных поездок. Для передвижения же по своим личным надобностям — на работу, с работы ли — предпочитал велосипед, старенький, уже бескрылый, уже сбросивший все несущественное, не относящееся к ходу. Велосипед и быстро и не зазорно. На велосипеде он сам себе был хозяином — без ограничителя. Енот же появлялся перед их воротами редко. Стоял с закрытыми глазами, лениво отмахиваясь хвостом от мух, угрюмый, безмолвный и нездешний. Белка всегда побаивалась его.

Она окликнула отца. Тот увидел ее, обрадовался, остановился. Она подошла, отец подал ей руку, и через секунду она уже сидела рядом с ним на застланной фуфайкой доске, положенной поперек телеги. Она была рада, чего там греха таить! Знала тайный ход отцовских мыслей — да он весь, до последней загогулилки, был напи-

сан на его просиявшем лице. Она то оглядывалась на сервант, источавший тонкий, как духи, аромат лака, канифоли, какой-то новой, грядущей, прекрасной жизни, то смотрела на отца, взбодрившегося (по всей видимости, покупка уже была спрыснута с друзьями на базаре), подобравшего вожжи и даже помахивавшего ими над Енотом, то окидывала быстрым опасливым взглядом ровно никакого внимания ни на какие помахиванья не обращавшего Енота, и вместе с радостью в ней поднималась волна неизъяснимой нежности и даже печали: понимала, догадывалась, что в последний раз, в последний свой легкий девичий час вот так хорошо, просто, необремененно, радуя его своей молодостью и сама радуясь, сидит рядом с отцом.

Как две птахи.

И эта волна умеряла в ней даже неловкость, которую она тоже испытывала, сидя в телеге, где никогда раньше не ездила, на виду у всех любопытных, да еще рядом с такой привлекающей всеобщее внимание дорогой и многозначительной покупкой. А отцу, похоже, как раз это всеобщее завистливое любопытство, эта явная дороговизна и многозначительность покупки, сиявшей у него за спиной, и нравились: отец живо оглядывался по сторонам, громко здоровался со своими многочисленными знакомцами.

Не сиди с ним рыдышкой дочка, все было бы совсем не так.

На серванте с тыльной, неполированной его стороны на долгие-долгие годы осталась его щегольская размашистая роспись, сделанная зачем-то еще в магазине хорошо послуявленным химическим карандашом.

Достиг и расписался. Как на рейхстаге.

...Так что дом встречал Серегу во всеоружии.

А самой старой в нем была этажерка. Такая же была когда-то у Сергея, когда у него был дом. Она казалась ему тогда очень высокой, и чтобы достать свои первые книжки, ему приходилось вставать на носки. Он дотягивался до них, как до самых вкусных — первых! — кисличек: подойдет белый налив — кто ж о них тогда вспомнит? Перераста дичок ему не было суждено. Отрезало, отсекло его — с кровью, с корнями — от дома, от сада, от этого, может, самого щедрого дерева в нем.

Сергей склонился над этажеркой и в тесных сплотках книг сразу увидел несколько своих, в разное время подаренных им Белке. Они стояли отдельно, наверху, на макушке — все солнце им, — и Сергей, завидя их, посмелел: что ж, не такой уж и чужой ему этот дом с молчаливой седой женщиной, терпеливо дожидющейся его у двери. Пока искал тетрадь, она отлучалась куда-то и теперь стояла с огромной эмалированной кружкой в руках. Перехватила Сергея на пороге и, обтерев фартуком запотевшие бока бездонной посуды, протянула ему:

— Жарко, выпей для остуженья.

Компот был холодным, из погреба, и сварен из первого, что упало (из первых яблок, первых вишен), сладости в нем почти не было, зато свежести, пахучести — до озноба. Сергейпил, не переводя дыхания, запрокидывая кружку выше и выше, и все обещанья лета упругими толчками вливались в него, наполняя нутро терпкой желанной прохладой.

— Спасибо.

Он вернул женщине кружку, она проводила его до калитки все с тем же несокрушимым спокойствием. Сергей на мгновение даже усомнился: а поняла ли она, что речь шла о ее дочери? Прокричал «до свидания» (на что Жулик по-свойски вильнул хвостом: покеда!).

На повороте Сергей оглянулся: женщина по-прежнему стояла у калитки, смотрела вслед. Сергей помахал ей рукой; возможные беды Антонины в эту минуту как бы поделались на них двоих, на него и на эту чужую женщину, ее мать, но поделались так, что положен-

ного при делении облегчения Сергей не испытал. Скорее наоборот. Он-то знал, что Белка и без шпаргалки не провалится (она ею, кстати, и не воспользовалась, хотя Сергей и успел, добежал, взмокший и взмыленный), а вот знала ли это ее мать?

В дом она не пошла — так вот и простояла у ворот, пока не вернулась Белка, счастливая и безмятежная. Не в характере матери было обременять кого-то, пусть даже родные стены, ей причитающимися тяготами. Все свои невзгоды семья торопливо делила с нею. Да если и не делила, она высматривала их сама без слов и расспросов. Так когда-то по одной только изменившейся походке мужа узнала, угадала в нем все муки плена, неволи, чужбины. Он уже шел по двору, когда она увидала его в окно. Увидала — и никак не могла отлепиться от холодного осеннего стекла, выбежать ему навстречу. Стояла, вцепившись в подоконник, смотрела на него, понуро бредущего двором. И эта понурость, и стекавшая из-под шапки глубокая, по-мальчишески жалостливая бороздка, соединявшая стриженный затылок с подсохшей, как осенний злак, шеей, а главное, невесть откуда взявшаяся косолапость, стариковская вывернутость тонких, подсохших ног, подменившая его легкую, стремительную, танцующую походку — а она эту легучесть и любила в нем больше всего, таким он и являлся ей в редкие счастливые сны этих четырех военных лет, — эта изменившаяся походка все-то и поведала ей о нем, без вести пропавшем еще в сорок втором. Позже не раз бывало, что Василий, значительно перебрал, вдруг требовал к столу детей, расставлял их вокруг себя для душевного разговора, но потом, не совладав с рвавшимися изнутри словами, ронял хмельную голову на черные шоферские руки с обломанными ногтями, выдыхал всякий раз:

— Эх, да вы же ничего не знаете!

И плакал.

— Васька! — строго, предостерегающе окликала его тогда из какого-нибудь угла занятая по хозяйству Катерина Михайловна.

И хоть его горький повторяющийся возглас предназначался не детям, робко жавшимся у стола (одна Белка не боялась отца и таким), а как раз ей, жене, Катерине Михайловне, так же как и укор, содержащийся в нем, все равно пьяные слова эти были несправедливы: Катерина Михайловна чувала все, что за ними стояло.

— Васька! — Это действительно звучало как «остерегись!». Как будто чубатая голова его клонилась над бездной.

Мужчины не могут носить в себе ни радости, ни горя: у них все нараспашку. Мужчины не могут без воздаяния — и она ему воздавала: не перечила, не высмеивала, не ставила под сомнение ни его фронтовые заслуги, отмеченные орденом Красной Звезды, ни подлинность горького плена.

Хотя, господи, что ж ее-то ни одна душа никогда не спросила: как же ты, Катерина, пережила эти четыре полоненных войною года? Она провожала мужа на фронт, на станцию, а на руках у нее сидел полуторогадоговальный сын, а за подол держалась трехлетняя дочка, топавшая по пыли худенькими цыганскими ножками.

...У других приходили с фронта мужья — и как будто молодые годы возвращались. А она смотрела, как он брел по двору — даже глаз на окна не поднял, хотя рядом с нею в окне торчали еще две недоумевающие, овечьими ножницами оципаные головенки: дети привыкли считать, что отец должен быть большим, сильным, ну хотя бы как мать, и теперь были обескуражены очевидным обманом, обвесом, — смотрела она и видела затуманенными очами, как молодость ее тихо босиком прошла по двору. От порога — к воротам, из ворот — на улицу, бог знает куда. Как будто и не было ее.

Все семейные невзгоды, в кого бы они ни целили, в конечном

счете попадали в нее и в ней же вязли, теряя убойную силу, чтобы после, уже почти забытые всеми, в ней, в живой человеческой плоти, и остаться, отложиться, не имея дальнейшего выхода, исподволь подтачивая свое узилище. И, как то чаще всего и бывает с людьми ее стати, первыми ей стали отказывать ноги. В них уже чувствовалась нездоровая отечность, женщина ступала с заметной осторожностью, с усилием, и вся семья подлаживалась под ее медлительный шаг... Младенец, ангел, надежно обхваченный крепкими молодыми руками, и крупная, тяжело оседавшая к земле женщина — таковы были два крайних центра большой, собравшейся вместе семьи. С чемоданом на плече шел старший Белкин брат, которого Сергей тоже знал: несколько раз они с Антониной встречали его на танцах хмельного, форсистого, заезжего, залетного. Сергею не нравилось, как он по-свойски на весь «Тигрятник» звал сестру: «Белка, домой!» Он жил в Ленинграде, работал на Балтийском заводе, но каждое лето наезжал в родной городок. Был тут и младший Белкин брат, Петька, с которым у Гусева существовали куда более сложные отношения, чем со всем остальным семейством. Время от времени ему приходилось прибегать к язвительному Петькиному посредничеству — вызвать Белку, что-то передать ей, — а за услуги Петька брал только недозволенным товаром: сигаретами. Петьку тяготила замедленность семейного шествия, он, вымытый по случаю отъезда сестры, выскобленный от всех отложений здешней речушки, все время по-жеребьячи выбивался из строя: то заскакивал вбок, стремясь сразу всем заглянуть в глаза, то забегал вперед, как еще не знакомый с хомутом стригун.

Одного человека не хватало в Белкиной свите — отца. Причина была уважительная: вокзал располагался рядом с базаром и Василия Тимофеевича занесло туда в поисках вина. Мысль о вине, о пошлке, беспокоила его еще с вечера...

Василий Тимофеевич явился, когда вещи уже разместили в вагоне, когда деловая часть проводов закончилась и все они стояли на перроне, переминаясь с ноги на ногу. Гусев чувствовал себя лишним, он стеснял этих людей и сам стеснялся их. Как хорошо, слаженно шли они только что по площади и как отчужденно стояли сейчас у вагона — и по отношению к нему и почему-то по отношению друг к другу. Гусев настораживал их. Вначале, в суматохе погрузки, когда Гусев оказался рядом довольно кстати, эта настороженность почти исчезла, пропала, выходит, просто осела на дно. Теперь же его ненадобность, нежелательность — каждый из них чувствовал, что Гусев, у которого и место оказалось в недвусмысленной близости с Белкиным, угрожает их единству, сплоченности, — бросались в глаза и с каждой минутой становились очевиднее, грубее: приближался миг, когда близкие люди вообще предпочитают остаться одни, наедине, без свидетелей — чтобы расстаться... Молчала Катерина Михайловна. Ласково и вместе с тем автономно перегукивалась с сыном Белкина сестра. Непонятнее всех вел себя Петька. Он почему-то счел необходимым не признать Сергея, всячески воротил от него — как и от Белки, которой только что преданно заглядывал в глаза, — свое конопатое рыльце и обращался исключительно к старшему брату: как он считает, сколько лошадиных сил в этой старой шушвали? Подразумевался действительно старый, ревматический паровоз, еще таскавший пассажирский состав от их тупичкового городка до Минеральных Вод. А в сравнении с атомходом «Ленин», бороздящим просторы Ледовитого океана? — и выскомерный, технократический взгляд на Сергею.

В кругу родной семьи Белка неожиданно-негаданно оказалась на одном островке с Гусевым. Ей как будто что-то ставили в вину. Что — это было непонятно ни ей самой, ни ее обвинителям. То, что привела этого долговязого? Что уезжает от них? К нему? К этому?

Белка и сама чувствовала, что уезжает, уходит, покидает. Вылетает...

В эту тягостную минуту и появился отец. Одной ладонью прижимая к своему выходному костюму трехлитровую банку с вином, а другой зажимая ее горловину, чтоб не расплескивалось, он бежал к перрону.

Первой его увидела жена. И хоть ничего при этом не сказала, лицо ее оживилось, посветлело: видно было — она больше всех беспокоилась, что муж опоздает и не простится с дочкой. Запыхавшийся Василь Тимофеич отыскал их у вагона, около которого толпились и другие отъезжающие-провожающие, остановился, протянул освободившуюся руку Сергею:

— Василий! — И добавил поспешно, спиной почувствовав молчаливое осуждение жены: — Тимофеевич.

Ладонь его была немного влажной от вина, он заметил это и смутился.

— Вот — посошок, дочка, — сказал, стараясь не встречаться взглядом с женой.

Оттопырил мокрым пальцем карман на боку, и Петька без нужденья ловко выхватил оттуда небольшой граненый стаканчик: его Василь Тимофеич, выдать, захватил еще из дома. И замершее было сообщество пришло в движение. От посошка не отказывался никто, но первый стаканчик, наполнив его быстро и точно до самых краев и ни капли при этом не пролив, Василь Тимофеич протянул Сергею:

— Со свиданьем.

Сергей такого не ожидал, но ничего, не растерялся, выпил, и стаканчик пошел по кругу. Стаканчик пошел по кругу, а в центре круга, само собой, оказался Василь Тимофеич. Веселый, возбужденный, хотя и совершенно трезвый, он для каждого находил уместное словечко и вручал его вместе со стаканчиком, и из его легкой руки, как из пригоршни, выпили все, даже Белка — до дна, без уламываний, чего за нею раньше не водилось, даже Катерина Михайловна пригубила, даже Петька потянул было руку в круг, но вместо стаканчика с неожиданной стороны — от старшей сестры, самой старшей, — схлопотал незлобиво по шее.

Вино было старым, кисленьким, не единожды разбавленным, «шмурдячок» — называют такое в здешних винных краях (какое летом вино — разве что бочку кто решил вымыть, выполоскать), но нагреться еще не успело, шло приятно, прохладно, легко.

Сам Василь Тимофеич разговелся только в завершении круга. У Василь Тимофеича и на перроне оказалось немало знакомцев. Привлеченные чашей, ходившей по кругу, они прибывали к ним, спрашивали, что тут происходит, Василь Тимофеич отвечал, что происходят хорошие дела, и подносил стаканчик, как он выражался, «вновьприбывшим».

Круг расширялся.

Хоть вещи уже и были погружены в вагон и Петька, как ему и было наказано, неусыпно надзирал за паровозом, Катерина Михайловна, видя такое шумное разрастание, заволновалась: как бы не опоздать, как бы не пришлось молодым догонять потом поезд. Нормальные люди вон уже давно в вагоне.

Наконец машинист гукнул, точнее сперва Петька провopil: «Рассыпайсь!» — а потом уж низко, сшло, окутываясь горячим паром, повторил Петькину команду паровоз, и все вокруг побежали к дверям. Родичи со всех сторон целовали Белку, потом стали целовать поугно и Серегу, и он сам кого-то обнимал и целовал. Подсадил Белку в уже тронувшийся вагон, потом его самого подсаживали с разных сторон Василь Тимофеич, старший Белкин брат, и младший Белкин братишка, и старшая Белкина сестра с малень-

ким, и, возможно, даже Катерина Михайловна. И был разбит на счастье о тяжелую вагонную буксу ставший ненужным — банка была пуста — граненый стаканчик, и Петька откуда-то из-за спин звонко, озорно, язвительно крикнул-таки: «Горько!» — и Сергей прямо тут, в тамбуре, на виду, поцеловал Белку.

Вагон катил медленно-медленно, это неспешное, плавное, равнинное течение находилось в резком контрасте с той хаотической кутерьмой, в которой еще минуту назад пребывал перрон. Теперь и там все успокоилось, устоялось, замерло.

Семья опять была в сборе, выдвинув вперед отца.

Теперь там не хватало Белки.

Сергею на миг показалось, что там не хватает и его, что он знает этих людей давно. Что они провожают и его, Сергея, которого еще никто никуда не провожал: некому было провожать...

Белка осталась в Саратове — поступать в Юридический институт. Сергей поехал дальше, в Москву. Экзамены на заочное отделение были позже, им же хотелось вырваться из дома как можно быстрее. Немедленно. Поэтому и выбрали дневные отделения. В торговле Белке не раз предлагали дать направление в торговый институт, но ее почему-то влекла юриспруденция — романтичнее. У Сергея такой определенности в желаниях не было, но по Белкиному настоянию он выбрал факультет журналистики. И — Москву. Только в Москву — своим присутствием в Серегиной жизни Белка не хотела мешать его будущей карьере, которая и ей рисовалась в самом розовом свете.

Они уезжали в одном вагоне — но в разных направлениях. Воссоединение предполагалось, хотя способы и сроки его оставались неясными: перейти на заочное, уехать куда угодно, только не домой.

Если бы они провалили экзамены на дневное отделение, у них оставался бы шанс поступить на заочное.

Они не провалились. И очутились в разных городах, и вопрос о воссоединении стал приобретать еще более туманные очертания. Неизвестно, чем бы все кончилось, если б Сергей в один из дней не заснул на лекции. На стипендию было не прожить, помощи ему ждать было не от кого (не от Белки же), прикопленных денег едва хватило на дорогу и экипировку — короче говоря, Сергей устроился подрабатывать ночным слесарем в метро: пригодился-таки навык, полученный им когда-то, еще в интернатские годы, у хорошего заводского человека, вечного слесаря Алексея Васильевича Маслюка, к которому Сергей был определен для прохождения производственного обучения. Работа была через день, вернее через ночь, но этого было вполне достаточно, чтобы на следующее после дежурства утро Сергей сидел в аудитории с чугунной головой. Нельзя сказать, что он уставал: всех-то делов — пройти свою сотню метров и проверить на рельсах каждый раз одни и те же гайки. Но время для такой плевой работы было отведено самое неподходящее. Просто иезуитское: с двух до пяти, когда спать бы да спать без задних ног. К половине девятого он только добирался с работы до общежития. К десяти надо было ехать в университет. Ложиться не имело смысла. Вечером тоже не уснуть: из четырех жильцов общежитской комнаты работал он один, комната табунилась допоздна, и он нередко уходил на свою ночную службу, даже не тронув постель.

Он проспал в аудитории всю первую лекцию. Проснулся от треска скамеек и гомона торопившихся к выходу — в буфет или в курилку — сокурсников. Поднял голову и, еще не очнувшись как следует, не придя в себя, не поняв по-настоящему, где он и зачем, ощутил вдруг какое-то волчье одиночество. Никому не было дела до него — ни преподавателю, спокойно собиравшему со стола свои записи, ни сокурсникам, парням и девочкам, весело обтекавшим его, омывавшим, как журчащая вода обтекает унылый камень. Днями

копившиеся отчуждение, усталость, потерянности в огромном городе, в котором ему еще только предстояло укорениться, утвердиться и в котором верх пока брали другие — и брали, ему казалось, без труда, — все это сказалось в одночасье. Сработало. Это всего лишь расхожее заблуждение, будто люди, выросшие в детских домах, более самостоятельны, уверены, нахраписты в жизни. Скорее наоборот. Что ни говори, Сергей привык жить за спиной интерната. Государства, которое пусть не шибко ласково, но уверенно, надежно вело его за руку. Первое время после интерната он даже квартировал еще в интернатском общежитии, в спальне, хотя работал уже в районной газете, был на самостоятельных хлебах. А тут впервые ему пришлось вступить в борьбу за существование — попробуйте просуществовать на тридцать пять рублей университетской стипендии.

И он подумал: какого рожна он торчит тут, в Москве, на чужбине, когда есть на белом свете человек, которому он, Серега Гусев, не безразличен? Чего ждет?

Дальше все было как в «Галантерее».

В тот же день Сергей написал прошение о переводе его на заочное отделение, и ему было велено явиться на заседание деканата. Чем вызвано столь поспешное заявление? — шел второй месяц его учебы в МГУ.

Что сказать, Сергей не знал.

Давешний профессор поинтересовался, знает ли товарищ Гусев, что своей непоследовательностью (он так и выразился: непоследовательностью) он наверняка заслонил дорогу какому-то способному и здравомыслящему (так и было сказано: здравомыслящему) человеку. Был поднят Серегин экзаменационный лист, выяснилось, что оценки у него довольно высокие, общая сумма баллов значительно выше проходной и, стало быть, особым заслугом товарищ Гусев ни для кого не послужил.

А может, есть смысл вообще исключить молодого человека из состава студентов: где гарантия, что он ошибся только отделением, а не факультетом? — продолжал интересоваться любознательный профессор.

— Возможно, тут какие-то личные мотивы? — деликатно подсказала Сереге заместитель декана.

— Да. Мне жениться надо, — угрюмо ответил он.

Публика насторожилась. Мужчины смотрели на него с сочувствием, женщины — с восторгом: какой рыцарь — обманул, но не бросил. Совесть заговорила.

Сергей тему не развивал.

Заговорившую совесть оценили по заслугам: Серегино прошение было удовлетворено, — и в тот же день он улетел в Саратов.

Ни одна гостиница его не приняла, поскольку никакой прописки у него не имелось.

На работу его без прописки тоже не принимали.

В конце концов он пошел в сектор печати обкома партии и был направлен в Курунту...

Поздним вечером Белка проводила его на вокзал.

Люди, всю ночь сновавшие в тесных проходах вагона по какой-то своей нужде, как это всегда бывает в поездах, с удивлением и опаской поглядывали на парня, мрачно приткнувшегося в полутьме у черного, посверкивающего на разъездах окна. Сергей всматривался в темноту за окном, в которой ничего невозможно было разобрать, кроме тусклого отражения собственного лица. Чем дальше от Саратова, тем гуще, непроглядней становилась ночь, все реже разбавляемая разъездами и полустанками: уже по одному этому можно было понять, что поезд идет в глушь.

Белка приехала в Курунту позже. Сергей встретил ее и слякотно,

ным, никак не развидняющимся утром повел через весь поселок к себе в комнату, которую снимал на первых порах у одной из богомольных курунтинских старушек. В комнате они не задержались: переехали в пустовавший дом Дротихино сына. На самостоятельное житье.

Работы по специальности Белке не было. Да и специальности, по существу, тоже не было: первый курс — какая там специальность? Возвращаться же в торговлю она не хотела. Нашлось место в районном Дворце культуры, сумрачном гробоподобном заведении. Должность называлась организатор танцев. Белкиной обязанностью было крутить на танцах пластинки, вытаскивать из кабинета и вновь потом запиравать на ключ общественную радиолу.

Место было хлопотным. Танцы проходили бурно, с моральными и физическими издержками. На танцах Сергеем приходилось присутствовать лично, караулить радиолу и организатора. Парни прямо роились вокруг Белки: она была тут новенькой, нездешней, лакомой. Каждый хотел заполучить ее на танец, а там, глядишь, и домой проводить. Сергей сидел рядом, менял пластинки и сумрачно внушал очередному соискателю, что с приглашением на танец надо сперва обращаться к нему: это его жена. Кто верил, кто нет. Находились такие, что приглашали его выйти поговорить, как будто там, за углом, в темноте, было виднее, жена она ему или он просто нагло примазывается к организатору районных танцев.

В общем, это была работа похлестче, чем ночным слесарем в метро.

Но тут в «Ударном труде» образовалась вакансия, и, цenia Сергеем трудовой энтузиазм, редакция взяла на службу и его жену. Что принесло ему некоторые осложнения. Однажды, сидя в своем закутке, Сергей сквозь стрекот Раисиной «Башкирии» с тревожным удивлением услышал, как в соседней комнате Белка звонко отчитывает своего заведующего Ивана Семеныча, маленького, кругленького, недавно произведенного в начальство и потому уже относящегося к себе с заметным пиететом. Мол, так и так, она, Белка, не нанималась за сводками из конторы в контору бегать, и если ему надо, он, Иван Семеныч (а Ивану Семенычу действительно казалось, что с его производством все районные организации, исключая, разумеется, райком партии, должны копию каждой своей сводки представлять ему для анализа и стратегических выводов, а поскольку никто их добровольно не поставлял, Иван Семеныч гонял по кругу своего единственного подчиненного — Белку, и та вымаливала их у надменных секретарш), — так вот, сказала необычно звонким голосом Белка, если Ивану Семенычу это надо, он мог бы и сам пробежаться утречком за сводками. Ему это будет даже полезно, добавила она.

И прыснула.

Сергею было не до смеха.

В звонком Белкином голосе, как ни странно, звучали терентьевские переливы.

Да, с приездом Белки жизнь Сергея осложнилась. Характер у жены оказался не мед. Правда, пока это чаще проявлялось по отношению к другим, чем к нему. Он же вынужден был сглаживать последствия вечных Белкиных трений.

Так они жили.

Жили, в общем-то, дружно, хотя к тому ли они стремились когда-то в Буденновске, точнее — из Буденновска?

К этому ли бежал из столицы Сергей?

Весной его навещал Гражданин. Многолетний интернатский товарищ, отчаянный и непутевый. Оставленный матерью на попечение престарелой бабки дворянских кровей, сданный бабкой в детский дом, из детского дома переданный в интернат, теперь он был бро-

шен женой. Впрочем, надо сказать, что бросаемый (в письмах директору интерната бабка иначе как гражданином Развозовым внука не величала) сам был хорош. Бабка с ним совладать не могла, как не мог с ним совладать ни детский дом, ни интернат. Ни — сейчас вот — жена. Какая-то вредность, злокозненность сидели в нем так же цепко — ничем не выковырнешь, — как заикание, которое, кстати, Гражданин в интернате бессовестно эксплуатировал, понуждая учителей ставить оценки (положительные) уже за одно искусно длительное произношение согласных.

Впрочем, оценки были без натяжек: со злокозненностью, как часто бывает, уживался острый, настырный, насмешливый ум. Так же как уживалась с нею способность к товариществу, верность, хотя и насмешливая, дружбе: в интернате их было несколько закадычных друзей и если не душой, то, во всяком случае, головой (сорвиголовой) компании был Гражданин.

И вот он без предупреждения и приглашения объявился в Курунте. Столичный студент-медик. Отставной семьянин. Проведать в глуши и заточенье товарища детства. Проверить, как ему живется, не обижают ли кто — Сергей писал ему, что женился, а у Гражданина теперь был весьма значительный, хотя и горький, опыт брачных отношений, — возможно, перехватить у друга детства двадцать — тридцать рублей: он и в Курунту-то по своему обыкновению ехал без копы в кармане. Все его цели, и оперативные и стратегические, без труда читались на лукавой, губастой и вместе с тем обаятельной физиономии.

Прочитала их, видать, и Белка. Усекла — особенно насчет проверки. Инспекции. Уж очень привередливо осматривал он накрытый в честь его прибытия стол (Сергея в душе хохотал: знал, что Гражданин всегда голоден, как бездомный барбос, только виду не кажет), чересчур учтиво, но несколько свысока держался с нею.

Вечером Гражданину было постелено не на диване, как предполагалось первоначально, а в другой комнате и даже прямо на полу. Нашла коса на камень.

Сергей пробовал вступить за него и был спроважен с кровати туда же.

В понедельник — Гражданин приезжал на субботу-воскресенье — он провожал гостя один. Вручил билет, сунул в карман четвертной (сам Сергей, к слову, еще с вечерней школы, где они тоже учились вместе, щеголял в демисезонном макинтоше Гражданина). Гражданин, как и положено инспектирующему, милостиво подал на прощанье руку:

— Н-ну п-поглядим, сгодится ли.

— Что поглядим? — не понял Сергей.

— Н-не ч-что, а к-кого — так надо с-ставить в-вопрос, — наклонился к нему уже из тамбура Гражданин.

— Пошел ты! — без злости ругнулся Сергей: что ни говори, он был рад этой встрече.

Видя, что Сергей опять не понял его, уточнил — поднял руку и широко повел ею над всем, что оставалось у Сергея за спиной: тонюсенькая, капиллярная речка, поселок, бабки Дротихи дом. И где он сам, Сергей, оставался.

Поезд тронулся.

Сергей шел домой. И хоть подобная выработанная годами интернатской дружбы, граничащая с вызовом прямота была в их компании привычной, даже обязательной, на душе все же остался темный осадок...

Так они жили.

Так ли, не так — вопросы эти в разговорах не поднимались, можно сказать, даже старательно избегались, но они были. Существовали. Время от времени Сергей чужел, уходил в себя. Вспоминал

в такие минуты университет, Москву, и, чудное дело, все теперь в воспоминаниях — даже ночные работы в вымершем, отдыхающем метро — приобретало другие тона. Трагедии, в общем-то, не было. Живут же другие. И работают. И учатся — здравомыслящие. Любопытный профессор тоже приходил ему на память, но прежней острой, мальчишеской неприязни к нему Сергей уже не испытывал.

Дело даже не в том, что Сергею, что ни говори, жаль было с таким трудом покоренной и так бесславно покинутой, оставленной Москвы. Другое...

Любит ли он Белку? Любит ли он эту по-кошачьи гибкую и по-кошачьи же строптивую — против шерстки не гладь — девчонку, о существовании которой год назад и не подозревал? Вернее, ее существование и год и полгода назад было для него безразличным, несущественным. Он вел ее со станции слякотной, унылой, неуютной улицы — дома обочь дороги только угадывались в предраассветной темноте — и исподтишка, испытующе взглядывал на ее бледное после вагонной бессонницы и, казалось ему, тоже растерянное лицо: любит ли он ее?

Как будто ответ надо было искать в ней — удивленной, огорошенной такой глухоманью, — а не в себе.

— Что смотришь? Соскучился? — перехватила она его взгляд.

— Ага, — смутился он.

Нужный ему дом Сергей отыскал не сразу. Окрина Энгельса, на которой они с Белкой нашли постой, выходила к старым, задернутым ряской затонам и сама смахивала на затон. Соенные, заросшие лебедой улочки, дома из вековечного, черного, просмоленного дерева — в глаза бросалось их несомненное родство с дотлевающими островами вынутых, выволоченных на затравеневший берег барж.

По берегам затонов высились и отходившие свое металлические баржи, чьи корпуса и днища были густо припорошены, завьюжены кроваво-красной ржой. Ржавчина, казалось, расплзалась отсюда по всей округе. Ее зловещий оттенок, ее привкус — пресный привкус мертвого металла — имела и пыль, тучно, жирно устилавшая все вокруг: доргу, лебеду, дома.

Окраина.

Хотя, строго говоря, это была не окраина, а, наоборот, предместье, предтеча Энгельса. Перемычка, соединявшая его с Волгой, а через Волгу с Саратовом. В старину в городах это называлось немецким словом «форштадт». Перед городом.

И у этой конкретной окраины тоже было немецкое — блистательное — прозвище. Тильзит! — ни больше ни меньше.

...Сергей шел по Тильзиту, посматривая на ржавые таблички на домах — иные улицы вообще не имели наименования, на других без конца повторялось одно и то же слово с добавлениями 1-я, 2-я и так далее. Дом, который он искал, появился перед ним неожиданно. Сергей собрался с духом и отворил калитку.

Он отворил калитку — и попал в цветущий и благоухающий рай и в самой глубине его на ступеньках, к которым вела узенькая дорожка, обступаемая с двух сторон мощной растительностью — правда, уже поредевшей, процеженной, — увидел плачущую Белку.

На миг остановился: знает? Успела сообщить домой о переезде, и телеграмма пришла в два адреса? Догадка доставила ему некоторое облегчение. Он больше всего боялся увидеть ничего не подозревавшее, простодушно-веселое, обрадовавшееся ему Белкино лицо. Он понимал, что времени на ее подготовку у него просто не будет: им предстояла еще дальняя дорога, нельзя было терять ни минуты, иначе они рискуют опоздать.

Белка плакала. Белка была готова к горю, и это, слава богу, облегчало его задачу.

Он подошел, не замеченный ни бабкой, топтавшей поодаль, ни собакой, ни Белкой. Она, по-прежнему сидя на ступеньках, подняла голову с колен, виновато посмотрела на него сквозь слезы—изменившаяся, измученная, зареванная, с красными и припухшими глазами — и попробовала улыбнуться.

— Сере-е-жа...

— Ты знаешь? — спросил он по инерции, хотя уже по этой виноватой попытке улыбнуться почуял неладное.

— Что? — поднялась она во весь рост.

Отступить было некуда.

— Про отца,— сказал он упавшим голосом, враз почувствовав, как же устал он за этот еще только начинающийся день.

— Что? — повторила она, шагнув к Сергею.

Ее руки, перепачканные вишнями, медленно поднялись к горлу. Они были так напряжены, как будто Белка сдерживала, душила ими крик — глубокий, утробный, рвавшийся вон, раздувая тесное для него горло.

— Что? — повторила она еще раз, моляще, бесслезно всматриваясь в Серегины глаза.— Умер?

— Да,— ответил, смягчив как мог известие, и опустил голову.

Ладошки ее захлопнулись — теперь она держала у подбородка два маленьких, судорожно, до посинения сжатых кулачка. По этой синюшности, по закрывшимся глазам и пугающей бескровности щек Сергей понял: Белке дурно. Бросился к ней, бабка подала кружку холодной воды...

Дальше все пошло с карусельной стремительностью.

Круг, в общем-то, был выверен веками.

Пешком, на автобусе, на такси — Белка всюду тенью следовала за ним. Не кричала, не плакала, лишь подносила к воспаленным глазам скомканный мокрый платок. Молчала — не держи ее Сергей за руку, он и не знал бы, идет она за ним или нет. На месте ли она там, сзади, или бесследно сгинула.

Он вел ее точно так же, как когда-то зимой во время бурана. Но если тогда, даже несмотря на метель, всячески старавшуюся отгородить их друг от друга, замуровать в себе, он чувствовал в руке доверчивый, теплый, живой комочек ее рукавички, то теперь в безветренный летний зной, ладонь ее была безжизненно холодна. Этот неживой холл током пробегал по его руке, тревожил душу.

А жара была бешеная. Время еще только подходило к полудню, но кто-то наверху все качал и качал неслышимые мехи, мерно и безжалостно доводя людей до белого каления. Сергей то и дело оглядывался на Белку: боялся, что ей снова станет дурно. Пытался подбодрить ее глазами.

В аэропорту вышла заминка. Осаждавшая кассу толпа была распаленной, злой, неуступчивой, пропустить Сергея без очереди глухо противилась и требовала на руки его телеграмму, желая удостовериться, заверена ли она врачом.

— Да что вы! — задохнулся он от обиды и гнева.

Неожиданно для него самого это «да что вы» вышло за пределы высокоим, звонким, секущимся. В нем тоже как будто что-то рвалось вон, но до поры до времени сдерживалось, подавлялось и теперь вот прорезалось, прорвалось. Выхлестнулось.

Он сам был смущен этим непрошеным срывом, на второй штурм его, наверное, и не хватало бы, но выплеснувшаяся обида, как ни странно, подействовала. Его пропустили, дали два билета на ближайший рейс до Минеральных Вод.

В самолете Белка вдруг переменялась — вместо подавленной отрешенности наступила лихорадочная возбужденность. Она без конца тербила его рукав:

— Что там случилось? Что там случилось?

— Не знаю,— чистосердечно признавался он.

Она отворачивалась и через минуту снова требовательно дергала его:

— Что там случилось? Ты что-то скрываешь от меня. Ты что-то знаешь, но не говоришь...

Он уже и телеграмму ей показывал, и говорил, что там, по его мнению, скорее всего авария: может, машина сбила, может, мотоцикл...

Она его не слушала. Тихо, безголосо плакала и снова требовала ответа:

— Что там случилось?

В конце, уже перед Минеральными Водами, спросила как бы сама себя, что же теперь будет с матерью и Петькой: ведь они в доме остались одни. Мать не работает. Сестра с мужем давно живут отдельно, своим домом.

Сергей ничего не сказал.

Он не знал, как ее утешить. Не знал, надо ли утешать. На своем веку он уже повидал людского горя. Но до сих пор оно как-то больше крутилось вокруг него самого: смерть матери — картины этой смерти мучительной, от рака печени, похорон помимо его воли возникли сейчас перед глазами, — сиротство, интернат. Жалость, утешение — доселе это существовало только применительно к нему.

Но вот впервые горе разразилось рядом, вплотную. Вплотную и все же — рядом. И касается его настолько, насколько он сам ступит в его выжженный круг.

Сергей смотрел сбоку на Белку, гладил ее безжизненные руки, на которых от холода даже мельчайшие бесцветные волоски встали дыбом, и сердце его обливалось кровью. Глаза ее потухли: наледь, весенняя зелень — все растаяло, смешалось, обесцветилось, как кислотой, слезами. Губы, нос припухли, потеряли свое изящное упрямство. Голова у Белки была наглухо повязана черным старушечьим платком, отчего лицо постарело, обрезаюсь, на висках обнажились отцовские впадины.

Своего подходящего платка у Белки не нашлось. Она вяло копалась в чемодане, выбрасывала что-то, откладывала, надолго замирала, роняя в раскрытый старенький — отцовский командировочный! — чемоданчик частые тягучие слезы. А им надо было торопиться. Сергей понимал это и не знал, как к ней подступиться: так свежа еще в памяти была она мертвенно-бледная, с закатившимися глазами, бескостно опустившаяся на его подставленные руки. Выручила старуха. Вышла в другую комнату, порылась в сундуке, через минуту появилась с новым креповым платком в руках — несла его, прижимая к груди, как раскрывшуюся черную птицу. Старуха протянула платок Белке, черный и мягкий, Белка покрылась им. Осенила себя — смертью, ночью. И сразу постарела, построжела. Словно переступила какой-то рубеж. Перешла на другой, доселе не существовавший для нее берег...

Летели долго, с посадкой в Волгограде. В Минеральных Водах оказались только вечером. Бетонированная твердь, на которую они спустились, еще не отошла от дневного зноя, так и обдала их варом. И в этом отравленном, взрывоопасном дыхании большого аэродрома Сергей вдруг ясно расслышал робкий, но явственный запах чего-то родного, правда уже почти забытого. Хлеба. Хлебов — спелых, дошедших, обступивших с четырех сторон и аэродром и весь город. Бережно вел жену по горячему бетону (ее черный платок на склоненной голове был как траурный флаг: люди сочувственно замолкали и безмолвно расступались перед ними), а сам каким-то внутренним чутьем неотступно держал этот запах и правил на него.

Последний автобус на Буденновск уже ушел, и они поехали на железнодорожный вокзал.

Поезд отходил за полночь. В зале ожидания им уступили места, они сели. Не успели оглядеться, как к ним, переступая через чьи-то

вытянутые ноги, мешки, чемоданы, а то и через сморенных сном и сумятицей пассажиров, расположившихся за нехваткой лавок прямо на прохладном цементном полу, двинулся какой-то парень.

— Белка!

Сергей сразу же узнал этот голос, этот знакомый выкрик («Белка, домой!»): то был старший Белкин брат, он тоже добирался в Буденновск.

Белка, измученная дорогой, стиснутая с двух сторон, даже не смогла подняться ему навстречу. Брат нагнулся, обнял ее, сидящую, прижался головой к ее лицу, как будто не он, а она была старшей.

— Белка...

Она зарыдала громко, хрипло, покрывая невнятный ропот ночью вокзала, заставляя тревожно вскидываться спящих и настороженно озираться бодрствующих. Сергей встал, стоял рядом с ними. Белкин брат, все еще по-ребячьи вздрагивая, повернулся к нему. Они обнялись, как год назад на буденновском перроне.

Им не хотелось быть предметом всеобщего любопытства, да и духота была в зале, и они вывели Белку на улицу. Ходили по площади перед вокзалом — в воздухе посвежело, Белка зябко ежилась. Она опять плакала, опять спрашивала, теперь у брата, что там случилось. Он тоже, естественно, ничего не знал и тоже показывал ей под фонарем мятую телеграмму, точно такую, какую она уже не раз брала у Сергея, пытаясь вычитать, разглядеть то, чего в ней не было. Чтобы как-то отвлечь ее, брат рассказывал, как он летел до Минеральных Вод, как трудно сейчас с билетами на юг, говорил о Ленинграде. Обмолвился, что они с женой только что получили смотровой ордер на новую квартиру, будут выезжать из коммуналки. Видно было, что для него это событие долгожданное, чрезвычайное, даже в этой обстановке смолчать о нем он просто не мог. Он и говорил о нем другим, повеселевшим голосом и как будто бы извинялся за неуместность этого ненароком прорвавшегося жизнелюбия. Белка тоже забылась. Сказала, что отец был бы рад.

Потом они с братом вспомнили, как однажды, когда отец приехал на обед домой и оставил машину за воротами, братишка влез в кабину, включил мотор, скорость, и машина тронулась по улице. Остановить ее мальчишка не сумел: растерялся, все из головы вылетело. Только истошно вопил, вцепившись что было сил в руль набиравшего ход самосвала. На этот крик и выскочил отец, обедавший во дворе под вишней, и побежал, теряя чувяки, за машиной. Догнал ее — как раз у столба электропередачи, — вскочил на подножку, повернул и выдернул через приспущенное стекло ключ зажигания. А сам сел на подножку, нашарил «Беломор» в кармане, закурил, бледный, босой, растрепанный. Брата тоже как будто бы выключили: орать перестал, но по-прежнему сидел, приклеившись к рулю. Ждал. Так и сидели они — один внутри, в кабине, другой снаружи, — пока не подоспели к ним Белка и мать.

— Знаешь, как он говорил? — обернулась Белка к Сергею. — Живы будем — не помрем...

И разрыдалась пуще прежнего.

Надо было что-то делать. И Сергей и брат видели: надо что-то делать, ожидание изводит ее. Решено было попытаться нанять такси. Им повезло: первый же подвернувшийся таксист согласился за двадцать рублей отвезти их сейчас, ночью, в Буденновск.

Дорога покружила по Кавминводам, вырвалась в степь и пошла почти без поворотов, постепенно, полегоньку забирая к северо-востоку. Смутно освещенная их одинокими фарами, она словно летела впереди, и ночная «Волга» повторяла ее светящуюся траекторию. В машине было темно и тихо. Выдохшись, выговорившись, смолк на переднем сиденье Белкин брат. Прижавшись к Сергею, уместив голову на своем любимом месте — между его плечом и подбородком, — дремала Бел-

ка. Сергей боялся спугнуть ее нечаянный неглубокий сон, отпущенный как дар перед тем, что ей еще предстояло. Пусть поспит, пусть забудется. Пусть наберется сил.

...Весной, в день рождения, Белка подарила ему собрание сочинений Бунина. Он тогда уже знал его: среди немногих книг возил с собой потрепанный сборник издательства «Московский рабочий». Болел им. И вот проснулся рано утром, а на табуретке возле кровати, на крахмальной салфетке — Бунин, все девять томов. Белка лежала рядом и делала вид, что спит. Ребячливость, в общем-то. Но он был тронут.

В сущности, это был первый подарок в его жизни. Матери было не до подарков, прокормить бы, одеть-обуть... А сам он сколько ни силился разобрать дату своего рождения в собственной метрике, ничего не выходило: какой-то сельсоветский грамотей нарисовал такую замысловатую цифру, что она походила на все разом. То ему казалось, что родился он 7 мая, то 14-го. Только где-то в пятом классе Сергей дотумкал, что родился-то он 4-го. Вон и прописью, в кудряшечках и завитушечках: четвертаго. Понял, да что толку: моды у них на подарки не было. Подарки делались к 1 сентября независимо от дня рождения: «чирлистонка», пальто навыврост, с запасом, до пят, парусиновые полуботинки. Это тебе, черту, не для хутбола! Это тебе, отрошнику, до восьмого класса! А потом и поздно стало: до восьмого класса она и сама не дождала. Не додержалась...

У Серegiной радости в тот день рождения была еще одна причина. Не бог весть какая значительная, но приятная. Белка хоть и делала вид, что спит без задних ног, но ведь на самом-то деле проснулась раньше него. Во всяком случае, уже вставала. Первый раз: сколько они жили, Сергей всегда просыпался раньше. Встанет, чаю согреет, яичницу сварганит и лежит потом, дожидается ее. Читает — он и к сессии готовился по утрам. А она зарюет: спала по утрам как убитая. Просыпалась смешно. Глаза открывала медленно, осторожно, словно под водой. В подводном царстве — досматривать проплывающие перед нею видения. А глаза и сами зеленые-презеленые, особенно если солнышко в них с утра заглянет.

Поняв, что вновь проспала, схватывалась, садилась на кровати — ноги под себя, — взглядывала на него с лукавой виноватостью.

— Опять?

— Опять.

— И чай уже вскипятил?

— Вскипятил.

— И битый час дуешься?

— Не-а.

— Ну иди, я тебя поцелую.

Целовала, привлекая его, негнувшегося, теплыми, тоже как бы сонными руками, счастливо уверенная в своей полной власти над ним.

Нельзя сказать, чтобы его всерьез задевала такая девическая беззаботность. И все же приятно, когда о тебе беспокоятся, когда встают раньше тебя, когда тебе служат. Сам Сергей рос в доме без мужчины, но семейная жизнь, по его представлению, должна была бы крутиться вокруг него — несуществующего. С тех пор представление это не рассеялось, но высовываться с ним он как-то не решался. А тут Белка впервые потрала ему — тоже подарок.

Теперь он часто по утрам вместо учебников читал в постели Бунина. Благословенное время: тихо занимающийся на улице день, сирень под окном — в утренней рани ее обильные соцветья (сплошь пяти лепестков!) обдавали стекло, подсвечивали своими крупными прохладными брызгами.

В первом томе с обратной стороны обложки, там, где обычно де-

лают дарственные надписи, крупно и просто значилась ее собственноручная метка: «Белка».

Потом почему-то вспомнился Терентьев, странный рассказ, которым он провожал Сергея. Напутствовал. Подумалось: и с ним, пожалуй, ему уже никогда не свидеться. И Курунта, и «Ударный труд», и селькор Грошев, и его погибший сын Костя, и старушка Татьяна Ивановна, которая тоже пришла ему на память в этот час, со всем этим — расстаться...

Все-таки он был еще слишком молод и ему еще только предстояло понять и терентьевскую притчу о таланте и правде, и то, что человек ни с кем, в сущности, и ни с чем не расстается. Всех и вся несет, как река, в себе. До самого устья.

...Чем глубже в степь забиралась машина, тем настойчивее, чище — даже сигареты не могли перебить его — становился тот знакомый запах, который Сергей узнал, различил еще на аэродроме. Он и раньше, конечно, присущ был этой земле. Сергей в нем родился и вырос — сам как колосок, — но тогда почти не замечал его, как не замечают воздух. Привык. Потребовалась отлучка, потребовалось время, чтоб его ощутить. Узнать. Он витает, пожалуй, и над той землей, откуда он теперь возвращался. Но там он слабее. Поля там значительно меньше, мельче, иссечены перелесками, оврагами, деревеньками. Там просто нет бескрайних, таких, как здесь, просторов, на которых этот хлебный дух мог бы настояться до такой чистоты и силы. Да и хлеба там, в Курунте, еще не подошли, еще с прозеленью, с молоком, — здесь они зреют раньше... Сергей осторожно приспустил стекло со своей стороны, вдохнул поглубже, скосил глаза, пытаясь рассмотреть что-то за обочиной. Они ехали полем — эту дорогу Сергей хорошо знал, — но оно только угадывалось: чернота за обочиной была отягощенной, шевелящейся, ропщущей. Гудел, облетая машину, темный встречный ветер, забивался внутрь, незримо курчавился по краям стекла, дрожал и омывал его терпкой ночной прохладой. Он помогал ему — Сергей боялся заснуть в этой неистово мчащейся машине, в этом дрогнувшем замкнутом мире, в котором благодаря его, Серегину, плечу на миг, пусть призрачно, восстановилось утраченное равновесие.

Странное дело: это равновесие распространялось и на него. Спокойствие. Уверенность. В себе, в том, что он делал. В приобретениях и потерях. Как много вместил в себя этот день и этот час: он как будто бы враз почувствовал себя и наследником и ответчиком. Наследником — самых разных, по-разному вошедших в его жизнь людей, в числе которых был и тот почти незнакомый человек, что, спасая сына, смешно бежал когда-то по пыльной улице, что по-свойски сказал ему однажды «со свиданьем» и теперь ждал его — для последнего свиданья. Ответчиком — за Белку, которую беда окончательно, теперь уже всерьез, повенчала с ним, за благополучие этого тесного, несущегося в ночи мира. Жилья.

Сергей не видел, не различал колосья за окном. Но он хорошо знал: прежде чем выколоситься, пшеничный стебель долго растет, выходит в трубку. Растет коленцами, ступенями: он не бывает цельным, на нем всегда нащупаешь утолщения, суставы, узелки. В этой точке конец одной ступени и в ней же — начало следующей. Так и с этим днем и с этим часом: как много он связал воедино. Узел роста.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ



МАРК ЛИСЯНСКИЙ

Век

Суров двадцатый уходящий век,
В какие бы одежды ни рядился.
Я все-таки счастливый человек
Хотя бы потому, что в нем родился.
Суров двадцатый уходящий век!
Летела пуля смертного накала...
Я все-таки счастливый человек
Хотя бы потому, что миновала.
Суров двадцатый уходящий век,
Не занимать ни страсти и ни пыла.
Я все-таки счастливый человек
Хотя бы потому, что ты любила.

Кузнечик

В донской степи, в бою под Сталинградом,
Осенним днем в сорок втором году
Он появился и с бойцами рядом
Стоял в одной цепи, в одном ряду.
Любитель острых блюд — степных колючек,
С мохнатой, рыжей, гордой головой,
Он двигался громадою могучей
И украшал пейзаж передовой.
Шел под огнем невозмутимо, важно,
Сама отвага, ненависть сама.
Глаза сияли выпукло и влажно,
Вставали два горба как два холма.
Был не знаком ни с робостью, ни с ленью,
Хотя на марше обожал привал.
Жевал он жвачку по обыкновенью
И на фашистов яростно плевал,
За ним — непроходимые дороги,
Двугорбый воин выглядел орлом.
Выносливые жилистые ноги
Месили грязь под Брянском и Орлом.
Привык и к снегу и к болотам топким,
К разрывам мин, к налетам огневым.
Он был бесстрашным рыцарем для робких,
А для отважных — другом боевым.
Таскал он пушки, подвозил снаряды,
С походной кухней сквозь огонь спешил.
Был ранен первый раз под Сталинградом,
Под Минском два осколка получил.

Бойцы его Кузнечиком назвали —
 Так только близких ласково зовут,—
 Он к имени привык, хотя едва ли
 Похож был на кузнечика верблюду.
 Он заменял машину, лошадь, трактор,
 Тащил, работал, не жалея сил.
 Сам генерал Леонтий Гуртьев как-то
 Его фронтовиком провозгласил.
 Дошел до Кенигсберга в сорок пятом —
 До дня победы тридцать дней всего...
 Он девять раз был ранен, и солдаты
 Выхаживали девять раз его.
 Дул с моря ветер, мокрый, острый, колкий,
 Свистели пули, преграждая путь.
 Упала бомба в двух шагах... Осколки
 Кузнечикку насквозь пробили грудь.
 Он дрогнул. Ноги подобрал... Он грудью
 К земле приник. Последний тут привал.
 Утихло море, и молчали люди,
 Сраженные печалью наповал.
 Воронка стала для него могилой,
 И трижды грянул залп, и мы пошли,
 Объединенные великой силой,
 И трижды эхо грянуло вдали.
 Он был в сраженьях с нами повсеместно,
 Мы вместе с ним входили в города.
 Кузнечик стал легендой, а известно —
 Легенды остаются навсегда.

Дымково

Как за Вяткой за рекою,
 Да на дымковской земле
 Месят глину не рукою,
 А мешалкою в котле.
 Месят глину неустанно,
 Прибавляя к ней песок.
 Эта глина — как сметана
 И как солнечный желток.
 Ветерком ее обдуют,
 Зелье дивное вольют.
 А еще над ней колдуют,
 А еще над ней поют.
 Глина мягкая, как тесто,
 Можно шанежки лепить.

Безусловно глине лестно
 Русской сказкою прослыть.
 Стать свистулькой трехголовой,
 Стать оранжевым коньком,
 И матрешкою бедовой,
 И задирой петушком.
 Стать красоткой водоносной,
 В желтой кофточке идти
 С поперечною полоской
 На возвышенной груди.
 Чтобы с двух сторон повисли
 Ведро в утреннем луче
 На ажурном коромысле
 И на девичьем плече.

НИКОЛАЙ ГОДИНА

* * *

Чеканщик пригвоздил устало
 Луну с ущербом на виду.
 Такие штуки из металла
 Сегодня больше чем в ходу.
 Стряхнул с передника опилки.
 Опять, таинственны и пылки,
 Зажглись созвездия вдали

Как специально для земли,
 Иначе бы о чем извечном
 Вот эти двое без конца
 Могли шептаться каждый
 вечер
 У коммунального крыльца?

* * *

Отвыкли руки от металла,
 Душа отвыкнуть не смогла.
 И память знает, как мотала
 Нас долго по пустыне мгла.
 Не ржавчину сдираю, а кожу
 Песок не хуже, чем наждак.

Я обещал не раз, что брошу,
 И бросил этот ад за так.
 Заездил не одну машину,
 Награды есть и полный чин.
 Но первую свою морщину
 За Каракумы получил.

* * *

Не рвался в доспехи борца
 И не лез ради славы из кожи.
 Просто жил как умел до конца,
 А умел так, как надо, похоже.
 Были грамоты и ордена,
 Даже выговор был с занесеньем.

От и до вся Россия видна
 С этой точки под небом осенним.
 Плачет ива, струится река,
 Кружит птица и все в том же роде.
 Оглянусь, а звезда, как рука,
 Вроде машет, напутствует вроде.

АРКАДИЙ СОЛОВЬЕВ

* * *

Бежит Россия за окошком:
 за хатой вслед дворец мелькнет,
 то всхлипнет тульская гармошка,
 а то транзистор запоет.
 Мелькнет щербатая церквушка,
 и телебашня вслед за ней,

и кособокая избушка
 как страж неубранных полей...
 Вдруг к старине нахлынет
 жалость,
 но сердце вещее поймет:
 со старым новое смешалось
 и в равновесии живет.

Синь

У России нашей
 много синевы:
 синий ветер пляшет
 в синеве травы,
 росы подсинили
 синь лесных цветов,
 первопуток синий
 через синь снегов,
 синие просторы,
 синие леса,

синие озера,
 синие глаза.
 У России нашей
 много синевы:
 в синей дымке — пашни,
 в синеве — холмы,
 синий свет лучистый —
 синь над головой.
 Дышим самой чистой
 Светлой синевой!

ВИКТОР СМАГИН

Возвращение

Возвращаясь домой издалека,
 Обнимая близких и знакомых,
 Не спешите поднимать бокал:
 Поклонитесь матери и дому.
 Здесь начало нашего пути,
 Здесь когда-то мы ушли из детства.
 Но нельзя от матери уйти
 И от дома никуда не деться.

Дом родимый — наша колыбель,
 Мы стоим у отчего порога,
 Боль на сердце, на висках метель.
 Позади суровая дорога...
 Всю Россию исходили мы
 И вернулись к очагу родному,
 Не скрывая слез перед людьми,
 Кланяемся матери и дому.

ЯН ВАССЕРМАН**Весна в Петропавловске**

На Камчатке прорвалась трава,
Солнце краткий свой час пламенеет,
И бушует вокруг синева
От морей, от небес и скамеек.
Безоглядно сиянье весны
В ее самом начальном истоке,
Ей, конечно, до боли тесны
Географией данные сроки.
Ее воздух и горек и сух
На камчатском обрывистом берегу,
Но летит одуванчиков пух,
Чтоб она не забыла о снеге.

На берегу...

На берегу Амурского залива,
Где брызги гальку желтую дробят,
Под белым солнцем парусили гривы
Веселых тонконогих жеребят.
Некошеные, пахли медом травы,
Белели пряди ковыля и льна,
И были жеребятя кучерявы,
А рядом кучерявилась волна.
Сбежавшие из бухты и сарая,
Не знавшие ни пут, ни якорей,
Здесь прыгали и фыркали, играя,
Ребенок луга и дитя морей.

ВАЛЕНТИН РЕЗНИК**Заводские березы**

В сухом дыму электросварки,	Шумят резной листвою весело,
В тумане газов выхлопных	Манят под сумрачный навес,
Березы, словно санитарки,	И воробьи с утра до вечера
Работают без выходных.	К ним проявляют интерес.
Жизнь, что и говорить, не сахар,	Им красоваться в санатории,
Тут можно многое простить,	Шуметь бы в рощице сквозной.
Но как они себя, однако,	Я бы их вывел с территории,
Стараются не уронить.	Да не пропустят в проходной.

* * *

Я обретаю мужественный навык
К разлукам, поражениям, утратам,
Я постепенно постигаю нравы,
Присущие мужчинам и солдатам:
Не гнаться в горе и в беде не киснуть,
Раскаянием душу не травить
И все не упоминать отчизну,
В которой мне и после смерти жить.

СЕРГЕЙ АГАЛЬЦОВ

* * *

Поэт! Страшись пустого слова.
 Не торопи его на свет.
 Оно не всколыхнет другого:
 В нём ни любви, ни гнева нет.

Но если замысел твой вызрел,
 Прошел сквозь горы пустыльги,
 Тогда рождаются, как выстрел,
 Под сердце бьющие стихи!

Утро

Середина далекого мая,
 Петуха разбудившего крик.
 Утро! Голову я поднимаю:
 Вижу стол, а на нем черновик.

Все как прежде: привычно
 и просто
 Пробуждается к жизни земля.

На окне занавески раздвину
 Загорелую легкой рукой
 И увижу родную картину:
 Водокачка над тихой рекой,

Просыпаются люди: кто медлит,
 Кто торопится как на пожар.
 И уже наливается медью
 Выходящего солнышка шар.

Грузовик проезжает по мосту,
 Стадо в гору плетется, пыля...

Звон веселый летит с лесопилки,
 И петух голосит средь двора.
 Что задумался, юноша пылкий?
 И тебе за работу пора!

Птичий щебет

Запах с детства любимой земли,
 Под ногою то глина, то щебень.
 Возникая в полях, издали
 Наплывал на меня птичий щебет.

Я вошел в него с грустью в глазах,
 Вспомнил давние мысли и детство.
 Хорошо, что мне в этих полях
 Птичий щебет достался в наследство.

Он звенел над моей головой
 На границе побед и паденья
 То, казалось, как зов — роковой,
 То, казалось, как песнь — возрожденья.

Что мне чудилось в сладком чаду?
 Я познаю все выси и бездны.
 Я вернусь, в птичий щебет войду
 И уже в нем навеки исчезну.

ЮРИЙ ГОВЕРДОВСКИЙ

Память

Не знаю павших всех, но их
 Отчизна помнит поименно:
 В селеньях и в домах родных
 Живут, как их живыми помнит.

Но — память, время... — чья же власть
 Сильней, чем от войны мы дальше?

...Я помню и сейчас, что нас
 На двадцать миллионов больше.

ЮРИЙ МИХАЙЛИК

* * *

В великом словаре, в двенадцати томах,
в двенадцати домах с готическим порталом,—
и то, что много лет прописано в умах,
и то, что навсегда из памяти пропало.
Витийствуй, друг-пророк, шаманствуй, говори,
раскачивай себя, замороженный ритмом.
Когда умолкнешь ты, в родные словари
вернутся все слова в порядке алфавитном.
У них свои права, свои причины слез,
своя пора любви, и свой предел печалей,
и вера, что любой (кто в шутку, кто всерьез)
и значит на земле и нечто означает.
А есть еще один невыстроенный дом,
не изданный еще, не высланный по почте,—
тринадцатый, большой, и не последний, том.
Там будут жить слова, родившиеся после...

* * *

Рифмуется все что угодно,
любая из рифм хороша,
пока молода и свободна,
легка и беспечна душа;
не знает она, не гадает,
какие придут времена,

сама по себе совпадает
с дыханием мира она;
наивным шальным озареньем
усвоив неведомый ритм,
не знает законов паренья,
а просто парит и парит...

ГЕННАДИЙ КАЛАШНИКОВ

Куст малины

Куст малины — как город у моря:
черепичные кровли, сады...
Постоим, и послышатся вскоре
нам глухие удары воды.
Там сейчас занимается утро,
покрывается охрой карниз,
самодельных суденышек утлых
узкий парус в заливе повис.
И воды голубое свеченье,
и отчетливый воздух так пуст...
На какие еще превращенья
ты способен, малиновый куст?

И зачем эта тяга к сравнениям,
разве сам по себе ты не прав?
На поляне, в траве по колени,
мощно-зелен, тяжело-кудряв.
В глубине твоей прячется птица,
ее голос беспечен и чист,
и под ветром слегка
серебрится
вверх изнанкой повернутый лист.
Уколовший и душу и пальцы,
куст малины невиданно густ.
И пора уже двигаться дальше —
не пускает малиновый куст.

* * *

Опять о деревьях, опять...
О памяти сладкие муки.
Березы пресветлая прядь,
осины дрожащие руки.
На плане втором, не у дел,
едва удостоены взглядом:
цветут или лист облетел —
деревья всегда были рядом.
Почувствуешь легкий укол,
и вспомнится все, что забыто,—

то осень из детства пришел,
раскинула ветви ракита.
Шершавые складки коры —
как будто застывшие лица
людей, что ушли до поры,
чтоб годы спустя возвратиться.
И чудится времени лик,
когда над твоей головою
в Коломенском дуб шевелит
листвою восьмивековую.

ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР

★

УНИВЕРМАГ *

Роман

Сазонова казалась замкнутой. Ни с кем особенно не дружила, но и не враждовала. Не принимала участия в интригах и сплетнях. С годами такие отношения стали привычными и никого не обижали... Шурочка не была замужем, но ребенок у нее был, мальчик. Иногда приводила его на работу—не с кем было оставить. И мальчик тихо сидел в углу большой комнаты, двигая рычажки старого враля — арифмометра. Лисовский уводил мальчика в кабинет, давал бумагу, карандаши. И тот часами рисовал, подпевая тихим голоском. Лисовский отправлялся в буфет, накупал всяких вкусных вещей и угощал мальчика... Бывало, Михаил Януарьевич и сам просил Шурочку привести мальчика.

— Послушайте, Шурочка... Что-то давно вы не приводили своего сорванца.

— Карантина в садике нет,— улыбнулась Сазонова.

— Вы не против, если я как-нибудь возьму его? На выходной? В парке погуляем, белок покормим.

Сазонова вскинула большие карие глаза. Вот глаза у нее действительно красивые. Ресницы, правда короткие, но густые, как щеточки, запоминались своей необычностью. У нее открытое лицо, которое принято называть простым, но Лисовский редко встречал женщину такой привлекательности. Ей и тридцати еще нет...

— Зачем вам это, Михаил Януарьевич? — тихо произнесла Сазонова.

Лисовский смутился.

— Все равно гуляю. Вместе веселее. На такси приеду, он порадуется.

— Это уж точно,— согласилась Сазонова.— Как хотите, я не против.

— Договорились! — воскликнул Лисовский.— У меня есть книжки детские. Презентую. Уникальные, я вам доложу, книжки.

— Для него и «Колобок» уникальный. Он же еще не читает.

Сазонова опустила голову к разложенным на столе отчетам.

— Какие новости, Шурочка? Как там лимиты поживают?

Сазонова знала, что имеет в виду главный бухгалтер. Она подобрала со стола бумаги и протянула Лисовскому.

— А своими словами? — попросил он.

— Пока застопорилось.— Сазонова положила бумаги.— Но разрыв держится... Думаю провести контрольную проверку в обувном... Звонили из банка, собираются прислать инспекцию. Удивительно, как они чувствуют, что у нас растет остаток. Телепатия, что ли?

— Проведете проверку — сообщите мне.

Лисовский направился было к своему кабинету, но задержался.

— Шурочка, давно хочу задать вам один вопрос... Почему вы не

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 8, 9 с. г.

сразу сообщили о данных годового отчета, когда обнаружили несоответствие?.. Вы, вероятно, уже забыли?

Сазонова погладила волосы, плотнее запахнула шаль.

— Почему же, помню... Из-за брата. Я ему рассказала. Он очень расстроился. Потом сказал мне: «Оставь, выбрось из головы. У них свои дела. Влезешь между — раздавят. И тебя и меня»... Он же у меня битый. И не раз... А когда я узнала, что он собирается на юбилей директора, не выдержала. Мерзко все, гадко. Я и подала вам докладную.

Сазонова подтянула платок к горлу, пальцы ее рук побелели, но лицо оставалось таким же спокойным.

— Вы же, Михаил Януарьевич, ничего не предприняли.— В голосе ее звучал тяжелый укор.— Прошло столько времени. И молчите. Бойтесь сор выносить из избы?

Лисовский чувствовал, как подкатывает кашель, и пытался подавить его, унять спазмы. Наконец справился.

— Это вы, Шурочка, написали письмо в управление? Да?

Сазонова уронила лицо в ладони и тихонечко кивнула.

«Ну точно Негочка Незванова»,— опять подумал Лисовский.

— Но он ничего не знает, клянусь вам,— произнесла она еле слышно.

— Кто?

— Паша. Мой брат. Он запретил мне лезть в эти дела. Еще тогда, когда к нам домой пришел Фиртич.

— Домой?!

— Да. Сказал, что не помнит обиды. Но дал понять, что не потерпит никакого разглашения.

— И не потерпит.

— Но почему?! И вы! Вы ведь честный человек. Вы для меня эталон... Если не вы, то кто же?

— Все гораздо сложнее, Шурочка. Я век прожил. Казалось бы, ничем уже меня не удивить... Но есть ситуации, когда нельзя ничего решить однозначно. Человек может казаться подлецом, всем казаться... Но... Если хватит у него воли дотянуть до цели...

Раздался долгий звонок директорской линии связи. Лисовский подошел к селектору, нажал клавишу.

— Михаил Януарьевич, вы обедали? — раздался голос Фиртича.

«Начинается!» — подумал Лисовский и солгал:

— Да, обедал.

— Вот и хорошо. Мне надо поговорить с вами... В пять меня ждут в швейном объединении. Сейчас три. Погуляем с полчаса. Это очень важно... Жду у проходной через пятнадцать минут. Пожалуйста.

Они шли, касаясь друг друга рукавами. Но эта близость была кажущейся. На самом деле они сейчас находились далеко друг от друга. На разных полушариях планеты...

Разговор, из-за которого состоялась прогулка, уже произошел. Фиртич рассказал все. С самого начала. С того момента, как связался с Кузнецовым. На каких условиях. Все, все... Именно эта откровенность и развела их так далеко друг от друга.

Разговор для Фиртича был трудным — Лисовский почти все время молчал. И это молчание обескураживало его... Повторять вновь, что все поступки его не имели корысти, что он, Фиртич, заботился о деле, о деле, о деле! И не его вина, что обстоятельства оборачиваются против него. Что он не только замазает свое имя — он бросит тень на порядочных людей. Вокруг всей этой истории можно много чего нагородить. Кузнецов сделает это, он слов на ветер не бросает. И надо ж было так случиться, что именно бухгалтер «Олимпа» явится человеком, от которого будет зависеть его судьба и судьба Универмага...

— Полагаю, вы читали «Песню про купца Калашникова»? — неожиданно прервал свое молчание Лисовский.

Фиртич машинально кивнул.

— А помните, чем закончилась та история?

— Приехала «неотложка» — и героя-купца увезли с сердечным приступом в реанимацию? — нахмурился Фиртич. — Впрочем, не помню, еще в школе изучал. Столько лет прошло.

— А я помню. За честь жены вступился удалой купец. А грозный царь приказал торговому работнику голову отрубить, Константин Петрович. И, заметьте, торжественно отрубить. Поучительная история!

— Весьма, — согласился Фиртич. — Мы знакомы с вами много лет. И я полагал, что знаю вас... Признаться, я хотел бы иметь главным бухгалтером человека менее бойцовских качеств. Но, видно, не судьба... И еще... Я больше не стану давить на вас с этим Кузнецовым. Поступайте, как велит совесть. — И, поддавшись мгновенному порыву, Фиртич добавил горячо: — Я не представляю свою работу без вас. Как бы там ни сложилась моя судьба... — Фиртич замолчал, споткнувшись о последнюю фразу. Недостойно, недостойно... Можно расценить как скрытую попытку возобновить давление на главного бухгалтера. Лучше помолчать.

Лисовский запрокинул лицо. По небу спешили облака — белые, легкие. Слово ключья мыльной пены...

— Божевка бреется, — произнес Лисовский и улыбнулся. — Знаете, Константин Петрович, пожалуй, я отстранюсь от экспертизы.

— Как отстранитесь? — растерялся Фиртич.

— Отстранюсь. Возьму самоотвод. По состоянию здоровья... Этого добивался ваш протез?

— Послушайте, Михаил Януарьевич...

Фиртич сейчас чувствовал себя человеком, которого огонь загнал на самый край пропасти. Ни туда и ни сюда.. Он ссутулился и вобрал голову в плечи.

— Вы же хотели, чтобы я вышел из игры. И прихватил козыри этого подлеца против вас, — спокойно произнес Лисовский.

Фиртич молчал. Спазмы перехватывали горло. Он шумно втягивал носом воздух, стараясь подавить предательское щекотание под набухшими веками.

— Я очень сожалею, старина, — тихо выговорил он. — Мне очень жаль, что все так сложилось. Я понимаю, чего это вам стоит...

Фиртич сейчас презирал себя. Он чувствовал, как лицо его складывается в невольную жалкую гримасу. И еще пуще презирал себя за это.

Лисовский носком ботинка поддел серый снежный холмик. И, не протрившись, отошел. Как-то боком, словно прячась от самого себя, прижимая руки к большому телу.

Фиртич смотрел ему вслед. Да, он совсем не знает своего главного бухгалтера Михаила Януарьевича Лисовского. Возможно, он вообще мало кого знает. Скользит мимо чьих-то судеб... А знает ли он себя?

Директору швейного объединения Волгину было лет сорок. Но голос звучал по-мальчишески тонко. И конец каждой фразы — как всплеск...

— Понимаете, Константин Петрович! — звонко выговаривал Волгин. — Беда — в инерции хозяйственного мышления. Вот в чем корень зла, верно? Что вы молчите?

— Я что-то не в духе, Волгин, — проговорил Фиртич.

В кабинет вошла женщина с бумагами. Увидев постороннего, она извинилась и хотела выйти. Но Волгин уже выхватил из нагрудного кармана ручку. Женщина, еще раз извинившись, приблизилась к столу. Волгин перелистал бумаги, присвистнул. Тень недовольства пробежала по его остроносому лицу. Он вздохнул и принялся быстро и

брезгливо расписываться. По тому, как смотрела на Волгина женщина, Фиртич определил, что директора здесь уважают...

— Подписываю себе приговор,— вздохнул Волгин.— Который год бьюсь, не могу снять с производства устаревшие фасоны. Сплошные возвраты... А новые модели стоят без движения. И какие модели!

«Одни и те же разговоры,— подумал Фиртич.— Барахтаемся в словах, точно потерпевшие кораблекрушение в открытом море».

Волгин убрал ручку. Женщина собрала бумаги и вышла, аккуратно прикрыв дверь.

— Итак, если я правильно понял вашего коммерческого, вы хотите в порядке эксперимента выплачивать моим контролерам премию за хорошую работу?

— Приблизительно так. Но не я персонально, а управление торговли,— ответил Фиртич.— И не только премию, а вообще зарплату. Ваши контролеры должны быть нашими агентами, нашими представителями.

— Идея интересная... А что прикажете делать мне?

— Возьмите на содержание контрольный аппарат ваших поставщиков. Текстильщиков, скажем. А те в свою очередь своих... Замкнутый круг, понимаете? Цикл! Материальная заинтересованность всех, кто стоит на страже контроля. Единственный рычаг... Фантазия?

— Почему же.

— Надо экспериментировать, Волгин. Любое дело живет инициативой. Это закон! Иначе дело обречено... Надо составить письмо-предложение в соответствующие организации. Поехать, пробить...

— Константин Петрович... Извините. Мы опять хитрим. Придумываем, ловим собственный хвост.

— Конечно, ничего не делать всегда легче. Спокойней... Неприятности у меня, брат.

— Серьезные?

— Как вам сказать. Могут быть серьезными.

— А вы плюньте. Не убили же вы человека. И не расхитили, надеюсь, деньги. Вот и плюньте... Мало мы видели всяких неприятностей? Хочешь как лучше, а получается...— Волгин махнул рукой.— Включаю в производство модные разработки, а фонд поощрения мне выделяют на круг, как говорится. А ведь новый ассортимент требует и новой технологии, и лучших материалов, и нестандартной фурнитуры. Сколько хлопот! А тебе по шее — план заваливаешь, работать не можешь. Премий лишают, люди увольняются. Слово план узаконивает плохое качество продукции. Парадокс! — Волгин поерзал, устраиваясь поудобней.— Водим сами себя за нос... Ввели новый показатель: норматив чистой продукции. Прекрасно! Делай хорошую вещь — получишь больше прибыли. Но вместе с тем все старые показатели — реализация, поставки, вал — сохранились. И более того, главенствуют... Вы, наверно, знаете анекдот? Психу внушили, что он больше не чайник. Псих согласился: «Я-то не чайник, понял. Но другие-то не знают. И снова будут меня кипятить!»

Фиртич не улыбнулся. Он смотрел на серьезное остроносое лицо директора объединения. И тому было не до улыбок...

— Вот и тянется за нами слава. И обидней всего: порой с таким трудом выпускаем хороший товар, а покупатель прочтет название фирмы и нос воротит.

— Почему же? В «Олимпе» ваша продукция идет неплохо.

— То в «Олимпе»! К вам из других городов едут. Люди хоть и не верят в бога, но некоторое искушение испытывают. Надеются, что в «Олимпе» их не обманут.

Волгин вышел из-за стола и энергично зашагал по кабинету. Пиджак вольно болтался на его острых костлявых плечах.

— Совсем вы усохли на работе,— заметил Фиртич.

— Вот еще! Я в отца пошел. Он в игольное ушко мог пролезть. До девяноста лет протянул. Кость тонкая, но крепкая.

— Ну, коль до девяноста, то вы своим лучшим моделям дадите ход, уверяю вас.

— Дай-то бог, — вздохнул Волгин. — Хотите, я вам кое-что покажу? Они пошли в цех.

В просторных помещениях, наполненных устойчивым гулом, работали женщины. Они были самого разного возраста, но все казались одногодками. Им можно было одновременно дать и восемнадцать и пятьдесят лет — цех стирал различия, тут все казалось одинаковым... Рукава, манжеты, карманы передвигались от участка к участку, задерживаясь в уверенно снующих руках работниц. Женщины то рошились. Они скоро пойдут по домам, только вот разберутся сначала с этой материей, что неотвратимым потоком сползает с тяжелого сытого рулона. А у стены уже ждут своей очереди точно такие же...

— Это ваша работа! — Волгин ткнул пальцем в грязно-коричневый рулон. — Торговля нам подсурошила такую ткань. О чем вы думали на ярмарке, когда заключали договор с текстильщиками?! Какой идиот выложит за такое пальто четыреста рублей?

— Вероятно, лимиты пропадали, вот торговля и подобрала что валялось... А вы-то, швейники, куда смотрели?

— Торговля гарантировала реализацию. Мы пикнуть не могли. Только и оговорили сроки поставки. — Волгин вздохнул. — Вот этим и пользуются.

Они вошли в просторный демонстрационный зал. Волгин остановился рядом с двумя манекенами в демисезонных пальто. Одно, несколько мешковатое, не привлекало внимания, зато другое выглядело нарядно — с оригинальной фурнитурой, узорной строчкой...

— Так вот. Первое — канадское. Раскупают прямо с колес. Спекулянты продают втридорога: фирма! — воскликнул Волгин. — Второе — наше. Отгрузили в несколько городов. Никто не берет... Ну? Что скажете? Послать бы их в Канаду — с рукавами оторвут...

— В «Олимпе» они были?

— Пока нет.

— И хорошо. Мы их обхитрим.

— Не понял.

— Обхитрим, говорю, покупателя. — Фиртич лукаво посмотрел на Волгина. — Получим небольшую партию пальто. Я возьму для себя, для друзей. Выделим за хорошую работу сотрудникам. Пальто привлечет внимание. Но поставки прекратим. Спекулянты взвинтят цену. Примем новую партию, покрупнее. Распределим по учреждениям. Ограниченно. И только через месяца три начнем регулярный завоз. Никакой рекламы!

Волгин задумался.

— А как быть с банком? Пальто не простое, сложный крой...

— Договоритесь. Неужели вам нечем перекрыть три месяца? В конце концов уступите банку дюжину-другую. Возникнет ажиотаж в городе — и банк клюнет, там тоже люди работают. Но не промахнитесь. Посулите пальто тем, от кого зависит кредит.

— Кому посулить, я и сам знаю, — промямлил Волгин. Помолчал. Втянул воздух длинным, гоголевским носом. — Обман. Крутеж. Не пойдет.

— Какой же обман, Волгин? — искренне обиделся Фиртич. — Мы что им подсовываем? Одноглазую кобылу? Отличное пальто! Лучше канадского в сто раз. И дешевле...

Они возвращались длинным коридором, заставленным ящиками с искусственным мехом. Остановились у автомата с газированной водой.

— Интересно быть хитрецом, а, Константин Петрович? — Волгин налил в стакан газировку. — Что-то в этом есть. Живое.

— Почему же хитрецом? Мы, Волгин, к сожалению, не научились быть коммерсантами. Это особый талант. Вдохновение, азарт, творчество. У нас путают слово «коммерсант» со словом «жулик»... Но мы ведь с вами, Волгин, не жулики, верно?

Интонация, проскользнувшая в этой последней фразе, кольнула Волгина. Он взгляделся в крепкий профиль Фиртича, хотел что-то сказать, но промолчал.

27

Платон Иванович Сорокин, бывший коммерческий директор обувной фабрики, всю свою долгую жизнь работал, если не считать пяти лет вынужденного отдыха где-то в Мордовии. И в работе он был удачлив. Но в последней операции произошла промашка. А напомнила о той промашке не кто иная, как услада его сиротских дней городская спекулянтка Светлана Бельская.

— Хоть не заходи в обувную секцию, — пожаловалась она, раскладывая по тарелкам мясо. — Ужас чем они торгуют!

Признаться, в сообщении Светланы никакой новости для Платона Ивановича не было. Он и сам заходил в обувной отдел Универмага. Наблюдал, как идет распродажа продукции фабрики. Пробежал у секции несколько дней, вызывая озабоченность у персонала. Невзирая на репутацию Универмага, обувь раскупалась туго. За все время он порадовался только раз. Крепкие парни, прожаренные степным солнцем, не заглядывая в коробки, накидали в мешок пар двадцать разного размера, расплатились и канули в распахнутых дверях Универмага...

Встревожил Платона Ивановича и неожиданный звонок Рудиной. Заведующая обувным отделом кричала в трубку, что знай, какую обувь свалит на Универмаг фабрика, она ни за что не выжалась бы в эту авантюру. Столько лет жила без бриллиантов, прожила бы еще. Платон Иванович популярно объяснил ей, что юридически в действиях заведующей криминала нет. Обычное должностное упущение. На худой конец отделается выговором. Или денежным вычетом в размере оклада. А разве можно сравнить ее месячный оклад, даже с премией, со стоимостью бриллиантов? Подобное уточнение внесло некоторое успокоение в душу Стеллы Георгиевны. Но Платон Иванович понимал, что это до поры...

Накальвая на вилку ломтик соленого огурца, Платон Иванович прокручивал в памяти свой разговор со Стеллой Георгиевной. Неожиданно огурец сорвался с вилки и шлепнулся на скатерть, что вызвало негодование Светланы.

— И еще кису носишь, — упрекнула она. — Стыдно.

— Я, Светланка, до семнадцатого года жил в деревне. Привык к соленым огурцам. Не меняться же мне на восьмом десятке. Подумай сама.

Светлана перестала есть. Кажется, Платоша обиделся... Ей вспомнилось, с каким рвением Платоша провел кампанию по ликвидации последствий ее привода в милицию. Бегал, нанимал адвоката. И все обошлось, ее даже в суд не вызвали. Все было спущено на тормозах за отсутствием прямых доказательств спекуляции. А о драке с цыганкой речь вообще не зашла.

— Не сердись, Платоша, я так, сдуру.

Светлана потянулась к Платону Ивановичу, пригладила его шелковистую седьму. Волосы у него красивые. Если мужчина не лысеет, то волосы с годами становятся красивыми, как бы усталыми. Светлана давно это заметила...

— Помнишь, Платоша... когда ты ухаживал за мной... ты говорил: «Главный подарок впереди». Помнишь? — Светлана умолкла, виновато глядя на Платона Ивановича. «Что я говорю, господи! Ну что я за дура такая! Ведь подумает, что вымогаю... А я ведь ничего не хочу».

Светлана подняла худые плечи, скрестив на груди руки.

В конце концов, и она ему немало сделала. Вытащила из коммуналки. Убирает, стирает. Вон какой чистенький, благоухающий. Правда, он и раньше был таким же. Но сейчас Светлана все относилась на свой счет... Да и что она такого сказала? Подумаешь!

Платон Иванович доел суп. Аккуратно промокнул губы салфеткой, поднялся, шагнул к Светлане и обнял ее.

— Главный подарок, говоришь? Мы с тобой сейчас вместе. Разве это не подарок? И для тебя и для меня.

Столько было мудрости в простых словах, столько главного именно для нее, Светланы Бельской, мятой-перемятой в этой жизни... Значит, он все знал о ней. И не торопился, чувствовал, что никуда ей от него не уйти, что он один для нее настоящая опора. При чем тут разница в возрасте, когда жизнь ее оказалась такой короткой! Да была ли она вообще? Может, только начинается... Дело-то не в том, как долго ты живешь, а чем живешь. И нечего питать иллюзии. Они с Платошей, в сущности, ровесники, одногодки... Светлане вдруг стало невыносимо жаль себя. Слезы затуманили ее маленькие серые глаза. И вместе с тем злость против этого старика зажглась в ее сердце. Неправедная злость, она это понимала. Но ничего не могла поделать. Злость эта боролась сейчас в ней с состраданием к себе, к Платону Ивановичу...

— Если ты умрешь, Платон... Жаль мне тебя будет. И себя... Ты хороший человек. Ты мой единственный...

Светлана говорила медленно, с паузами. Глухим голосом, таким непривычным для нее. Новым. И чужим.

Платон Иванович знал, что она говорит правду.

Створки лифта расползлись, чтобы выпустить в холл гостиницы представителей «Скандинавской торгово-промышленной корпорации».

Фиртич шагнул навстречу. Оба скандинава вели себя так, словно не было месячной разлуки, словно они расстались только вчера.

— О... мистер Тубасофф?! — воскликнул Лейф Раун.

— Мистер Фиртич, — поправил директор Универмага, удивляясь тому, что его можно спутать с унылым представителем Инторга.

— О... Прошу исфинить, мистер Фиртич! Работ, работ...

«Возможно, мы все для них на одно лицо, — подумал Фиртич. — Ведь путаю же я их... Коренастый, с усами — это, кажется, коммерческий директор?»

Скандинавы держали под мышками толстые альбомы. А у технаря в руках был еще и вороненый стереомагнитофон размером с портфель.

«Черт возьми, где бродит этот Тубасофф?» — думал Фиртич, не зная, что делать с иноземными гостями. Представитель Инторга и Мезенцева давно должны были быть здесь. Дневной спектакль в опере начинался в двенадцать. Десять минут на дорогу... Где их носит?!

Коротая время, представители корпорации и директор Универмага периодически обменивались самыми любезными улыбками. Лейф Раун что-то произнес через плечо, и технический эксперт протянул Фиртичу магнитофон. Строгие буквы на корпусе уведомляли, что магнитофон является изделием знаменитой японской фирмы. И наверняка потянет сотен на десять, не меньше.

Фиртич вопросительно взглянул на коммерческого. Тот продолжал улыбаться, прижимая к груди свободную от альбомов руку.

— Презент! — воскликнул Кнуд Шёберг. — Презент...

— По-да-рок, — по складам произнес бело-розовый Лейф Раун.

Фиртич растерялся. Он попытался вернуть обратно тяжелую машину.

— Спасибо. У меня есть магнитофон!

— Не можно! — загомонил Раун.— Подарок. Ваш магазин от нащ фирма.

А хитрый Кнуд скоренько сунул руку в карман, хоть вешай магнитофон на его курносый нос... Фиртич чувствовал себя в затруднительном положении. Конечно, не первый раз директор Универмага «Олимп» встречался с зарубежными гостями. Были и подарки. И он дарил. Коньяк, сигареты, перстни-поделки. Всякую мелочь. Но с магнитофоном известные своей расчетливостью скандинавы застали Фиртича врасплох... Выходит, и он должен чем-то одарить корпорацию от Универмага, желательно равноценно. Ох эти международные связи, мир-дружба...

В эту минуту качнулась стеклянная дверь, пропуская в вестибюль Дубасова и Мезенцеву.

— О... Мистер Тубасофф! — завопили одновременно оба представителя корпорации явно с большим облегчением. И поочередно поцеловали руку Мезенцевой.

Дубасов что-то залопотал по-английски, вызывая живейший интерес компаньонов. Пользуясь ситуацией, Фиртич проговорил, чуть наклонясь к Мезенцевой:

— Где «арчисоны»?

— В театре,— шепотом ответила Мезенцева.— Во втором ряду, сидят рядышком. Среди пионеров и школьников.

— Не могли приехать раньше?

— Пробка у моста,— шептала Мезенцева.— А что?

— Все прошло гладко?

— Подозрительно гладко,— ответила Мезенцева.

Вся группа направилась к выходу из гостиницы, к автомобилю. Фиртич незаметно отгеснил в сторону представителя Инторга.

— Послушайте, Тубасофф... Они всучили мне магнитофон. Что делать?

— Брать,— коротко ответил инторговец.

— А что мне им подарить? Авторучку?

— Ничего. Вы работодатель. Так принято. Не от себя дарят, от фирмы. Такой заказ, как ваш, им не часто перепадает.

— Ладно,— вздохнул Фиртич.— Напою их до веселых снов от себя. И закончу эту дипломатию.

А позже, в автомобиле, придерживая на коленях тяжелый подарок, Фиртич выговаривал сам себе: «Заегозили, Константин Петрович. Нет в вас размаха, деловой этики. Современный коммерсант, а смутились... Размах есть, денег нет.— Фиртич хотел успокоиться, повеселеть. Но чувство ущербности продолжало его гнести. Сознание глупого своего испуга... Боялся проявить самостоятельность. Поспешил за советом к Дубасову.— Почему? Демонстрировал лояльность? Сами-то себе вы уж можете признаться, Константин Петрович... И этот Тубасофф ничуть не удивился вопросу. Воспринял как должное. Само собой разумеющееся. Совет свой счел категоричным, не подлежащим обсуждению... А ведь неплохой парень. Да и я неплохой парень. И все мы неплохие парни. А вот занимаемся самоедством... Таков порядок вещей? Нет, нет! Беспорядок! Человек должен отвечать за себя, быть внутренне свободным. От этого выиграет общество, государство. Отсутствие уверенности, самостоятельности, так же как и ложь, перво-наперво невыгодно экономически. Не говоря уж о моральной стороне, человеческом достоинстве».

Фиртич угрюмо молчал. Одна мысль тянула за собой другую...

Дубасов вежливо обращал внимание гостей на исторические и архитектурные памятники города. Скандинавы дружно вертели головами, старательно тарасили глаза...

Переговоры с фирмой «Арчисон и компания» проходили три дня в помещении Инторга и должны закончиться завтра. Но уже было

ясно, что эта фирма могла предложить Универмагу. Поэтому у Фиртича возникла идея о тактическом ходе: прервать переговоры на два дня и за это время выяснить предложения конкурентов «арчисонов» — скандинавской корпорации «Стрик», представители которой прибыли вчера. А взвесив предложения тех и других, играть на понижение стоимости сделки. И не медлить. Обеим фирмам узнать, что «Олимп» ведет двойную игру — дело времени.

Узнав о том, что глава группы Фиртич вдруг заболел, «арчисоны» переглянулись. Но не осуждающе. Дело есть дело. Интересно, кто же их конкурент? Не исключено, что переводчик «арчисонов», вместо того чтобы быть на школьном утреннике, куда их всех упрятала Меженцева, сейчас носом роет в коридорах Инторга, чтобы выяснить название конкурирующей фирмы. Или хотя бы страны... Поэтому было решено провести встречу со «Стриком» в самом Универмаге, где Фиртич не появлялся уже три дня...

Первым, кого он встретил на лестнице, был главный бухгалтер. Заметив директора, Лисовский молча кивнул. Вообще в последние дни они как-то особенно здоровались. Суховато, словно каждый из них боялся уронить себя в глазах другого. Но в сегодняшнем приветствии главбуха скользнуло нечто более значительное.

— Что-то случилось, Михаил Януарьевич? — обернулся Фиртич.

— Вы уже при исполнении? — уклончиво ответил Лисовский.

— Я всегда при исполнении.

— Нам есть о чем поговорить. — Лисовский оглядел благоухающих расположением представителей фирмы «Стрик». — Когда вы освободитесь?

— Если очень срочно, я готов выслушать вас немедленно.

— Когда вы освободитесь? — упрямо повторил Лисовский.

Дурное предчувствие шевельнулось в душе Фиртича...

В узком, залитом электрическим светом коридоре грузчица толкала железную тележку, доверху заставленную коробками из-под обуви. Лейф Раун что-то шепнул своему коллеге. Тот согласно кивнул.

Фиртич вопросительно взглянул на Дубасова, крупные стеариновые уши которого напоминали локаторы не только формой.

— Что-то насчет электрокаров, — ответил Дубасов на немой вопрос Фиртича.

«Эти парни думают, что напали на золотую жилу, — угрюмо подумал Фиртич. — Нет, мальчики, больше восьмисот тысяч инвалютных я вам не дам...» Чувство недовольства собой, что возникло там, в автомобиле, все еще не оставляло Фиртича. И точно желая хоть как-нибудь отделаться от него, Фиртич поманил пальцем Дубасова.

— Послушайте, эксперт... А почему «арчисоны» не подарили мне магнитофон? — развязно спросил Фиртич.

Дубасов разгадал состояние директора «Олимпа».

— Появился аппетит?

— Именно. Где их торговая этика?

— Они уверены в себе. Мощная компания с огромным оборотом. Куда вы денетесь? Отделаются и авторучкой. Если бы вы «заболели» до переговоров с ними, подарили бы и «мерседес». Уверю вас. Вы опоздали на три дня.

Яркий луч проектора высвечивает на экране цветные изображения: горки, прилавки, вешала, контейнеры, механизмы для уборки зала, переносные лесенки, лифты, светильники...

Кнуд Шёберг негромко комментировал технические данные каждой единицы предмета и его стоимость. С самого начала было ясно, что любая единица «Стрика» дешевле арчисоновской. Эстетически они выгляде-

— Учтите, — шепнул Дубасов Фиртичу, — цены эти явно завыше-

ны в расчете на подорожание материалов. Торгуйтесь. Смело срежьте процентов пять—десять. К базовой цене вернуться всегда можно...

Фиртич и так понимал: кто же будет ориентироваться на сегодняшний день? Глупо. Все везде дорожает...

Высота оборудования позволяла сохранить прекрасный обзор зала. А искусно сделанные макеты оживляли интерьер — кухня выглядела уютно, спальня тоже. Вот прихожая чем-то не понравилась.

Фиртич попросил задержать изображение. Вскоре причина выяснилась: скандинавы взяли за основу более просторную прихожую, которая совсем недавно вошла в серию.

— Надо ориентироваться на будущее,— заступалась Мезенцева.

— Из маленькой сложить большую проще, чем наоборот,— возражал Индурский.

Фиртич воздержался с решением, сделал пометку.

Потом вызвали сомнения светильники. Фиртич напомнил, что надо подчеркивать достоинства залов бывшего Конногвардейского братства. И светильники должны быть в том же стиле, им соответствовать. Нужно нечто вроде старинных газовых фонарей.

Лейф Раун беспрекословно записывал пожелания...

Фиртич пересаживался из кресла в кресло, курил, делал пометки. Что-то оговаривал, одобрял, протестовал... Подсчитал, что лифты перетянут основную часть кредита. От них надо отказываться. «Арчисоны» предлагали лифты иной системы, наружной. Дешевле... Но стеклянная труба на фоне лепки XIX века?! Нет, от лифтов, как ни жаль, придется отказаться. Закажем в Гипролифте на свои рубли, инвалюту побережем для других дел...

Скандинавы обстоятельно отвечали на вопросы. Задавали свои.

— Чем вам не нравится секция верхней одежды? — перевел Дубасов слова Лейфа Рауна.

— Как и трикотажная секция,— обобщил Фиртич.— Не предусмотрено распределение одежды по размерам. У вас продают все размеры в одном месте. У нас делят.

— Почему? — удивился Кнуд Шёберг.

— Отчасти из-за материальной ответственности. Отчасти для удобства — большие потоки покупателей.

Дубасов перевел одной короткой фразой. Фиртич усмехнулся: наверняка представитель Инторга опустил первую часть ответа.

— Слишком долго объяснять, что такое материальная ответственность,— объяснил Дубасов.

В кабинете засмеялись. Все, кроме Фиртича.

— Плян, плян,— догадливо подхватили оба скандинава.

— Именно план,— степенно согласился Индурский, поддерживая на должной серьезности атмосферу торгового сотрудничества.— Ах-тунг! Гешефт! — черпнул он из арсенала своей далекой военной молодости.

— О, гешефт! — поддержали по-немецки оба коммерсанта и прижали руки к груди. Они чувствовали, что их проект устраивает заказчиков.

Тонкие губы Фиртича сжались в узкую злую полоску. Он потянулся к селектору, нажал на клавишу.

— Франц Федорович... Зайдите ко мне.

Все, кто находился в кабинете, почувствовали перемену в настроении директора. Лейф Раун что-то написал в блокноте, передал Шёбергу. Тот прочел, пожал плечами...

В кабинет вошел начальник планового отдела Франц Федорович Корш. Белобрысый, маленький, чем-то удивительно похожий на гостей.

Скандинавы радостно закивали. Посыпались приветствия. Корш

отвечал с удовольствием и длинно. «Вот его сразу узнали,— подумал Фиртич.— Не то что меня». И проговорил доброжелательно:

— Садитесь, Франц Федорович. Любуйтесь.

Корш полез за очками, не совсем еще понимая, для чего директор оторвал его от работы.

Фиртич наклонился к Дубасову и произнес негромко:

— Я требую точного и буквального перевода. Для всех участников совещания. Не смейте меня опекать. Или я попрошу вас удалиться, будет переводить Корш.

Впалые щеки Дубасова покрылись темными пятнами. Но Фиртич уже смотрел на экран, по которому чередой плыли пылесосы для уборки зала, шелкопечатная машина, демонстрационные доски, мусорные бачки...

Наконец выключили проектор и откинули шторы. Дневной свет радостно овладел старым кабинетом, только тусклые зеркала чернели рамами под лепным потолком... Гости укладывали слайды. Их руки, поросшие светлым пушком, ловко сновали в бумагах. Одинаковые оливковые манжеты поблескивали запонками. Вот запонки у них были разные.

Дубасов забился в угол дивана и курил, изредка сбрасывая пепел в латунную напольную пепельницу. Голубые глаза Мезенцевой довольно сияли под припухлыми веками. Фиртич вернулся к столу, тронул придвинутые к нему альбомы.

— Господа...— начал он и умолк, дожидаясь, когда Дубасов погасит сигарету и вернется на свое место.— Лично мне нравится ваш проект. Правда, не все. Неудачно решен узел расчета в обувной секции...

Лейф Раун вежливо, но твердо что-то произнес.

— Мы сделали так, как предлагал ваш эскиз,— бесстрастно перевел Дубасов.

— Значит, мы напахали в эскизе,— улыбнулся Фиртич.

Дубасов замялся, бормоча слово «напахали». И Корш растерялся.

— Обидно,— улыбнулся Фиртич.— Очень точное слово... В целом ваши предложения с технической стороны заслуживают внимания. Что касается экономической, мы ознакомимся с каталогами и завтра продолжим переговоры,— Фиртич сделал паузу.— Хочу предупредить: у вас есть конкуренты. И довольно серьезные.

Раун и Шёберг торопливо закивали белобрысыми головами:

— Йес! «Арчисон энд компани»! Йес! Карашо-о-о!

Фиртич и не пытался скрыть изумление.

— Как? Вы знали об этом?!

— Йес! Да! Карашо-о-о! — Раун раскинул маленькие руки.— Оччень большой компани.— И затараторил через переводчика: — Это слишком могучий конкурент, чтобы мы его боялись. Ваши денежные возможности их не очень интересуют. Вы им нужны как реклама. В торговле с вашей страной есть огромные перспективы. Но необходима реклама. Однако для вас фирма «Арчисон» невыгодна. Они слишком берегут свой престиж, чтобы уступить. Престиж — та же реклама, господа... Мы же фирма небольшая. Можем пойти и на разумный компромисс.

— Вы знаете сумму, которой мы располагаем? — вырвалось у Фиртича.

— Приблизительно,— ответил Раун.— Думаю, что не более миллиона... Мы видели ваш Универмаг. Знаем ваш товароборот, валютный курс... Мы специалисты, господа. Это наша профессия.— С каждой фразой голос тихого скандинава крепчал, выражая твердость.— Мы готовы вам уступить. Но в разумных пределах. Иначе мы прогорим, вылетим в трубу.— И Раун весело засмеялся, всплеснув руками.— Пуф! На воздух...

Фиртич сунул руки в карманы, откинулся на спинку кресла и захохотал, поглядывая на хмурого Дубасова.

— Вы мне нравитесь, господа.

— В торговле хитрость не нужна,— произнес Шёберг.— В торговле нужна честность. Это выгодно.

— А хитрая честность? — поправил Фиртич.

— О, йес! Карашо-о-о! — воскликнули оба коммерсанта, выслушав перевод.— Бизнес! Это есть бизнес!

Фиртич встал, подошел к шкафу, достал коньяк, коробку конфет, рюмки. Надо было достойно завершить сегодняшнюю встречу. Скандинавы действительно ему нравились... Прощание тянулось с четверть часа.

Проводив гостей, Фиртич подсел к селектору, но не успел нажать клавишу, как в кабинет вернулся Дубасов, прикрыл за собой дверь и привалился к ней спиной. Снял очки.

— Я хотел вам искренне помочь, Константин Петрович,— произнес Дубасов печальным голосом.— И переводил все существенное.

Нет, не понял Дубасов, что он, Фиртич, пытался найти себя, отстоять свое достоинство. И лично против Дубасова он гнева не таил...

— В таких переводах, Саша, все существенно. Каждое слово.

Дубасов смутился. Но слишком сильна была обида.

— Я старался, выкладывался... Привыкли, что люди ради вас стараются... Конечно, кто я? Чиновник.

Поза Фиртича уже выражала нетерпение, палец постукивал по клавише селектора с надписью «бух.».

Представитель Инторга приоткрыл дверь и скользнул в щель, словно его потянули за рукав...

Из-под заданных штанин Лисовского выглядывали голубые кальсоны... Фиртич отвел глаза от главного бухгалтера. Он ненавидел сейчас Лисовского, ненавидел себя...

Телефон взорвался уже в третий раз, а Фиртич все не брал трубку. Он чувствовал, что звонят из горкома по этому же вопросу.

Фиртич сделал усилие и поднес к уху трубку. И узнал голос заведующего отделом торговли горкома Лукина, горячего молодого человека, бывшего секретаря парткома Экономического института. Лукин звонил довольно часто. И ничего не просил достать. Что само по себе настораживало почти всех директоров универмагов.

— Мне сообщили из банка,— произнес Лукин, как всегда официально представаясь,— что у вас ЧП, ваш Универмаг неплатежеспособен. Когда обнаружили завышение остатков?

— Месяц назад,— пробурчал Фиртич.

— И весь месяц не пытались растовариться?

— Ждали санкции банка,— мрачно пошутил Фиртич.

— Дождались.— Лукин был серьезен.— Так что же ваш главный бухгалтер, знаменитый на весь мир, не провел выборочную проверку? Не обнаружил, что товар лежит без движения?

— Мой знаменитый на весь мир бухгалтер все обнаружил вовремя,— ответил Фиртич.— Он дважды делал переучет.

— Так что же?

— Я не давал разрешения. Надо было набрать денег к плану. Предстоит реконструкция, неизвестно, как сложится товароборот... Бухгалтер тут ни при чем.

— Обувь? — спросил Лукин.

— Обувь. Вторая фабрика,— подтвердил Фиртич.

— Дождались. Сели на картотеку,— продолжал Лукин.— Не могли вернуть товар на фабрику?

— Большие транспортные расходы. Еще и разбраковка. Себе дороже. Рискнули. Надеялись продать, «Олимп» все же. Но застопорилось.— Приходилось снова все брать на себя. В конце концов и он

подписывал документы, что подсовывала ему Рудина. Не только Индурский.

Фиртич услышал, как на том конце чиркнула спичка, Лукин прикуривал.

— Лучший универмаг прошлого года. И арестован банковский счет. Не в состоянии погасить задолженность... Придется создать комиссию.

— Повремените.— Голос Фиртича дрогнул. Ему не хотелось просить, ставить себя в зависимость.— Прижать меня вы всегда успеваете.

— Конечно,— не терпел Лукин.— Занялись реставрацией. Гостей принимаете зарубежных. Вот и забыли обязанности... Как бы все не поломалось, товарищ Фиртич. До свидания.

Лисовский сидел не двигаясь. И дышал напряженно, упрятав тяжелую голову в плечи. Дряблые веки наполнили на крупные глаза. Губы побелели... Лисовский испугался?! Фиртича пронзила эта мысль. Лисовский, который не боялся ни бога, ни черта... Конечно, целая серия неприятностей! На нем еще висит нелегкий груз: сокрытие истинных результатов прошлого года, ложные сведения и премия практически за провал плана. А дело с Кузнецовым? Какие цепи приковали Лисовского к директору Универмага? Почему так предан? Или только петушился, а на самом деле — боялся?

Фиртичу стало жаль Лисовского. Сам смелый человек, Фиртич чувствовал смелых людей. Неужели на этот раз интуиция его подвела? А может быть, Лисовский вовсе и не боится? И выглядит таким несчастным совсем по другой причине?

— Банк уже прекратил платежи нашим поставщикам? — спросил он.

— Вчера,— помедлив, ответил Лисовский.— Нескольким оптовым базам, швейному объединению...

— Со швейниками я договарюсь. Поверят. И с Мануйловым попробую... Иначе нам не погасить долги за чертову шарашку, Вторую фабрику. А им и горя мало, свое получили. За брак.

— Не за брак, за неходовую обувь.— Лисовский был бухгалтер и уважал точные формулировки.— Был бы явный брак, и разговаривать с фабрикой не стали. А неходовку надо расхлебывать, коль набрали.

Фиртич не знал, чем успокоить главного бухгалтера. Каждое слово могло обернуться обидой...

— Эх, Михаил Януарьевич... Хотя бы вчера мне сообщили о санкциях банка. Перед их звонком в горком.

— Вчера? — Лисовский выкатил из-под век голубые глаза.— Вчера,— повторил он и, тяжело ворочаясь, вылез из кресла. Сделал несколько шагов, ухватил дверную ручку.— Вчера вы были заняты не менее важным делом.

Лисовский выпшел.

И Фиртич все понял... Да, именно из-за него, Фиртича, из-за его затей старик жертвовал всем: добрым именем, профессиональной совестью. Честью, наконец... Ради его затей! Этот медлительный человек с остатками рыжеватых волос верил в него больше всех. Больше Мезенцевой, Индурского. Те ничем не рисковали. В случае провала падал бы только он, Фиртич. Один! А падает сейчас его главбух. Ведь формально только Лисовский оказался виновным в создавшейся ситуации. Он обязан был настоять, сообщить во все инстанции о нарушении закона директором...

Фиртич обхватил ладонями шею, сомкнув их в замок на затылке... Вторая обувная... Рудина...

Таким директора видели не часто.

Фиртич шел чуть сутулясь, склонив голову. Погасшая сигарета

торчала в углу сжатых губ. Ярость, казалось, состарила его. Бледность, пробившаяся сквозь природную смуглость кожи, проявила ранние морщины. Рубец, след давней автомобильной катастрофы, выглядел уродливо и свежо...

Фиртич вышел из Универмага как был, в одном костюме. Он будто и не ощущал резкой сырости весеннего дня. Миновал короткий переулочек и свернул на Театральную площадь, куда выходили ангарные ворота склада.

Зрелище, представшее взору, подавило его своей безысходностью. Мягкие, давленные коробки с обувью тянулись к вокзальному своду из бурого кирпича. В узких проходах пахло мокрым картоном...

Мысль о том, что можно распродать эти гигантские залежи, казалась бредовой.

Заведующий складом — широкий мужчина в грязно-синем халате, натянутом на ватник, — жарко дышал в затылок директора.

— Вот... Так, значит... Сказано принять, я и принял, — испуганно бормотал он.

Фиртич резко обернулся. Заведующий с налета толкнул директора мягким животом и ошалело отпрянул в сторону.

— Что ж ты, стервец, а?! — сорвался Фиртич.

— Что я, что я? — лепетал заведующий складом. — Сами же подписывали счета... — Он подошел к столу и достал толстую пачку накладных, журнал оприходования.

На счетах стояла подпись Фиртича. Или Индурского.

— Каюсь, Константин Петрович, — тянул завскладом, — не заглядывал я особенно в накладные. Сколько привозили, столько и принимал. А заглянул как-то — и сам за голову схватился. Раза в два больше разрешенного принял...

Хитрец. Хотел частичным признанием вины облегчить свою участь, раз дело выплыло наружу. И не придраться: всего лишь грубая служебная промашка. В злом умысле не обвинишь. Наверняка свою корысть имел, каналья. Но как докажешь...

Ватное, отупляющее равнодушие вдруг охватило Фиртича.

Такого чувства он давно не испытывал. Возможно, с тех пор, как выбежала из ельника на заброшенную лесную дорогу девушка в красном платье. Фиртич тогда успел повернуть руль, и машина врезалась в дерево... Пожалуй, именно такое равнодушие и отупение охватило его в больнице, когда узнал, что с девочкой ничего не случилось. Реакция на страшную, но уже вчерашнюю весть...

— Как же вы так, Дятлов? — Фиртич потрогал рубец. — Как же нам работать? Если люди готовы все предать, все продать... Что же осталось-то в вас, Дятлов?

Заведующий складом моргал ресницами. Человек недалекий, он все же уловил растерянность в голосе директора.

— А что я? Что я-то? — осмелел заведующий. — Сами-то куда смотрите... Рудина-то от вас бумаги приносила...

Но Фиртич его уже не слышал...

Длинный прямой коридор упирался в дверь обувного отдела. Облезлая эта дверь скрывала овальное помещение, разделенное на две части. Меньшую занимала заведующая Стелла Георгиевна Рудина. В большей размещались товароведы и вечно толкался народ: кладовщики, экспедиторы, транспортный люд. Нередко встречались личности, не имеющие никакого отношения к отделу: директора магазинов и аптек, косметички, железнодорожные кассиры, представители общепита и прочая бытовая «знать». Здесь, в бывшей гостиной бывшего Конногвардейского общества, они чувствовали себя как дома. Нередко клиенты приносили с собой всякие деликатесы и распивали кофе вместе с товароведом. Как эти три дамы, живой вес которых

на круг был не менее четырех центнеров. Компанию им составляли три товароведа. В стареньких халатах, в одинаковых глухих свитерах. Товароведы нервничали, поглядывали на часы. Прислушивались...

— Стелле все можно, а нас на пайке держит,— произнесла старший товаровед. И добавила, глядя на одну из дам: — Три дня за тебя просила, цени!

Толстуха передернула широкими, точно подоконник, плечами. В знак некоторой несправедливости слов. Игра-то идет не в одни ворота...

Наконец дверь растворилась, и появилась Наталья-кладовщица в обнимку с тремя плоскими коробками.

— Ну даешь! Рожала ты их, что ли? — воскликнули облегченно товароведы.— Вот-вот Стелла вернется с обеда.

— А что, Стелла не знает? — замерла кладовщица.

— Да знает! Только что ей в голову взбрыкнет... Меряйте, девки!

Толстухи резво сбросили свою родную обувь и приняли из рук кладовщицы серебристо-белые сапожки на высоком каблучке. Сапожки крутили лебжьими шеями, сопротивляясь коротким толстым ногам. Словно их топтали, а не мерили...

— Что они там, на ходулях ходят?! Шкилеты несчастные. Мучайся из-за них,— шептала брюнетка, склонив к полу розовый затылок.

— Вам, подружки, две пары надо на один заход,— проворчала кладовщица.— Лопнет!

— Откупим! — коротко ответила за всех брюнетка.

— Все! Майке отдам, пусть носит, двоещица,— выдохлась блондинка.— Инфаркт получишь, к бесу... Забираю!

— Дома дождю,— сдалась брюнетка.— И не такие растягивала.

Дамы полезли за деньгами. Кладовщица за сдачей. Сверх тут не давали. Главное, связи. Сверх они с других возьмут, а тут — я тебе, ты мне. И все! Копейка в копейку. Деньги кладовщица пробьет через кассу секции. Все по закону, а выгода на обе стороны падает.

Кладовщица принялась заворачивать коробки. Но не успела — на пороге появилась Стелла Георгиевна Рудина... Товароведы казались спокойными, только у одной лицо пошло пятнами — молодая еще.

— Почему посторонние в отделе? — проговорила Рудина.

— Вы ведь обещали, Стелла Георгиевна,— жалобно протянула старший товаровед.— Месяц у вас просила.

Рудина вспомнила. И верно, обещала подкинуть что-нибудь сотрудницам для укрепления престижа...

Рудина скрылась в кабинете, хлопнув дверью. Все дружно показали двери язык.

Дамы укутались в одинаковые кожаные пальто, нахлобучили шапки.

— «Посторонние», — обидчиво передразнила брюнетка, запихивая коробку в баул.— Ей бы меня в свои записать. В масле б катались.

— Рангом не вышли,— усмехнулась старший товаровед.— У нее директора толкают. А вы кто? Сыр-масло... А пиво она не пьет.

— У каждого свой клиент,— согласилась блондинка.

— Пиво ноне водитель водой разбавляет, гад. Пока везет,— вне-сла ясность третья дама. Она, видимо, имела отношение к пиву.

Подпихивая друг друга, дамы двинулись к выходу, словно выносили коричневый рояль. И столкнулись на пороге с Фиртичем. Решив, что проник очередной проситель, захохотали.

— Мужчина, вы чей клиент? Начальницы? — бойко проговорила брюнетка и осеклась, увидев опрокинутые лица товароведов.

Фиртич редко навещался в отдел. И еще с такой физиономией. Казалось, даже уши у него побелели.

Дамы уперлись друг в друга спинами, образовав живой кожаный мяч.

— Три грации,— прошипел Фиртич.— Что у вас здесь, филиал секции? — Он как-то особенно посмотрел на выглянувшую из-за двери Рудину.

В этом взоре Рудина прочла нечто более серьезное, чем недовольство присутствием в отделе блатников.

— Я их в первый раз вижу.— Рудина отступила в глубь кабинета.

— У вас прекрасное самообладание, Стелла Георгиевна.— Фиртич шагнул вслед за ней, плотно прикрыв за собою дверь.— У вас прекрасное самообладание,— повторил Фиртич.— Садитесь. Надо поговорить.

Рудина села, опершись о подлокотник и подперев кулаком красивое увядающее лицо, пряча подбородок. Зеленый платок атласно обтянул круглые плечи. Она не знала причины визита директора. Но холодок догадки уже коснулся ее легким ознобом.

— Я жду, Стелла Георгиевна,— проговорил Фиртич.— Расскажите, как вам удалось так подвести Универмаг.

Тень легла на ухоженное лицо Рудиной. Мешки под глазами набухли, потяжелели. На лбу собрались морщины, губы посерели, кожа под подбородком обвисла. Она старела. И чувствовала это физически, как можно чувствовать жару или холод... Нет, она уже не молчала, она отвечала своему директору. Что брала обувь из боязни штрафов за невыборку фондов, что была уверена в продаже обуви, что допустила слабость, не устояла перед просьбами руководства фабрики о завозе большого количества товара. «Олимп» есть «Олимп», и она надеялась, что все будет в порядке, скоро сезон, а на складах мало сезонной обуви — весенней и летней...

Фиртич чувствовал, что она лжет, хотя напрямую ее уличить нельзя. Все можно отнести за счет служебной оплошности. Фактов нет! Нет фактов! Да и Рудина сама сейчас почти искренне верила в то, что происшедшее — следствие какого-то абстрактного греха. Промашки, если угодно.

Но постепенно голос Рудиной терял упругость, слова блекли от беспрестанного повторения. Точно хлопья снега, вяло падающие на давно занесенный и уже бесформенный предмет...

Рудина подумала о том, что все ей здесь надоело. И если пронесет, немедленно уволится и уедет к мужу. Должно пронести! Криминала с ее стороны никакого нет, она ничем не рисковала, вступая в сделку со старичком Платоном Ивановичем. Кто докажет, что тут злой умысел? Кто?!

— Когда-то я хотел вас уволить.— Фиртич умолк, пытаясь справиться с гневом. Его разум еще подавлял бешеные, идущие изнутри нервные толчки. Разум приказывал ему уйти, остыть, вернуться позже к этому разговору...

В глубоком колодце служебного двора разгружались два трайлера и автобус. Но завтра во дворе станет просторней — банк наверняка оповестит поставщиков о неплатежеспособности «Олимпа». Придется скрестить по сусекам, чтобы как-то выбраться из пропасти, погасить задолженность. Скопление товаров наблюдалось во многих отделах: перед сезоном накапливали продукцию, забивали склады. Но Вторая обувная одним ударом отбросила универмаг далеко за черту дозволенного. «Олимп» впервые стал банкротом! В директорство Фиртича. И когда? Перед самой реконструкцией, которая расценивалась как факт особого доверия к репутации Универмага...

Ярость овладевала Фиртичем. И он ничего не мог с собой поделаться. Сколько было срывов и неприятностей на пути к тому, что он считал делом совести, своим гражданским и профессиональным долгом! Сколько унижений стерпел! И все летит к черту из-за глупости этой женщины... А может быть, из-за корысти? Но как докажешь?

— Вот что, Стелла Георгиевна... всю продукцию Второй обувной

фабрики разбраковать и вернуть обратно. Всю! Транспортные расходы переложим на фабрику. Через арбитраж. И на ваш отдел. От продавцов до заведующей. Вот так.

Рудина выпятила подбородок и прикусила губу мелкими зубами. Это был самый наихудший вариант для фабрики. В нее вгрызутся инспекторы и ревизоры. Особенно после такого ЧП. А там выплывут махинации и Платона Ивановича и тех, кто стоит за ним... Да, это был наихудший вариант! И вряд ли скандал обойдет стороной Рудину...

Стелла Георгиевна смотрела на Фиртича потяжелевшими глазами. От ее поведения сейчас зависело многое. Надо что-то сделать, что-то предпринять, пока решение Фиртича еще не обрело силу приказа. Пока он здесь, в этом кабинете. Еще мгновение — и Фиртич переступит порог...

Рудина вырвала себя из кресла и загородила Фиртичу дорогу.

— Отмените это решение, Константин Петрович, прошу вас.

Фиртич с изумлением поднял брови. Что за наглость?!

— Прошу вас. Отмените решение. Так будет лучше. И для вас.—

Рудина перевела дыхание.— И для вас тоже, поверьте!

Лоб Фиртича полоснули две ломаные морщины.

— Вы не святой. Вы грешный, как и все. Даже больше всех. Почему же вы так жестоки? Себе вы простили, себе вы все прощаете.

— На что вы намекаете? — У Фиртича побелели губы.

От ищущего взгляда Рудиной не ускользнуло, что директор смутился. И в ее воспаленной голове возникла отчаянная мысль. Чем она обернется, Рудина не представляла.

— Вы не безгрешны, Константин Петрович, я это знаю. Сазонов вас при всех обвинил. А вы оставили его на работе. Не захотели сор из избы выносить? Но поверьте, люди со Второй фабрики разыщут концы.

— Вы что, угрожаете мне?! — На ползущем по щеке Фиртича рубце высветились метки старых швов.

— Угрожаю! — Рудина усмехнулась. С видом человека, который знает больше, чем говорит.— Нет, предупреждаю... И никакой реконструкцией вы не прикроете своих грехов, Константин Петрович. Обещаю вам! Мне терять нечего. И тем людям тоже, поверьте...

Фиртич смотрел в ее ненавидящие глаза. Значит, вправду повязана Рудина с людьми со Второй фабрики. За тридцать сребреников... Бешенство душило его, стучало в висках. Он едва сдерживал себя.

— Я повторяю: всю... Всю продукцию разбраковать и вернуть обратно.— Фиртич говорил это так, словно бил — наотмашь, с оттяжкой, с удовольствием.

И от каждого слова голова Рудиной дергалась, как от удара. Она бессильно привалилась к стене. Предметы теряли свои очертания, расплывались, словно погружаясь в воду.

Осторожно, будто опасаясь расплескать злость, Фиртич открыл дверь и вышел из кабинета.

Дома Фиртич любил работать на кухне. Привычка сохранилась с той поры, когда они жили в однокомнатной квартире.

Кухня, оклеенная серыми обоями, отличалась от комнат только тем, что здесь стояла газовая плита да шкаф с холодильником... Елене тоже нравилось посиживать на кухне. У нее имелся свой уголок, где стояла швейная машина. И гостей нередко принимали на кухне, конечно наиболее близких.

Вот и сегодня Фиртич, приехав домой с Мезенцевой, расположился на кухне. Надо было в спокойной обстановке обсудить завершение переговоров со скандинавами. Елены дома не было. Фиртич и Мезенцева просидели за работой два часа... Фиртич нередко ловил себя на

том, что мысли его уходят в сторону. К тому, что увидел на складе. К тому, что произошло в кабинете Рудиной.

— Вы чем-то встревожены, Константин Петрович? — спросила Мезенцева.

Фиртич не ответил... Скрепя сердце они сократили номенклатуру скандинавов на семнадцать позиций, отыграв более ста тысяч инвалютных рублей. Пришлось отказаться от дорогого залоборочного агрегата, от двух видов контейнеров... Мезенцева спешила. В девять вечера ей предстояло встретиться с «арчисонами». Она еще не знала, чем их займет. Вероятней всего, посидит где-нибудь в ресторане.

— Только осторожней, Клавдия Алексеевна. Чего доброго, напоретесь на скандинавов,— предупредил Фиртич.

После ухода Мезенцевой Фиртич вернулся на кухню. И сразу же почувствовал голод. В последний раз он ел еще до совещания. Потом стало не до еды... Он зажег газ и поставил чайник.

На подоконнике сиротливо лежала раскрытая книга. Очки Елены с круглыми модными стеклами колко мерцали в канавке разворота. Фиртичу казалось, что очки с неммым укором следят за ним. Какое счастье, что Елены нет сейчас дома, какое счастье! Она сразу бы все почувствовала. И, признаваясь ей в своих неудачах, он почувствовал бы себя во сто крат несчастней.

Он любил жену. Поэтому не имел права ронять себя в ее глазах. А казалось — столько лет вместе, пора бы и не замечать друг друга... Они познакомились у подруги Елены. Подруга, дочь директора магазина Хозторга, у которого он работал товароведом, сама имела виды на Фиртича. И была уверена в успехе. В их мире принято устраивать браки с людьми своего круга...

«Послушай! — говорил ее отец. — Ты, Константин, меня знаешь, я человек сильный. Я дам тебе магазин. Любой. В системе Хозторга. А это золотое дно, ты понимаешь... Зачем тебе та девчонка, кто у нее отец? Инженеришка! Ты головастый парень. А любовь? Там видно будет. Женишься, осмотришься... Возьми меня: женился на дочери своего шефа, теперь сижу в его магазине. И жалею лишь о том, что мне дана только одна жизнь...»

Фиртич был вынужден уйти из Хозторга. Иначе он поплатился бы за свою строптивость...

С тех пор прошло двадцать с лишним лет. И Фиртич ни на минуту не раскаивался в своем выборе: Елена была его совестью, а это самое глубокое, что связывает мужчину и женщину.

В окно сыпануло снегом. Глухо заурчало где-то вверху, и через секунду громыхнул в водосточной трубе запоздалый снежный обвал... Пар с шумом вырывался из узкого носика чайника. Фиртич выключил газ. Стало тихо...

Он не мог дольше находиться в помещении, не хватало воздуха.

31

Абжур висел над столом бордовым парашютом, приспустив косяцы бахромы. Прозрачная тень его красноватыми мазками ложилась на строгие золоченые корешки мудрых книг.

Фиртич погладил ладонью холодный шершавый ледерин изданий «Академии». Многих названий он даже и не слышал, хотя памятью обладал отменной.

— Вы все это прочли? — спрятался он за иронический тон.

— Не все. Но большую часть. Я читаю быстро,— ответил Лисовский.

Тепло, которое накачивало после очередного укола инсулина, уже уходило, оставляя в теле обманчивую легкость. Лисовский любил это состояние. Часы, которые отделяли его от следующего при-

стуга слабости и тошноты, считал самыми счастливыми часами. И радовался жизни. Вот и сейчас он сидел за столом и улыбался.

Фиртич никогда раньше не был у Лисовского. И что его привело сегодня? Вроде вышел просто погулять, успокоить нервы...

Весна прокралась в город и, не в силах больше таиться, распрямила затекшее молодое тело. В глухой темноте улиц шумели голые деревья под напором упругого ветра, струился слабый запах мимозы.

Фиртич чувствовал, как холодок пробирается под куртку, заглядывает в рукава. Он прибавил шагу. Так получилось, что когда он поравнялся с остановкой, к ней подошел и трамвай. Фиртич, не отдавая отчета, вскочил в вагон. С шипением захлопнулись двери. «Ладно,— решил он,— сойду на следующей остановке». Погруженный в свои мысли, он с удивлением отметил, что следующая остановка возникла как-то очень быстро.

Память, как губка, отжимала все новые и новые воспоминания, какие-то обрывки фраз, ситуации, встречи. И это погружение в прошлое саднило душу... Какая разница, к чему ты стремишься? Методы — вот что определяет твое лицо, твою сущность. Люди не всегда представляют себе цель, к которой стремится тот или иной человек, но методы, которыми они пользуются, на виду у всех. И не всякая цель оправдывает средства! Он обыкновенный человек и хочет лишь добиться того, чтобы дело, которым занимается, пользовалось уважением. Так почему он должен ради этого встать на одну доску с подонками? Быть их партнером? Самое печальное, что и он, Фиртич, все отклонения от нормы уже считает нормой. Всерьез поверил, что жить среди этих людей можно так и только так. Подлаживаться, ловчить, обманывать себя и других... В чем же ценность его собственной жизни, единственной и неповторимой? И сколько ему осталось той жизни? Как получилось, что, разменяв шестой десяток, он повязал себя с негодяями? Идет на компромиссы с совестью, чтобы удержаться, чтобы защитить себя и свое дело. Не лучше ли все это поломать, пока не поздно, пока не зашел слишком далеко?.. Но куда же дальше?

А трамвай тащился и тащился, прошивая искрами ночную мартовскую улицу...

На Моховой Фиртич вышел и очутился перед подъездом, свод которого провисал под тяжестью литого чугунного фонаря. «Хороша прогулочка,— подумал Фиртич, поднимаясь по лестнице в квартиру Лисовского.— Представляю, какие глаза сделает старик».

А на удивленный возглас Лисовского: «Вы что, заблудились?» — Фиртич ответил: «Почему? Шел к вам...» И в следующее мгновение понял, что сказал правду: он шел к Лисовскому, хотя и мысли не было ни о какой конкретной цели. Вышел просто подышать свежим воздухом...

Они о многом успели поговорить.

Во время их разговора в большую, заставленную книгами комнату то и дело заходили какие-то люди и, заметив гостя, удалялись.

— Сколько же вас здесь? — не удержался Фиртич.

— Прописано двенадцать,— ответил Лисовский.— Без меня. Я числюсь в другом месте, но там обитают племянники с женами.

— А где ваша мама?

— Придет скоро. Телевизор смотрит в соседней комнате,— улыбнулся Лисовский, словно предупреждая гостя, что у того все еще впереди.

Фиртич подумал о том, как люди меняются в домашней обстановке. Доброжелательный и словно чем-то виноватый обитатель этой комнаты был разве что внешне похож на главного бухгалтера Лисовского Михаила Януарьевича, брюзгу и скептика.

Фиртич рассчитывал застать главбуха в более удрученном состоянии после той новости, что Лисовский преподнес ему днем.

— Человек никогда не бывает так счастлив или несчастлив, как

это кажется ему самому, говорят французы,— улыбнулся Лисовский.

— Как сказать,— возразил Фиртич.— Все зависит от степени личного переживания. Что кажется несущественным со стороны, самим человеком воспринимается порой как полное крушение.

— Может быть.— Лисовский бросил тоскующий взгляд на лежащую в стороне раскрытую книгу.— Вы думали застать меня в страсти, а я лежу, читаю Лескова.

— Странно,— с досадой проговорил Фиртич.— Мне показалось, вы были сегодня огорчены.

— Ну... Мы ведь только тогда проявляем себя во всем размахе, когда касаемся мировых проблем,— усмехнулся Лисовский.— А страсти на уровне Универмага, даже такого, как «Олимп», не стоят, батенька, ни одной нашей нервной клетки... Вы, Константин Петрович, личность сильная. Страсти вас разрывают, как Отелло. Не одну бы Дездемону задушили, если перенести на куртуазную почву вашу деловую неумность... Послушайте, Константин Петрович, есть ведь простой способ избавиться от этой жуткой обуви. Свезите в область. Там по выходным и черта можно продать, сами знаете. К тому же весна, ярмарки грядут чуть ли не во всех районах. И начальство будет довольно. Сам «Олимп» лицом к деревне повернулся! Грамоту получите. Продавцы парного молока попьют. Да и конфликт снимете, а?.. Помню, после войны для Универмага лошадей покупали в Тихорецке на базаре. С автотранспортом туго было... Выехали с распродажей какого-то тряпья, а вернулись на трех лошадях.

Фиртич покачал головой и вскинул глаза на Лисовского.

— Как по-вашему, Михаил Януарьевич, почему эти умельцы со Второй фабрики сами не отправили свой хлам на периферию? Нет, в «Олимп» завезли!.. Мудрецы. Вперед смотрели. Им мало формального выполнения, им престиж подавай — вот какой сейчас деляга по полз. С честолюбием... Не каждый может похвастать, что широко поставляет продукцию «Олимпу». Индугенцию хотят получить за все грехи свои нынешние и будущие. А тот, кто надоумил их, коммерсант незаурядный. И политик, уверяю вас. Почерк виден... Но для того ли я стараюсь голову поднять, чтобы хвост увяз? Лучшие универмаги мира никогда не позволят себе продавать дрянь даже за тысячи километров от дома. Престиж! Придет время — аукнется! А то, что вы мне предлагаете, это первый шаг к потере престижа...

Фиртич помолчал, хрустнул сплетенными пальцами рук и развел притомившиеся плечи.

— И простите меня, дорогой коллега,— добавил он чуть изменившимся голосом.— Вы не совсем четко уяснили для себя весь смысл затеянного мною дела. Эта история с обувью ударяет в самое сердце идеи реконструкции, толкает на компромисс.

— Мало вы шли на компромиссы,— перебил Лисовский.

— Есть компромиссы и компромиссы. Ради главной идеи — да, ради разрушения этой идеи по частям — нет... Мы нередко, создавая что-то серьезное, следующим шагом по мелочам начинаем дискредитировать созданное. Сводим на нет серьезное дело. Безответственность становится мировоззрением. И в этом сидит микроб самоуничтожения... Вы мне предлагаете путь торговца, а я — коммерсант. Разница!

Фиртич ходил по комнате широким шагом, неизменно поворачивая лицо в сторону громоздкой фигуры Лисовского. Ходил ловко, не задевая старой, прочной, словно из камня, мебели — стульев с высокими гнутыми спинками, черного кресла, буфета, похожего на рыцарский замок... Фиртич приехал сюда в расстроенных чувствах. Но сейчас им все больше овладевало сознание правоты, сознание того, что дан, в кабинете Рудиной, его приказ был не безотчетным актом местьи, а верным и даже продуманным решением. Его мозг был нацелен

на достижение главного. И поэтому все, каждый его порыв подсознательно был подчинен этой цели.

Увлечшись, Фиртич не заметил, как в комнату вошла старая Ванда. Сухонькая, маленькая, она прикрыла за собой дверь и наблюдала за незнакомым мужчиной, который кружил вокруг необычно тихого ее сына.

— Что за бегун к тебе прибезал, Миська? — осторожно спросила Ванда.

Фиртич обернулся. И улыбнулся. Эта маленькая старушка неизменно вызывала улыбку у всех, кто ее видел впервые. В сером тонком свитере, в стоптанных шлепанцах, с жиденькой серебряной косицей.

— Начальник мой. Директор, — ответил Лисовский.

Ванда стрельнула в Фиртича дробью мелких глаз. И пренебрежительно цокнула языком. Вероятно, в ее представлении начальником Михаила должен быть человек толще и выше. Во всяком случае, не такой тип в потертых домашних джинсах...

— Молодой слишком. Небось выдвизенец.

— Выдвизенцы были раньше, мама, — Лисовский шмыгнул носом. — Теперь назначенцы.

— Это лучше или хуже?

— Удобней. Команду не спутают.

Фиртич усмехнулся. И Ванда почувствовала, что незнакомому мужчине и ее сына связывают особые отношения. Если человек счел допустимым явиться к Михаилу в таком виде, словно он приходит в этот дом каждый день на правах близкого родственника... Похоже, они не очень любят друг друга, но при этом гость — один из немногих людей, которых ее сын уважает. Или боится... Эта мысль пронзила Ванду новизной. Боится? Ее Михаил? Которому сам черт не страшен?! За долгую жизнь своего младшенького Ванда не раз в этом убеждалась... Она смотрела на широкоскулое, с плоским тяжелым носом лицо сына. И Михаил казался сейчас ей таким же несчастным, каким был средний, Дмитрий, безвольный, потерявший себя в этой жизни. Неужели и Михаила скрутили, неужели и он покорился чьей-то воле, каким-то обстоятельствам? И только хорохорится. А выйдет на пенсию — и проявится у него тоска безудержная... Или он просто скручен сейчас наподобие пружины. Еще немного — и он распрямится, станет привычным Михаилом, острословом и скептиком, каким она его знала...

— А что, он уже уходит? — спросила Ванда, глядя на сына.

— Да, да, — заторопился Фиртич. — Пора мне. Час сижу.

— Замёл небось в штанах-то дылявых, — заметила старушенция с подковыркой. — Нацальник... Ох и нацальник.

Фиртич потянул носом. Он уловил в настроении старой Ванды нарастающее раздражение. И не понимал, чем оно вызвано. Неужели и вправду его видом?.. Лисовского смутила бесцеремонность матери. Он смотрел на нее с укором, зная, что любое его замечание вызовет волну раздражения.

— Так я пойду, Михаил Януарьевич, — быстро проговорил Фиртич. — С утра меня не будет: поеду в банк, на оптовую базу. Индурского отправлю в Ленинград на фарфоровый завод. Надо действовать. Вы уж проследите, чтобы начали работать над актом возврата в адрес Второй обувной. — И добавил с хитрецей: — А может, вы отправитесь в Госбанк? Мы ведь партнеры надежные. Или стыдно?

Лисовский молчал, отвернув лицо к книжным сотам.

Старая Ванда шагнула к Фиртичу, стоптанная туфля сбилась на сторону, она поелозила ногой, выпрямила усохшее легкое тело.

— Вот что, нацальник... Ты моего Миську не обижай, бог тебя накажет. Он человек холосый, доблый. Не ломай его. Хватит мне этих ломаных... А то сколо счасливого только по телевизолу и увизу.

Ванда отвернулась. Острые девчоночьи лопатки натянули серый школьный свитер, вызывая пронзительную жалость...

Фиртич и Лисовский вышли в коридор.

В нише под отдельной лампочкой за столиком сидели двое: брат Дмитрий и некто в железнодорожном кителе. Они играли в шахматы. Лисовский сморщил каучуковый нос и промолчал.

Путеец поднял от доски вихрастую голову и проговорил:

— Уходите? Думал, пульку сложим.— И добавил с раздражением: — Михаил, скажи своему братану: существует в шахматах понятие спертый мат или не существует? Скажи!

— Существует,— вмешался Фиртич и пояснил: — Когда собственные фигуры отрезают своему королю все пути к отступлению.— Фиртич подмигнул Лисовскому, намекая на особый подтекст формулировки.

Лисовский вяло кивнул.

— А Димка что говорит? — спросил он, глядя на путейца.

— Он говорит, что спертый мат — это когда хочешь высказаться, а тебе зажимают рот,— весело ответил путеец.

— Ну так он не гроссмейстер! — объявил Лисовский своим обычным громким и веселым голосом.

И расхохотался безудержно. Как человек, который вдруг решил для себя что-то важное. И освободился от тягостных дум.

Улица, казалось, вымерла: ни трамвая, ни автобуса, ни такси. Фиртич ждал уже минут десять... И решил пройти несколько кварталов до центра, там наверняка можно сесть на какой-нибудь транспорт.

Ветер окончательно утих. Капли таявшего снега равномерно клевали асфальт под водосточными трубами. Вдоль тротуаров стояли студёные автомобили. Их лакированные крыши мертвенно мерцали под круглыми фонарями. Вид сонных автомобилей навевал мысли о недалеком отпуске. Фиртич обычно проводил его на колесах вместе с женой и сыном. Правда, вряд ли удастся уйти в отпуск, если начнется реконструкция. А в то, что работа начнется, он верил. Фундамент заложен, связали себя обязательствами с иностранной фирмой, не станут же все ломать. Он готов понести любое наказание, только бы не отстранили. Надо встретиться с Барамзиным, поговорить начистоту. Именно так: встретиться и поговорить. Корысти Фиртича во всех действиях не было. Не могут же они с этим не считаться!.. Но велика ли заслуга: не было корысти! Элементарную порядочность возводить в ранг добродетели?! А банкротство? А липовые достижения?..

Фиртич вышел на хорошо освещенную Главную улицу. Здесь ему повезло: поймал такси.

Встреча с управляющим банка закончилась гораздо раньше, чем предполагал Фиртич. Не надо было отпускать шофера, теперь жди условленного часа. Он уже звонил секретарю, но та шофера не нашла — заехал куда-нибудь поесть... Постояв минут пять, Фиртич решил вернуться в Универмаг пешком. Но едва он сделал несколько шагов, как подъехала машина. Паренек-водитель был влюблен в Фиртича и старался хотя бы внешне походить на своего кумира. Он завел прическу с кинжальным пробором, а иногда — Фиртич замечал — щупал на лице то место, где у директора пролегал рубец от катастрофы...

— Я как чувствовал, что вы раньше освободитесь,— гомонил он.— Даже кофе не допил. Куда жать железку, Константин Петрович?

— На Кирилловские,— коротко ответил Фиртич.

Шофер тронул машину. Он почувствовал, что директор не в духе.

Фиртич и вправду был не в духе.

Переговоры с управляющим банком прошли довольно успешно. Собственно, Фиртич был уверен в успехе: «Олимп» — партнер надежный. И гарантии, данные банку, вполне удовлетворили управляющего. Тот обещал отсрочку санкций на три месяца, что вполне было по-божески, за это время Универмаг безусловно приведет картотеку в порядок. Однако управляющий подстраховывался и намекал на то, что хорошо бы получить гарантии и от начальника управления торговли Барамзина. Ничего неожиданного в этом предложении для Фиртича не было, он хорошо знал осторожность банка. Так что в целом все пока складывалось прилично, если не брать в расчет унижение, которое испытал Фиртич. Он директор «Олимпа» — и с чем пожаловал в банк!

Интересно, как сложатся дела у Индурского на Ленинградском фарфоровом заводе? Успеть бы ему выбить фонды до извещения банка. Товар у ленинградцев наверняка есть, выбрать бы сразу весь квартальный фонд, доставку Фиртич обеспечил бы...

— Николай Филимонович успел к самолету? — спросил Фиртич.

— Под самую завязку! — Водитель обрадовался разговору. — Подъехали в аэропорт, слышим: объявляют, что посадка заканчивается. Но это же Индурский! Сразу к начальству...

Фиртич вспомнил, как поднял ночью Индурского с постели и попросил этим же утром вылететь в Ленинград. И как тот мялся, стесняясь признаться Фиртичу, что у него нет денег на билет, а главное, на представительство. Не с пустыми же руками ему стучаться по службам сбыта... С билетом все решилось просто — у Индурского была чековая книжка, правда в аэропорту почему-то по чековой книжке билеты не продавали, только в городской кассе. Но для Индурского это не преграда: надо будет — продадут. А вот с представительством... Горт, коньяк, конфеты по чековой не отпустят. А подобрать что-либо в «Олимпе» он не успеет — самолет на Ленинград вылетает раньше начала работы Универмага... Фиртич разбудил жену. Елена не сразу поняла, зачем Фиртичу понадобилось среди ночи двести рублей. Но деньги дала.

Было четверть первого ночи. Елена уже не сердилась, отошла, даже повеселела, глядя на удрученную физиономию мужа.

Фиртич сообщил своему коммерческому, что все в порядке, по дороге в аэропорт тот получит две сотни... Фиртич сделал еще несколько звонков, поднимая людей с постели. Нелегкое это дело, черт возьми. Особенно он смущался, набирая номер телефона Антоныяна, заведующего текстильным отделом. Антоныян понял директора с полуслова и не вдавался в подробности. Надо — значит, надо! Он вылетит в Ереван первым же самолетом. И сделает все... Только Мезенцевой Фиртич не позвонил. На завтрашнем совещании со скандинавами ее присутствие необходимо.

Кутаясь в халат, Елена прошла на кухню и поставила чайник.

— Что случилось? Пожар? Наводнение?

Фиртич ходил по пятам и объяснял, что надо в самый короткий срок заполучить как можно больше ходовых товаров. Пока не все поставщики получили извещение банка о грозящих «Олимпу» санкциях. Ведь ему предстоит не только держать товарооборот в период реконструкции, но и перевыполнять план процентов на пятнадцать ежедневно. Чтобы покрыть штраф, выставленный банком.

— Ничего не понимаю, — вздохнула Елена. — Ты ведь и так затоварил Универмаг, стены еле держатся. И еще набираешь?

— Да. С одной стороны, я затоварен, а с другой — мне нужен дефицит, чтобы перекрыть долги, пока банк еще не применил санкций и поддерживает кредит.

— Господи, только санкций тебе не хватает!
— Закон свинства. Связать мне руки именно сейчас...
Елена поставила на стол чашки, достала варенье.

— Допустим, они и применят санкции: лишат премий сотрудников, поставят на учет каждую скрепку у твоего секретаря и служебные телеграммы ты будешь посылать за свой счет, не говоря уж о командировках. Каждая копейка пойдет на погашение долга...

— Прижмут,— кивнул Фиртич.
— Прижмут. Ну а как будет с реконструкцией?

Елена знала все, что касалось затеи мужа. Все, кроме одного — она не знала о связях Фиртича с Кузнецовым. И тогда в каком-то упоительном самоистязании Фиртич начал срывать с этой истории все шелуху до самого ядрышка.

Елена присела на подлокотник кресла, взяла сигареты и спички. Глаза под тонкими ресницами светились прозрачной, не нарушенной косметикой синью.

— Гадкая история, Костя... Сделка с подонками. Страх перед разоблачением... Понимаю, все произошло помимо твоего желания... Твое нетерпение сыграло с тобой злую шутку.

Но Фиртич знал, о чем она думает. В то же время он был уверен, что никаких вопросов она больше не задаст. И жалеет, что затеяла разговор. Как он был благодарен сейчас жене...

— Так вот, Костя... Ты должен завтра же встретиться с Барамзиним. И все рассказать. Сам! Не жди, когда он вызовет тебя. Ты понял? Я уверена, что он все знает... Это очищение, Костя. Иначе покоя тебе не будет, как бы удачно ни сложились твои дела... Я знаю тебя, Костя. Хоть ты и убежден, что я тебя недостаточно знаю...

И сейчас, по дороге на оптовую базу, Фиртич вспоминал ночной разговор с женой.

Машина остановилась перед главной проходной Кирилловских складов. Фиртича тут знали все, и охрана пропустила его на территорию без формальностей.

Мануйлова в кабинете не оказалось. Секретарь сказала, что директор вместе с инспектором министерства ушел на шестой склад, когда вернется — неизвестно...

Шестой склад размещался у железной дороги и внушал почтительные размеры. Изнутри он впечатлял еще больше. Возможно, от количества ящиков и тюков, что тянулись к сизому холодному своду.

Мануйлова он застал в одном из боковых приделов, стены которого были составлены из бурых контейнеров. За столом, кроме управляющего оптовой базой, сидели кладовщик и молодая женщина в шубке, инспектор министерства... Фиртич поздоровался.

— Вот, Костя, получили циркуляр об уценке залежалых товаров. И никак не возьмем в толк, чем он отличается от предыдущего! Одни и те же положения, а корма для мышей все больше и больше!

— Да бросьте, Василий Васильич. Копейки! — бойко воскликнула женщина. — На всех оптовых базах на двенадцать миллионов не набрать.

— Копейки! — возмущенно буркнул кладовщик. — Им — копейки! Мануйлов понимающе взглянул на кладовщика и покачал головой.

— Конечно, копейки. Наш оборот двадцать два миллиарда! — Женщина обидчиво поджала губы. — Так мы с вами и до вечера не закончим. А мне еще в управление надо успеть.

Фиртич огляделся. На шестерке хранились неходовые товары, подлежащие уценке. Кладбище товаров! Когда Фиртич размышлял о той стороне торговой жизни, что называлась уценка и распродажа малоходовых товаров, разум отказывался что-либо понимать. До сих пор он не может взять в толк, как это ему дали разрешение на продажу зимнего спортивного инвентаря по сниженным ценам, когда спрос еще

держался. Правда, из последних сил. И самое время было снизить цену и разом избавиться от грядущего затоваривания. И он избавился. За три дня! И теперь, оглядывая залежи никому не нужного товара шестерки, он с горечью думал о том, что проснись вовремя кое у кого совесть и чувство ответственности, разве допустили бы такое? Никак им не уяснить одну истину, в которую Фиртич верил истово: в торговом деле важно вовремя уценивать товары, разумно снижать их цены. Тем самым втягивая в оборот гигантские залежи товаров. Сбросить все товарные остатки, пока мода еще не прошла. Выручить сегодня пусть меньше, чем вчера, но зато значительно больше, чем завтра. Избавиться от издержек хранения праха, корма для крыс... Сколько лет стоят у этой стены тюки с плащами-болонья? Лет двадцать! Его артикул старательно переносят из одной ведомости в другую при очередной уценке. А товар не стоит уже и спичек, чтобы его сжечь! А нашлась бы вовремя страдающая душа, остановила бы производство этих плащей, сбросила б цену (смело, процентов на тридцать сразу) — разве хранились бы они здесь памятником бесхозяйственности? Нет, не нашлась тогда страдающая душа. Упустили время. А когда спохватились, то как ни снижали цену, никто уже эти плащи не брал. Прошла мода! И верно, что скупой платит дважды! Но что этим чиновникам уроки экономики. Не из своего же кармана они платят...

Вся мировая практика торговли доказывает, что сезонная распродажа — неизбежный промежуток коммерческого цикла. Но мировая практика им не указ, этим гениям коммерции. «Если покупательский спрос не желает слушать наших указаний,— думают они в спесивом своем равнодушии,— тем хуже для спроса». И, что самое дикое, все они в неофициальных беседах — передовые, мыслящие люди. Все понимают. Но избави бог доверить им какое-либо решение! Куда девается их пыл, их страсть, их честность, наконец...

— Понимаешь, Костя,— ворчал Мануйлов, когда они возвращались в административный корпус.— Они не профессиональные люди, вот в чем беда! В кадрах беда, Костя... Профессионал — это человек, уверенный в своем деле, он отвечает за свои решения. И дело не в каком-нибудь особом риске. Нет! Нужен элементарный поиск наиболее результативного итога работы. Понимаешь, Костя? А они этим поиском не занимаются. Не потому, что не хотят рисковать, а потому, что не умеют работать. Непрофессионалы! Да только ли в торговле?.. Возьми эту дамочку-инспектора. Приехала и перво-наперво требует, чтобы я ее в театр пристроил вечером. А начала о деле говорить — глаза оловянные, пыжится, чтобы чего лишнего я не спросил.

— А что ее принесло? — спросил Фиртич.

— Финансисты надумали фонды уценки срезать. Экономии ищут.— Мануйлов остановился, пошарил в карманах, что-то разыскивая.— Все экономят. Пускают поезд по шпалам, чтобы сэкономить на рельсах, умники-разумники. Все в белых сорочках и галстуках, один ты перемазан. Как выхожу из шестерки — в баню тянет. А душу кто отмоет? Ноет душа...

Мануйлов шел энергичным, размашистым шагом, свойственным здоровым пожилым людям. Какая-то чернявая собачонка выбежала им навстречу и затрусилась впереди, то и дело оборачивая смышленную мордашу.

— Цыбик, Цыбик! Хорошая собака,— ласково проговорил Мануйлов.

Песик согласно крутил хвостом и повизгивал.

— Цыбик всегда встречает дедушку во дворе, молодец.— Мануйлов тронул Фиртича за рукав.— Как по-твоему, Костя, собаки чувствуют начальство?

— Собаки? — серьезно переспросил Фиртич.— Думаю, что да. Мануйлов вздохнул.

Из распахнутых ворот ближнего склада, сигнала, задом выползал трайлер с названием иностранной фирмы вдоль борта. Русоголовый шофер по пояс высунулся из кабины для лучшего обзора — не дай бог что-нибудь своротить, плати потом штраф..

Пропустив трайлер, они вышли к аллею, на которой их уже дожидался песик. Фиртич никак не мог начать разговор, из-за которого приехал.

— Не мучайся, Костя, — проговорил Мануйлов. — Я знаю о твоей беде. И помогу. Потому как ты профессионал, Костя. Помогу!

— Что, сорока на хвосте принесла? — Фиртич был рад снять с себя обузу объяснений.

— Есть доброты... Ты где работаешь? Не в лавке на колхозном рынке. И не каждый день собираются против такого Универмага санкции применять. Для многих это вроде бесплатного концерта. Они любят людей за то, что рано или поздно на поминках погуляют.

— А я, Васильич, не радуюсь, если с коллегой моим неприятность стряслась, — сказал Фиртич.

— Ты счастливый человек, Костя, поверь старику. Объяснить не могу. Да и не объяснишь такое. Такое только сам понять сможешь, когда время придет... Погляди, как некоторые для простого «здрасьте» задницы спесивой не поднимут. А придет время — любой былинке будут готовы поклониться. Да ответа не дождутся. Так-то...

Встречи с Мануйловым всегда доставляли Фиртичу радость. Было между ними духовное родство.

И сейчас. Этот песик с добрым взглядом коричневых глаз, эта аллея, просквозенная зимними ветрами, эти стлывые деревья на обочине...

Тем временем Мануйлов извлек из кармана пакетик с едой, вытряхнул куски на ладонь, присел на корточки. Песик, опустив хвост, принялся деликатно слизывать угощение.

— Не начальство он узнает, — засмеялся по-мальчишески Фиртич. — Кормится он у вас!

— Ох и догадлив ты, Фиртич, ох и догадлив! — запричитал Мануйлов.

Песик в последний раз провел розовым язычком по жесткой ладони старика, махнул хвостиком и деловито затрусил обратно к складу.

— Во! Получил свое и знать меня не знает. Среди людей живет, набрался, стервец! — Мануйлов выпрямился, отряхнул подол шубы. — Я, Костя, выделю тебе все что надо. Честно говоря, как узнал о твоей беде, так сразу и приказал своим насытить фонды «Олимпиа» чем бог послал. Пока официальной бумаги нет. Пришел кое-какой товарец. И наш и зарубежный. С колес продашь...

Автомобиль проезжал мимо заправочной станции. Там стояло всего машин пять... Большое везенье: в будни, да еще весной, к заправке обычно не протолкнешься, частники выводят своих коней, а станции еще не отошли от зимней спячки...

Шофер взглянул на директора. Фиртич кивнул.

Автомобиль круто развернулся и пристроился в хвост очереди. Фиртич вышел из машины. В стеклянном скворечнике нахохлился сизый телефон-автомат. Фиртич разыскал монетку и снял тяжелую телефонную трубку. Услышав голос жены, он облегченно вздохнул... Дома все было в порядке. И Сашка звонил из Ленинграда, сообщил, что получил посылку, благодарил. Все у него в порядке.

— У всех все в порядке, — тихо проговорил Фиртич.

— Ты здоров, Костя? — спросила Елена. — У тебя странный голос.

— На душе тяжело, — признался Фиртич. — Пустяки. Ведь у всех все в порядке. — Фиртич увидел, как автомобиль сыто отвалил от ко-

лонки и шофер призывно помахал рукой.— Сейчас заскочу в управление и сразу домой.— Фиртич повесил трубку.

— Все в порядке,— первое, что сказал шофер, поглаживая пальцами строгий пробор в соломенной своей шевелюре.

— Значит, полный порядок? — проговорил Фиртич, усаживаясь в автомобиль.— Тогда к чему печалиться?

— Я и не печалюсь,— ответил шофер.— Все в порядке.

У всех все в порядке... Фиртич даже рассердился.

И с таким настроением он вошел в кабинет начальника управления, прижимая локтем черную кожаную папку.

Барамзин сидел за журнальным столиком и ремонтировал кофеварку. Без пиджака, в светло-серой рубашке, в лиловых подтяжках. Вид у него сейчас был определенно домашний.

— А, Константин Петрович,— проговорил он глуховатым голосом.— Видите, чем занят? Тоже реконструкция в своем роде...

Нащупав что-то пальцами, Барамзин просунул в отверстие отверстие и, прикрыв глаза от напряжения, стал осторожно проворачивать ее.

Фиртич сел. Открыл папку, достал несколько листов и положил на письменный стол начальника управления.

Небольшой кабинет Барамзина выглядел уютно. Лампа с изогнутым кронштейном покоилась на вышитой салфетке. На деловом столике с телефонами и селектором стояли три кофейные чашки. За стеклами шкафа чинно держали строй тома энциклопедии, труды классиков, отчеты съездов партии. А на самой нижней полке книги лежали вповалку. Видно, их частенько доставали... Многие считали странностью привычку хозяина кабинета иногда оставаться в обеденный перерыв на месте, есть бутерброды да почитать книжки. Люди газет не успевают просматривать. А Барамзин читает, к примеру, «Мастера и Маргариту», что недавно подарил ему начальник орготдела Гарусов.

Привычка есть в обед бутерброды и читать книжки сохранилась с тех пор, когда Кирюша Барамзин был направлен укомом комсомола в торговлю. В те времена со столовками было непросто. Обед в магазин приносила мать его старого товарища Бори Дорфмана — тетя Лиза. Книги же Кирюша доставал сам... Организм привык к такому распорядку. А главное, эти двадцать — тридцать минут вольного времени давали разрядку душе. Барамзин и сотрудникам своим рекомендовал, говорил, что проверено практикой. Не прививалось. Возможно, у многих был какой-то иммунитет на книги, их только и хватало на специальную литературу да фельетоны в газетах...

— Гарусов сломал кофеварку, а я ремонтирую,— ворчал Барамзин без обиды.— Я, говорит, только включил, а она — хрясь! Куда, интересно, он включил? Совсем запутался со своими женами Левка.

Фиртичу начальник управления сейчас показался чем-то опечаленным. Но чем? Не поломкой же кофеварки?

Старый торговый волк пронес через годы доброту и порядочность. В каких только передаргах не побывал. А должность эта мало с какой сравнима сегодня по ответственности и значимости. Какие страсти бушевали вокруг, какие люди — способные и бездари, трудяги и бездельники, жулики и честные,— кого только не перевидал на своем веку Барамзин... И держится! Бесменно. Пользуясь авторитетом как в городе, так и в Москве. А кто его заменит, когда придет время? Кто там, на подходе? Пасутся кто где пока, затаились, ждут, когда шеф уйдет на покой. Но уже подтапливают слегка, поторапливают. Сплетни всякие плетут... Есть и другие — толковые, деловые, порядочные. Но выдержат ли марафон, не споткнутся ли на этой скользкой, полной соблазнов дорожке, хватит ли ума и воли?

— Ну вот, кажется, все в порядке.— Барамзин отодвинул кофеварку и бросил взгляд на бумаги, выложенные Фиртичем.

Фиртич усмехнулся: и здесь все в порядке.

Барамзин снял со спинки стула пиджак, влез в него.

— Хорош, Константин, хорош... Вы что же, Константин Петрович, послали к бесу Инторг и не находите нужным известить управление о ходе переговоров? Инторг меня запрашивает, а я хлопаю ушами... И Гарусов не в курсе, говорит: бегаете вы от него. До дела не допускаете.

Сейчас Барамзин походил на деда, который за что-то пеняет внуку, хоть в душе и одобряет его.

— Зачем же вы его прогнали-то а, Фиртич? Инторговца-то? — допытывался Барамзин.

— Мешал.

— Ишь какой. Он свою работу справлял... Что это вы на стол мне положили? Никак заявление об уходе?

— Нет еще,— пожал плечами Фиртич, чувствуя укол в сердце.

— А я уж испугался. Что за напасть такая сегодня,— обронил Барамзин и прошел к столу, сел, поменял очки.

Удивительно, как может измениться человек в одно мгновение. Это уже не был добрый дедушка...

Бумаги, с которыми ознакомился управляющий, содержали первый результат проделанной скандинавами работы. Экономический эффект был неоспорим. Только за счет укрупнения торговых секций их количество сокращалось на сорок единиц, что давало экономию в зарплате более шестнадцати тысяч рублей в месяц. Это помогало решить и кадровые вопросы.

Фиртич испытывал удовлетворение. В то же время он мучительно соображал, как начать разговор, из-за которого приехал...

— Молодцы. Оставили позади выставочный коэффициент? — вычитал Барамзин.

— Да. Почти на три десятых процента,— рассеянно ответил Фиртич.

Это было серьезным достижением. Оно позволяло на тех же площадях разместить гораздо больше товара. И при лучших обзоре и доступности. Показатель, улучшение которого дается с большим трудом.

— Что же вы так сидите, Константин Петрович? — поднял глаза Барамзин.— Лучше я вам дам один документик, ознакомьтесь. Когда-то вы советовали мне выбросить его в мусорный ящик. Я, старый осел, вас не послушал... Извините, здесь копия. Такая же копия, как здесь указано, направлена в министерство...

Фиртич усмехнулся. Неймется этим правдоискателям... Он не ощущал волнения. Спокойствие, как второе дыхание, пришло к нему, мысль работала в деловом направлении.

— У меня лежит этот документ. Уже около двух месяцев,— дерзко произнес Фиртич.— Причем оригинал.

Барамзин помедлил, потом проговорил глуховато, с подчеркнута жесткой интонацией:

— У меня такое чувство, что вы намерены обвинять управление, Константин Петрович?

— Намерен. Не будь у меня страха и неуверенности в благоприятном исходе главного дела,— Фиртич ткнул пальцем в бумаги с результатами работы скандинавов,— я бы...

— Страх? — перебил Барамзин.

— Страх. Если бы всплыла история с липовыми успехами Универмага...

— Это разные вопросы, Фиртич,— раздраженно оборвал Барамзин.

— Разные. Но их легко объединить. Даже вопреки вашему жела-

нию, Кирилл Макарович. Поднялся бы шум. Вас обвинили бы в покровительстве очковтирателям... Я не настолько наивен, Кирилл Макарович, я понимал, что совет выбросить бумаги в мусорный ящик вы не воспримете всерьез. Просто вы дали мне время...

— А что вы думали, Фиртич?! Такое упущение вам сойдет с рук? Помолчите! Теперь я буду говорить. Возьмите свои индульгенции.— Он протянул Фиртичу бумаги.— И победителей судят! На каждый поклон — отдельная свечка, Фиртич... Я назначил вас директором «Олимпа», веря в ваши способности. И сейчас в них верю. Так что речь не о том, чтобы сменить вас на этой должности.— Помолчав, Барамзин добавил: — Пусть вас не мучает... страх.

Управляющий сложил бумаги в папку и встал.

— Кстати, вы лично знакомы с кем-нибудь из руководства Второй обувной фабрики?

Фиртич был уверен: в управлении уже знают о том, что происходит в Универмаге. Но чтобы его подозревали в махинациях?! Фиртич покраснел. Не от стыда. Он привык к тому, что его всегда могут обвинить в любой подлости. За одно то, что он относится к семейству торгашей. Его уже нельзя обидеть недоверием, у него иммунитет против такого рода обид... Что же ответить своему начальнику? «Извините, но на сей раз все обошлось без махинаций с моей стороны. Я не знаю никого со Второй обувной фабрики. Обращайтесь с этим к заведующей обувным отделом, а я на сей раз чист!»... Фиртич молчал, поджав губы. На крепком лице обозначились острые скулы.

— Я хочу связаться с руководством фабрики. Нужно найти какое-то компромиссное решение.— Барамзин угадал состояние Фиртича и разозлился на себя.

— Я никого не знаю на этой фабрике,— проговорил Фиртич сухо.— И не хочу никаких компромиссных решений. Все будет сделано в соответствии с законом. На этот раз!.. Что касается банка, он готов повременить с санкциями. Но ему нужны гарантии.

— Гарантии будут, я направлю письмо,— кивнул Барамзин.— Видите, Константин Петрович, не всех обуял страх...

Фиртич посмотрел в широкое окно. Вдали уже загорелись холодным неоновым буквами, составляющие название Универмага...

Пора уходить. Но чувство недоговоренности продолжало тревожить.

— Что касается этого письма...— Фиртич обернулся и бросил взгляд на папку, что лежала на столе.— Я готов нести всю ответственность. И перед вами и в министерстве...

— Не нужно, Константин Петрович,— прервал Барамзин. И добавил, не скрывая горечи: — Уже нашелся козел отпущения. Взял всю вину на себя.

Фиртич недоуменно взглянул на управляющего.

— Приходил ваш главный бухгалтер... Точнее, бывший главный бухгалтер... Михаил Януарьевич оставил заявление об уходе.

— То есть как? — растерянно проговорил Фиртич.— Заявление? И почему вам?

— Имеет право. Его должность — номенклатура управления... Я подписал. Можете оформлять.

— Подписали?! И не пытались его уговорить!

— Уговаривал. Не согласился Михаил Януарьевич. Ссылается на болезнь.

— Да он здоров, как бык,— бормотал Фиртич.— Он нас с вами уложит на лопатки, я знаю.

Он был растерян, подавлен, убит...

Первый звонок домой Лисовскому он сделал еще из приемной управляющего. Никто не отозвался. Следующий звонок последовал по телефону-автомату из гардеробной управления. И вновь долгие

сигналы вызова. Досада и нетерпение лихорадили Фиртича... Какой же смысл ехать сейчас к Лисовскому, если никого нет дома? И он решил отправиться в Универмаг.

Конечно, главбух виноват как никто. Но сейчас он не имеет права оставлять Фиртича... Ох старый дурень! На амбразуру бросился, а о Фиртиче не подумал. Нет, подумал. Иначе бы не вышел на управляющего. Презирает он Фиртича, даже разговаривать не хочет. «Ну и черт с тобой, презирай сколько угодно. Но — работай! Время покажет, прав ты или нет со своим презрением. А пока — работай. Я на колени перед тобой встану, только работай...»

Дежурным по закрытию Универмага сегодня вечером был начальник планового отдела Франц Федорович Корш. Он сидел в приемной и что-то писал.

Увидев директора, Корш вежливо поздоровался.

Фиртич раздумывал: сказать Коршу об уходе Лисовского или погодить? Нет, не надо, рано еще трезвонить...

В эти вечерние часы кабинет был полон особой тишины. Не скрипел паркет под ногами сотрудников, не дребезжал телефон. А главное, не давил груз множества безотлагательных решений...

Сняв пальто, Фиртич подсел к столу. Из-за последних событий заключительное совещание со скандинавами пришлось перенести на завтра. В целом мнение Фиртича склонялось в их пользу. Но некоторые пункты требовали уязки. Работы часа на два, не больше. Еще надо подготовиться к завтрашнему партактиву. Вот где его пропесочат за банкротство. Завотделом торговли горкома Лукин не промолчит. Был бы у Фиртича толковый парторг, чтобы мог разговаривать с Лукиным! Но разве на этого Пасечного можно положиться? Сидеть бы ему на своем москательном складе... А ведь поначалу радовался, что Пасечный в его дела не вмешивается. И дорадовался. Парторг сейчас телевизор дома смотрит, а директор разрывается на части. Конечно, Фиртич сам виноват в этом. Как необходим ему деятельный, энергичный помощник. Впрочем, до перевыборного собрания осталось немного...

Злость, неумемная злость переполняла его сердце. Он изворачивается, рискует добрым именем — и все ради этого молоха, Универмага. Унижается, юлит, приспособливается. Вот Кузнецов может купить всех, кого захочет. Он и «арчисонов» вместе со скандинавами купит, за свой счет отдает ресторан и будет доить в свой подойник. Ведь убедил он кого-то в своем тресте, что бар «Кузничек» необходим городу. Чем убедил? Чем?! И все у него получается. А на Фиртича как на чудака смотрит. И на Лисовского... А если бы не они — трудиться бы Кузнецову где-нибудь на лесоповале... В какое-то мгновение Фиртич пожалел, что удар на себя принял Лисовский. Дошло бы дело до Госконтроля — он бы тогда высказался. Обо всем, о чем передумано. Он бы заставил себя выслушать! Чтобы поняли, сколько нелепостей в торговом деле. Как в этой круговой обезличке гибнут хорошая идея, свежая мысль, да и просто порядочность, элементарная человеческая порядочность... И его поймут, не могут не понять. Поймут, даже если осудят...

Вдруг Фиртич заметил Франца Федоровича, сидевшего на самом краешке дивана. Ссутулившись, опустив детские ручки меж сдвинутых коленей. И без того бледное его лицо казалось сейчас покрытым слоем пудры. Как он проник в кабинет, Фиртич не слышал...

— Что с вами, Франц Федорович? — обеспокоенно спросил Фиртич.

— Лисовский умер, — прошептал Корш.

Фиртич молчал. Еще не понимая, не постигая смысла сообщенного.

— Звонил его брат. Из больницы. Инфаркт...

Сколько времени пробыл Фиртич в своем кабинете? Помнил, что прилег на холодный диван. Потом задремал....

Когда вновь вышел в приемную, дежурного на месте не было. Ушел на закрытие Универмага. Фиртич взглянул на часы: самое время, четверть десятого.

Фиртич шел мимо дверей с табличками названий отделов, словно наяву видя тех, кто занимал эти помещения.

Антонян Юрий Аванесович, заведующий текстильным отделом. Солидный, в массивных профессорских очках. Добросовестный, исполнительный... Сударушкина Мария Михайловна, заведующая «канцелярией». Суетливая, обидчивая. Честная до болезненности. Есть такие испуганно-честные торговые работники... Аксаков Азарий Михайлович, заведующий швейно-меховыми товарами. Строгий, аккуратный. С лихими гусарскими усами. Пунктуальный, работающий, законник...

Коридор упирался в дверь обувного отдела... А если уговорить Дорфмана возглавить отдел? Года не те? Хотя бы временно. Он работу знает, до войны ведал отделом....

Вновь поплыли таблички... Отдел труда и зарплаты. Отдел цен. Отдел конъюнктуры. Плановый отдел... Казалось, что коридор представляет собой огромный директорский кабинет с этими служебными дверьми вместо зеркал... Фиртич остановился у высокой двери с табличкой «Бухгалтерия». Дверь была под стать бывшему хозяину. Казалось, даже страдает одышкой...

В коридоре раздались по-ночному гулкие шаги. Вероятно, кто-то из комиссии по закрытию завершает обход....

Из ярко освещенного тамбура пала длинная тень. И, колеблясь, наплывала в коридор. Фиртич увидел высокую фигуру главного администратора Сазонова. И Сазонов заметил директора. Остановился в нерешительности.

— Что вам, Павел Павлович? — спросил Фиртич.

— Я заметил свет в вашем кабинете,— замялся Сазонов.

Фиртич выжидательно молчал.

— И хотел сказать, Константин Петрович... Сестра моя Шура опять отправила бумагу в управление. И в министерство... Я уговаривал ее не делать этого. А она на своем. Кричит, что и я с вами заодно. Что не может жить, когда люди, которых она боготворила...

— Кого же она боготворила? Меня? — усмехнулся Фиртич.

— Нет, не вас,— ответил Сазонов.— Лисовского.

«Еще ничего не знает»,— мелькнуло в голове Фиртича. Он понимал, что сообщение Сазонова продиктовано желанием как-то защитить сестру, принять на себя первый удар. Но получилось довольно неуклюже, и Сазонов это чувствовал.

Слова Сазонова с трудом доходили до Фиртича. Он казался себе сейчас маленьким мальчиком, который с замиранием сердца первый раз идет незнакомыми улицами города, в котором хоть и родился, но еще не пожил. Понимая, что другого города и другой жизни у него нет и быть не может. Это его город, это его жизнь, и от него, Фиртича, зависит, какими они будут.

— Послушайте, Павел... Сестра ваша Александра... Она справится, если возглавит бухгалтерскую службу Универмага? А?.. Я знаю, что Михаил Януарьевич очень хорошо отзывался о ней. Судя по всему, он не ошибался...

И, упреждая возможные вопросы главного администратора, Фиртич зашагал ночным коридором, притихшим в ожидании завтрашнего дня.

В МИРЕ НАУКИ

ИГОРЬ БУБНОВ



ПРЕД БУДУЩИМ МЫ ТОЛЬКО ДЕТИ

ИСТИННО СЛАВЯНСКИЙ ТИП

Сохранилось множество фотопортретов К. Э. Циолковского. Он сам занимался фотографией, знал тонкости и сложности получения хорошего снимка и поэтому, быть может, с уважением и пониманием относился к желающим его запечатлеть.

А их было немало, особенно в 30-е годы, когда слава ученого стала поистине всенародной. Они приходили к Циолковскому, сопровождали его на прогулках со своими громоздкими камерами на штативах, просили потерпеть, подолгу наводя на резкость из-под черных покрывал, меняя кассеты с пластинками, иногда на несколько секунд открывая объектив.

Совсем немного его фотографий сохранилось от дореволюционного времени. На одной из них, датированной 1902—1903 годами, Циолковский — учитель физики и математики Калужского женского епархиального училища и уже известный ученый в области воздухоплавания. Ему сорок пять лет. Без малого четверть века из них он отдал своим научным идеям.

Мне особенно по душе этот его портрет. Вполне молодое интеллигентное лицо с очень темными, без признаков седины волосами и темной, коротко и аккуратно постриженной негустой бородкой. Высокий, сократовский лоб, маленькие очки в проволочной оправе. Облик полон сдержанного достоинства, обнажена работа мысли, но видятся немалые сомнения души этого человека и вышавшие на его долю невзгоды.

А их было уже много, больше чем нужно, чтобы сломить любого человека, не очень крепкого духом, и уж во всяком случае чтобы заставить его сменить жизненную установку. С Циолковским этого не случилось.

После безмятежного, радостного детства с одиннадцати лет — трудные годы, связанные со слабостью слуха, оставшейся после сильной простуды («Чувствовал себя... всегда изолированным, обиженным, изгоем... Я как бы погрузился в темноту. Учиться в школе я не мог...»). Тринадцать лет — умерла сорокалетняя мать, душа семьи уездного лесничего («Горячка, хохотунья, насмешница и даровитая»). С шестнадцати до девятнадцати лет тяжелая нищенская жизнь в Москве на мизерную отцовскую стипендию, скрашенная, правда, азартом самообразования.

В 1887 году, в тридцать лет, в Боровске, только развернулся с самостоятельными научными исследованиями — пожар в доме, сгорели модели аэростата, почти все рукописи, все имущество. В семье погорельцев трое малолетних детей.

В 1890 году — первый официальный отказ в поддержке идеи цельнометаллического дирижабля. По поводу статьи «О возможности построения металлического аэростата» председатель Воздухоплавательного отдела Русского технического общества, крупный специалист Е. С. Федоров отметил, что «расчеты произведены им вполне правильно и весьма добросовестно», но при этом заявил, что «г-н Циолковский незнанием с современною техникой воздухоплавания», имея в виду, что «аэростаты, из какого бы ни были сделаны материала, все же они вечно, силою вещей, обречены быть игрушкой ветров...» (прошли уже первые опыты Можайского и Адера, оставалось немного до успеха Райтов). И резюме: оказать «нравственную поддержку», «просьбу же о пособии на производство опытов отклонить».

В 1895 году в Москве при содействии и на средства А. Н. Гончарова, племянника известного писателя, было издано научно-фантастическое произведение «Грезы о Земле и небе и эффекты всемирного тяготения». Впервые в мировой литературе появился термин «спутник Земли» и была названа скорость, необходимая для его создания, — 8 километров в секунду. Пресса не поняла и не приняла авторского замысла и жанра, откликнулась разгромной и язвительной критикой (еженедельник «Неделя»: «Лавры Фламариона не дают спать г. Циолковскому... брошюра... написана туманно и сбивчиво, лишена всякой поэзии; что касается научных данных, крайне не точна»; журнал «Научное обозрение»: «Если научные разъяснения г. Циолковского не всегда достаточно обоснованы, зато полет его фантазии положительно неудержим и порой даже превосходит бредни Жюль Верна...»). Последовал скандал и оскорбления со стороны мецената, поссорились навсегда.

Все свои исследования и эксперименты Циолковский проводил на собственные средства, на скромный заработок учителя. Денег постоянно не хватало. Лишь однажды последовала материальная помощь со стороны Академии наук, носившая, впрочем, чисто символический характер. В 1897 году ему выделили 470 рублей, которые пошли на создание новой аэродинамической трубы (первой в России, предназначенной для аэродинамических исследований; труба Жуковского появилась в 1902 году) и проведение на ней опытов. Отчет с ценными результатами, «стоивший много больше», был направлен в Академию наук и... затерялся у Жуковского. А был он в единственном экземпляре. Обнаружили его в бумагах профессора только в 1938 году.

В 1893 году умер от коклюша годовалый сын Леонтий. В декабре 1902 года в Москве покончил с собой старший сын девятнадцатилетний Игнатий, студент университета, естественник. Константин Эдуардович очень любил своих детей и переживал потерю их с чрезвычайной душевной мукой, каждый раз погружаясь в глубокую апатию, граничившую с депрессией. Так было и потом, после шестидесяти лет, когда с промежутками в два года умерли тридцатидесятилетний сын Иван, активный помощник ученого, двадцатичетырехлетняя дочь Анна, член большевистской партии с 1918 года, и тридцативосьмилетний сын Александр, сельский учитель.

Разумеется, не одни только горести и невзгоды выпали на долю этого человека, радости были тоже.

Удачная женитьба в двадцать три года («Семейная жизнь у меня шла гладко»). Варвара Евграфовна оказалась ему верным и терпеливым другом, помощником на протяжении всей его жизни, создавала дома уют, рабочую обстановку, воспитывала детей (всего их было семеро), занималась огородом и садом.

Была, еще в Боровске, встреча с прекрасным человеком — П. М. Голубицким (один из изобретателей русского телефона), который первым сообщил о нем в Москву и свел с профессором А. Г. Столетовым. В результате тридцатилетний провинциальный учитель сделал там доклад перед видными учеными на заседании Общества любителей естествознания. Пообещали перевести в Москву, но не состоялось... Была поддержка его деятельности Д. И. Менделеевым (замечу здесь, что за полтора десятилетия до того великий химик активно поддерживал работы Можайского), внимание к ней со стороны Н. Е. Жуковского.

В трудах общества в 1891 году были напечатаны первые две научные статьи Циолковского. На следующий год в Москве была напечатана первая книга — «Аэростат металлический управляемый». Потом еще около двух десятков публикаций по воздухоплаванию. Среди них большие работы «Простое учение о воздушном корабле и его построении», «Давление воздуха на поверхности, введенные в искусственный воздушный поток» (1898) и до сих пор поражающая своим провидческим содержанием статья 1894 года об аэроплане. В 1893 году приложением к журналу «Вокруг света» вышла первая космическая фантастическая повесть «На Луне», через два года — уже упомянутые «Грезы...».

Я так подробно задержался на этом жизненном рубеже ученого не только потому, что мне импонирует снимок, сделанный в 1902—1903 годах. Есть ведь и другие, не многим отличающиеся фотопортреты, скажем сделанный лет шесть-семь спустя... А потому, что 1903 год был особенным в жизни Константина Эдуардовича. В этот год вышла в свет его первая космическая статья «Исследование мировых пространств реактивными приборами».

Это был краеугольный камень в истории космонавтики, четверть века практи-

ческого развития которой мы отмечаем в октябре нынешнего года, через полмесяца после 125-летнего юбилея Циолковского.

Вернувшись в наши дни, хочется перевести разговор о портрете вот в какое русло. С тысяч живописных полотен, скульптур, рельефов, графических изображений, выполненных в самые разные времена и в самых различных манерах, на нас смотрит... один, одинаковый Циолковский. Преклонного возраста старик с белой бородой, со старческими мешками под глазами, мудрец со взглядом, устремленным в будущее, страстный борец за свои идеи.

Нет оснований оспаривать правдивость такого образа великого первооткрывателя. Циолковский действительно был таким или почти таким в последние годы своей жизни (он прожил семьдесят восемь лет). Несомненно и то, что образ этот несет в себе определенный, отчетливый символ.

Возникают, однако, вопросы. Не стал ли этот образ каноничным, не несет ли он избыток хрестоматийного глянца? Так ли уж он единственно возможен для массовой интерпретации? Или у гения, увы, нет иной судьбы?

Но ведь славная научная деятельность Циолковского продолжалась более полвека, и кульминацией ее вполне можно считать «Исследование мировых пространств...» 1903 года, когда он был еще далеко не старым человеком. И вообще он не всегда был мудрецом и провидцем. Это был вполне земной человек с живыми страстями, с полной драматизма жизнью, постоянно ищущий и нередко основательно ошибающийся, жизнерадостный, мучающийся, страдающий.

Должен признаться, что канонизация образа ученого, когда читаешь его труды, воспоминания и письма разных лет, вызывает странное чувство. Будто написал их совсем другой человек, не Циолковский. Во всяком случае, не тот Циолковский.

Воспоминания о Константине Эдуардовиче, вышедшие в Туле в 1971 году (сейчас готовится их переиздание), дополненные другими источниками и внимательным разглядыванием фотографий, позволяют представить некоторые живые черты его облика и характера.

Роста он был выше среднего (не очень определенно, конечно, но что интересно — разными людьми называется рост средний, выше среднего, высокий, так что осредним), немного сутулый, голова чуть закинута назад. Глаза карие, мечтательные, в которых легко отражалась вся гамма его чувств. Был он близорук, но очки на прогулках и при езде на велосипеде (судя по фотографиям) частенько не надевал.

В молодом возрасте и в последние годы бороду стриг коротко. Борода и волосы его были очень темными почти до шестидесяти лет. И в это нетрудно поверить, взглянув на его здравствующих внуков — пятидесятичетырехлетнего А. В. Костина (ни одного седого волоска) и шестидесятиоднолетнего В. Е. Киселева (тоже не скажешь, что седой), а ведь оба войну пережили.

Одевался на людях всегда «прилично» — черный сюртук, белая сорочка, — но манишек, высоких воротничков и манжет не носил. На улицу надевал шляпу или котелок, крылатку с застежками «львиная голова», брал зонт. С палкой ходил, видимо, редко. Дома же одевался просто.

Слегка картавил («р» не выговаривал) и вместо «и» иногда произносил «ы», говорил мягко, певуче. Глухота его временами колебалась. Не слишком тихую речь он в основном слышал. В поздние годы стал применять самодельные жестяные раструбы. Настоящего слухового аппарата у него никогда не было.

В общении был скромен, слегка стеснителен, но приветлив, даже простодушен. Доказывал всегда убедительно, легко, логично, прозрачно. Любил рассказывать о себе, о своей жизни и делал это отлично, предпочитая сводить ее к отдельным ярким эпизодам. Был остроумен.

Смеялся он часто, раскатисто, по-детски беспечно. Известен снимок, где Циолковский, ему уже под семьдесят пять лет, сидит, почесывая бороду, и смотрит в объектив с такой хитровой, наполненной доброй иронией усмешкой, что ясное дело — только что рассказал занимательную байку или смешную историю.

Близка ли была его речь по строю к его же письменным текстам? В последних фразы чаще короткие, рубленые, нередко весьма категоричные. В сочинениях ему свойствен отчетливы менторский тон, пророческие интонации. Выяснить это мне не удалось. Кое-кто считает, что близка. Но я все же думаю, что разговаривал он мягче и проще.

В сборнике воспоминаний есть подборка небольших заметок его бывших учениц-епархиалок. И вот что любопытно: одни пишут, что он никогда на уроках не повышал голоса и двоек не ставил, другие же (их большинство) вспоминают, что он нередко кричал, говорил резкости по поводу невыученных уроков и легко ставил двойки и единицы. Хотя так же легко соглашался на их исправление. В целом они оценивают его как учителя доброго, снисходительного и отходчивого, способного признать в своей неправоте и даже извиниться перед ученицей. Его любили. Вспоминают, что Циолковский при встречах с ученицами за пределами училища был очень любезен, почтителен и умел поддержать беседу. «Истинно славянский тип учителя», — как-то сказал о нем один современный ученый.

Контрастом на этом фоне выглядят рассказы его детей о высокой к ним требовательности, суровости, жесткости. От них он добивался повиновения и от своего «нет» никогда не отказывался. Но столь распространенных в те времена телесных наказаний никогда не применял, хотя кричал и в угол ставил надолго. Притом, как уже говорилось, детей своих он очень любил. Еще больше обожал своих внуков (их жило у него шестеро), часто играл с ними, читал им и был с ними предельно добр.

Детей и внуков своих он воспитывал в духе нетерпимости ко лжи, прививал культуру общения, вежливость. Еще очень ценил чистоту и аккуратность в одежде, за обеденным и рабочим столом. В семье у него никогда не было обычной для подобной семьи прислуги, все по дому делали Варвара Евграфовна и дети.

Очень он любил читать, особенно русских классиков, перечитывал их по многу раз. Из современников с особым уважением относился к Чехову (как-то сказал: «Хочу быть Чеховым в науке»), нравилась ему ибсеновская «Нора». Много читал поэзию, знал ее наизусть. Особенно Некрасова. Понравились ему строки из Бальмонта: «Пред будущим теперь мы только дети. Он — наш, он — наш, лазурный небосвод!»

В доме собралась большая библиотека, более полутора тысяч томов (два или три раза из-за пожара и наводнений он начинал ее собирать заново), большая часть — научная литература. Выписывал много журналов, сохранились номера 11 дореволюционных и 31 советских журналов, всего более 1200.

Собрал по подписке все 86 томов Брокгауза и Ефрона, часто пользовался этим прекрасным энциклопедическим справочником. А. В. Костин, директор Мемориального дома-музея К. Э. Циолковского в Калуге, журналист, прекрасный знаток биографии и творчества своего деда, показал мне на его страницах несколько любопытных карандашных пометок. Судьба энциклопедии была поистине драматической. В тяжелое военное время, после фашистской оккупации Л. К. Циолковская, старшая дочь ученого, его помощник и секретарь, а потом смотритель дома-музея, неожиданно променяла ее на килограмм масла. Более двадцати лет энциклопедия считалась утерянной. Но в 1964 году А. В. Костину удалось напасть на ее след в Смоленске и приобрести с помощью букинистического магазина, теперь она в доме-музее, в шкафу кабинета.

Он любил тихо напевать без слов и слушать музыку. Говорят о его приверженности к Чайковскому и Бетховену, к органной музыке. Возможно, это и так, хотя А. В. Костин выражает по этому поводу большие сомнения. Не будем идеализировать его память (ему было семь лет, когда дед умер). Он, например, говорит, что дед никогда не подходил к роялю и не интересовался им, в то время как в воспоминаниях его матери, игравшей на рояле специально для отца, говорится, что даже в детстве, до глухоты, он немного учился музыке и охотно брал аккорды на фортепиано.

Циолковский многое по дому делал сам, своими руками. Сам, без помощников готовил и проводил свои эксперименты. Паял, лудил, точил на токарном станке различные деревянные, делал себе инструмент. В музее на его письменном столе лежит лупа в простой, но изящной самодельной оправе. В саду никогда не работал. Только однажды посадил куст сирени. Мотоцикл и велосипед всегда чинил сам (на велосипеде научился ездить все в те же сорок пять лет, с мотоциклом быстро расстался). Строил парусные лодки, паровые машины и насосы. Содержал свою технику в порядке и чистоте. Ребятам мастерил игрушки, в том числе летающие и автоматические. Ловко показывал фокусы. Заметим, что электричество в его доме появилось только в 1931 году.

Зимой Циолковский регулярно катался на коньках, летом плавал в быстрой Оке, бегал с ребятами по саду и прыгал в высоту ножницами, мог (почти в семьдесят семь лет!) несколько раз подтянуться на перекладине. Вообще до самой смерти его мозг, сердце, сосуды, легкие были в отличном состоянии.

Умел он перевязать и зашить рану. Сам лечиться не любил, лекарств никаких не принимал, объясняя это своим взглядом на природу иммунитета, который, дескать, сохраняется лишь при самоизлечении.

До конца своих дней он сохранял работоспособность, ясность и энергию ума, доброе отношение к окружающим. Хотя последние годы его прошли в постоянных болезненных ощущениях, доставлявших ему большие страдания. Когда боли стали невыносимыми, просил себе вместо наркоза рюмку коньяка или рома (вообще-то всю жизнь он не пил и не курил). Умер он от рака...

Однажды Виктор Борисович Шкловский сказал мне о Циолковском: «У него был огород, велосипед, и он был гениальный человек». Смотрел он не только в небо, иногда его очень тянуло к земле, замысливал даже как-то перебраться на юг, к Черному морю и заняться там сельским хозяйством. А мысли его были устремлены не только вовне, но и внутрь — он углубленно постигал природу человека и общественных отношений.

Примерно таким был Циолковский. Очень глубоким и очень разным. Я не пытался «здесь сочинить его портрет», а лишь перечислил качества его натуры.

Чем мне нравится образ ученого, воссозданный поэтом Евгением Евтушенко в фильме Саввы Кулиша «Взлет», так это неканоничностью внешнего облика, острым нервом, непокоем души, которые чувствуются в каждом его слове и жесте. При этом постоянная и предельная сосредоточенность на своих мыслях и почти детская незащищенность от внешнего мира. Поражают его удивительно «зрячие» глаза, всепроникающий взгляд. В моем понимании он похож, очень похож. Вот только не помнится, чтобы Циолковский в фильме хотя бы раз рассмеялся.

Сама мысль Циолковского, ее логика переданы в фильме, мне кажется, очень точно. И не только по содержанию, но и по интонации. Здесь удачно работает прием закадрового голоса. Фразы, взятые из текстов Циолковского, не вкладываются ему в уста, а звучат как непосредственно возникающая мысль. Раздумья его масштабны и порой мучительны, в сфере их он сам и все человечество, быт семьи и судьбы мироздания одновременно.

Есть два наиболее распространенных стереотипа в житейской трактовке личности Циолковского. Согласно одному из них он гений, пророк, целиком принадлежит будущему и Вселенной. Тот самый, который смотрит на нее с канонических портретов. В соответствии с другим Циолковский — чудаки, фантазер, ученый-любитель, удачно предвосхитивший многие научно-технические решения. Как все стереотипы, как любые крайности, обе эти трактовки далеки от реальности.

Режиссер Кулиш счастливо, мне кажется, нашел путь к отказу от общепринятых точек зрения и, не войдя в противоречие с правдой, воссоздавая ее, утвердил свое, без сомнения, выстраданное понимание личности и идей Циолковского. Исполнитель разделил это понимание и помог донести до зрителя.

Не буду здесь рассуждать о фильме в целом, его наполнении и эстетической концепции: (кое к чему и в том и в другом душа моя не очень лежит). Однако замечу: свою задачу — показать Циолковского не просто человеком науки, но мыслителем (кстати, деятельным мыслителем, человеком с руками и сноровкой мастерового, это показано очень убедительно), до конца преданным своей жизненной идее, — создатели фильма разрешили успешно.

УМ И СТРАСТИ

Сколько бы мы ни убеждали себя, что человек творчества этим и интересен, нам всегда будет необходимо знать о нем больше, чем только это. Недаром столь велика читательская и зрительская тяга к встречам с «живыми» Пушкиным, Достоевским, Маяковским, Королевым... Впрочем, если литературными именами список этот можно продолжить значительно, то фамилия выдающегося ученого-организатора наверняка выглядит здесь неожиданной. Но почему?

Мы часто повторяем, что живем в век НТР, но нельзя сказать, что интерес к биографиям выдающихся людей науки и техники не уступает традиционному интересу к биографиям крупнейших деятелей культуры и исторических лиц. Можно, конечно, объяснить это тем, что биография не самоцель. Она призвана помочь постижению глубин творчества, а непосредственные, мол, связи научно-технической деятельности

с деталями частной жизни ее творцов не так уже очевидны. Тем не менее спрос на биографии создателей новых знаний и машин по крайней мере до конца 50-х годов был значительным.

Кажется мне, что все здесь проще. Среди авторов биографий ученых и инженеров в последние десятилетия, увы, почти не встречаются имена, близкие по масштабу к таким, как Тынянов, Андроников, Перцов, Эйдельман, Перрюшо. Сегодня у нас совсем немного писателей, по-настоящему глубоко и интересно работающих над жизнеописаниями людей науки. Спрос не только порождает предложение, но и порождается им.

Нельзя сказать, что литература о Циолковском бедна. Скорее наоборот, она грандиозна. Еще при его жизни, в 1931 году, вышла (в серии «Межпланетные путешествия») книга Н. А. Рынина «Русский изобретатель и ученый Циолковский». Через четыре года после смерти ученого в Москве в издательстве Аэрофлота (он был владельцем архива Циолковского) вышел сборник, в который вошло несколько его работ, включая мемуары, и очерков о нем. Открывался сборник автобиографией ученого «Черты из моей жизни», написанной в 1935 году.

В 1932 году вышла биография, написанная Я. И. Перельманом, в 1940 году — Б. Н. Воробьевым, после войны начали выходить книги А. А. Космодемьянского, в 1962 году в серии «ЖЗЛ» появилась книга М. С. Арлазорова, позже переизданная. Список биографий можно было бы продолжить. Не счесть количества опубликованных воспоминаний — книг, статей, заметок, сборников.

Разные существуют книги. Вот, например, в 1974 году «Детская литература» издала книгу К. Алтайского «Циолковский рассказывает...». К сожалению, она содержит немало фактографических ошибок и натяжек, хотя выходит во второй или третий раз.

Вот любопытные примеры. Здесь уже говорилось о музыкальных наклонностях Циолковского. Неудивительно, что им автор посвящает один из своих рассказов. И, судя по нему, оказывается, что, кроме любви к музыке, Циолковский имел... дар композитора. Однажды после прочтения узловской «Войны миров» он сочинил ни много ни мало... «Реквием». Музыку свою выучил наизусть, хотел с помощью местного композитора записать ее (нот он не знал), да передумал. У Алтайского мать Циолковского (помните, она умерла в его тринадцать лет) читала ему вслух Тургенева, Толстого и... Чехова. Очевидно, Чехова по крайней мере десятилетнего. И наконец, основной композиционный прием Алтайского заключается в том, что буквально все детали жизни и деятельности Циолковского автор книги слышит из уст самого ученого. Алтайский действительно несколько раз с ним встречался, но ведь известно, что человека, которому Циолковский доверил подробности всей своей жизни, не было и не могло быть. Для биографии реального исторического лица, мне кажется, такой прием недопустим.

Удивительная вообще это вещь — биография, научная ли, художественная. Как бы подробно и основательно она ни была сделана, проходит время — и она устаревает, даже если жизнь героя давно завершилась. И это понятно — со временем появляются новые факты, открываются новые тексты, меняются взгляды, суждения, критерии оценки, меняются, наконец, стиль и слог.

Жэззэловская биография, написанная два десятка лет назад замечательным исследователем и писателем-документалистом М. С. Арлазоровым, и сегодня читается с большим интересом. Однако на ней уже нельзя не увидеть отпечатка устаревших представлений. За прошедшие годы знания о жизни и творчестве Циолковского продвинулись вперед значительно.

Одна из лучших, на мой взгляд, книг о Циолковском написана калужанином С. И. Самойловичем — «Гражданин Вселенной», подзаголовок «Черты жизни и деятельности К. Э. Циолковского». Вышла она в 1969 году тиражом 15 тысяч. Нет, эта книга не биография, она не претендует на аналитичность и тем более на художественность, страдает она и неполютой. Но то, что в ней есть — тщательно документированный рассказ об основных этапах и фактах исследовательской и проектной работы ученого, — сделано очень хорошо. Особенно это касается малоисследованного послереволюционного периода.

Трудно сказать, реальна ли в одной книге биография такого уникального ученого и мыслителя, как Циолковский, которая включала бы в себя и исследовательское жизнеописание, и анализ его идей (как научно-технических, так и философских) в их развитии на фоне мировой и отечественной науки. Так или иначе, но сегодня по-

требность как в новой беллетризированной, «человеческой» биографии, так и в чисто научной назрела.

Удивительный феномен Циолковского всегда будет привлекать к себе внимание и потому требовать новых исследований. Какова природа творческой личности Циолковского? В чем причина его фантастического диапазона научных и технических интересов (даже биологи, физиологи и филологи, не говоря уж о техниках, естествоведниках и философах, считают его крупным представителем своих наук; оставил он яркий след в истории газотурбинных двигателей, аппаратов на воздушной подушке и пишущих машин)? В чем истоки разнообразия его методологических подходов к познанию — от сложных теоретических изысканий до опытного конструирования? Как это все соотносится с его мировоззрением? Из чего происходят и какова истинная ценность его теоретических построений в социологии и биосоциологии, в области этики и нравственности?

Еще в 40-е годы при Академии наук была создана Комиссия по разработке научного наследия К. Э. Циолковского, которую многие годы возглавлял академик А. А. Благонравов. Ученым секретарем в ней был великий подвижник в деле сохранения и изучения архива ученого, один из первых его биографов инженер Борис Никитич Воробьев. Деятельность, развернутая комиссией и лично Воробьевым, привела к первому академическому изданию трудов Циолковского уже в 50—60-е годы. В четырех томах были опубликованы основные работы по аэродинамике, космонавтике, воздухоплаванию, астрономии, биологии и технике.

Однако до сих пор не опубликованы многие крупные рукописи, которые хранятся в Архиве Академии наук СССР. Среди них, например (я думаю, уже перечисленные некоторых названий любопытно), работы на биологические темы — «Механика изменяющегося организма» (1882), получившая высокую оценку И. М. Сеченова, и «Влияние разной тяжести на жизнь» (1920); на темы освоения космического пространства — «Распространение человека в космосе» (1921) и «Этапы промышленности в эфире» (1923—1924); о существовании человека в космосе — «Условия жизни во Вселенной» (1920, 1924) и «Разум и звезды» (1921).

Большой массив рукописей на мировоззренческие и социологические темы также ждет своего опубликования вместе с обстоятельными научными комментариями, например: «Этика, или Естественные основы нравственности» (1902—1903), «Идеальный строй жизни» (1917), «Теоремы жизни» (1929), «Необходимость космической точки зрения» (1934), «Космическая философия» (1935).

Все эти работы вполне доступны исследователям в архиве, обильно ими цитируются. Но, повторяю, комментированное их издание необходимо. Так же как и переиздание некоторых ранее опубликованных работ: «Нирвана» (1914), «Горе и гений» (1916), «Воля Вселенной. Неизвестные разумные силы» (1928), «Причина космоса» (1928), «Будущее Земли и человечества» (1928), «Ум и страсти» (1928), «Любовь к самому себе, или Истинное себялюбие» (1929), «Научная этика» (1930), «Монизм Вселенной» (1931). Быть может, специалисты сочтут достойным издание или переиздание не всех названных мною работ и предложат другие. Важно, чтобы наиболее ценные рукописи Циолковского наконец увидели свет.

То же следует сказать о его эпистолярном наследии. Известно, что Циолковский имел переписку с огромным количеством корреспондентов — более 900. Среди них Менделеев, Столетов, Жуковский, Ветчинкин, Перельман, Рынин, Цандер, Лангемак, Кондратьев, Клейменов, Глушко, Оберт, Кассиль, Беляев и многие другие ученые, литераторы, кинематографисты, журналисты, инженеры, педагоги, а также его родные. Переписка Циолковского находится в стадии подготовки к изданию уже многие годы, и, на мой взгляд, нет никаких объективных препятствий к завершению этой работы. Нельзя допустить, чтобы переписка Циолковского, как и многие его неизданные или редкие работы, была доступна только тем, кто имеет возможность работать в архивах. Это сдерживает фронт исследования, делает эту область знаний узкой, элитарной.

Вот уже семнадцать лет подряд каждый год без исключения в сентябре, поближе ко дню рождения Циолковского (17 сентября), в Калуге проводятся крупные конференции. Называются они весьма длинно — Чтения, посвященные разработке научного наследия и развитию идей К. Э. Циолковского. (Название, сдается мне, слегка отдает бюрократической нашей страстью к абсолютно точным формулировкам. Куда проще, да и в общепринятом стиле было бы: Циолковские чтения.)

Чтения в Калуге ежегодно собирают по 300—400 специалистов из самых различных областей ракетно-космической техники, авиации и воздухоплавания, механики, астрономии, биологии и космической медицины, философии, социологии, прогнозирования, истории, психологии, педагогики. Всех тех областей, в которые вложил свою творческую энергию Циолковский, которые изучают и развивают его идеи.

На пленарных и секционных заседаниях Чтений (секций всего 8) заслушивается несколько десятков докладов (в последние годы более 100), за все годы их состоялось уже более 1500, не считая сообщений и выступлений в проблемных симпозиумах и прениях. Каждый год секции издают свои сборники докладов, всего этих книжек теперь уже около сотни. Не знаю, есть ли у нас в стране столь же масштабный и столь же регулярный научный форум. Удивительно, что популярность его и у исследователей и у слушателей с годами только растет. Залежи оказались неисчерпаемыми. Сам Циолковский наверняка был бы потрясен, узнав о популярности и жизнестойкости этих Чтений.

В ходе Чтений наряду с заседаниями проводятся художественные выставки, тематические, юбилейные и просто дружеские вечера (сказал бы «банкет», да очень уж скомпрометировано это слово, тем более что вечера эти весьма скромны). Традиционны еще более камерные чаепития в доме Циолковского.

И все это — в замечательном русском городе, законно гордящемся не только Циолковским, но и А. Л. Чижевским (он жил здесь в 10—20-е годы), своими древностями и ампиром, своим машиностроением и спичечно-мебельным «Гигантом», «калужским вариантом» бригадного подряда.

Организуют и проводят все это ширшество науки и общения едва ли два десятка человек — сотрудники Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского (ГМИК) и сектора истории авиации и космонавтики Института истории естествознания и техники Академии наук СССР. Душа и стержень этого действия, несящего, по существу, круглогодичный характер (подготовка, издательская деятельность, с десятком раз в году собирается оргкомитет), — Виктор Николаевич Сокольский.

Человек он редкостный, с удивительной памятью и работоспособностью. Кажется, нет ни одного факта в истории космонавтики и ракетно-космической техники, даже ни одной его трактовки, ни одной публикации и ни одного специалиста, когда-либо работавшего в этой истории, которых бы он не знал. При этом никто никогда не видел, чтобы он что-нибудь записывал.

Такое впечатление, что Сокольский в истории авиации и космонавтики был всегда. Знают его в этой области (и в истории и, собственно, в технике) буквально все. Историки относятся к нему с уважением и даже преклонением. Это притом, что расточать похвалы и комплименты он не любит, отзывов и рецензий не пишет, лично свою в оргделах ведет всегда упрямо и до конца (впрочем, действуя с талейрановской дипломатичностью), радоваться новым идеям не торопится, весьма строг с подчиненными, сдержан с начальством, да и вообще внешнего обаяния не излучает. К тому же в гости он как будто ходить не любит, друзей-приятелей особо не культивирует, застолий избегает, не курит и не пьет вина. Костюм с галстуком надевает только для самых торжественных президиумов.

Едва ли кто на полях своей, прочтенной им рукописи (а через него их проходит астрономическое количество) сможет обнаружить хоть одно слово, написанное его рукой, — только маленькие и покрупнее точки, коротенькие линии, еле видные, нанесенные мягким карандашом. И никаких там энергичных подчеркиваний текста или кричащих восклицательных и вопросительных знаков, столь любимых иными научными деятелями. Зато по каждой точке или черточке автор получит исчерпывающее объяснение.

И еще очень не любит он ставить где бы то ни было свою подпись, хотя деловых бумаг сочиняет кучу. С большим трудом, кажется, и едва заметно расписывается даже в платежных ведомостях. Впрочем, абсолютный бесребреник.

Вот такой человек вершит делами Циолковских чтений. Константин Эдуардович, конечно же, был ему благодарен. Только вот подружились бы они?

При всей значимости Чтений стоит все же заметить, что второй их задаче — развитию идей — уделяется несравненно больше внимания, раз во сто больше, чем первой — разработке наследия. Это естественно, но не до такой же степени. Может быть, разработка — уже пройденный этап? Да нет, пожалуй. Я уже говорил о

белых пятнах и нерешенных вопросах. Неактуально? А можно ли говорить о неактуальности пушкиноведения?..

Недавно в ГМИКе в Калуге приступили к разработке хронографа — подробной (по дням) хронологии жизни и деятельности ученого. Выяснилось, что нет сведений не только о многих днях, но о неделях и даже месяцах. В период с конца 1890-х годов до Октябрьской революции многое вообще как бы скрыто в тумане. Последовательность работы над опубликованными статьями и брошюрами, «взаимоотношения» их между собой и многочисленными рукописями, с событиями жизни ученого иногда еле угадываются.

В последние годы интерес к крупным творческим личностям все более переходит рамки обстоятельств их жизни и вторгается в сферу их психологии, внутренней организации. Сейчас много занимаются исследованием резервных возможностей человека. Чаще под ними понимаются только биологические ресурсы, но в более общем случае также мыслительные, интеллектуальные. Изучение уникальных личностей становится необходимым, оно помогает лучше понять природу возможностей людей «обычных», еще не раскрывших всех резервов своего организма.

Четыре с лишним года назад вместе с профессором М. Г. Ярошевским мы вели небольшой симпозиум, посвященный проблеме роли личностной (индивидуальной) психологии в зарождении новых направлений науки и техники. Обсуждалось значение важнейших качеств и мотивов деятельности лидеров новых направлений — специальных знаний и общей эрудиции, склада и стиля мышления, организаторского таланта и фантазии, честолюбия и воли, отношения к авторитетам и научным идеалам. Интересная дискуссия возникла вокруг вопроса о проявлении крайне незаурядных натур в создании новых знаний и машин. Несколько содержательных выступлений специалистов было посвящено Циолковскому. В одном из них была попытка проанализировать природу его призвания и одержимости, причем показано, что Циолковский имел «призвание мысли», но не действия. Последнее же проявлялось в некоторых случаях как дилетантизм.

Думается, что дилетантизм такого рода — подкрепленный развитым, активным мышлением, глубоким проникновением в теорию вопроса, богатой фантазией и интуицией — обладает своими достоинствами. Он позволяет значительно легче преодолевать барьер непознанного, не робеть перед сложностью задач и находить неожиданные их решения. Недаром наиболее дальновидные лидеры в разных творческих сферах нередко в поисках выхода из тупика ориентируются на помощь дилетантов.

Циолковский если и был дилетант, то великий дилетант. Потому что даже в своих «действиях», скажем аэродинамических экспериментах, при некоторых методических недостатках (например, малый диапазон изменения воздушного потока, низкая точность замеров) он сумел получить выдающиеся результаты.

На симпозиуме выступал один из ветеранов нашей медицинской науки, который в 30-е годы участвовал в обширном исследовании личностных характеристик Циолковского путем опроса его родственников, знакомых, лечащих врачей (всего около 20 человек). Ученый пришел к выводу, что Циолковский обладал вполне обычным, весьма распространенным конституционально-генетическим складом личности. Склад этот характеризуется погруженностью во внутреннюю жизнь, отстраненностью от внешнего мира, эмоциональной холодностью, повышенной ранимостью, преобладанием абстрактного мышления. По мнению того же ученого, Циолковский был весьма противоречивой, негармонической личностью, что тоже распространено, особенно среди творческих людей. В нем тесно сосуществовали, например, доброта и деспотизм, скромность и самореклама. Исследование показало, что с получением достаточного признания трудов и заслуг характер Циолковского заметно улучшился.

На том же симпозиуме было отмечено, что Циолковский обладал уникальной способностью к точности суждения, видением и пониманием в науке нового и перспективного, наконец, способностью избегать лишнего, мешающего творчеству преклонения перед авторитетами (а он прекрасно знал работы многих своих могучих предшественников и современных светил, только ссылки в своих текстах ставить не любил — чтобы излишне не затруднять понимание материала читателем).

В изучении личности ученого очень важны поиск и объяснение истоков жизненной установки. Комплексно в отношении Циолковского такая работа пока не проводилась. Но изучение отдельных вопросов уже дало интересные результаты. Вот пример,

Со слов самого Циолковского в литературе возникло суждение, что глухота, отняв у него несколько лет детства и отрочества, самым прямым и положительным образом сказалась на возникновении его научных устремлений, на его творческом потенциале («Если бы я не оглох... пошел бы по проторенной дорожке. Кончал бы разные курсы, служил, делал карьеру...») Здесь прерву цитату, чтобы напомнить Пушкина: «Податру б в сорок лет имел, пил, ел, скучал, толстел, хирел...» У Циолковского дальше: «Но что же сделала со мной глухота? Она заставила страдать меня каждую минуту моей жизни... Это углубляло меня в самого себя, заставляло искать великих дел, чтобы заслужить одобрение людей...»).

Получается, что основной запас научного честолюбия у Циолковского — результат дефекта здоровья. Но действительно ли это так?

Специалисты-медики Л. М. Сухаревский и Ф. П. Космолинский исследовали вопрос и пришли к выводу, что Циолковский несколько преувеличивал роль глухоты в своем творческом развитии. В основе последнего, по их мнению, лежит огромный интерес к жизни, к ее тайнам, проявлениям, сущности, законам. Исходя из этого, а также в связи со сложными жизненными обстоятельствами у него сформировалась ведущая идея о счастье всего человечества, отличавшаяся значительной стойкостью. Возник физиологический феномен доминанты (термин А. А. Ухтомского), играющий важнейшую роль в деятельности большинства выдающихся людей. И вообще, считают ученые, дефект здоровья, в частности слуха, чаще всего ведет к снижению творческих возможностей личности. Очень интересное суждение. Хотя, наверное, изучение этого вопроса нельзя считать завершенным.

«ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ...»

Напомню сначала факт. В пятом, майском номере за 1903 год научно-философского и литературного журнала «Научное обозрение» была помещена статья Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Журнал этот выходил в Петербурге и был весьма читаемым российской интеллигенцией, серьезным, совсем даже не научно-популярным. Основателем-редактором его был магистр химии и доктор философии Михаил Михайлович Филиппов. Журнал был толстым — до 300 страниц мелкого шрифта, не считая приложения.

Статья Циолковского занимала 31 страницу. Кроме того, были напечатаны вступление к «Заветным мыслям» Д. И. Менделеева, перевод статьи «Вопросы этики и вопросы хозяйства в истории» профессора Л. Brentano, окончание работы Г. В. Плеханова «Сен-Симон и сен-симонизм» (под псевдонимом Х. Инсаров), небольшая статья «Трудовая теория ценности и ее критики» экономиста А. Финна, первая часть «Философских писем» самого М. Филиппова («Творчество личности»), а также литературные «критики» Мейера «Немецкая литература в XIX столетии», Е. Аничкова о рассказах Куприна, Бунина, Короленко, Телешова, Серафимовича и Юшкевича, а также статья С. Москаленко «Загадка Шекспира». Во втором отделе — полсотни страниц прозы, драмы и поэзии.

Следует добавить, что в предыдущих номерах «Обозрения» печатался Владимир Ильич Ленин под псевдонимами В. Ул., В. Ильин, Владимир Ильич, а также переводы из Маркса и Энгельса. Публиковали в журнале свои статьи Вера Засулич и Александра Коллонтай, а также многие известные ученые — естествоиспытатели и историки. Понятно, что при таком подборе авторов издание пользовалось большим интересом в среде социал-демократического движения и не меньшим вниманием в государственных органах, призванных пресекать всяческую крамолу.

На первый взгляд кажется неожиданным, что статья Циолковского по проблеме не просто не актуальной, но весьма по тем временам далекой от интересов научной общественности оказалась в таком солидном журнале. Но это только на первый взгляд, журнал регулярно публиковал статьи по естественным наукам, включая астрономию и воздухоплавание.

Связи Циолковского с журналом возникли по крайней мере за шесть лет до ее публикации. Еще в 1897 году в № 7 было помещено изложение (на шестнадцати страницах) его доклада, зачитанного ранее на Нижегородском кружке любителей физики и астрономии, — «Продолжительность лучеиспускания Солнца. Давление внутри звезд и сжатие их в связи с упругостью материи». Вполне возможно, что журнал этой публикацией хотел в какой-то мере реабилитироваться за предоставление в 1895 году

своих страниц для уже цитировавшихся здесь обидных высказываний в адрес злосчастных «Грез...».

В № 10 за 1900 год была помещена большая статья Циолковского «Вопросы воздухоплавания», в которой он подверг критическому рассмотрению доклад и труды Воздухоплавательного отдела Русского технического общества и изложил свою идею цельнометаллического дирижабля. Потом в приложении к № 12 была помещена статья «Успехи воздухоплавания в XIX веке», в которой Циолковский оспаривал преимущества аэропланов перед управляемыми аэростатами. В следующем, 1901 году журнал привлек Константина Эдуардовича в качестве рецензента, им были основательно раскритикованы две книги на ту же тему, изданные в Харькове и Астрахани. Наконец, в 1902 году журнал поместил письмо Циолковского по поводу состоявшегося в 1901 году облета А. Сантос-Дюмоном на дирижабле Эйфелевой башни в Париже. Это был первый зарегистрированный официально управляемый полет аэростата (пролетев вокруг башни, он вернулся в точку старта), событие в развитии летного дела этапное. Проведенный расчет дал Циолковскому основание заявить, что «в отношении самостоятельной скорости аэростаты опередили аэропланы».

Итак, к 1902 году Циолковский вошел в круг постоянных авторов «Научного обозрения», существование которого несомненно является ярким фактом в истории русской культуры.

Новая рукопись поступила в журнал, по-видимому, в конце 1902 года. Было у Филиппова намерение напечатать ее в февральской книжке, но цензура долгое время не давала разрешение. Известен рассказ Бориса Михайловича Филиппова, сына издателя, писателя и многолетнего директора Центрального дома литераторов, о том, что разрешил ситуацию Д. И. Менделеев, который посоветовал издателю сослаться на необходимость ракет Циолковского для праздничных фейерверков в честь государя. Помогло.

Хотя в заголовке новой статьи Циолковского упоминались мировые пространства, разговор о них в тексте возникает далеко не сразу. Сказалась практичность, предусмотрительность автора — не отпугнуть бы читателя слишком «неземным» замыслом. Исходной задачей он поставил уже давно привлекавшее ученых «поднятие в высоту с помощью воздушных шаров... автоматически наблюдающих приборов». Показав с помощью расчетов, что шар любых размеров не может подняться выше чем на «какие-то 25 верст», Циолковский неожиданно высказывает суждение, что «за пределы атмосферы» («200—300 километров» — очевидно, по имевшимся в его распоряжении оценкам) поднятие «совсем немислимо».

Какие приборы и зачем их поднимать так высоко, автор ничего не говорит и тут же переходит к «другой идее поднятия — с помощью пушечных ядер». По-настоящему, почему вдруг пушка, — романами Жюль Верна тогда зачитывалась вся Россия. Новый расчет показывает, что для достижения высоты 300 километров требуется пушка длиной чуть ли не с башню Эйфеля, а главное, «кажущаяся тяжесть в ядре», то есть перегрузка, составит более 1000 единиц «Едва ли какой физический прибор выдержит подобное давление», да и вообще «найдется много других препятствий для употребления пушек».

И вот далее появляется фраза, значение которой в истории науки трудно переоценить: «В качестве исследователя атмосферы предлагаю реактивный прибор, то есть род ракеты, но ракеты грандиозной и особенным образом устроенной. Мысль не новая, но вычисления, относящиеся к ней, дают столь замечательные результаты, что умолчать о них было бы большим грехом».

Почему род ракеты, а не ракета? Это теперь, услышав слово «ракета», каждый представляет себе нечто очень сложное, огромное, серебристое, устремленное ввысь, десятки людей и машин вокруг, в момент старта — царство пламени и дыма, уходит ввысь, послушная воле человека и автоматов. А тогда хотя понятие «ракета» и было весьма обыденным, смысл имело единственный — простейший пороховой снаряд, используемый для фейерверков, сигнализации или в качестве спасательных средств («Долго я на ракету смотрел, как все: с точки зрения увеселений и маленьких применений»). В разные, былые и недавние, времена применялись, как известно, и боевые ракеты. Но принципиально они мало отличались от всех прочих, да и размерами не поражали воображение, в редких случаях вес их достигал нескольких десятков килограммов.

Это все ладно, дело достаточно известное. Но вот почему «мысль не новая»? Это сегодня историки ракетной техники осведомлены о нескольких более ранних проектах и идеях ракетных летательных аппаратов. Но ведь когда Циолковский писал свое «Исследование...», ничего этого широкой научной общественности известно не было. Если не считать широкоизвестный «проект» достижения Луны с помощью ракет, предложенный французским поэтом Сирано де Бержераком в середине XVII века. Впрочем, Сирано не отдавал предпочтения этому перспективному способу перед многими другими, включая, к примеру, стаю гусей.

Только в 1918 году впервые был опубликован проект Николая Ивановича Кибальчича, казненного вместе с другими народовольцами в 1881 году. Кибальчич назвал свой ракетный аппарат воздухоплавательным прибором, о полетах на очень большие высоты и в мировые пространства он, по-видимому, не думал. Стоит здесь напомнить о принципе двигательной установки, предложенной в этом проекте. В камеру сгорания должны последовательно подаваться шашки твердого взрывчатого вещества, истечение продуктов сгорания которого создает реактивную силу. Впервые ракетодинамический принцип был предложен для летания.

В конце 20-х годов специалистам стало известно забытое на десятилетия имя немецкого изобретателя Германа Гансвиндта, который в начале 1890-х годов начал публично выступать с лекциями о проблеме космического полета. В 1899 году была опубликована его работа «О важнейших проблемах человечества», которая даже в Германии в свое время не была замечена. А у нас в стране о ней стало известно только в... 1973 году. В ней Гансвиндт предложил ракетный корабль для полетов к планетам, рассмотрел некоторые особенности такого полета и предложил несколько технических идей. В качестве двигателя для своего космического корабля Гансвиндт предложил точно такую же схему, что была у Кибальчича. Не правда ли, неожиданное совпадение? Некоторые даже не верят в него и высказывают самые неожиданные гипотезы. Например, что идея Кибальчича могла попасть в Германию через царскую семью.

Ну что на это сказать... В истории космонавтики, как, наверное, и вообще в истории, обнаруживается так много невероятных совпадений, что просто диву даешься. На то они и великие проблемы, что размышляют над ними одновременно многие умы в разных уголках земли. Вот хотя бы такие любопытные детали. Родился Гансвиндт на год раньше Циолковского и прожил столько же лет, сколько Константин Эдуардович. В начале 1880-х годов Гансвиндт занимался проектированием... управляемых дирижаблей. При желании можно увидеть и другие сходства в их биографиях.

Что касается предложения Гансвиндтом ракетодинамического принципа для полета в космос на несколько лет раньше выхода «Исследования мировых пространств...», то ему историки, включая западных, большого значения не придают. Во-первых, Гансвиндт реального средства для космического полета не нашел, во-вторых, он не дал никаких теоретических расчетов, а в-третьих, выпустив свою работу, практически проблемами космонавтики заниматься перестал. Почему? Очевидно, не был достаточно уверен в своих идеях.

Итак, ни Кибальчич, ни Гансвиндт в свое время Циолковскому известны не были. Но какие-то корни должны были быть у «Исследования...»! Не мог же он ни с того ни с сего взяться за расчеты ракеты.

И действительно, сам Циолковский позже со всей определенностью заявил, что толчком для него послужила вышедшая в 1896 году в Петербурге работа А. П. Федорова «Новый принцип воздухоплавания, исключаящий атмосферу как опорную среду». В тоненькой брошюрке (16 страниц) одна картинка: схематическое изображение цилиндрической трубы с кожухом, открытой с одной стороны. В трубу через кожух подается сжатый газ. По соображению автора истечение газов создает реакцию, и труба «получит стремление двигаться по своей оси». Аппарат полетит. Вот почему «мысль не новая»!

Позже Циолковский писал: «Книжка показалась мне неясной, так как расчетов никаких не дано. А в таких случаях я принимаю за вычисления самостоятельно — с азав. Вот начало моих теоретических изысканий о возможности применения реактивных приборов к космическим путешествиям».

Итак, все пошло с книжки Александра Петровича Федорова, петербургского студента (ничего другого о нем пока не известно). Но так ли уж она была единст-

венным импульсом к работе над «Исследованием...»? Почему-то Циолковский ~~ни~~ тогда, ни потом ни разу не вспомнил другого автора, сыгравшего в подходе к проблеме не меньшую роль, — самого себя, написавшего еще в начале 1883 года в Боровске обширную работу, озаглавленную «Свободное пространство».

Почти два месяца создавалась она в форме научного дневника. После чего 142 бумажных листка были сброшюрованы в 12 тетрадок. Циолковский никогда не пытался опубликовать ее, называя юношеской. Издана она была только в 1954 году.

Шаг за шагом рассматривает Циолковский поведение живых и искусственных объектов в среде без силы тяготения. Конечно, в земной действительности такой среды не существует. Но в межзвездном пространстве при известных допущениях силы тяготения можно считать практически равными нулю. Такое пространство можно считать свободным. Сейчас мы говорим просто — условия невесомости.

Исследуя условия перемещения в свободном пространстве, Циолковский размышлял так: если небольшую часть движущегося тела (он назвал ее опорой) оттолкнуть пружиной в какую-то сторону («...подобно выстрелу снарядом из пушки»), то основная часть тела соответствующим образом изменит направление и скорость движения. По Ньютону, так сказать. А далее уже «по Циолковскому»: имея много опор, можно менять направление и скорость много раз. Но ведь опора может быть не только твердым телом, но и жидкостью или газом. И наконец, тело можно представить в виде бочки, наполненной сжатым газом и имеющей в разных местах несколько кранов. Открывая по одному или несколько кранов, можно получить изменение направления и скорости движения бочки, а также вращение ее вокруг центра масс.

И тут Циолковский обращает внимание на решающий момент: любое неравномерное или криволинейное движение «сопряжено в свободном пространстве с непрерывною потерей вещества (опоры)».

До вычислений, сделанных в «Исследовании...», остался один шаг. Но чтобы сделать его, понадобилось полтора десятилетия. Все основные расчеты космической ракеты Циолковский проделал в 1897—1898 годах. Когда был написан текст «Исследования...», сказать точно невозможно, по-видимому (окончательный вариант) только к концу 1902 года.

Дается описание снаряда, предназначенного для размещения людей со всеми необходимыми запасами и оборудованием. Кроме того, в снаряде имеется «большой запас веществ, которые при своем смешении тотчас же образуют взрывчатую массу. Вещества эти, правильно и довольно равномерно взрываясь в определенном для того месте, текут в виде горячих газов по расширяющимся к концу трубам, вроде рупора». Все это не что иное, как описание жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) — основного типа двигательной установки современных космических ракет и кораблей.

Может быть, это естественное, тривиальное решение и особой заслуги Циолковского, впервые предложившего ЖРД для заатмосферных полетов людей, нет?

Американский ученый и конструктор Роберт Годдард (это уже из следующего поколения пионеров космонавтики, он родился в 1882 году) пришел к схеме ЖРД в 1909 году, в 1914 году запатентовал ее. В тот же год, предварительно сделав теоретические выкладки и расчеты, он решил приступить к практическим экспериментам с целью создания ракеты для подъема приборов на высоту. (Удивительно, но его первая теоретическая работа, опубликованная в 1920 году, начиналась почти точь-в-точь как у Циолковского: «Поиски методов подъема регистрирующей аппаратуры за пределы, доступные зондирующим баллонам (около 20 миль), привели автора к разработке основ теории действия ракеты...»)

Так вот, Годдард вплоть до 1922 года считал, что практической высотной ракетой (а может быть, и космической) будет... твердотопливная ракета с перезаряжающейся в полете камерой сгорания. То есть опять же знакомый нам принцип. Теперь мы можем именовать его как схему Кибальчича — Гансвиндта — Годдарда. Из них Годдард был единственным, кто конструировал и испытывал такую ракету. Целых пять лет начиная с 1917 года он безуспешно бился над своей «многозарядной ракетой» (или «пулеметом, стреляющим «вниз»), но потом сдался и стал конструировать жидкостную ракету. Весной 1922 года он провел первое испытание ЖРД, а ровно через четыре года им была впервые успешно запущена жидкостная ракета простейшей конструкции. Поднялась она на высоту 12,5 метра.

Так что уверенное обращение Циолковского к идее жидкостной ракеты в работе 1903 года можно смело считать пионерским.

Но был ли Циолковский изобретателем принципа жидкостного ракетного двигателя и ракеты с ним? Вообще говоря, среди многочисленных проектов реактивных летательных аппаратов XIX века долгое время этот принцип в чистом виде не встречался.

Но вот в 1957 году в научный оборот в нашей стране вошли документы о деятельности русского авиационного специалиста инженера Сергея Сергеевича Неждановского, умершего в 1940 году в девяностолетнем возрасте. Оказывается, еще в 1882—1884 годах он нарисовал и подробно описал схему ЖРД. Кстати, в рукописях Неждановского была найдена также схема порохового ракетного двигателя, действующего по принципу «магазинных ружей», которая за год до того уже была проработана Кибальчицем.

Через полтора десятка лет дата старта идеи ЖРД отодвинулась еще на десятилетие. В 1971 году было опубликовано описание летательного аппарата с ракетным двигателем, работающим на однокомпонентном жидком топливе, которое было приведено в «Мемуарах по аэродинамическому движению» испанского исследователя Г. Ариаса, вышедших в 1872 году.

Но и это еще не все. В 1927 году в перуанской столице Лиме был напечатан подробный рассказ некоего Педро Паулета о том, как он в 1895 году, будучи студентом в Париже, провел там стендовое испытание ЖРД. Столь запоздалое признание можно было бы вообще игнорировать, если бы он не дал вполне реалистичного описания схемы двигателя, испытательного стенда и полученных результатов. И это за три года до появления в печати первых сообщений о подобных испытаниях в Европе и за девять лет до публикации сведений о работах Годдарда. Историки единодушно отказываются верить Паулету, но почти никто не забывает упомянуть о нем.

Так или иначе, но все три этих факта — так сказать, объективная история, они существовали (если существовали) сами по себе, вне связи друг с другом и с последующими событиями. И потому не могли оказать равным счетом никакого влияния на развитие ракетной техники XX века. До некоторой степени так было поначалу и с жидкостной ракетой Циолковского, но лишь до некоторой степени.

Дело в том, что пятый номер журнала «Научное обозрение» за 1903 год разошелся не полностью. В июне произошла трагедия — издатель журнала Филиппов погиб от взрыва в своей химической лаборатории. Полиция наложила арест на бумаги редакции, а затем, обнаружив в последнем номере «крамольную» статью Финна, конфисковала оставшиеся экземпляры номера. Журнал прекратил свое существование.

Но эта причина, на мой взгляд, была не единственной, почему статья Циолковского не дошла до своих читателей. Все-таки журнал отдавал свои страницы, кроме литературы, более всего естественным и гуманитарным наукам. Поэтому мало кого могла привлечь статья хотя и связанная с прикладной механикой, но больше все же техническая.

Однако нет оснований утверждать (а это часто делается), что «Исследование...» 1903 года замечено не было. Известно, что в конце 1904 года оно читалось вслух на уроке преподавателем космографии в рижском реальном училище. Среди слушателей был Фридрих Артурович Цандер — будущий выдающийся теоретик и практик жидкостно-ракетной техники.

Значит, можно говорить о цепочке: Циолковский — «Исследование мировых пространств...» — Цандер. А далее звенья хорошо известны: Королев, ГИРА, первый спутник, первый человек в космосе.

Но вернемся к содержанию статьи 1903 года. Циолковский сделал вывод уравнения движения ракеты — получил логарифмическую зависимость между отношением начальной ее массы к конечной (то есть, по существу, запасом топлива), скоростью истечения продуктов сгорания, то есть эффективностью топлива, и скоростью полета ракеты. Однако, получив это уравнение самостоятельно, он и тут не был первым.

Дело в том, что еще в ноябре 1897 года в Петербурге была опубликована диссертация И. В. Мещерского «Динамика точки переменной массы». Рассмотрев в качестве примера вертикальный полет ракеты, Мещерский вывел уравнение ее

движения. Но вообще говоря, его, механика, ни ракеты, ни полеты, видимо, не волновали.

Стоит здесь заметить, что первые известные попытки описания полета ракеты с помощью формул были предприняты еще в самом начале прошлого века англичанином У. Муром. В книге, напечатанной в 1810 году, была дана логарифмическая зависимость между начальной массой ракеты, массой топлива, скоростью и высотой, или дальностью, полета. Через пятнадцать лет дал свои уравнения француз Монжери. Это была эпоха знаменитых боевых ракет У. Конгрева, который, однако, вполне обходился без теории.

Получив свою формулу и применив ее к хорошо известному тогда из теории высокоэффективному жидкому топливу — смеси водорода и кислорода, — Циолковский произвел расчет космической ракеты: «Если отношение масс будет 3, то уже получится по израсходовании всего запаса такая скорость снаряда, которой лишь немного недостает для того, чтобы он мог вращаться за пределами атмосферы, вокруг Земли, подобно ее спутнику»; и далее: «При отношении, равном 6, скорость ракеты почти достаточна для удаления ее от Земли и вечного вращения вокруг Солнца в качестве самостоятельной планеты... Возможно достижение пояса Астероидов и даже тяжелых планет». Вот теперь на страницах 15 и 16 статьи Циолковский полностью раскрыл свои карты. Главнейшей сутью его замысла было выяснение возможности осуществления с помощью ракеты межпланетных путешествий.

ПОДАРИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ КОСМОС

Это был, конечно, только первый подход к проблеме («Я несколько не обманываюсь и отлично знаю, что не только не решаю вопроса во всей полноте, но что остается поработать над ним в 100 раз больше, чем я поработал. Моя цель возбудить к нему интерес, указав на великое значение его в будущем и на возможность его решения...»). Первый, но решающий («...в далеком будущем уже виднеются, сквозь туман, перспективы до такой степени обольстительные и важные, что о них едва ли теперь кто мечтает»).

Итак, великим достижением Циолковского стало то, что он впервые соединил задачу о космическом полете с реальным средством его осуществления — жидкостной ракетой. И дал этому теоретическое обоснование.

Вот теперь можно вновь поставить вопрос об истоках «Исследования...», поскольку они, как выясняется, лежат совсем даже не в области средства (жидкостная ракета), а в области цели (межпланетные полеты). Поскольку многие вехи на пути от этих истоков нами уже рассмотрены, осталось добавить к ним некоторые этапы, собрать все воедино. Пройдем по уже раскрученной спирали (предыстория ЖРД) с самого начала.

Первым шагом к «Исследованию...» была прекрасная юношеская идея «применить центробежную силу для того, чтобы подняться за атмосферу, в небесные пространства» (Москва, семнадцать лет). Машина была придумана, был восторг на всю ночь, а затем разочарование. Автор идеи понял, что система замкнутая и переключаться не сможет. Теперь это понятно каждому школьнику.

Следующий шаг — «составление астрономических чертежей», которыми Циолковский занимался в Рязани летом 1878 года. Всего сохранилось 9 листов, испещренных разнообразными схемами и формулами. На одной из них — планета Сатурн с кольцами. Рядом нарисована небольшая планета, на которой изображены человек и разные предметы, все это явно в условиях невесомости. Автору двадцать один год.

Далее идет рукописная тетрадка с рисунками, формулами и расчетами на темы космических полетов, датированная 1879 годом. В 1923 году Циолковский написал на ней подробные пояснения.

После этого возникает уже известная нам работа «Свободное пространство» (1883). В тексте от 9 апреля замечательный рисунок и разъяснение его смысла. «Вообразим... стальной шар, могущий выдержать давление заключенного в нем воздуха... снабжен многими круглыми отверстиями... служащими окнами... закрыты толстыми прозрачными стеклами... Одно целое вместе с заключенными в нем одушевленными».

ми и неодушевленными телами... Укреплены два прибора. Один, вроде пушки, служит для того, чтобы отбрасывать ядро по направлению меридиональной оси... Отбрасывается... порохом или другим взрывчатым веществом... Пушка служит для перемещения всего снаряда по прямой линии на неопределенно большое расстояние; второй же прибор служит для удаления путешественников на незначительные расстояния — насколько позволяет длина нити, с помощью которой ядро притягивается обратно... пушке можно дать желаемое направление и отправить шар с путешественниками к любой звезде...» Последующие разделы: «Достижение устойчивости снаряда для путешествия в абсолютной пустоте», «Условия сохранности газов и жидкостей в свободном пространстве», «Условия роста и размножения растений», «Условия жизни животных...»... Все это записано 11, 12 и 13 апреля. Средняя из этих дат через семьдесят восемь лет (продолжительность жизни Циолковского!) свяжется с великим достижением человечества. Гагарин... Тогда же, в 1883 году, двадцатипятилетний боровский учитель дал первое в истории научное описание космического корабля.

Следующий этап — 1891 год. Напечатана статья «Как предохранить хрупкие и нежные вещи от толчков и ударов» — анализируется воздействие перегрузок на живые организмы (этому задолго предшествовали опыты с коловратной машиной — крутились цыплята, мыши, тараканы). Возникает идея борьбы с высокими перегрузками путем погружения в жидкость.

Далее вехи, частично нам уже известные: научно-фантастическая повесть «На Луне» (1893), «Грезы о Земле и небе...» (1895), статья в «Калужском вестнике» «Может ли когда-нибудь Земля заявить жителям других планет о существовании на ней разумных существ» (1896; оказывается, может — с помощью системы зеркал), формулы и расчеты 1896—1898 годов, ставшие «Исследованием...». Одновременно была написана фантастическая повесть «Вне Земли» с подробным рассмотрением устройства космической ракеты, включая многоступенчатую, и корабля (опубликована повесть была, как и проект Кибальчича, только после революции, в 1918 году); наконец, рукопись 1902 года, она же статья «Исследование мировых пространств реактивными приборами».

Итак, идея космического полета, точнее освоения человечеством космического пространства, прошла через всю творческую жизнь Циолковского. Но, оказывается, и эта идея не была самоцелью. Главное, что лежало в основе всей научной деятельности ученого, как не раз говорил он сам и подтверждено современными исследователями его творчества, это поиск путей к достижению всеобщего счастья на земле, совершенствованию общественного устройства, к общему благу человечества.

Идея эта возникла у Циолковского отнюдь не в зрелые годы. Уже в записях 1879 года встречаются слова о «красотах жизни» в мире без тяжести, «будущей жизни» и «вечном блаженстве». Позже взгляды Циолковского на цели и пути развития человечества начали складываться в своеобразную развитую концепцию — «космическую философию».

Мировоззренческая сторона творчества Циолковского — сложный, многослойный, противоречивый мир, проявившийся в большом количестве написанных им работ по философии, этике, религии. Эта сфера требует особого и обстоятельного разговора. Тем более что в последние годы в изучении ее благодаря деятельности философской секции Чтений открыто немало нового.

Идеи Циолковского возникли не на пустом месте, не были плодом размышлений гения-одиночки. Ученый, всегда оставаясь самобытным исследователем, постоянно впитывал в себя знание и устремления современной ему науки, действовал на переднем ее крае. К сожалению, в свое время Циолковскому не удалось познакомиться с марксистско-ленинским учением, с диалектическим материализмом, и в своем мировоззрении он в значительной степени оставался натурфилософом, отчасти утопистом, не смог избежать многих противоречий.

Но мировоззрение Циолковского, его идейные устремления привели его к учению о неизбежности освоения человечеством космического пространства, которые в свою очередь — к созданию основ теории космического полета и ракетного движения. И этим они для нас особенно ценны.

О судьбе статьи в «Научном обозрении» мы уже знаем. А что было дальше? Почти десятилетие упорной и не слишком успешной борьбы за металлический ди-

рижабль — и вдруг в одном из осенних номеров роскошного, очень популярного в среде российских авиаторов журнала «Вестник воздухоплавания» за 1911 год вновь знакомое нам название — «Исследование мировых...» и т. д.

Что это? Повторение? Нет! На первых страницах — «Резюме работы 1903 года», а затем совершенно новые главы. Углублено решение задачи о влиянии тяготения на движение ракеты, исследовано влияние сопротивления атмосферы, рассмотрены возможности различных топлив, а также ядерных и электрических двигателей. Кроме того, даны развернутые картины космического полета и устройства космического корабля, а в заключение «Мечты» — размышления о «будущем реактивных приборов», по существу о перспективах освоения и заселения космического пространства человечеством.

Этому последнему (и главному, целевому!) вопросу посвящено знаменитое письмо Циолковского в редакцию, напечатанное в редакционной сноске: «Математические выводы, основанные на научных данных и много раз проверенные, указывают на возможность с помощью таких приборов подниматься в небесное пространство и, может быть, основывать поселения за пределами земной атмосферы...» И далее об использовании «окружающего земной шар беспредельного пространства» и «бесполезно пропадающей» солнечной энергии. (В 1926 году Циолковский сообщил, что точно такое же письмо он посылал Филиппову.)

Работа печатается, словно занимательный роман, с продолжениями почти в каждом номере вплоть до мая 1912 года.

Но почему опять то же название? Трудно сказать вполне точно. Видимо, было желание напомнить о факте публикации 1903 года. Хотя, кажется, сходство названий могло лишь отвлечь внимание от нее, могло показаться, что это та самая давнишняя статья. В архиве хранится несколько рукописей, предшествовавших второй космической публикации. Названия несколько иные: «Исследование небесных пространств...», «Реактивный прибор как средство полета в пустоте и в атмосфере» (заметим, последнее — задача Кибальчича), «Реактивный прибор — ракета».

Судьба этой работы была совершенно иная. В общем, счастливая была судьба. Уже в том же 1912 году в журнале «Природа и люди» появилась большая статья редактора журнала «Электричество и жизнь» инженера В. В. Рюмина «На ракете в мировое пространство». В статье работам Циолковского придавалось огромное значение для будущего. На следующий год Рюмин напечатал уже в своем журнале статью «Реактивные двигатели (фантазия и действительность)». Тогда же с поддержкой Циолковского впервые выступил Я. И. Перельман. Его доклад о межпланетных путешествиях был напечатан в ряде газет и журналов.

Это было настоящее признание. Отныне лед вокруг Циолковского был сломан, его работы стали читаться, к ним пришло внимание не только ученых, но и широких общественных слоев. Вызвано это было, по-видимому, и тем, что для интереса к космическим идеям пришла пора. Ведь к 1912 году получило огромное развитие самолетостроение. Уже несколько лет держался поистине авиационный бум. Неудержимым было стремление к рекордным скоростям и высотам полета. Но все понимали, что у ракет и скорости и высоты полета неизмеримо выше.

Был интерес, не дремала и наука. В разных странах ученые независимо друг от друга приходили в новую тему.

В 1906 году занялся проблемами ракет и космоса Роберт Годдард в Америке. 1907 год — послал в журнал рукопись «О возможности перемещения в межпланетном пространстве» (проблемы энергетики космического полета), не напечатали. 1909-й — вывел формулы и сделал расчеты «движения с помощью взрывчатых веществ», остались в рабочих тетрадях. 1913-й — написал статью «Перемещение в межпланетном пространстве», о целях и путях освоения космоса, не публиковал (обратим внимание на такое же, как у Циолковского, упорство в выборе названий). 1914-й — закончил монографию «Проблема поднятия тела на большую высоту над поверхностью Земли»: уравнение движения ракеты в общем случае, его анализ, решение численным методом, расчеты, в том числе полета на Луну. Капитально переработанный вариант этой статьи, включивший описание и результаты экспериментов с пороховыми камерами сгорания — «Метод достижения предельных высот», — вышел в свет в 1920 году. Вся работа — формулы, расчеты высотных полетов, а о Луне чуть-чуть, вскользь, в самом конце. В том же году в Вашингтон направил

закрытый доклад «О дальнейшей разработке ракетного метода исследования космического пространства».

Не просто так здесь это перечисление. Обратите внимание — размышления о космических полетах Годдард не публикует, скрывает, прячет от сторонних глаз. Почему? Серьезный ученый не хочет показаться смешным в глазах коллег? Сам не уверен в практической значимости космонавтических идей? Боится, что идею «уведут»? Наверное, всего понемногу.

Почти такое же отношение к публикациям своих работ у всех других пионеров теоретической космонавтики. Ф. А. Цандер занялся теорией и расчетами с 1906 года, в 1908—1909 годах сделал теоретический анализ ракеты, но результаты секретит, оставляя их в своих тетрадях записанными по особой стенографической системе (подстушился к их расшифровке лишь в 60-е годы молодой ученый Ю. Клычников). Первая публикация Цандера по ракетам и космосу только в 1924 году.

Кто же напечатался по проблемам космонавтики вслед за Циолковским? Это был очень известный французский авиаконструктор Робер Эсно-Пельтри. В ноябре 1912 года он сделал публичный доклад, который в мае следующего года поместил у себя парижский физический журнал. Была выведена все та же формула ракеты, но в виде зависимости ее скорости от времени полета. Оценив энергию, потребную для полета к Луне, Эсно-Пельтри заявил, что «смесь водорода с кислородом содержит энергию в 133 раза меньше... радий же содержит в 1 килограмме в 5670 раз больше потребной». По существу, ни слова о принципе и возможностях жидкостной ракеты. И конечный вывод: «Только силы и энергия, которые... содержатся в молекулах вещества, могли бы нам дать... мощности... такой величины». То есть межпланетный перелет возможен лишь на атомной энергии. Хотя «400 кг радия более чем достаточно для полета на Венеру и обратно. Но едва ли хватит на Марс и обратно».

Обратим внимание еще на два момента. Название доклада — «Соображения о результатах неограниченного уменьшения веса двигателей» — довольно странное. Для чего уменьшать вес и каких двигателей? А как же Луна? Она тут ни при чем? Короче говоря, имеем дело с типичной маскировкой замысла, попыткой спрятать экстравагантное содержание за нейтральной, но способной привлечь внимание авиационников формулировкой. И второе. Во вступлении к докладу по поводу межпланетного путешествия сказано, что над проблемой этой «никто, кажется, не задумывался». Хотя задумались уже многие, а Циолковский даже заговорил вслух.

О докладе Эсно-Пельтри Циолковский узнал из апрельского номера журнала «Природа и люди». В статье «Как долететь до Луны» излагалось «открытие» француза Эсно-Пельтри. В редакционном комментарии было сказано, что идея эта не нова и что Циолковский «подробно разработал ее» в своих публикациях 1903 и 1911—1912 годов.

Прошло лишь несколько месяцев, и в Калуге вышла тоненькая брошюра под названием... «Исследование мировых пространств реактивными приборами (дополнение к I и II части труда того же названия)».

Сначала обращу внимание на текст, напечатанный на второй странице обложки:

«Интересующиеся реактивным прибором для заатмосферных путешествий и желающие принять какое-либо участие в моих трудах, продолжить мое дело, сделать ему оценку и вообще двигать его вперед так или иначе, — должны изучить мои труды, которые теперь трудно найти; даже у меня только один экземпляр...

Пусть желающие приобрести эту работу сообщат свои адреса. Если их наберется достаточно, то я сделаю издание с расчетом, чтобы каждый экземпляр (6—7 печатных листов или более 100 страниц) не обошелся дороже рубля.

Предупреждаю, что это издание весьма серьезно и будет содержать массу формул, вычислений и таблиц.

Для сближения с людьми, сочувствующими моим трудам, сообщаю им мой адрес: Калуга, Коровинская, 61, К. Э. Циолковскому».

Заметьте: Эсно-Пельтри прячется за названием, Годдард — за математикой и ~~технологическими~~ описаниями, Цандер маскируется стенографией. А Циолковский

во всеуслышание обращается с призывом о сотрудничестве в деле разработки своей идеи.

Великая заслуга нашего соотечественника Константина Эдуардовича Циолковского была в том, что идею космического полета он сразу стремился сделать достоянием самых широких кругов и заявил о ней с огромной силой уверенности в общечеловеческой ее значимости. Ни тени сомнения, ни боязни упреков, ни ревности к потенциальным конкурентам. Поистине русский характер!

О том, что Циолковский не проявляет беспокойства за «свои права», говорит спокойный тон дискуссии с Эсно-Пельтри. Формулируется очередная, пятая «теорема» о вертикальном поднятии ракеты, а затем после ее доказательства приводится логика расчетов: «Вот почему в моих проектах давление на «ракету» я принимаю в 10 раз большим, чем вес снаряда со всем в нем находящимся. Эсно-Пельтри, принимая вес ракеты в одну тонну (61 пуд), на взрывчатые вещества отделяет одну треть, или 20 пудов. Если это радий, притом отделяющий свою энергию в миллион раз быстрее, чем это есть на самом деле, то межпланетные полеты обеспечены. Я сам мечтал о радии. Но в последнее время я произвел вычисления... После этого бросил мысль о радии. Всякие открытия возможны, и мечты неожиданно могут осуществиться, но мне хотелось стоять, по возможности, на практической почве».

И наконец, что называется, не оставляет камня на камне (обратите внимание на интеллигентность тона): «Относительное количество взрывчатых веществ (1/3) у Эсно-Пельтри далеко от наиболее благоприятного (4); поэтому согласно моим таблицам снаряд (рассчитанный Эсно-Пельтри.— И. Б.) приобретает скорость не более 1/2 километра в секунду — и то при давлении газов, как у меня... Для одоления же земной тяжести нужно иметь более 11 километров в секунду... Ошибки, замеченные мною в докладе Эсно-Пельтри, есть, вероятно, простые опечатки, как это часто бывает, но думаю, что бесполезно их исправить. Успешное построение реактивного прибора и в моих глазах представляет огромные трудности и требует многолетней предварительной работы и теоретических и практических исследований, но все-таки эти трудности не так велики, чтобы ограничиться мечтами о радии...»

С легкой руки М. Арлазорова, биографа Циолковского, на многие годы возник среди наших историков спор: заимствовал или нет Эсно-Пельтри свои космические идеи у Циолковского. Вопрос этот встал в связи с тем, что Арлазорову удалось выяснить: Эсно-Пельтри в 1912 году (очевидно, весной или летом) побывал в Петербурге. В результате автор высказал предположение, что французский инженер ознакомился с публикацией «Исследования...» в «Вестнике воздухоплавания», после чего и появились его «Соображения...».

Я помню, как однажды на Чтениях в Калуге один очень уважаемый мною профессор, у которого я когда-то учился, всеми нами любимый педагог, с покрасневшим лицом рубил воздух рукой: чистейший он плагиатор! Не мог Эсно-Пельтри не знать о Циолковском, не мог не читать «Вестник...»! Беспардонный плагиат! Другой не менее уважаемый ученый, тоже слегка порозовев, спокойно доказывал: не мог Эсно-Пельтри украсть у Циолковского идею. Он был образованнейший инженер, всеми уважаемый человек и к тому же француз. И еще: будучи в Петербурге, он сделал доклад (правда, неизвестно точно, когда, где и какого содержания).

В моем выступлении тогда говорилось, что сравнение текстов работ Циолковского и Эсно-Пельтри опровергает всякую мысль о заимствовании, поскольку выводы о возможности ракетного полета в межпланетное пространство у них едва ли не диаметрально противоположные.

С другой стороны, не исключено то, что мне хотелось бы назвать косвенным влиянием. Эсно-Пельтри тогда, в 1912 году, мог и не прочитать труд Циолковского. Но он имел реальную возможность услышать о его работах. Дескать, есть у нас в России интереснейший ученый, который математически доказал возможность межпланетных полетов. Ну а о средстве могли и не сообщать. И Эсно-Пельтри, который подумывал об этих вопросах примерно с 1908 года, такая информация мобилизовала на публикацию.

В истории ракетной техники и авиации немало примеров такого вот косвенного влияния.

Что касается Эсно-Пельтри, то он вернулся к проблемам космонавтики только в 1927 году и опубликовал большую и серьезную монографию «Астронавтика» (авторство этого термина принадлежит ему). Но тогда был уже не только Циолковский с его капитальной монографией-книжкой 1926 года все под тем же названием «Исследование мировых пространств...» (на подходе были «Космические ракетные поезда», «Цели звездоплавания» и многие другие работы), но и Герман Оберт с его шумевшей (попала, что называется, в струю) книгой «Ракета в космическое пространство», а впереди были уже написанные книги Ф. А. Цандера и Ю. В. Кондратюка.

Но и сам Циолковский продолжал свои исследования в области ракетно-космической техники. Венцом их было создание основ теории многоступенчатой ракеты (1929—1932 годы). Его идея «эскадры» ракет легла в основу разработанной в 40—50-е годы С. П. Королевым и М. К. Тихонравовым ракетной схемы «пакет», той самой, по которой были выполнены знаменитые ракеты-носители «Спутник», «Восток» и «Союз».

ВОКРУГ ЦИОЛКОВСКОГО

В 1882 году состоялся перевод — вопреки желанию Циолковского — в Калугу. Он был ведомственный служащий и потому: «Не оставить зависящим распоряжением, в видах пользы службы, о перемещении учителя математики Громницкого из многолюдного Калужского уездного училища на такую должность в малолюдное Боровское уездное училище и о переводе на место Громницкого... учителя арифметики и геометрии Боровского уездного училища Циолковского, как одного из способнейших и усерднейших преподавателей вверенной мне дирекции». Это подписано директором народных училищ Калужской губернии Д. С. Унковским.

Произошла рокировка. Циолковский получил как бы повышение, а Калуге в тот год выпала судьба стать колыбелью космонавтики.

Из Брокгауза и Ефрона (том 27, 1895 год) о Калуге: площадь — более 7 квадратных верст, жителей—50,5 тысячи человек, из коих 4,6 тысячи войска; 105 улиц, 4 площади, 2 собора, 36 православных церквей, 541 каменный дом; 4 аптеки, 3 библиотеки, 66 магазинов и 114 лавок, 31 трактир, 15 пивных и винных; 62 мелких фабрики и заводы, 1337 рабочих, основное производство — кожа, мех, щетина, веревки, мыло, рогожа, воск, свечи, пиво; мужская и женская гимназии, реальное и епархиальное училища, духовная семинария, 1 больница, 16 врачей, 25 повивальных бабок, 5 богаделен.

А в 1928 году перед возвращением на родину Максим Горький написал К. Федину: «Обязательно — в Калугу. Никогда в этом городе не был, даже как будто сомневался в факте бытия его, и вдруг оказалось, что в этом городе некто Циолковский открыл «причину космоса». Вот вам!»

В первый раз я побывал в Калуге лет двадцать назад обыкновенным автотуристом. С 1967 года почти регулярно приезжаю сюда осенью за Чтения, иногда удается побывать здесь дважды, а то и трижды в год. Благо калужане на редкость приветливые и гостеприимные люди, очень огорчаются, если приедем что-нибудь не по душе. Обладают калужане каким-то завораживающим обаянием и редкостной простотой. (Может быть, так случилось, но мне почти не встречались здесь люди открыто самоуверенные или, скажем, громко разговаривающие.)

Как все старинные русские города, Калуга самобытна, непохожа на другие. Нигде, пожалуй, нет такого собрания одно- и двухэтажных особняков и усадебных построек в стиле классицизма. Калужский амфи́р удивительно очеловеченный, живой, теплый.

Но не об архитектурных памятниках Калуги хочется мне сейчас говорить. Город их любит и ценит, судьба их не вызывает особого беспокойства. Речь о другом.

Основная застройка большей части старого города, его ткань — одноэтажные деревянные жилые дома в три-четыре окна. Это город уходящий, город прошлого, но в этом городе бывали Державин и Пушкин, Белинский и Гоголь, Аксаков, Достоевский и Толстой, жили декабристы, вернувшиеся из Сибири, Г. Успенский, художник Билибин, ссыльные большевики А. Луначарский и И. Скворцов-Степанов. В этом городе,

наконец, более сорока лет жил и творил Циолковский, человек, благодаря которому Калуга стала и всегда будет известной всему миру. Так не резон ли сохранить этот город, город Циолковского, хотя бы в виде заповедных зон? Нынешние и будущие поколения должны знать не только труды, но и жизнь ученого. А значит, хорошо представлять ту среду, где она протекала.

Увы, этот город, точнее его одноэтажная деревянная застройка, кажется, дожидает свой последний срок.

Сразу хочу сказать, я не призываю сохранять эти дома в их неизменном виде. Побывав во многих из них, я хорошо представляю, насколько жить в них теперь некомфортно и трудно. В городе ведется жилищное строительство, и большинство владельцев старых домов, естественно, мечтают о новых благоустроенных квартирах. Но почему вопрос нужно ставить только так: или маяться с устаревшим жильем, или его сносить? Ведь в стране хорошо известны и применяются разные методы регенерации старых построек — приспособления их к новым требованиям жизни.

Тем не менее в Калуге медленно, но верно погибает среда, в которой жил Циолковский.

Дом-музей Циолковского, последний дом, номер 79, на спускающейся вниз, к реке, улице его имени, бывшей Коровинской, естественно, стоял в окружении себе подобных. К сожалению, сейчас сохранен только участок нечетной стороны улицы, а напротив остались только три домика. Далее же (если идти снизу) стоят три массивных девятиэтажных дома («три богатыря», как иронически окрестили их калужане). Теперь из окон светелки дома-музея открывается вид на эти краснокирпичные колоссы с лоджиями. И сам дом-музей, и все его уберегшиеся соседи пожули на их фоне.

Заодно «богатыри» если и не убили, то изранили великолепную панораму стоящего на высоком холме над Окой и целиком погруженного в зелень города, теперь со стороны дамбы (основного въезда в город), да и с другого берега Оки, как бы ни убеждал меня в обратном привезший меня туда местный архитектор, над панорамой командуют эти башни (визитная карточка города, по мнению этого архитектора). Да еще огромная кирпичная труба («Заставим убрать»). Это о ней, панораме города, писал в 1805 году один из иностранных путешественников: «...всего более поразила нас изумлением». Радовала она не только наших предков, но еще недавно всех нас. Понимали это и архитекторы, удивительно тактично поставив на вершине склона в 1967 году современную постройку из стекла и бетона — Музей истории космонавтики. Сооружение органически вписалось в панораму (впрочем, архитектор ругал постройку — нет в ней значительности, масштабности, да и скрылась вся за деревьями). Вставшая же рядом с музеем величественная ракета-носитель «Восток» стала еще одним столь характерным для профиля города вертикальным акцентом, роль которых до того играли лишь старинные колокольни. Впрочем, надо отдать должное архитекторам — если не считать тех башен, весь город с Заречья смотрится великолепно.

Но если бы речь шла только о ткани города, об атмосфере, в которой творил Циолковский. К сожалению, самим калужским домам, в которых он жил, тоже, мягко выражаясь, не везет. Их всего было пять, этих домов. И все они находились неподалеку друг от друга. Теперь их осталось четыре. Не исключено, что пока четыре.

О том, в котором ученый жил с 1904 по 1933 год и в котором уже в 1936 году был открыт музей, можно сказать, что «живет» он вполне благополучно. Однако дом нуждается в помощи. Дело в том, что по деревянным полам и лестницам этого весьма непрочного сооружения в последние годы ежегодно проходит до 85—90 тысяч посетителей, до 3600 экскурсий. И каждая экскурсия в 20—25 человек находится в доме более часа. Нагрузка на дом сверх всяких норм, и трудно сказать, сколько лет еще он сможет ее выдержать. Деформации деревянных конструкций уже зафиксированы.

Трудно вводить ограничение на количество посещений дома — уважение и интерес к Циолковскому со временем только растет. Но есть и другой выход — иметь рядом с домом помещения, в которых можно было бы провести большую часть экскурсии, рассказав о жизненном пути и трудах ученого (сейчас этот рассказ идет в мемориальных комнатах). Это позволило бы сократить время пребывания одной экскурсии в доме до пятнадцати — двадцати минут.

К сожалению, городские власти не спешат с реализацией этой идеи, хотя возводить новую постройку рядом с музеем необязательно — можно использовать для этого жилые дома-соседи, переселив, естественно, из них владельцев в квартиры. Точно так же не решен вопрос о ландшафтной реконструкции усадьбы, создании мемориального сада. Хотя проект его разработан давно. Сейчас во дворе стоят поздние постройки, растут чужеродные деревья (голубые ели), нелепо выглядит огромная скульптура Циолковского. А раньше был просто сад-огород...

Из этого дома в 1933 году Циолковский переехал на другой конец «своей» улицы (в 30-е годы ее специально для Циолковского замостили бульжником калужские строители, теперь здесь аккуратный асфальт). Дом номер 1 был приобретен для него и отремонтирован советскими властями. Выглядит он отлично, хотя некоторые поздние пристройки и перестройки слегка нарушили его первозданный облик. Но если говорить об окружении, то судьба дома тоже не выглядит столь уж радостной.

Циолковский приехал в Калугу в феврале 1892 года и снял квартиру в доме Тимашевых возле Георгиевской церкви (ныне дом 19 по улице Революции 1905 года). Здесь он жил лишь полтора года. Но он жил здесь. И дом этот стоит, а во дворе — огромный вяз, которому не менее полутора столетий. Но кажется, что дни и того и другого сочтены. Во всяком случае, дом дышит на ладан, и никаких реставрационных работ в нем пока, по крайней мере, не предполагается. ГМИКу дом не передан (А. В. Костин много лет об этом хлопочет), под охрану не взят, остается частным владением.

Я был внутри. Живут в нем — очень трудно живут — престарелые люди, мечтающие уже не о ремонте (тут, кажется, уже никакой ремонт невозможен), а о новых квартирах... В этом доме, не исключено, была начата повесть «На Луне».

Отсюда Циолковские переехали почти напротив, сняв квартиру в доме Сперанской (теперь дом номер 16 по той же улице) постройки 1814 года. Это, конечно, уникальный памятник науки. Здесь Циолковский построил свою аэродинамическую трубу и провел на ней эксперименты. Здесь были написаны «Грезы...», знаменитая статья «Аэроплан, или Птицеподобная (авиационная) летательная машина» и первая рукопись повести «Вне Земли», крупные работы по аэродинамике и воздухоплаванию. Здесь была прочтена брошюра А. П. Федорова и сделаны выкладки и расчеты, ставшие «Исследованием мировых пространств...». Возможно, что и сама работа была написана здесь. Дом этот в отличие от предыдущего стоит на охране, передан ГМИКу, но арендован каким-то учреждением и частично уже перестраивается. Рядом выросло крупное административное здание с железобетонным забором и забиты сваи под новое, видимо не менее солидное.

Наконец, третья квартира Циолковского, где жил он с марта 1902 по май 1904 года, где, все же более вероятно, было написано «Исследование...», где появилась первая его философская работа «Этика...», — эта квартира вместе с домом с 1978 года... не существует. Улица Космонавта Комарова, дом 17 — таков был современный адрес. Теперь здесь только котлован под строящееся здание, а возле него шелестят листвой огромные тополя, современники Циолковского. Почему был снесен этот дом, вернее почему исчез он с лица земли, выяснить в Калуге не удастся («Я был в командировке», — сказал мне А. В. Костин. «Прошлишли», — сказал архитектор). Дом разобрали и продали частному лицу. Ни дом, ни лицо до сих пор не обнаружены.

Вот так обстоят дела с домами Циолковского в городе Циолковского.

Однако есть проект. Давний и много раз обсужденный, даже одобренный исполкомом горсовета и ждущий решения облисполкома и Министерства культуры РСФСР. Называется это так: «Проект охранных зон и зон регулирования застройки мемориального комплекса К. Э. Циолковского».

Представьте себе: вы спускаетесь вниз по косогору, по улице Циолковского, достигаете дома-музея, как обычно поворачиваете за угол, минуете калитку, забор усадьбы. Следующий дом — тот самый, не существующий, с улицы Космонавта Комарова (естественно, восстановленный). Далее стоит дом с улицы Революции 1905 года, номер 16, затем дом 19 и наконец... дом из Боровска — номер 49 по улице Циолковского (бывшей Круглой).

Я специально прошел вдоль этого парада мемориальных домов с конца (как бы

ни направляли будущие указатели, такое не исключено), хотя и не с самого, поскольку самый последний калужский дом Циолковского в соответствии с проектом останется сиротливо стоять вдалеке, наверху, в километре от парада. Так, мне кажется, нагляднее вся порочность — не боюсь сказать это слово — замысла.

Каждый мемориальный дом — это не просто музейный объект, это среда жизни, самая ее правда. Но что останется от правды, если перенести его через несколько кварталов, тем более в другой город? Одна оболочка. Как же мы будем читать жизнеописания Циолковского, в которых не раз, например, упоминается стоявшая рядом с двумя первыми квартирами Георгиевская церковь (она и сейчас стоит), другие дома удивительной красоты и исторической славы (тут же, например, дом Гончаровых, родителей Натальи Николаевны Пушкиной), разные достопримечательности города («Неподалеку от моей калужской квартиры был загородный сад. Я часто ходил туда думать...»)

Справедливости ради надо сказать, что «Проект охранных зон...» не сводится к переносу домов Циолковского. Предусматривается размещение в этом квартале нескольких уникальных деревянных памятников гражданской архитектуры из разных районов города (дома Циолковского должны здесь представлять рядовую жилую застройку). Этот замысел, возникший по аналогии с музеями под открытым небом типа костромского, мне кажется очень интересным, с реализацией его, несомненно, следует поторопиться.

Ну а как быть с мемориальными домами? Мнения в городе (и за его пределами) различные. Нельзя сказать, что вопрос о переносе решен бесповоротно. Мне кажется, что решение может быть компромиссным: передвинуть дома 16 и 19 по улице Революции 1905 года (или один из них) внутри сохранившегося квартала, в пределах прилегающей охранной зоны. Дом же с улицы Космонавта Комарова должен быть восстановлен по обмерам и поставлен на ней же в другом месте.

Впрочем, могут быть и другие варианты. И я думаю, городские власти вместе с архитекторами, ГМИКом и Министерством культуры РФСР должны найти решение в самое ближайшее время. Ведь градостроительный процесс по своей природе необратим.

Годами в нашей научно-популярной литературе складывался вокруг Циолковского ореол длительного и мучительного непризнания. Едва ли не в каждой из посвященных ему книг, брошюр и журнальных и газетных статей непременно что-нибудь говорится о недооценке идей Циолковского у нас в стране в первые десятилетия его деятельности и замалчивании его работ за рубежом на протяжении всей его жизни и в последующие годы. С этим необходимо разобраться, ибо ореол мученичества от науки не работает на авторитет ученого и дает повод к рецидиву того самого второго стереотипа в трактовке его личности (фантазер и чудак).

Начнем с того, что в дореволюционное время его проект цельнометаллического дирижабля официальной наукой не поддерживался. Однако суждения по его работам выносили вполне компетентные специалисты, в целом относившиеся к нему как к исследователю с большим уважением. Причин было две: некоторые несовершенства в его разработках, связанных с дирижаблем, которые признавал и сам ученый, и общее скептическое отношение к дирижаблям на фоне огромного интереса к авиации — сначала грядущей, а затем развивающейся.

Сталкивался Циолковский, разумеется, и с обычной академической рутинной, ученым чванством, априорно пренебрежительным отношением к провинциальному и к тому же недипломированному изобретателю. Это тоже не способствовало в дореволюционное время получению необходимых средств и сказывалось на полученных результатах.

После Октябрьской революции, которой вся деятельность Циолковского несомненно была сродни по своему духу, по своим идеалам, произошел резкий подъем внимания к нему. Он впервые стал получать государственную стипендию (постановление правительства о ней было завизировано В. И. Лениным), многие научные учреждения и общественные организации предложили ему свою поддержку. С 1921 года экспериментальные работы над дирижаблем по проекту Циолковского были возвращены на средства Главвоздухофлота и Осоавиахима. Но лет через пять эти ра-

боты были признаны нецелесообразными. Сказалось и общее отношение к воздухоплаванию, и слабости проекта.

Циолковский же до конца своих дней верил в свой дирижабль, говорил о нем, а не о ракетах даже в своей последней телеграмме Советскому правительству («Уверен, знаю — советские дирижабли будут лучшими в мире»).

Таким образом, в борьбе за дирижабль Циолковский имел немало оснований считать себя непризнанным тружеником науки, о чем не раз с болью, а иногда с нескрываемым отчаянием писал в своих статьях и книгах («Я мал и ничтожен с силой общества... Что я могу один!.. О выгодах своих я не забочусь, лишь бы дело поставить на истинную дорогу...», «Я бы желал еще предпринять это путешествие по стезям истины, но где взять силы, где взять средства и поддержку?!»).

Быть может, это крамольная мысль, но цельнометаллический дирижабль был, мне кажется, великим заблуждением великого ученого. Не было возможности технологически обеспечить его создание в конце прошлого века, не выдерживал он конкуренции с самолетами в начале нынешнего, не оправдал надежд в 20—30-е годы (цельнометаллические практически вообще не строились). Ну а теперь, через столетие после начала борьбы Циолковского за эту свою идею, возрождается дирижабль уже на другой технической и технологической основе. Другой дирижабль.

Чем же объяснить этот неистребимый, сохранявшийся в течение полувека энтузиазм по отношению к дирижаблю? Думаю, тем же, чем и его решимость в разработке и пропаганде космонавтических идей. Циолковский всю жизнь мечтал об одном — принести пользу человечеству, сделать его счастливей, богаче. Это была его жизненная сверхзадача. А дирижабль (прогресс на сегодня) и космический корабль (прогресс в будущем) — это только средства для ее решения.

Непризнание же Циолковского в истории теоретической космонавтики, замалчивание его работ в этой области вообще сильно преувеличено. Надо сказать, что споры вокруг национальных и персональных приоритетов были характерной чертой эпохи 20-х годов. Возникали они в некоторых технических областях как отголосок отчаянной борьбы стран и фирм за обладание новейшей техникой, борьбы за патенты. В области теоретической космонавтики «выяснения отношений» более всего сводились к доказательству первенства в тех или иных частных идеях и к вопросу о ссылках на предшественников в научных трудах (известны споры о приоритете Годдарда и Оберта). Происходили они главным образом из-за сдержанности многих ученых в своих публикациях и из-за плохого, несвоевременного распространения информации.

Но если говорить о работах Циолковского, то в отношении к ним со стороны отечественной и зарубежной науки есть вполне объяснимые закономерности. Первая публикация слишком опередила свое время. После второй на космические идеи Циолковского откликнулась общественность. При этом заметим, что ни та, ни другая работа вплоть до 1924 года за рубеж не посылалась и на иностранные языки у нас не переводилась (русский же язык был тогда для европейцев, надо полагать, очень далеким). Но как только А. Л. Чижевский разослал по разным странам и адресам переиздание «Исследования...» 1903 года, все стало на свои места. Труды Циолковского стали переводиться за рубежом, особенно в Германии, внимание к ним там стремительно росло, а он сам получал оттуда много писем. Заметим еще, что и в те годы космонавтика была гипотетической сферой и практический ингерес вызывала только жидкостная ракета.

В своей книге 1923 года Оберт работы Циолковского не упоминает. Но он делает это (хотя и сдержанно) во втором издании книги 1929 года. Тогда же он прислал в Калугу хорошо известные письма с признанием приоритета Циолковского, написанные на русском языке («Вы зажгли огонь, и мы не дадим ему погаснуть...», «Я, разумеется, самый последний, который оспаривал бы Ваше первенство и Ваши заслуги по делу ракет...»).

Эсно-Пельтри продолжал «не знать» Циолковского в своих солидных трудах по ракетно-космической теории 1927—1928 годов, хотя перечисляет в них заслуги других своих коллег.

Вот уж кто действительно никогда и нигде не упоминал Циолковского, так это Годдард (не ссылался он, впрочем, и на Эсно-Пельтри, спорил с ним в письмах, а работы Оберта обсуждал, вернее оспаривал, только в закрытых текстах). Однако, как

установили калужский исследователь Н. Г. Белова и москвич Е. К. Страут, в библиографическом справочнике вашингтонского Смитсоновского института (куратора работ Годдарда) за 1921 год упоминалось «Исследование...» 1911—1912 годов. На мой взгляд, работа эта не могла пройти мимо внимания американского ученого. Должен был он получить и пачку брошюр — переизданий «Исследования...», посланных ему Чижевским. Кроме того, с Годдардом переписывались Н. А. Рынин и Я. И. Перельман.

Замечу, что Циолковский, живя в провинциальной Калуге, знал обо всех зарубежных пионерах ракетной техники и отдавал им должное в своих трудах.

В послевоенный период, особенно после того как в 1957 году усилиями Советского Союза была открыта космическая эра, отношение к Циолковскому на Западе стало вполне соответствовать его великим заслугам. Достойное внимание ему отдали все крупнейшие историки космонавтики (позволю себе еще одно перечисление): швейцарский — И. Штеммер (книга 1945 года), английские — А. Уэйл (1949), К. Гэтленд и А. Кларк (1960), П. Клетор (1957), американские — Э. Пендрей, В. Лей (1958), Е. Эме (1964), Ф. Дюрант, известный ученый К. Эрике (1960), авторы официальной исторической хронологии по ракетно-космической технике НАСА (1961). Сейчас труды Циолковского переведены на десятки языков мира (НАСА, в частности, издало трехтомное собрание сочинений).

С конца 20-х годов имя Циолковского было популярно не только среди специалистов и популяризаторов ракетной техники, но и самых широких слоев интеллигенции у нас в стране и за рубежом.

Восторженные письма (с ними, как и с цитируемыми далее, меня познакомила секретарь Комиссии по разработке научного наследия Циолковского С. А. Соколова) одно за другим присылал из Нью-Йорка художник и поэт Давид Бурлюк: «Меня всегда удивляет разносторонность областей знания, куда проникает Ваше неустанное внимание...», «С годами Вы получили способность земным взором заглядывать в будущее развития человеческой мысли высокого мира идей.. Вы не только великий ученый, но, идя путями философского исследования, создаете ряд прекрасных, художественных, увлекающих читателя образов...», «Вы умеете заглянуть в нутро явлений... И результат от сего — разительная новизна мысли...».

Но, конечно, дороже всего Циолковскому было признание у себя на родине. И не в виде восторгов и поклонений, а в виде страстного желания следовать его идеям и настойчивой деятельности по их развитию.

Юный В. П. Глушко, ныне академик, дважды Герой Социалистического Труда, писал ученому в 1923—1930 годах: «Без всяких пособий, совершенно самостоятельно я начал вычислять. Но вдруг мне удалось достать Вашу статью... Я знаю, что есть статья под таким же названием, выпущенная отдельно и более подробная, — вот что я искал и в чем заключается моя просьба к Вам...»; «У меня имеются некоторые вопросы, которые я хотел бы Вам задать...», «Я встретил некоторые недоразумения, и у меня возникло несколько вопросов при чтении «Вне Земли...», «Пишу и хочу издать кое-что о межпланетных сообщениях...», «Это является моим идеалом и целью моей жизни, которую я хочу посвятить для этого великого дела...», «Питаю надежды, подкрепленные моими лабораторно-практическими исследованиями, довести начатое Вами дело до конца... В значительной своей части моя книга опирается на Ваши труды...», «Мне тоже очень приятно, что Вы также считаете, что ракетоплан невыгоден...».

Г. Э. Лангемак, один из руководителей Газодинамической лаборатории (1931): «Эти труды, несмотря на их краткость... являются неисчерпаемым кладом крупнейших сведений не только со стороны теории... но и в области конструкторской разработки всех основных деталей...»

Л. К. Корнеев, один из создателей первых советских жидкостных ракет (1935): «У меня в настоящее время горячка — последние дни перед стартом... Очень трудно работать — моторы сторают... Я часто думаю — как было бы хорошо, если бы Вы жили в Москве...», «Я добился работы мотора до 180—200 секунд... Иногда прямо руки опускаются, но вспомнишь Вас, Вашу жизнь и с утроенной энергией начинаешь грызть работы!...».

И. Т. Клейменов, начальник Ракетного НИИ (1934): «Осуществилась мечта всех

исследователей этой новой области человеческого знания: мы имеем базу для колоссального развития... тех идей, первым вестником которых явились Вы...», «Желательно было бы поместить Вашу статью...», «Все работники Института читают Ваши работы и с нетерпением ждут новых...».

И вот пришли другие времена. В 1957 году за две с небольшим недели до спутника Сергей Павлович Королев на посвященном 100-летию Циолковского заседании в Колонном зале сказал: «В настоящее время, видимо, еще невозможно в полной мере оценить все значение научных идей и технических предложений Константина Эдуардовича Циолковского.. Время иногда неумолимо стирает облики прошлого, но идеи и труды Константина Эдуардовича будут все более и более привлекать к себе внимание по мере дальнейшего развития ракетной техники».

Циолковский «перевернул всю душу» семнадцатилетнему Юрию Гагарину, студенту техникума, подготовившему доклад об ученом. А через десять лет, в 1961 году, он же: «Я просто поражаюсь, как правильно мог предвидеть наш замечательный ученый все то, с чем только что довелось встретиться, что пришлось испытать на себе».

Королев назвал Циолковского человеком, жившим намного, впереди своего века. Сегодня мы имеем все основания сказать: он шел и впереди нашего века.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. РОДНЯНСКАЯ



ПРЕДЧУВСТВИЯ И ПАМЯТЬ

Только ли кажется это современнику и ровеснику, вплотную приблизившему взгляд к своему предмету и перенапрягшему слух, — или действительно окрепла и обнаружила себя новая струя в поэзии? Что я вкладываю в широкое слово «новая», объясню потом, но и прежде всех объяснений три выбранных здесь имени — Татьяны Глушковой, Игоря Шкляревского, Олега Чухонцева — подскажут: речь идет не о новой школе, не о тех, кто объединен литературными знаменем или мировоззренческим пристрастием. Конечно же, не школу (вместо которой — зрелая независимость), а культурное веяние, незаметно перемещающее общий поток нашей лирики в сторону неведомого завтра, хотелось бы мне обозначить, и задача моя трудна, ибо неочевидна.

Но так же трудна поэзия интересующего нас толка — неясностью конечного смысла и особой содержательной уплотненностью.

О чем молчу, темнея впалым ртом, в какой пролетке, бабкиной коляске лечу, когда весна хрустит песком, когда в автобус, что набит битком людьми, что врукопашную, ползком (когда Москва не позади — кругом: на беженских подводах, босиком, давясь своим заплаканным платком) — а выстояли при Волоколамске, — сажусь рядком, чтоб говорить ладном, волос моих киваю узелком, совсем не замечая этой тряски?..

Двенадцатистишное — на две рифмы, в одну фразу — стихотворение Т. Глушковой (оно представляется мне узловым) сразу, одним чтением, конечно, не возьмешь. Сначала надо уловить общую интонацию — вопросительную, затягивающую силой длинного вздоха, — распутать маршрут синтаксиса, потом уж разглядеть за-

рисовку, а сквозь нее — моментальные вспышки прошлого и, наконец, понять состояние поэта и подход его к жизни.

Сгущенность здесь такова, что каждая черточка может быть распространена на жизненный мир двух сборников Глушковой¹, бегло повторяя его контуры и грани. Темнеющий рот, узелок волос — этот непарадный (рядом со смуглым, загаром, шалью, пестрыми ситцами) образ, как бы поубавивший телесной пластики, скудный, запекшийся, пришел в стихи Глушковой не столько из предчувствуемого позднего одиночества, сколько из детства: сквозь взрослые черты проступает четко увиденный со стороны облик ребенка с «невнятным, заплаканным ртом», «с черничными, невнятными устами». И из детства же, из участи киевских беженцев, так и не догнавших откатывающийся фронт, — сочувственное знание тех подмосковных подвод 1941 года, тех слез и смятения: «Грохочет беженцев тележка. Куда ей — от войны свернуть! Какие крохотные дети. Какие горькие глаза. Вербочкой связан скарб столетий. Скрипят четыре колеса». Это завязь ее стихов, — как не раз совершается ею все тот же мысленный перелет между Подмосковьем и Приднепровьем: от взгляда на сухой Ламский волок — к памяти о послевоенной засухе на Украине. И среди набившегося в автобусы люда — тех ли, кто отстоял Москву, или детей их, все равно причастных к общей страде, — она своя: «сидит рядком» да «говорит ладком». Но погодите, ведь и молчит же одновременно, ведь не вся здесь. Не трясется со всеми, а летит «в пролетке, в бабкиной коляске». Так, незаметно, сделан еще шаг в глубь времени,

¹ Татьяна Глушкова Выход к морю. Стихи. М. «Современник» 1981. Татьяна Глушкова. Разлуки нет. Стихи. М. «Советский писатель». 1981.

не в ближний, а в дальний исторический день, в ту память, которая у автобусных попутчиков, быть может, лишь неосознанно дремлет, а у поэта бодрствует за всех сородичей и соотечественников. Ведь слова: «Москва не позади — кругом» — реплика на лермонтовское: «Ребята, не Москва ль за нами», отголосок Бородинской битвы.

Эта отъединенность от сегодняшнего окружения («молчу...», «лечу...»), с тем чтобы приобщиться к давно отошедшим и помянуть их, может быть сочтена, как предполагает сам поэт, «недемократичной», что ли. Но —

...если скажут: мне всего милее
древесный шелест — не людская молвь,
набухшие от сырости аллеи —
не равенство, не братство, не любовь,—

она в ответ расскажет о том, как в ее уединение «всю ночь с листья глядят людские души, хлебнувшие безлюдной высоты» еще со времен Ледового побоища.

Для Глушковой не существует истории, которую узнают лишь из книг. В «Выходе к морю» превосходные белые стихи свидетельствуют о таком ощущении исторического стиля, какое не назовешь нажитым, приобретенным через общедоступные каналы культуры. И вправду как бы земля рассказала, как бы тени поведали, как бы двухвековая липа взяла в компаньонки, чтобы вдвоем смотреть на царский поезд Елизаветы Петровны: «...я прихожу сюда, неслышная, хотя бы раз в столетье... Тут некогда царица проезжала с блестящими, веселыми глазами, лицом в отца... И люжий студияз ей громыхал латынью. Как доспехи, валились в пыль пудовые слова. Но, слава богу, лаврский перезвон взлетал превыше тощего Пегаса!» Украинское «зеленокудрое барокко» Киево-Могилянской академии, последних дней Сечи, старчика Григория Сковороды, гоголевского Хомы Брута и слепых лирников — для нее такой же дом, как и заросшие лопухами дворы израненного послевоенного Киева, где она малым ребенком находила «пышные укрытья». Стоит осмотреться, спустившись к Подолу, как эта отдышавшая жизнь — гомон базара, звон колоколов, бурсацкие забавы, картинное изобилие — воскреснет и обступит странницу, знакомая невесть откуда и с каких пор («отродясь»). И почти столь же близким — не родным, но родственным — предстает раннее, «варяжское», североевропейское средневековье, повязанное с Киевской Русью. Уже не из памяти, а из прапамяти выплывает старинный славяно-

германский «выход к морю» — допетровский, дотатарский. Сквозь незнакомые черты торгового прибалтийского городка смутно проступает какой-то намек, знак о былом и слышится неожиданный отзвук родства.

Живя сразу во многих временах, поэт всегда с кем-то далеким аугается, за кем-то невидимым следит. В подмосковной усадьбе все еще «припрятан» наследственный владелец дворянского гнезда: «Смугловатый блондин, сладкоежка, как чадишь — хоть припрятан хитро! Самохвал, богоравная пешка, в переплавку — твое серебро! Ты согдишься мне в полночь сплую... чтобы я в эту кровь голубую, снег падучий да тьму земляную, торопясь, обмакнула перол.» Обмакнула — и вот уже, трясаясь в рейсовом автобусе, летит тем временем «в бабкиной коляске».

Что же понудило поэта, как «скарбом столетий», нагрузить маленькую стихотворную тележку памятью, прапамятью, вчерашним опытом, переживанием текущего дня? Но тут мы как раз столкнулись с одной из тех черт поэтического сознания, которые рискуя назвать новыми: больше не существует отдельных тем или канонически уравновешенного их переплетения. Как развернется стихотворение, у Глушковой совершенно нельзя предугадать по первому стиху, даже строфе (а традиционная композиция обыкновенно ведь предсказуема, как fuga). Поэт начинает:

Уже следов любовного недуга
ты на моем лице не различишь.
Высоким смехом отвечает вьюга.
Церковной звякнет городская тишь.

Думаете — любовная элегия? Нет, из предполагаемой элегии, из стужи мы тут же негаданно переносимся в идиллию, в старосветский уют и смиренную тишь северного лета: «Я проживу в Можайске или Пскове, я в Новгороде молча проживу. Я заведу зеленый огородец, я маков цвет на грядках разведу. И буду думать: вот скрипит колодец, вот плещет гусь на солнечном пруду». В окружении других стихотворений эта быстрая смена сезонов и состояний души (ее хватило б на поэтический цикл) в конце концов становится понятной: после любовной драмы на фоне летнего юга и домика в полушубке из виноградного меха — тоскливое возвращение и под забывания вьюги мечта о другом лете, «своем», залечивающем недуг. Но тут речь поэта еще раз круто поворачивает, и мы читаем о чудском льде (недаром был раньше упомянут Новгород,

но ведь вскользь, на выбор, не во имя прямолинейного сюжета), слышим слова о русском пространстве и русской судьбе, о терпении и вере в бессмертие:

...я так скажу: для этих расстояний на сорок бед — единственный ответ: страданье не зовет себя страданьем, разлука знает, что разлуки нет.

Девчонка помнит: нарядят вдовую, мальчонка чует, что — героически пасть... Что жизни им отмерено с лихвою в тот час, когда она оборвалась...

Стихотворение действительно стремится захватить чрезвычайные «расстояния», спроецировать личную драму на плоскость национального характера, двигаясь непредсказуемым маршрутом. В такой сомнамбулической свободе есть опасность: стихи подобного рода нелегко укладываются в память, а в случае неудачи безотчетно «бормолитвы». Но есть в этом и некое волнующее современную душу приобретение. Дистанция между «я» поэта и предметами его внимания предельно сократилась, едва протянув руку, он натывается буквально на все разом — все тревожит, бередит, напоминает, предвещает. Эту постоянную и не всегда ясную тревогу первым передал нам Блок, и, несмотря на то, что его тревога уже разрешилась раскатами революций и войн, нас она не покидает и поныне. Весь мир неупорядоченно вобран в лирический горизонт (импульс, заданный опять-таки Блоком), стянут в один пучок связей со своим особенным личным центром; перегородки между темами пали, как некогда под натиском романтизма — перегородки между жанрами. Так, у Глушковой: родина — лирический центр всего написанного; но периферийные темы слитно присутствуют в каждом сколько-нибудь обширном монологе, создавая неклассическую плотность пространства. И это при том, что высшей ценностью жизни — даже в ущерб этической чувствительности — Глушкова готова провозгласить идеал классической гармонии: в красоте — оправдание мира, под ее солнцем «разлуки нет».

Всего прекраснее в этих стихах земля, ее растительная сила, ее нижний, ближний уровень — в травах и насекомых, кущах и певчих птицах. У зрения Глушковой есть один секрет. Она глядит на всю эту подробную роскошь летнего копошения не только глазами детства, но и с малой высоты тонущего в зарослях ребячьего роста (ей «вечно — меж листвою и травой — мелькать льняною, русой головой»), когда земля и все ее мелкие твари вдвой-

не доступны для острого взгляда и проворных пальцев.' «Золотое шуршанье в бурьяне, блеск лимонницы, рванный полет»; «Трезвонит грозная пчела, стрекочет сломанный кузнечик... поводит плюшевым плечьем (а голос — войлочная мгла!) в цветке ромашковым, увечном, мой шмель...»; «Какой грибной, какой разумный дух плодит земля, качаясь под ногами! Бредет горбатой улочкой петух, промокший, ослепленный жемчугами». Одни из этих строк написаны по младенческим впечатлениям, другие — по сегодняшним, но детская «жадность к тому, что живет», угол пристального наклона к земле одни и те же:

А на старой, разбитой дороге, где пустые трехтонки пылят, восхищенно стрекочут сороки: в бузине — колыбель соловьят!

В бузине — в двух шагах — наклониться над прогорклым кустом, над рекой: это пташки, знакомые лица, это сторбленный шмель луговой!..

Удивительны при таком ближнем взгляде на земной убор пчелы. Кажется, ни одна летняя панорама не обходится у Глушковой без пчелиного пламени, без тяжелого гуда «кардинальских» шмелей (да и глубокой осенью неожиданно обретает голос «шмель, перетлевший в навозе»). Тут особое изобилие метафор: от пронзительных слов о бедственном лете недорода («Все-то снится мне город в руинах, буйнокрылая в окнах трава. На шмелиных обугленных спинах еле может стоять синева») до взгляда, невзначай брошенного в удалую минуту: «И пчелку на ниточке водит какой-то безбожник хмельной, шиповника сердце находит ее хоботок ножевой». Поэт и сам не властен над глубинным образом, всплывающим из «младенческих» пластов подсознания, но так или иначе красота, создаваемая в этих стихах «под знаком пчелы», чем-то связана с душевным складом их героини: потаенная лютая работа при внешней беспечности и даже неге. «Это поздний шиповник зацвел, столь малинов — душа на излете! — чтоб последнее золото пчел отзвело в янтарной заботе» — строки, столько же повернутые к осеннему миру, сколько обращенные внутрь себя.

А между тем над красотой в прочном (по-старому) и гармонически ясном смысле преобладает беспокойство, сминающее речь лепетом намеков и туманностью безответных вопросов. «О чем молчу?» — знать нам все же не дано. Лирика этого рода начинается и кончается умолчанием,

она силится «молчание к слову присватать», она заводит речь как бы с середины в ответ на невысказанные мысли — и часто обрывает на полуслове. Она не тяготеет к лирической биографии, лирическому роману, осуществляясь в обход исповеди. Даже в женских стихах — о любви, судьбине и разлуке — есть лишь опрозраченная вытяжка чувства: нет ситуации, обстоятельств, элементов повествования. Эта целомудренная скрытность — не только лично-психологический факт, но и литературный симптом. Поэты новой формации пренебрегают сколько-нибудь связным лирическим самоотчетом — при упорной ориентации на собственный опыт во всей его конкретности и «случайности», а не на универсальную идею. Поэт представляет от своего времени, от своей человеческой среды, не столько выдвигая и типизируя собственную участь, сколько вслушиваясь в «чуткий воздух» («...так чуток воздух этих стылых мест!»), переживая и разгадывая впечатление как знаменье.

Драма собственного, отдельного существования уже не кажется столь захватывающей; границы ее размыты, она как бы переадресована тому, что вокруг — «раките над вечным покоем», трактористу «в полюшке голом», — и стихает в родном далеке, находя умиротворение:

Погляди: горизонта черта,
как уста, стала узкой и красной.
Промолчу — но моя немота
никогда не бывала напрасной!

Погляди: луговой зверобой
не жалеет целебных соцветий.
И бегут золотою гурьбой
с золотыми лукошками дети...

Знаменательно «молчаливым» поэтом представляется мне И. Шкляревский. А ведь рассказал о себе в стихах куда как много: и о Полесье, о детстве в учительской семье, о детдоме; и о заводской, а потом рыболовецкой работе; и об охотничьих «скитаниях в лесах»². Но упрямой на белых полях его лаконических строк остается главная тайна — тайна совести и неотлучной от поэта грусти. Недосказанность у него — основной способ достигнуть той повышенной плотности по-

² См. в особенности три последних стихотворных сборника: Игорь Шкляревский. Гость. Стихи о детстве, юности и могилевской зем.е. Минск. «Мастацкая літатура». 1980; Игорь Шкляревский. Тайник. Стихи. М. «Советский писатель». 1981; Игорь Шкляревский. Брат. Новая книга. М. «Молодая гвардия». 1982.

этического вещества, о которой говорилось раньше. Вот стихотворение «Ночлег»:

Ярно горели сухие дрова.
Весело в небе свистела флюгарка.
Долго смотрела на пламя вдова,
в юности прачна, а после кухарка.

Медленно думала что-то свое,
давнее что-то в золе ворошила.
...Честно работала, верно любила,
Чисто стирала чужое белье.

Сполох стоял над спокойным лицом —
алые угли к огню подгробала.
Молча движения тень повторяла.
Думал и я в эту ночь о своем.

И весь этюд — о своем, хотя образ молодой женщины (наверное, полесской землячки, может быть — из военных вдов) с лицом, как зеркало отразившим спокойную совесть, и в нимбе, розовеющем посреди ночной темноты, — образ этот написан с любовным вниманием к судьбе другого человеческого существа, а «я» поэта напрямую обнаруживает себя лишь в последнем стихе. Мы узнаем, какие мысли занимают другую душу — не его, но невольно догадываемся, что там, в его молчаливом уме, совсем иной счет и годам и поступкам; и вина и непокой.

В поэзии Шкляревского густо от уклада, быта, от люда, среди которого он потерся как равный, тутошний. Обратите внимание на маленькие находки в этом роде — «Сплывая по Днепру...» «Жалоба счастья». А вот сценка, которая задела в мальчишеской памяти: голодные детдомовцы, переполошившие глухой полустанок. их бегство в тамбуре вагона и рядом с подростком из этой буйной стаи — «солдат стоит на сквозняке с мешком в единственной руке. Подростка клещет по щеке пустой рукав его шинели». Или еще: проводы новобранцев, бабий плач и взаимные утешения матерей: «...и твой болван, и мой бандит домой с профессией вернутся»; смятение храбрыщегося, но заробевшего призвыника «и чувства, разные насквозь — Маруся Матушка! Разлука!». Везде, однако, в этих картинках поэт присутствует не только как наблюдатель, но и как лирическое лицо, косвенно посвящающее нас в свое (да и не он ли тот подросток, тот призвыник?).

О стихах Шкляревского, если воспользоваться строкой, принадлежащей не ему, а Глушковой, можно бы сказать: «Эта грусть не сейчас родилась». И ее же формула: «...жалость нежная к отчизне». Нет, должно быть, у нас мест, где война была бы до такой степени истребительной, где она привела к такому не забываемому, не зарубцовываемому опустошению, как родная зем-

ля поэта: «Знаю, что нет утешенья! Тысячи тысяч истлели, порвана цепь поколений, выбито с кровью звено». В тех, кто родился в конце 30-х и пережил военное горе, еще не сознавая всей его меры, кто сразу после войны, в самом центре зоны страданий не мог не расти, не радоваться зелени, реке, краюхе, солнцу, играм, в тех, кто помнит себя тогда счастливым, осталось неизжитое чувство вины перед старшими, все выстрадавшими, пролившими кровь. «Мне не под силу оплакать братскую могилу, и я от памяти вольна», — говорит Глушкова о себе пятилетней, но всю жизнь вспоминает, оплакивает — «одна — из вымершей семьи, средь выжившего населенья». И Шкляревскому тоже все чудится кровавая дорога, не виденная собственными глазами (что они тогда понимали, эти ребячьи глаза!), но все равно доставшаяся в наследство: «Солнце быстро пошло на закат. Ропщет лес после бури все глуше. И зловещие красные лужи на широкой дороге лежат. Мы устали и песню поем. Липнет грязь. Расползаются ноги. И сдается, мы с братом идем по извечной кровавой дороге. Нет приюта в намокших кустах. Только цифры гудят на столбах. Только цифры, как черные даты. И горящего неба раскаты». А всего-то прокатилась летняя гроза...

Но у сопровождающей Шкляревского грусти есть еще источник: «В канаве замерзла вода. Не может напиться собака. Скулит из осеннего мрака. Идут на меня холода! И тучи гудят, как заводы. И светятся угли в золе, как город далекий во мгле... Идут на меня мои годы!» Годы надвигаются из прошлого (в ветровых тучах и углях костра — память о гудке литейки и еще о том, как в детстве шли на огни по ночному лесу: «Смотри, там светит Рогачев!») и наваливаются из будущего, сжимая сердце. Это о победе законов времени, законов естества над крепким телом, бодрым настроением, над безоглядностью полнокровного житья; но одновременно с первой угрозой старости нарастает и совестная тревога. Лирику Шкляревского не раз и не два посещают призраки безблагодатного старения, налетает ужас старческой немощи и прозябания, а главное, мизерности стариковского крутозора, когда «старый хрыч» плачет над разбитой чашкой и над десяткой, потерянной в метро. И такое — вместо скитаний в лесах, ночевок у костра в обнимку с собакой, вместо тысячекилометровых маршрутов вдоль и поперек континента и азартной мускульной

работы. Зачем? Почему? Тут-то приходят к герою этих стихов тени убитых животных, то волка, то совы, то еще какого-то подранка, издыхающего в зарослях. И хотя это, конечно, реальный мотив в быту охотника, никогда не скрывавшего своего пристрастия и запала, но, как и во всем, что пишет Шкляревский, здесь присутствует и второй план — более глубокое признание вины перед жизнью...

В стихах Шкляревского есть обрывистая, небрежная сила, есть обаяние кнут-гамсуновского, что ли, толка. Он умеет упиваться лесным счастьем Пана. Ему в высшей степени свойственна память тела и уж через нее память сердца; он помнит, каково стоять солдату на продуваемой ветрами дозорной вышке, как нелегко во время стрижки удерживать овцу, которая немногим слабее человека, как неохота с ходу нырять в ледяные мокрые кусты, спрямая после ночной смены дорогу с завода домой. Но он же словно не вмещается в свою телесную оболочку, не может приспособиться к ее ограниченности. Отделение души от тела, появление невесомого, пространственно освобожденного двойника — непроизвольный мотив лирики Шкляревского, один из тех, что (как шмели Глушковой) заявляют о себе бесконтрольно. Вот отражение его в стекле вагона покрывает собой семимильный заоконный ландшафт («Ночной двойник — на весь простор... И у неведомой версты под сердцем темные кусты шумят... И посредине лба дымит фабричная труба!»); вот над безбрежным жнивьем под закатным солнцем летит в беспокойном сне душа («А тело живое мое осталось на лавке в той хате»); вот чуть не на версту растянулась его тень в сумеречной долине. Двойник — свободно парящая душа — опережает тело, заглядывает за мгновения, телом медлительно и на ощупь изживаемые, и от такого опережения тоже грусть и чувство бесцельности испытанного во плоти: «Счастливые, лежим в долине. Над нами в голубой пустыне, бедея, облако идет... Так и мое воспоминанье об этом дне уже сейчас сверкает далеко от нас... Еще в полах из пиджака не выветрился дух долины... Еще по голубой пустыне идут над нами облака. Уж эта встреча — далека...» За этим раздвоенным — тоска по иному масштабу, чем тот, в котором, удачно или нет, под ласковым или неблагоприятным взором фортуны, проживаются отмеренные годы. И старость страшит не сама по себе, не как утрата молодых сил, а как клеймо, которым

метят уклонившуюся от своего курса жизнь.

А ведь есть в стихах Шкляревского и другая старость, старики другого поколения. Есть отставной учитель, что живет как будто в том же отпугивающем мизере подсчетов и мелких потерь и провожает заходящих к нему словами: «Гасите свет.. Гасите свет» («Не мог забыть копилку он. К тому же скромный пенсион»), — но продолжает наставлять, помогать до самой смерти под одинокой лампочкой, которую некому было погасить. Есть отец (это все одна судьба): после него в самодельном столе осталось «так не много чудес. Две просьбы в районный собес... И дужки от старых очков, обмотаны черною ниткой Старательный труд вечеров, когда хлопает ветер калиткой...». В этой эпитафии вроде бы и не слышится похвалы, а все ясно: та, отцовская, жизнь этически расценивается куда выше собственной. И детство, грозящее в послевоенной бедности, представляется раем, прежде всего как полоса освященных, сообща оправданных лет:

Есть в отдаленной области небес
былая жизнь...

Всегда зеленый лес
и заводы незамутненных рен.
Давно покончил с ними человек.

...В той области небес нет сторожа

у входа,
но человек туда

всей жизнью не войдет.
Там реют сироты сорон второго года.
Там вечерами хор детдомовцев поет.

Эта грустная память о праведном начале жизни помогает разворотить в общей судьбе эгоистические шлаки: «Чей прах на плечи мне упал? И тех, кто жил давно, жалею. И помню тех, кого не знал...»

Повторю еще раз, что в описываемом поэтическом сознании живет многолюдство особого рода: постоянно сопровождающий лирическое соло неслышный хор отошедших. Впереди — родители. Уж так складывалась в нашем веке отечественная история, что фактически мы имеем дело с первым зрелым поколением поэтов, в чьей судьбе естественный порядок взял свое: они чаще провожают и оплакивают старших, чем старшие их. Им дано столкнуться не с внезапной катастрофой, а с неизбежной тайной смерти. Не переживи гайнственную обыденность «мирной» смерти в мирное время, они, быть может, писали бы «о предках вообще» с прощительной долей отвлеченной мифологической патетики.

Так, стихотворение Ю. Кузнецова, давшее повод к столь долгим спорам, «Я пил из черепа отца...», написано не об отце, а именно о предке. И сколько бы ни твердили, что это в своем роде поэтический реализм, воскресивший древние языческие обряды, я больше верю в реальность иной тризны, описанной другим поэтом: «Почувствовать страшно, как это просто: в дыму морозном, в ограде тесной рядом два-оба — среди погоста — сугроб надгробный да крест железный».

А рядом шум, и гости за столом.
И подошел отец, сказал: — Пойдем.
Сюда, куда пришел, не опоздаешь.
Здесь все свои. — И место указал.
— Но ты же умер! — я ему сказал.
А он: — Не говори, чего не знаешь.

И встали все, подняв на посошок.
И я хотел подняться, но не мог.
Хотел, хотел — но двери распахнулись,
как в лифте, распахнулись и сошлись,
и то ли вниз куда-то, то ли ввысь,
быстрее, быстрее — и слезы
навернулись.

Стихи О. Чухонцева, посвященные кончине родителей, загробным поминкам, когда во сне приподнялась завеса и жизнь переломилась надвое, находятся в центре целого сонма нынешних поэтических тризн. «У нас живые мертвым говорят слова особо тайного значенья» (И Шкляревский) Извечное место элегических раздумий (Жуковский, Пушкин, Гютчев — кто здесь не замедлял шаг?), в первой половине нашего торопливого и бурного века почти забытое (не только кресты и фанерные звезды А. Жигулина, но и загадывание Пастернака в собственную раскрытую могилу — все это ведь появилось сравнительно недавно), теперь снова вошло в поэзию «тем кладбищем, где тихо лежат мама, папа, подруги, соседи. Угадали меня... Сторожат... Ах, как людно, как гулко на свете!» (Т. Глушкова).

Герой Шкляревского подростком мог без оглядки пробегать «погост забытых», сокращая дорогу на горожской вал, откуда звучала музыка и танцевали по вечерам. (А ноги все равно спотыкались о ржавое военное железо, угопленное в преграждающем путь торфянике, и, споря с доносящимся оркестром, «рыдание жаб меня сопровождало.») Но вот его поэма «Гость» — она об отце еще живом, но уже усыхающем и видящем свой близкий уход, о прощании с родиной, вернее, с тем чувством к ней, какое дарит родительский дом, пока он не опустел. Герой проезжает туда со столичными и загра-

ничными подарками, которые не впору и не в срок. «Сын уловил с порога — в доме живет тревога. Сын отцу говорит: — Сзади пиджак висит. — Исправим, — шепнула мать. — Долго носи, Иван. Не клади в чемодан. — Не захотел исправлять... С тополя падал пух или из гнезд помет, сына звериний слух шорохам вел учет. Время бьет наповал! Матери на закате тихо отец сказал: — Никто не увидит сзади». Чувствуется, что эта прощальная поездка тоже надвое переделает жизнь: обратный путь в вагоне скорого — как на кругую гору, и слово «гость» звучит самоистязующе, хотя какая и где здесь вина..

«Я оторвался от своих корней», — обронил, раздумывая о том же, Чухонцев. Соблазнительно ухватиться за эту простую версию как за ключ к нашей «новой» поэзии, как за объяснение ее беспокойной зыбкости. Ключ, однако, окажется ложным; «новое» поэтическое сознание вдумчиво восходит по лестнице: родители, родичи, родина, природа, соприродность мирозданию, — отдавая дань каждой ступени и счастливо избегая беспочвенности. Тому свидетельство хотя бы стихи Чухонцева о подмосковном «огненном» лете 1972 года, когда горели леса:

...А со степей казахских и каспийских
шел зной, и было небо как в огне.
Душа болела о родных и близких,
о матери я думал, о жене.

Нет, не любовью, видно, а бедою
выстрадаваем мы свое родство,
а уж потом любовью, но другою,
не сознающей края своего.

Да что об этом! жизнью и корнями
мы так срослись со всем, что есть кругом,
что, кажется, и почва под ногами —
мы сами, только в образе другом.

Не знаю, удастся ли представить поэзию О. Чухонцева в связности ее внутренней мысли. Тоненькая книжка³ тесна для его двадцатилетней поэтической работы. Это не то чтобы разрозненные, но все-таки отдельные листки «из трех тетрадей». Впрочем, безотносительно к превратностям издательской судьбы у Чухонцева всегда высок удельный вес каждого завершеного стихотворения, достигнута вычлененность его из сплошного потока речи. Густота и плотность сочетаются здесь с внятностью, художественная идея, выращенная на большой глубине, проходит особо придирчивую духовную обработку.

³ Олег Чухонцев Из трех тетрадей. Стихи. М. «Советский писатель». 1976.

Быть может, в этой не чуждой любомудурия лирике наиболее ощутима циркуляция токов между пейзажем, личным настроением и общественно-историческим воспоминанием, как бы единое их поле, улавливаемое «космическим чувством» поэта. Он постоянно чувствует рядом с собой, в пустоте или бездне мирозданья (но в тесной близости к быту) — еще что-то непостижимое присутствие, понимаемое то как отдельная «мысль» природы, то как знак из грядущего дня, то как голос и дуновение тех, кто прежде населял эту землю:

И в кадке с дождевой водой
дрожала ржавую звездой
живая бездна мирозданья.
Не я, не я, но кто другой,
склонясь над млечною грядой,
оставил здесь свое дыханье?

(Отмечу совпадение у Шкляревского: «Отчего душе моей сродни пасмурные дни? Отчего люблю песок текущий с темною полоской у воды, запах торфа, грозные тучи, в дюнах цапли тонкие следы... Мокрый флаг над тихим детским домом, сладкий дым, гречишные поля. Там, над ними, в холоде бездонном бродит мысль, живая и ничья...» Тут уловлены как бы одни и те же поэтические.)

Уже ясно, что наши поэты не смущаются печалью будто беспричинной, разлитой в воздухе. У каждого своя тайна грусти и цвет ее: у Т. Глушковой — эстетизированная стойкость как ответ на судьбу («...не сердца — только судьбы разбиты!»), у Шкляревского — смутные самообвинения перед лицом отчего края и сокращающейся жизни. Лирику Чухонцева назвать грустной было бы слишком неточно (разлет чувств, впечатлений, поэтических предметов в ней очень широк), но именно у него грусть или тоска возводятся в степень духовной жажды. Есть и знакомые уже мотивы: память о детстве как о дорогой утрате, неисполнимое желание насмотреться на свое деревянное отечество, на свой Посад прежними, мальчишескими глазами — все то, что трепещет в вопросах: «Где сиреневый вечер? Где радость надежды? Где козья погудка?» — и итожится двустушием:

Во сне я мимо школы проходил
и, выдержать не в силах, разрыдался.

Но грустная память, скользящая «бывшим маршрутом», у Чухонцева не главное; у него вообще больше опоры на настоящий свой день и возраст. Изначальное томительное чувство не вечности жизни предстает здесь обнаженным, не поддер-

тое житейскими мотивировками, не объяснимое даже движением лет.

. В «Воробьиной ночи», в стихах о любви и страсти, высоко взмечается пламя, захватывает дух, но мгновение спустя прогорает, и пепел лучше не ворошить. А огонь, пока он есть, раздуть, пусть истощится побыстрее.

Еще темны леса, еще тенисты кроны,
еще не подступил октябрь к календарю,
но если красен клен, а лес стоит зеленый,
— Гори, лесной огонь!— я говорю.

...Гори, лесной огонь, лети на все четыре
и падай на спаленные крыла!

И вот уж пожар стих, исчерпал себя — «и поймешь в невеселый час, что на осень нашлась проруха: просвистелась она — и нас оглушила на оба уха. Оголила сады насквозь и дала разглядеть сквозь слезы, как летят, разлетаясь врозь, лист осины и лист березы..». Это последнее стихотворение (одно из лучших) начинается с характерно унылой чеховской картинки: «В нашем городе тишь да гладь, листья падают на репейник, в оголенном окне видать, как неслышно пыхтит кофейник. Ходят ходики, не спеша поворачиваясь на гире, и, томясь тишиной, душа гложет в провинциальном мире». Но не столько тут укор провинции, сколько вздох, адресованный, так сказать, мировому порядку вещей с его «просвистевшимися» осенями; бытовое бросает космические отсветы.

У Чухонцева рано проявилась потребность переводить точную житейскую зарисовку на рельсы собственного чувства, поворачивать ее лирической и вселенской стороной. Вот, к примеру, совсем простое, хотя и крепко сбитое стихотворение 1961 года об уборке картошки в провинциальном городке: «...весь город валит валом на поля, в руках мешок, а на плече лопата... Он лупит завидущие глаза. Он тянется своей большою ложкой. Он, может быть, и верит в чудеса, но прежде запасается картошкой». Эта собственноручно убранный картошка «прекрасна, как сама земля», — и вдруг неожиданный финал: «Отчего ж тогда не даешь твоя душа? Какая ей досада на этот день в начале сентября?» Закончено не только не по правилам «благополучного» сочинения, но и не по тем, которые установил в своих стихотворных новеллах Евтушенко, в то давнишнее время уже отвовавший право утверждать: «И всюду жизнь была собой, и всюду люди жили». Чухонцев, выступив несколько позже евтушенковского поколения (каких-нибудь пять лет разницы, а какой разрыв!), с самого начала без колебаний и без вы-

зова выпускает в стихи будничную «жизнь как жизнь», но сразу же стремится разомкнуть ее в вечность.

Потом то же необъяснимо «досадное» чувство не раз прозвучит в лирике Чухонцева как призыв, как нота разлада — наверное, между таинственным совершенством жизни и ее мгновенностью. В тихие миги природы во время сосредоточенных пауз межсезонья виднее хрупкость живого, большее сердцу, не готовому с этим примириться, Весной —

Река темнеет в белых берегах.
Пронесся ледоход неторопливо.
И тишина зыбучая в лугах
стоит недели за две до разлива.
Я что-то потерял. Но что и где?
И колесо колеблется в воде.

И осенью —

Так дышитесь легко, так далеко глядится,
что, кажется, вот-вот напишется
страница.

О чем? Поди снажи! О том, как безутешно
повернута на юг открытая сворещня?

Что скажешь? Как поймешь? Возьмешь
ли грех на душу
нарушить тишину? И словом не нарушу!

Среди стихотворений о загадочной поднебесной тишине пронзительно-печальным кажется как раз самое летнее и радостное: «Еще помидорной рассаде большие нужны костыли, и щели в искрящей ограде вьюном еще не заросли; еще предзакатные краски легки, как однажды в году, и пух одуванчиков майских не тонет в июньском пруду. Но так сумасшедше прекрасна недолгая эта пора и небо пустое так ясно с вечерней зари до утра, что, кажется, мельком, случайно чего ни коснется рука — и нет, и останется тайна на пальцах, как тальк с мотылька. О, лучше не трогай, не трогай... Благоговение и сожаление смешались воедино. Почти укладываясь в традиционные принципы пейзажной лирики или лирики «природы и души» (с ее старинным психологическим параллелизмом), эти стихи неуловимо от той и от другой отличаются: жизнь «я» не вынесена здесь за скобки, но «я» в первую голову озабочено не собой, не своим смертным уделом («...оглянусь на пустырь мироздания, подымусь над своей же тщетой...»). А тайно озабочено уделом весеннего, летнего, осеннего дня, судьбой его ускользающей красоты.

Пейзажем ли назвать такую сложную и парадоксальную композицию: «Когда верблюд пролез в игольное ушко — перебро-

дил прогресс, и зло в добро ушло, и разомкнулся круг истории Земли, и Свет из первых рук явил дела свои. Был бесконечный день, повернутый к теплу, и влажная сирень стучала по стеклу. Был бесконечный час, пронзительный как стих, и что-то зрело в нас, что выше нас самих. Не слышимый на слух, не видимый на глаз, бродил единый дух, преображавший нас. Он зябликом в лесу свистел на сто ладов, да так, что на весу сорваться был готов. И тонкий-тонкий звук терялся вдалеке, и я — как всё вокруг — висел на волоске». Без начальных четверостиший стихотворение могло бы напомнить пастернаковскую «молитвенность» перед чудом жизни («Ты спросишь, кто велит, чтоб август был велик, кому ничто не мелко...»), но первые две строфы превращают цветущий день в проблематичную цель человеческой истории, переносят его в благой финал, где прекрасное будет бесконечно длиться и то, что сегодня дано на миг, обретет права вечности.

Примечательно, что стихи в этом роде отличаются у Чухонцева прямо-таки фенологической точностью. В них не Природа философов, а календарные ритмы среднерусской равнины, и ее заботы о прокорме, и «тоска пространства», древняя ширь. Напоминание о ее страде и размахе входит в поэзию Чухонцева неявно, негласно — вместе с тревожными образами высокой воды, парходных гудков, перелетных стай. Его склонность к характерным для национального мирочувствия сближениям природного события (ледоход, ледостав, разлив) и исторического свершения или сдвига заставляет вспомнить природно-исторические параллели «Слова о полку Игореве». Эпиграфом же из «Слова...» помещено одно из главных произведений сборника — «Зычный гудок, ветер в лицо...», — заряженное исторической энергией, настойчивыми вопросами будущему.

Задержимся на этом подробнее. Сколько ни написано Чухонцевым превосходных «осенних» стихотворений (а у всех трех поэтов они, как правило, оказываются среди лучших), символичен для его чувства родины, мне кажется, весенний разлив, паводок. Тут и оголенная неустроенность по ходу всех переустройств:

Облупилась яичная кладна,
сгнил настил до последней доски.
Посреди мирового порядна
нет тоскливее здешней тоски.

Здесь, у темной стены, у погоста —
оглянусь на грачный разбой,
на деревья, поднявшие гнезда,
в годях сучьях над мутной водой.—

тут и надежда на то, что имеет же смысл многовековое бесстрашие России перед лицом этой неустроенности, не напрасен же выплеск невиданных сил, а значит, и собственная жизнь:

Родина! Свет тусклых полей, омут речной
да излучина,
ржавчина крыш, дрожь проводов, ропот
быков под мостом.—
кажется, все, что улеглось, талой водой
взбаламучено,
всплыло со дна и понеслось, чтоб
отстояться потом.

Это весна все подняла, все потопила
и вздыбила —
бестолочь дней, мелочь надежд — и
показала тщету.
Что ж я стою, оторопел? Или нет лучшего
выбора,
чем этот край, где от лугов илом несет
за версту?

Гром ли гремит? Гроб ли несут? Грай ли
висит над просторами?
Что ворожит над головой неугомонный
галдеж?
Что мне шумит, что мне звенит издали
рано пред зорями?
За семь веков не оглядеть! Как же за
жизнь разберешь?

(«Зычный гудок, ветер в лицо...»)

Не гоголевский ли это взгляд на загадку мчащейся в будущее Руси? И снова больше вопросов, чем ответов.

Вышло так, что творчеством героев нашей статьи оказалась охвачена вся коренная восточнославянская ойкумена — Украина, Белоруссия, средняя Россия. Три имени не были заранее подобраны с намерением возложить на них краевое представительство; но раз уж им пришлось перекликнуться с разных концов, от этого, быть может, стала яснее общность почвы, общий тип связи с ней. При остром, запечатленном на всей творческой жизни чувстве места своего рождения, своих корней их поэзия свободна от партикуляризма: в частности, почти не нуждается во внешних метаях местного колорита, в этнографических словесных красках («...этой дивной речью мог чароваться непривычный слух. Но... я взяла два-три — не боле — слова: моя котомка без того полна», — пишет Глушкова об украинском говоре). Не подходят сюда и социально отграничивающие определения, часто совсем не бессмысленные даже в приложении к крупным явлениям искусства. Ясно, что не сельская Русь, но ведь и не Русь же провинциальная. Масштаб резко укрупняется переживанием единого исторического пути отечества (земли отцов, на кого пало

бремя державы). В стихотворении Глушковой «Эта грусть не сейчас родилась...» доносящийся из репродуктора голос ее земляка Козловского («Это с черной тарелки певец — с черной пахоты из-под Полтавы») — старинный вальс о павших в японскую войну четвертого — пятого года — заполняет душу поэта волной сочувствия к тем, кому не вернуться с чужбины, к своим во всю ширь исторических и пространственных рубежей («Далека ты родная земля, не видать в этом желтом тумане. Гаолян покрывает поля, точно сплю я сама в гаоляне»). «Тебя омывают двенадцать морей. С тобой обнимаются три океана», — обращается к большому отечеству Шкляревский и тут же перебивает одический разбег детским воспоминанием: «Я прятал копилку в дупле на поляне. Отец ее в омут забросил. Смотри! Волнение жита увидел я с кручи. Терлишь в твоей беспредельности гучи. Тебя осветить — не хватало зари!» Малая копилка, выброшенная назидательной рукой отца, канула в беспредельную глубину — здесь, видно, считают зазорным копить в одиночку, расставаться же с накопленным привычно: «Тебя омывают двенадцать морей! С тобой обнимаются три океана. Не вымерить кладов твоих несказанных. Других ты богаче, себя ты бедней». Стихотворение Чухонцева под эпитафией из Игоревой песни, где на мгновении и «местном» впечатлении держится семи-вековой пласт, кончается благодарностью «за пример зла не держать за душой» — личным уроком из исторического бытия отечества.

Ново ли все это? — спросят меня. Повторю: ново — не в том смысле, в каком желает быть новой изобретательность любой из волн художественного авангарда. Всем памятно однажды выдвинутое в полемических целях разделение лирики 60—70-х годов на тихую и громкую (или эстрадную). Как во всяком условном девизе или знамени, важны были не сами эти слова (громкая отнюдь не чуралась интимных тем, а тихая — Рубцов, Жигулин — конечно же, не была ни шепотливой, ни мало-сильной); важно было, что за словами. Дело в том, что в русской поэзии XX века никогда полностью не сливались авангардно-футуристическая и неоклассическая струи: Сколько бы ни было промежуточных явлений (вроде филологической близости Вяч. Иванова и Хлебникова, вроде черточек преемства между Бальмонтом и Северяниным), но грань оставалась непреодолимой. Одни лишь Пастернак, получив

в юности футуристическую инъекцию, тут же ее преборол и влил в жилы последующим поэтическим поколениям каплю этой переболевшей крови, безопасную и небесполезную, как противооспенная вакцина... В поэзии, названной эстрадной, с ее выисканными неологизмами, выпяченными корневыми рифмами, общей бурно-молодежной интонацией, с лубочной подчас романтикой, авангардно-футуристическая закваска чувствовалась сильно, и было заманчиво все, сохранявшее на этом фоне традиционные нормы вкуса и строя, назвать тихим, то есть несуетным.

Соответственно, описываемые на этих страницах явления (сюда можно бы добавить имя Владимира Леоновича, к сожалению непростительно мало публикуемого) — продолжение тихой лирики поэтов, сложившихся и получивших известность несколько раньше, и в них не приходится искать мятежной, торопливой новизны, противопоставляющей себя «всему, что до нас». Тут есть все признаки органического рождения — не выучка, а растворенная собственной кровью поэтическая культура многих пластов, включая и нынешний век. Одно из узловых в книге Чухонцева стихотворений, о вступлении в тридцатилетний возраст («Всю ночь громыхал водосток...»), вряд ли бы так удалось, если б уже не существовало «второй баллады» Пастернака («На даче спят...»). Этот произвольный поток ночных размышлений под грохот ливня за окном («И думал я, слушая шум, быть может, впервые свободно о жизни — и все что угодно легко приходило на ум»), скрепленный, однако, мерным строфическим каркасом, уже был опробован до Чухонцева. Однако и мысли, и интонация, и лексика, и колорит, и темперамент — все здесь безусловно и совершенно свое. Художников, открытых для естественного наследования, предшествующие достижения раскрепощают, а не сковывают. У Глушковой многие строки были бы тематически и стилистически невозможны без Заболоцкого («...скачет круглая вода») или без Тютчева с его поздними розами, разогревающими декабрьский воздух («...где ранней, нищей, смугловатой розы головка подвеченно завита»), без акмеистов («Кладу вишневое варенье в кипучий, сумрачный стакан») и, тут же через строфу, без Блока — без русалочьей головы, привидевшейся ему в заводи; заметно и по-манделштамовски несплошное соединение образов с перескоком через отдельные звенья. Ее стихи вообще опираются на уже утвердившуюся норму прекрасного, на согласованный с

этой нормой отбор впечатлений; в них есть демонстративное литературное начало («...за рифмой «любовь» послала — ни много ни мало — эту старую, нищую «кровь», ибо легче — любви не знавала. Ибо так же звучала она в фортепьянах безумного Фета...»). Но они обладают личным образным полем, и даже боготворимое их автором имя Блока над ними не властно. Ну а Шкляревский, который сообщает о собственном литературном отрочестве: «Поэзию не понимал, не знал, не слушал, не читал... свои придумывал законы — звонкоголосые глаголы с разгону, с ходу рифмовал»? Пусть так, но в его лирике ощутимо точное понимание законов фрагмента, штриха, паузы, детали (вроде того бутылочного осколка, о котором говорит в чеховской «Чайке» Треплев), какое можно получить только из классического фонда (не прошли мимо этого поэта балладная таинственность и жестокая натурность зрелого Лермонтова).

Чрезвычайно знаменательной кажется нелюбовь наших поэтов к стихам о стихах, к вздохам и восторгам над белым листом бумаги. (Громогласно заявляемая приверженность к своему цеховому знамени давно уже стала одним из признаков авангардного стиля.) Напротив, заметно утопическое желание отнять у искусства элемент искусственности, дав ему раствориться в той жизни, откуда оно вышло: «Слепила синева. Я слышал дятла стук. Но я забыл слова: Береза... Дятел... Жук... И я без слов писал... Но дятел лист прорвал! Жук проточил его! Огонь его сожрал!» (И. Шкляревский)

И все-таки налицо приметы духовной и психологической новизны сравнительно с красками недавней поэтической панорамы. На ум приходят строки Шкляревского: «Есть какая-то сладкая грусть в промежутках и паузах жизни». (Разрядка моя.— И. Р.) Впрочем, «промежуток» как бы отсылает нас к известному обозрению Ю. Тынянова. А мне вовсе не хотелось по аналогии с ним утверждать, что сейчас в поэзии происходит очередная мутация, смена ориентиров при непременном отгалкивании от вчерашнего дня и ходах конем куда-то вбок. Под «паузой» же тут можно разуть время неявного действия подспудных сил, время накопления, вызревания. Как ни странно, именно в это

на поверхности ровное время поэзия подставляет себя большим давленим. Кругом «тишь да гладь», а поэту не до того, чтобы стихом прочерчивать линию своей судьбы, не до сентенций и афоризмов («новая» наша поэзия на редкость несентенциозна), не до философической созерцательности. Он весь превратился в чувствилище, в орган уловления неясных вестей и голосов, доносящихся сразу из прошлого и из будущего, скопившихся над что-то вынашивающей в себе землей. Ему не отвлекаться от той чуткой службы, которую еще Блок называл сейсмографической. Он, такой поэт, захватывает большие срезы невидимой жизни, уже развоплощенной и еще не воплотившейся, не находя им объяснения. Жажда абсолютных мерок, стремление ввысь преобладают над чувством пути. В этой позиции есть что-то от загадывания, гадания, угадывания. Даже в отрывках, цитированных совсем с иными целями, не могло не броситься в глаза обилие вопросительных знаков: о чем молчу?.. отчего душе моей сродни пасмурные дни?.. отчего ж не рада моя душа?.. не я, не я, но кто другой?.. что ворожит над головой неугомный гадеж? Наши герои словно бы ждут некоего откровения, которое одарило бы их решающей ясностью. А тем временем космическое, природное, историческое образует в их душе не лад, а тревожный сгусток ассоциаций, плотно спрессованный и прошитый острыми нервными токами.

Не знаю, что скажет об этой талантливой лирике завтрашний день, но чтобы вполне оценить и полюбить ее сегодня, надо и самому с такой же недоуменной тревогой и напряженной надеждой всматриваться вдаль, твердя вслед за поэтом:

Но что-то зреет в нас, что выше нас самих,

Оглядывая же в более общей перспективе наметившийся тип лирического сознания, хочется предсказать нашим лирикам неизбежное для них и, по-видимому, уже начатое ими движение «от Блока к Пушкину», от вселенской отзывчивости и вибрации к мудрой избирательности, к волевой ориентировке в историческом и космических стихиях.

Сколь многое зависит в зреющем завтра от непреклонного слова художника, от решимости сказать простое «да» верховным опорам жизни!

СЕМЕН ФРЕЙЛИХ



ДИНАМИКА СОВРЕМЕННОСТИ

Будущие историки литературы и искусства в периодике нынешнего года найдут обширный материал для осознания художественного процесса нашего времени. В самом деле, критика 1982 года трижды сосредоточивает — сосредоточивает глобально — свои усилия для обсуждения наиболее актуальных проблем художественного творчества. В феврале ни один журнал не обошел проблемы литературно-художественной критики в связи с исполвшимся десятилетием постановления ЦК КПСС; в августе — десятилетие постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии»; ныне мы активно вошли в полосу обсуждения проблемы многонациональной социалистической культуры в свете исторического 60-летия создания СССР.

Представляется, что главное в этом широком и всестороннем творческом обсуждении — стремление осознать закономерности современного художественного процесса нашей литературы, кино, забота о развитии искусства в целом, повышении его идеологического потенциала и художественной силы. Здесь мы опираемся на программные идеи XXVI партийного съезда о все возрастающей роли литературы и искусства в жизни общества, о значении нравственных исканий, о роли таланта.

В чем смысл минувшего десятилетия? Какие задачи оно сумело решить, как оно связано с предшествующим опытом и как оно видится из восьмидесятых, уже наступивших и стремительно приближающихся нас к завершению века?

Попробуем рассмотреть эти вопросы на материале кино.

Были десятилетия, которые стали эпохами в его развитии. За 20—30-е годы, этот ничтожно малый исторический срок, изменился сам способ художественного мышления, ибо перед нами, собственно говоря, различное кино: немое и звуковое.

Те, кто догматически противопоставляет 20-е годы 30-м, нарушают один из важных принципов подхода к искусству, сформулированный еще Марксом и Энгельсом. Неправильная, по их мысли, устаревшая форма — понятие относительное. Чтобы понять ее историческое значение, надо сопоставить ее не с новым содержанием, а с тем, по отношению к которому она была новой.

Форма немого «Потемкина» и форма звукового «Чапаева» совершенны для содержания, которое они выразили. Они противоположны лишь по способу выражения, но не по взгляду на историю. Современное кино в равной степени питается и тем и другим направлением. Оно берет идеи и формы и от немого и от звукового, поскольку по своей стилиобразующей сути является не немым и не звуковым, а звуко-зрительным искусством. Здесь мы обнаруживаем три важнейших этапа развития искусства кино.

Сама по себе возрастающая роль искусства исключает хоть в какой-то степени рассмотрение искусства как приложения, как иллюстрации к общегражданской истории. Точно так же вызывает законную критику и другая крайность: видеть историю кино как историю форм. Марксистская эстетика исходит из того, что господство тех или иных форм связано с господством идей, хотя новые идеи не сразу находят соответствующее себе выражение. Так, в пору рождения советского кино зритель, привыкший к жанрам русского дореволюционного кино, и коллизии новой жизни лучше воспринимал в форме мелодрамы.

Это прекрасно понимал Протазанов, ему как «традиционалисту» противопоставляли «новаторов» Кулешова и Эйзенштейна. Однако, как мы теперь понимаем, в постепенном освоении формой идей была своя логика.

Было немое кино протазановское и было немое кино эйзенштейновское.

Немое кино и 20-е — синонимы, но это не значит, что немое кино ограничивается

хронологическими рамками 20-х. Само движение «литературы и искусства происходит так, что следующий период начинается не по окончании предыдущего, он зарождается внутри предыдущего, они связаны как бы кирпичной кладкой, благодаря чему возникает прочная устойчивая традиция. Не потому ли (вспомним из истории литературы) «Статьи о Пушкине» Белинский начал с завязи русской поэзии в творчестве Державина, Батюшкова и Жуковского. И не потому ли мы сегодня, пытаясь осознать 80-е, обращаемся к логике развития предыдущих важнейших десятилетий.

Итак, 20-е значит немое, а это значит, что 20-е — не десять лет, а все немое, а оно в истории советского кино отмечено датами 1917—1931. Точно так же звуковое кино: звуковое и 30-е — синонимы, но опять-таки звуковое кино не ограничивается хронологическими рамками 30-х, в свою очередь оно захватывает 40-е и начало 50-х.

30-е годы сформировали традиции, которые в войну были использованы с полной силой и незамедлительно. И дело не только в том, что на экране в выпусках «Боевых киносборников» появились уже теперь в ситуациях войны Чапаев, Максим и даже героиня музыкальной комедии «Волга-Волга» — неукротимая в своем оптимизме почталыон Стрелка. Созданные в 30-е годы картины — «Александр Невский», «Мы из Кронштадта», «Чапаев», «Щорс» — снова были пущены в прокат, они как бы помолодели, подвергнутые испытанию круто изменившимся временем. Эти картины показывались красноармейцам перед отправкой на фронт, на их опыт опирались мастера, снимающие фильмы уже непосредственно в ходе войны. Отечественная война изображалась в период самой войны в формах историко-революционных фильмов 30-х годов.

Нередко повторяются даже приемы, особенно когда прием, как знак, нес совершенно определенную информацию. Интересное наблюдение здесь сделал историк кино М. Зак: в картине «Секретарь райкома» в сцене у партизанского штаба часовой, отбывая пропуск, накалывает их на штык; сцена навеяна классическими историко-революционными фильмами, но если в Смольный приходили тысячи людей, то здесь, в селе, где все друг друга знали в лицо, это не было необходимо, художник пользовался старым приемом, чтобы наиболее коротким путем сообщить зрителю смысл новой ситуации.

Снова, как и в немом кино, проявляется та же закономерность: новое содержание

на первых порах изображается в формах, привычных для масс. Это снова актуально сегодня, когда мы обсуждаем проблемы массовости и идейности искусства. И здесь действуют не только законы инерции восприятия, но и законы инерции творчества. Должны были быть созданы и «Секретарь райкома», и «Два бойца», и «Пархоменко», и «Она защищает Родину», и «Радуга», чтобы через десять — пятнадцать лет появились «Летят журавли», «Судьба человека» и «Баллада о солдате», «Мир входящему», «Дом, в котором я живу», «Иваново детство». Традиция не может быть вдруг оборвана, она сама рождает новое, рождает в муках, потому что рождает его самоотрицанием.

Как видим, новая концепция войны сложилась уже в третий, звуко-зрительный период. Обновление, разумеется, касалось изображения всех явлений жизни — и современных и исторических. Но именно тема войны сыграла для кино этого периода ту же роль, какую сыграла для первого, немого, тема революции. Революция таила в себе не только тему «Броненосца «Потемкина», но и его эпическую форму. Картина Эйзенштейна не оказалась единичным явлением. Вместе с ней игровые картины Кулешова, Пудовкина, Довженко, Шенгелая-старшего, Козинцева и Трауберга и документальные ленты Вертова и Шуб составили эпоху монтажно-поэтического кино. Направление пережило глубокий кризис, когда надо было показать прозу жизни, когда ситуации мирной жизни с ее неизведанными коллизиями привлекли к себе внимание художников. «На пути «Потемкина» дальнейшей продвижки нет». Эти слова принадлежат самому Эйзенштейну. Новая, социалистическая действительность не пересказывалась пластикой немых картин о революции. Человек на экране заговорил, и это было неизбежно, важно было только не оборвать опыт немого экрана, мы знаем, как этим были озабочены основоположники советского кино.

Звуковое кино понадобилось, чтобы в полный рост показать нового героя, в изображении которого не было еще опыта. В этом историческая заслуга «Путевки в жизнь», «Встречного», «Чапаева», «Щорса», «Трилогии о Максиме», «Учителя», «Машеньки», «Украины», фильмов о Ленине.

Картина «Летят журавли» лучше всего показывает смысл дальнейшей эволюции самой природы искусства кино. За рубежом ее причисляли к «новой волне», для которой, в представлении французской крити-

ки, характерен был решительный отказ от традиций, целиком и полностью определяемых как «дедушкино кино». «Летят журавли» — действительно новое явление, явление современного кино, но в нем прочные связи с прошлым, в том числе с прошлым самого постановщика этой картины Калатозова. В нем кино он поставил «Соль Сванетии», в звуковом — «Чкалова». Теперь он вернулся к пластике немого кино, вернулся не буквально, а как бы на новом витке развития, когда кино как синтетическое искусство приблизилось, может быть, к своей сути. Драматургия современного кино способна к тончайшему анализу мотивов поведения. Коллизия картины «Летят журавли» недоступна для кино предшествующего десятилетия, хотя опыт предшествующих десятилетий, повторим, живет в ней: массовая сцена проводов на фронт имеет своих прародителей — потемкинскую лестницу и чапаевскую психическую атаку. В то же время способность углубиться в психологию позволила тему «жди меня», воспринимавшуюся раньше исключительно как лирическая, решить в масштабах трагедии.

Может быть, именно в новом ракурсе видения войны так отчетливо обозначился рубеж современного периода кино. Победа над фашизмом, стоившая 20 миллионов жизней советских людей, заставила задуматься о судьбе человечества. Все чаще делаются картины, где победой не кончается, а лишь начинается действие. Принципиальной здесь стала новизна трактовки темы в фильме «Белорусский вокзал», который целиком относится к новому периоду искусства: молодые тогда кинематографисты сценарист В. Трунин и режиссер А. Смирнов сделали фильм на тему после победы. В картине чутко уловлено, как смещаются типические обстоятельства — развязки становятся завязками нового, небывалого действия. Трудности послевоенных лет, хищный оскал вчерашних союзников, сбросивших атомную бомбу на Хиросиму, — все это рассеивало иллюзию благоденствия. Трезвость оценки исторической действительности проявилась и в картине «Шестое июля», где Ленин показан в финале в момент раздумья перед неизведанными новыми путями, и в картине «Никто не хотел умирать», где герой, выйдя контуженным из боя, задумывается в тишине об ответственности победителя. Жажда увидеть «обратную сторону Луны» определила современные поиски не только ученых, но и художников, закон обратных связей и опережающего отображения, сформулиро-

ванный академиком Анохиным, касается прежде всего самого человека. И так же, как наука нашла возможность сочетать в себе классические законы физики с квантовой механикой, искусство диалектически объединило классический опыт немого и звукового кино в опыте современного звуко-зрительного, или, как теперь принято говорить, аудиовизуального, искусства, отвещающего историческому сознанию современного человека, его видению мира.

Формирующим началом современного кино стали нравственные искания, что особенно отчетливо проявилось в 70—80-е годы.

Самое определение «нравственные искания» имеет принципиальное значение. Именно в последнее десятилетие определение это стало пониматься в его глубоком смысле.

Стоит напомнить, как длительное время мы толковали эту проблему. В тематических планах студий наряду с глобальными проблемами, отражающими жизнь рабочего класса, колхозной деревни, интеллигенции (сюда относились также исторические и историко-революционные фильмы), значились фильмы о семье, то есть о частной жизни. Рубрика эта планировала фильмы на морально-этическую тему. Тавтология самого определения «морально-этическая» делала его неуклюжим, но суть не в этом: определение заранее относило частную жизнь к частным явлениям. В действительности же проблема имела и имеет принципиальное значение. «Третья Мещанская» так же важна для 20-х годов, как и «Броненосец «Потемкин», «Путевка в жизнь» неотделима от 30-х годов, как и «Чапаев», в послевоенном творчестве Райзмана фильм «А если это любовь?» так же не случаен, как и «Коммунист», оба относятся к поискам одного периода.

Тема семьи не частная проблема. Само происхождение ее неизменно понималось марксизмом не только как проблема нравственно-философская, но и государственная. В сочинении Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» семья, как видим, ставится в триаду важнейших историко-социальных понятий, но если они связаны на стадии возникновения, то тем более не могут они существовать независимо друг от друга сегодня. Изменение природы государства, исторические перемены во владении собственностью — как это все сказало в формах существования современной семьи в мире вообще и в социалистическом обществе в частности? Искусство не ждет, пока

наука ответит на эти вопросы. Тут они действуют, как говорится, на равных, и нередко искусство само дает пищу для размышлений ученым. Что стоит, например, за данными статистики о том, что каждый третий брак расторгается? Просто заступиться за семью и обличить в безнравственности разводящихся было бы слишком просто, ибо сразу возникает вопрос, что безнравственнее — разойтись или жить без любви? Эмансипация женщины, миграция, ломка патриархальных отношений в прежних национальных окраинах поставили вопросы, на которые не оказалось готовых ответов. «Странная женщина», «Золотая осень», «Дерево Джамал», «Несколько интервью по личным вопросам», «Вечерний вариант», «Пять вечеров» — в каждой из этих картин героиня жаждет гармонии, но счастье ускользает от нее. Непредвиденным оказался массовый успех картины «Москва слезам не верит», в которой одинокая женщина с ребенком находит свое счастье. Картина ответила социальным ожиданиям наших зрителей, сами ситуации картины узнаваемы и желательны. И все-таки ограничивать значение картины ее компенсаторской функцией было бы неверно; вспомним, что в США она получает «Оскара» как лучший зарубежный фильм года, что в это же время американский фильм «Кramer против Крамера» награждается пятью «Оскарами» и что этот семейный фильм, будучи дублированным, имеет, в свою очередь, большой успех в нашем прокате. Семейная хроника оказалась в центре внимания общества, ее проблемы волнуют миллионы, и уже потому проблемы эти социальны по своей сути.

Свой новый фильм А. Гребнев и Ю. Райzman так и назвали — «Частная жизнь». Сделали они это, разумеется, полемически, наглядно продемонстрировав, что личная жизнь человека отнюдь не сводится к семейным проблемам. В фильме речь идет не только об ответственности перед близкими, а стало быть, перед обществом, но и общества перед человеком. Если поглощенность делом не оставляет человеку возможностей для разностороннего развития личности, то страдает и само дело — в социальном масштабе.

И все-таки было бы неверно перегнуть палку, преувеличить роль фильмов о личной жизни в проблематике нравственных исканий. Пространством нравственных исканий является все искусство. Ответы на мучительные вопросы оно находит в поведении героя, в его человеческом потенциале.

Жанр философской притчи понадобился Ларисе Шепитко, чтобы объяснить личность Сотникова — героя ее картины «Восхождение». Новые возможности прочесть историю характера положительного героя показало телевидение. Именно здесь Николай Машенко вновь экранизировал роман «Как закалялась сталь». Я не знаю, сколько лет вынашивал свой замысел о Марксе Лев Кулиджанов, но именно в наши дни он поставил картину, отмеченную Ленинской премией 1982 года. Исторический герой как бы наново осмысливается через его молодые годы. Картина так и называется — «Карл Маркс. Молодые годы». В таком контексте яснее становится и замысел картины С. Герасимова «Юность Петра». Вспомним мультфильм «Юноша Фридрих Энгельс» в совместной постановке режиссеров ГДР Кати и Клауса Георги и советских режиссеров Ф. Хитрука и В. Курчевского — рисунки и письма восемнадцатилетнего Энгельса дают нам возможность ощутить богатый и разнообразный мир его духовных исканий.

В западном кино идея одиночества человека в обществе была ведущей в 60-е годы. В итальянском кино, например, актером номер один длительное время заслуженно считался Марчелло Мastroяни. Он гениально играл отчуждение в фильмах Феллини. Сегодня пальма первенства принадлежит киноактеру Джану Марии Волонте, умеющему воплотить героя активного социального действия. Он играет не только поступки и текст, но и социальный подтекст. И «Христос остановился в Эболи» тоже появился в конце 70-х; сходные процессы в социалистическом и прогрессивном западном кино очевидны, хотя еще мало исследованы.

Бывает, что положительного героя специально наделяют противоречиями, даже изъянами и сомнениями; вся суть фильма заключается лишь в том, что герой в финале освобождается от недостатков, которыми его награждают вначале. Забывается, что и положительные качества и недостатки в человеке от одного и того же корня. И это прекрасно показал герой фильма «Председатель», к опыту создания которого мы возвращаемся снова и снова не для того, конечно, чтобы призвать к его повторению.

Егор Трубников неповторим, потому что время, которое его сформировало, неповторимо. Он был и новым человеком и старым человеком, в нем конфликтно сошлись два времени, он велик как человеческий тип и в этом смысле имеет уже непреходящее

значение. По-своему решила эту тему Л. Шепитько в недооцененной до сих пор картине «Крылья», в которой Майя Булгакова прекрасно сыграла роль бывшей летчицы Надежды Петрухиной.

Поиск героя времени, поиск на материале, ранее не тронутом, а потому требующем от художников смелости первопроходцев, продолжается, на мой взгляд, в таких картинах, как «Премия», «Зеркало», «Листопад», «Прошу слова», «Допрос», «Остановился поезд». Это фильмы, которые убеждают: мирное развитие не выражает себя так резко, как революция или война, пока события не получили завершенных форм, смысл главного улавливается через его частности. Эта тенденция порой обозначается уже в названиях фильмов. Картину, в которой Михаил Ромм осуществил программно принципы современной режиссуры, он назвал «Девять дней одного года». «Три дня Виктора Чернышева», «Несколько интервью по личным вопросам», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» — названия эти выражают ту же тенденцию. Приступая к постановке фильма о Дмитрове, испанский режиссер Бардем заявил, что собирается показать несколько страниц из жизни великого болгарского революционера. Несколько страниц и несколько дней изображаются для того, чтобы сосредоточиться на тех моментах, которые сегодня особенно важны. Так же как семья может быть показана ячейкой общества и государства, так и один день можно увидеть как момент века. Именно в этом суть романа Ч. Айтматова, который симптоматично назван «И дольше века длится день».

Гигантский по своему философскому значению роман Айтматова помещается в одном номере журнала.

Сегодня престиж повести и рассказа сильно поднялся потому, что поднялся престиж момента. Рассказы Шукшина возвести о приходе в литературу крупного мастера; принцип своих рассказов Шукшин утвердил и в кино: он рассказ действии на случае и характерах, которых еще не знал экран. Неудивительно, что шедевры нынче встречаются именно в малых формах. Например, «Встреча» (по В. Распутину) Итыгилова, «Шелковица» Мелконяна, «Сказка сказок» Норштейна. В то же время под тяжестью собственных конструкций развивается такой колосс, как «Сибиряда».

Исследовательский пафос искусства в наши дни помогает вернуть понятию «поиски героя» его истинный смысл. Положительный герой не удается без трезвого ана-

лиза обстоятельств, до сути его характера мы доходим через познание и характера его антипода. Сцены допроса Сотникова в «Восхождении» становятся философским диспутом героя с предателем Портновым. И жертва и палач действуют с полной убежденностью в неизбежности выбора, который каждый из них сделал. В картине на этом делается акцент, здесь ее сокровенный смысл. Сотников восходит к самопознанию не только через страдания, которые выпали на его долю, но и через открытие для себя психологии Портнова. В этом смысле характеры эти в равной степени необходимы в этой притче, в ней предательство одного и восхождение другого социально обусловлены.

Характерно, что на роль Портнова Л. Шепитько пригласила артиста Солоницына, который до этого играл только роли положительных героев. При этом выясняется одна интересная закономерность последнего времени: Солоницын играет предателя без грима, то есть выступает в том же обличье, в каком мы видели его в ролях нравственно безупречных людей. Так же поступают Табаков («Открытая книга»), Савина («Гараж»), Чокморов («Улан»), Ульянов («Тема»), Янковский («Мы — нижеподписавшиеся...»). Последний случай (я имею в виду Янковского), может быть, особенно показателен. Артист, не прибегая к гриму, сыграл до этого на сцене роль Ленина («Синие кони на красной траве»), а в кино секретаря парткома («Премия»). Теперь он создает образ зловещей личности, до поры до времени скрывающейся под личиной свойского парня. Образ этот особенно показателен в данном случае именно потому, что личность как бы меняется в пределах одной роли, меняется не с помощью трансформации внешности, а решительным изменением внутренней сути. Значит, положительное и отрицательное могут выступать в одном обличье, и это может происходить по разным причинам. В одном случае отрицательное скрывается в привычной уже для нашего глаза положительной манере существования. А возможно и так: положительное становится отрицательным, ибо жизнь не стоит на месте и недостатки человека нередко оказываются продолжением его достоинств. Как часто артисты, делясь своими творческими планами, говорят о желании воплотить типический характер современника, и это всегда понятно. Но здесь следует уточнить одно обстоятельство. Под типическим характером часто подразумевается лишь положительный герой. При таком подходе как бы само собой ра-

зумеется, что отрицательное, стало быть, случайное, не выражает сути времени. Конечно, это неверно и по отношению к истории и по отношению к современности; будь это так, невозможны были бы картины, подобные «Бегу», где в центральном персонаже показан распад личности как кризис истории. Положительный полюс в этих фильмах — позиция советского художника, глазами которого мы видим историю, который выносит ей нравственный приговор.

Разговор о 80-х годах в нашем советском многонациональном кино нуждается в анализе таких важнейших моментов, как, с одной стороны, решительный пересмотр взглядов на виды и жанры кино, с другой — воздействие на кино телевидения. Эти вопросы автор только называет, коснуться же их не позволяет объем статьи.

Многонациональное советское кино — феноменальное явление современной культуры. 60-летие образования СССР придает этой важнейшей теоретической проблеме политическое звучание. Феномен, во всем мире поражающий воображение людей, много говорящий им о самой структуре нашего общества. Автор этих строк убедился в этом, когда читал лекции в Токио. Лекции были посвящены истории советского кино. Показывались фильмы классические и современные, причем фильмы национальных республик шли на языках с японскими субтитрами. И вот тут-то посыпались записки, из которых становилось ясно, что многие, особенно молодые, зрители имели смутное представление о структуре нашего национального государства. Теперь они увидели жизнь народов со столь различными традициями, вместе с тем имеющими одну цель, которую открыл перед ними великий Октябрь.

Недавно в издательстве «Искусство» завершилось издание «Истории советского кино» в четырех томах. Каждая национальная республика равноправно представлена самостоятельной главой. Это не значит, конечно, что искусство кино в наших национальных республиках развивалось равновелико. В разных республиках оно не только возникало в разное время, но и в разное время достигало расцвета.

В постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик» сказано: «На благодатной почве зрелого социализма растет и крепнет единая интернациональная культура советского народа, которая служит всем трудящимся, выражает их общие идеалы». Эти слова целиком относятся

и к национальным кинематографиям. Однако если в литературоведении процесс сближения и взаимообогащения национальных литератур достаточно исследован, то в киноведении он изучен еще слабо. Между тем без анализа взаимодействия различных национальных кинематографий мы не дойдем до самой сути советского кино.

Сегодня на наших глазах происходит выравнивание вступивших в разное время в строй национальных кинематографий. Скажем для примера: кинематографии литовская и киргизская почти одновременно приобрели всесоюзное, а затем и мировое значение. В каждой из этих республик для этого необходимы были определенные предпосылки: развитая культурная традиция (прежде всего в области литературы и театра), современная кинопромышленность, а главное — определенный уровень общественного развития. Условия эти в Литве и Киргизии возникали различно. Литва имела определенные традиции в области литературы, однако, чтобы они проявились в кино, нужно было преодолеть коммерческий характер, буржуазную замкнутость старого кино. С другой стороны, социалистическая Киргизия не могла и помышлять о своей кинематографии, пока не возникла и не достигла успешных результатов национальная литература (до революции Киргизия не имела письменности). Не будет преувеличением сказать, что без творчества Айтматова и национальной кинопромышленности не было бы современного киргизского кино в таком виде, каким мы его знаем сегодня.

Своеобразие процесса в каждой из республик состоит в том, что одни и те же предпосылки возникают в разное время и в разной последовательности, но в любом случае они так или иначе должны возникнуть и вступить во взаимодействие, чтобы родились кинематографии, которые дали нам такие произведения, как «Никто не хотел умирать» и «Факт» — в Литве, «Первый учитель», «Небо нашего детства» и «Белый пароход» — в Киргизии.

Исследуя закономерности возникновения молодых национальных кинематографий, мы не можем отвлечься от важнейшего условия их развития — влияния на них революционных традиций русского кино. В национальном своеобразии проявляется душа народа — его устремления, чаяния, а также нравы и обычаи, складывавшиеся веками. Именно поэтому национальное может стать выражением различных тенденций, порой даже противоположных. Национальное может быть проявлением нового, ста-

новящегося в жизни народа, а может стать выражением внешних, порой уже отживающих форм жизни. В крутые периоды истории национальное может быть и революционным и контрреволюционным. В такие моменты само национальное, народное поверяется классовым критерием. Литовцы братья Локис («Никто не хотел умирать») и киргизский красноармеец Дюйшен («Первый учитель») не мирятся с национальными предрассудками и в критический момент берут на себя ответственность за судьбу своего народа. В исторической перспективе мы видим за этими киногероями и бесстрашного Вакулинчука («Броненосец «Потемкин»), и легендарного Чапаева, и вышедшего на бой с фашизмом Бориса Боздина («Летят журавли»).

Кинематографисты национальных республик молодого и среднего поколения — воспитанники ВГИКа, здесь они учились у опытных мастеров русского кино, учились здесь и постановщик фильма «Никто не хотел умирать» В. Жалакявичюс, впрочем, как и его соратники режиссеры А. Жебрюнас, Р. Вабалас, А. Грикявичюс, оператор И. Грицос, — именно они определяют сегодня лицо литовского кино.

Что касается фильма «Первый учитель», то создавал его творческий коллектив киргизских кинематографистов во главе с молодым режиссером русской кинематографии А. Михалковым-Кончаловским. Фильм не перестает быть от этого фактом его биографии, и вместе с тем он явление киргизского кино, поскольку в основу его положено произведение киргизской литературы, воссозданы природа республики и жизнь народа в неповторимых народных характерах. Здесь мы видим один из путей взаимопроникновения разных национальных кинематографических культур.

Вспомним в связи с этим творчество Н. Шенгелая. Перед нами самобытный грузинский кинорежиссер, в то же время его фильм «26 бакинских комиссаров», поставленный в Азербайджане, является произведением двух культур — грузинской и азербайджанской. Сценарий для этого фильма был написан русским драматургом А. Ржешевским, и это обстоятельство не является случайным для творчества Шенгелая: над сценарием своего лучшего фильма «Элисо» он трудился вместе с С. Третьяковым, с Шолоховым он написал сценарий «Поднятой целины», поставить который, к великому своему огорчению, не получил в свое время возможности. В свете этого теперь особое значение приобретает тот факт, что первое произведение

Маяковского вышло на грузинском языке в переводе именно Н. Шенгелая. Перед нами яркий и конкретный пример плодотворного взаимообогащения национальных культур.

Под этим углом зрения видится творчество многих выдающихся деятелей кино, например И. Перестиани и А. Бек-Назарова — популярнейших актеров русского дореволюционного кино, чье режиссерское творчество связано с армянским и грузинским кино; или К. Ярмадова, являющегося в равной степени и узбекским и таджикским кинорежиссером; или А. Довженко, различные периоды творчества которого закономерно были этапами то украинского, то русского кино.

Фильм «Арсенал» Довженко как никакой другой показал, что национальное как форма жизни может таить в себе разное содержание, иногда даже совершенно противоположное — прогрессивное и реакционное. Вышедший из недр трудового крестьянства, этот художник постоянно обращался к судьбе крестьянина, или, как Довженко говорил, селюка. Главным героем его картин был крестьянин, который с тановился трактористом («Земля»), машинистом («Звенигора», «Арсенал»), рабочим Днепрогэса («Иван»), воином, освобождающим Европу от фашизма («Повесть пламенных лет»), участником коммунистической стройки («Поэма о море»). Его герой оказывается между двумя мирами, при этом борьбу между прошлым и настоящим Довженко не упрощает. Разрыв со старым составляет драматический элемент его фабул, и в то же время выход к новому — смысл его патетических финалов. Так украинский художник, не утрачивая национального своеобраза, становится выдающимся явлением общесоветской социалистической культуры.

Эйзенштейн зорко увидел главную силу «Арсенала», который, как он заметил, «тесакон мужественно врезается прямо в лицо буржуазного национализма». Через классовое национальное становится общечеловеческим.

Мы являемся свидетелями сегодня интереснейшего процесса в культуре развивающихся стран: политическое освобождение в них сопровождается деколонизацией экрана. Классовая, антиимпериалистическая борьба возвращает культуру к национальным истокам и ведет к ее обновлению.

«Зорко беречь наше единство» — как вещание звучит опубликованная в «И-

кустве кино» статья Бориса Кимягарова, замечательного таджикского режиссера, автора фильма «Сказание о Рустаме».

Из национальной поэтической сокровищницы своего народа кинематографист берет великие дастаны Фирдоуси, в результате многолетнего труда прекрасный мир героев «Шах-Наме» возникает на экране. Кимягаров подчеркивал, что ставит советский фильм: советский был для него синонимом интернационалистский.

В статье сказано: «Снимали таджикский фильм. Но в съемочной группе работали рядом таджикские, узбекские, грузинские актеры. Осетинский актер Бибо Ватаев играл Рустама. Таджикский оператор Давлят Худоназаров снимал фильм. Азербайджанский композитор Ариф Меликов создавал музыку. Русский драматург Григорий Колтунов писал сценарий. Узбекский художник Шафкат Абдусаламов рисовал эскизы декораций. Латышские и белорусские мастера чеканили оружие, шили костюмы...»

К таким фактам мы уже привыкли, но еще не до конца осознали их как явления культуры. Фирдоуси когда-то мечтал: «Я хотел бы заполнить весь мир именем Рустама». Теперь это воплощается как бы в двух планах. Герой поэта вдохновил мастеров многих национальностей, и они объединили творческие усилия, чтобы воплотить его на экране. И это касается не только художников, но и миллионов разноязычных зрителей — постановщик побывал на премьерах в тринадцати братских республиках.

Мы говорим о духовной общности, но как она возникает непосредственно в сфере искусства? В кино, может быть, нагляднее всего это проявляется в процессе работы актера и оператора. Недавно мы были свидетелями того, как русский актер Александр Калягин сыграл главного героя в азербайджанском фильме «Допрос». И это тоже не единичный факт. Вспомним: литовец Банионис играет роль русского разведчика в «Мертвом сезоне», Адомайтис создает образ Сергея Лазо в одноименном молдавском фильме, Евгений Лебедев сыграл роль старого молдаванина в фильме «Последний месяц осени». Столь же блистательно выступил армянский актер Армен Джигарханян в узбекском фильме «Чрезвычайный комиссар». Театроведы могут сказать: «Что же в этом удивительного? Ведь на сцене...» Именно на сцене — экран же в силу своей фотографической природы разоблачает загримированного «под другую национальность» челове-

ка. Значит, дело не в гриме, дело в психологии.

Нации психологически сблизились.

Был период, когда в жизни другой нации видели прежде всего внешние, чисто, так сказать, экзотические черты. Более глубокое познание народной жизни связано с преодолением экзотики в видении жизни нации. Жаль, что киноведение мало занимается природой операторского творчества и еще меньше творчеством кинохудожника. А ведь где как не в изобразительном решении фильма проявляется национальное своеобразие во всей своей очевидности! Украинский оператор Александр Антипенко снял грузинскую картину «Мольба», русский оператор Виталий Калашников снял молдавский фильм «Лаутары», в свою очередь грузинский оператор Леван Пааташвили — русскую картину «Бег», — всюду бережено и глубоко раскрыто национальное своеобразие жизненного материала.

Процесс взаимопроникновения национальных кинематографий, начавшийся в 20-х годах, тем более активизировался в условиях происходящего ныне выравнивания кинематографий: имевшее место в свое время в действительности кинематографий, ранее сложившихся, на кинематографии молодые вошло в стадию взаимодействия, примеры которого мы только что привели.

Национальное — не просто форма существования, национальное — нечто более существенное. И в жизни и в искусстве форма вовсе не оболочка, в которую вкладывается готовое содержание.

Известная формула «национальная по форме, социалистическая по содержанию» не должна пониматься так, будто существует некая постоянная национальная форма, в которую сначала вкладывали одно содержание, скажем буржуазное, потом другое, скажем социалистическое. Форма меняется вместе с содержанием, содержание невозможно изменить, не изменяя формы. Современное содержание не может жить в старой национальной форме. И это отнюдь не теоретическая проблема, это проблема исторического прогресса. Новые формы национальной жизни обретаются не идиллически. Изменения, которые здесь неизбежны, происходят совсем не просто, они подчас мучительны, ибо цена прогресса, особенно ускоренного, велика.

Богатую пищу для размышления на эту тему может дать нам новый фильм «Прощание», который Элем Климов поставил по широко известной повести В. Распутина

«Прощание с Матёрой». Талантливо используя пластическую силу экрана, режиссер даже усилил коллизию повести. И все-таки картина не достигает масштаба трагедии. Художник сочувствует старей Дарье, но вместе с ее болью берет на себя ее сознание, то есть как бы смотрит ее глазами на историю; доходящая до экстаза нервность неспособна в таком случае преодолеть себя и выйти в состояние катарсиса. Радения Дарьи показываются под музыку ансамбля народной музыки Д. Покровского. Но истинное переживание сокровенно, оно не нуждается в украшении. Страдание Дарьи в сцене радения экзотично...

Снова в нашем разговоре возникает понятие «экзотика». Туркменский режиссер Ходжакули Нарлиев, чья картина «Невестка» несет все признаки ориенталистского фильма, фильма на тему «женщина в песках», вот что сам замечает по этому поводу на страницах «Советской культуры»:

«Здесь мы с вами будем говорить об экзотике. Я понимаю, европейскому зрителю действительно жизнь невестки кажется добровольным заточением потому что хотя бы, что она живет в песках. Я вспоминаю первую картину, снятую прекрасным оператором Германом Лавровым, «Десять шагов к востоку». (Здесь автор должен от себя сделать примечание: Г. Лавров действительно прекрасный оператор, о чем можно судить хотя бы по тому, как он снял с Роммом «Девять дней одного года» и «Обыкновенный фашизм», а потом — уже режиссером — совместно с В. Любшиным поставил по Шукшину «Позови меня в даль светлую»; тем более интересно наблюдение, которое сделано по этой «восточной» работе Лаврова.) Как там показаны пески? — продолжает Нарлиев. — Как враг. А для туркмена пески — его жизнь. Его друг. Пески сохранили народ от легионов завоевателей. Люди уходили, таились; они знали здесь все: колодцы — как их находить и в свою очередь засыпать и хранить от врага. Для нас пески — как земля и леса, все, что мы имеем, где мы живем.

И современная пустыня — рабочее место человека. Она наполнена голосами, здесь живут пастухи, геологи, просто люди...

В «Невестке» жизнь пустыни увидена изнутри, она открывается перед нами в неожиданных аспектах и в каждом моменте истина.

В картине два персонажа — старик и молодая женщина, его невестка, она выхаживает

отару овец, в заботах проходят все дни. Вот женщина закапывает старика в песок — только голова остается на поверхности, так можно лечить радикулит. Вот она ведро за ведром достает воду из глубокого колодца, чтобы напоить отару. А когда в воде оказалась мышь, пришлось вычерпывать воду до дна и выливать ее в ненасытный песок. Затем они прогоняют овец через огонь, чтобы уберечь их от заразы. Все это происходит во время войны, сын старика, муж женщины, — летчик, он погиб. Женщина видит его во сне — прекрасного, молодого лейтенанта. Горе сделало ее, и без того непривычную к общению, замкнутой. Ее сосредоточенность драматична даже в самых бытовых проявлениях. Мы видим, с какой любовью она выращивает ягнят и как страдает, когда приходят заготовители и со спокойной деловитостью умерщвляют их. Как она держит новорожденного мальчика — не своего, чужого. И старик, глядя на нее, вытирает слезы.

Художник стремится постичь психологию своих героев непосредственно, отказываясь от растолковывания мотивов действия. В современном кино такой способ рассказа имеет принципиальное значение, особенно в произведениях о труде человека. Пустыня в картине — место работы. Мы видим восточную женщину на сломе укладов, в ее судьбе встречается прошлое и будущее ее народа, и это дает картине масштаб. Совершенная по исполнению, «Невестка» достойна быть поставлена в один ряд с такими произведениями, как «Нанук с севера» Роберта Флаэрти и «Голый остров» Кането Синдо.

Экзотика дает представление лишь о внешней стороне национальной жизни, притупляет ощущение ее социального смысла, ее диалектической противоречивости. Это хорошо чувствовал В. Шукшин. В его творчестве народное самым причудливым образом переплетено с простонародным. Для Шукшина это не идентичные понятия, хотя они и питаются одними корнями. В «Калине красной» Люба носит эмалевый кулон с изображением «Неизвестной» Крамского, украшение это — атрибут массовой культуры, оно не истинно, истинность — в ее чувстве к Прокудину. Такова же роль лексики, этих «тада», «счас», вносящих в искусство еще необработанные жизненные слои.

Давид Самойлов сказал об этом:

Поэзия пусть отстает
От просторечья —

И не на день, и не на год —
На полстолетья,

За это время отпадет
Все то, что лживо.
И в грудь поэзии падет
Все то, что живо.

Легко различимы у Шукшина элементы лубка, характерные для стилистики примитива. Если же точнее сказать — Шукшин прибегал к стилизации примитива. И революционные плакаты на стенах тюремного клуба, и березки, расписанные на заднике сцены, где хор заключенных исполняет «Вечерний звон...», — все это лубкачество автора, ирония. Потом мы видим Прокудина среди настоящих берез, с которыми он беседует, выйдя на свободу. Истинную свободу бывший уголовник Егор Прокудин обретет, когда порвет со своим прошлым, он добивается этого ценой жизни, он погибнет от руки своих бывших сообщников в момент, когда вступает в новое общественное бытие.

Комическое и трагическое постоянно присутствуют в творчестве Шукшина, это дает ему возможность вскрыть пласты народной жизни в ее сложнейших переплетениях, что наиболее полно проявилось в диалектике характера героя «Калины красной» Егора Прокудина. Как национальный тип Прокудин просматривается далеко в глубь русской истории, не случайно, что одновременно с «Калиной красной» писались сценарий и роман о Разине «Я пришел дать вам волю». Шукшин как бы с разных концов истории подходил к воплощению русского характера, подвергая его сильнейшим социальным испытаниям.

Неистребимая любовь Шукшина к своему народу не мешает ему видеть противоречия в национальном характере на разных этапах истории. Социалистическое искусство в подобных случаях следует традициям русской литературы: национальный характер у Достоевского — это и идеальный во всех отношениях Лев Николаевич Мышкин и ничтожный Фома Опискин. Национальное бытие не имеет извечных форм и неизменного содержания, ибо «жизнь идет вперед противоречиями»¹. Марксистская формула «народ — творец истории» и определение «сила привычки миллионов и десятков миллионов — самая страшная сила»² не отменяют друг друга. Вот почему в крутые моменты национальный вопрос — «один из самых

болезненных, самых драматичных вопросов в истории человеческого общества»³.

Да и в периоды мирного, так сказать, нормального развития диалектика национального характера остается в центре творческих исканий. Истинный художник всегда сын своего народа. Он жадно всматривается в человека, и чем сложнее жизнь, тем с большей необходимостью возникает у него потребность понять и воплотить то, что сфокусировалось в народе положительного, накопленного веками, незамутненного, ищет личность, если хотите, идеально передающую свойства нации.

Опыт показал, что расцвет кино, как и вообще литературы и искусства, зависит от глубины постижения национального характера. Например, в закавказских кинематографиях это сначала проявилось в грузинском кино, нынче — в азербайджанском и армянском.

Законы неравномерного развития национальных кинематографий выясняются не только в сопоставительном изучении их. Важно осознать, почему в пределах одной и той же республики сначала развиваются одни виды экранного искусства, потом другие. По разным причинам, с одной стороны, в Латвии, с другой — в упомянутой уже Киргизии сначала высокого уровня достигло документальное кино, а потом игровое. Такое явление мы наблюдали в свое время и в русской кинематографии.

Возрастающая роль кино в духовной жизни всех национальных республик очевидна. Какими наивными кажутся нам теперь бывшие сопоставления центральных студий и республиканских, когда в таком контексте республиканское, национальное было синонимом местного, а иногда и провинциального. А ведь русское кино тоже республиканское, тоже национальное, но следует обратить внимание, что, например, о русском национальном характере в кино мы говорили, как правило, лишь в связи с историческим фильмом, а если речь заходила о современном кино, то мы касались лишь произведений о деревне. Опять-таки за национальным виделось нечто экзотическое, патриархальное. А между тем городской Тарковский и деревенский Шукшин в равной степени деятели русской культуры, при этом важно подчеркнуть — русской социалистической культуры.

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений. т. 47. стр. 219.

² Там же, т. 41, стр. 27.

³ Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. М. Политиздат. 1978. т. 6, стр. 580.

Эти вопросы требуют еще своего вдумчивого анализа. Мы размышляем над процессами неравномерного развития нашей многонациональной кинематографии, осмысливаем пути выравнивания ранее отсталых национальных кинематографий. Объективные законы выражают то, как на нас работает история. Нужен трезвый анализ и того, как сами мы работаем на историю. Не секрет, что при равных исторических условиях те или иные национальные кинематографии знают и спады, а некоторые удовлетворяются фильмами, так сказать, местного значения. Субъективные факторы (организация производства на студиях, система подбора и воспитания кадров, критерии оценки) — это тоже предмет науки, если только она стремится влиять на процесс, а не фиксировать результаты.

Возникающие проблемы и трудности развития естественны, их нельзя игнорировать, вместе с тем преодоление их долж-

но опираться на знание положительного опыта строительства многонациональной советской культуры, опыта, который приобрел ныне общечеловеческое значение.

Сегодня социалистические кинематографии существуют не только в восточном, но и в западном полушарии. Бурный революционный процесс в странах Азии, Африки и Латинской Америки показал, что одним из условий освобождения от империалистического ига является деколонизация экрана. И снова уже первые революционные ленты круто поворачивают судьбу молодых кинематографий, входящих в систему мирового социалистического кино и этим ускоряющих свое развитие.

Мы были в начале этого процесса, о смысле которого крылато сказал классик советского кино грузинский режиссер Николай Шенгелая: «Я пришел в кино, чтобы выразить общечеловеческое содержание Октябрьской революции».



ЖНЕ ИЖНЕ ОЕ О Ъ О З Р Е Н И Е

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Киселев. Уроки Якуба Коласа.— Владимир Короткевич. Он один такой — Янка Купала.— А. Зись. Действенный тип исследования.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Вик. Казаринов. Синхронный перевод с военного.— П. Черкасов. Без родины.— В. Прищепа. Автоматы на орбитах.

Литература и искусство

Великие белорусские писатели

Год 1982-й по-особому знаменательный для белорусской, советской, да и всей мировой литературы. Решением ЮНЕСКО празднуется столетний юбилей со дня рождения двух крупнейших писателей современности — Янки Купалы и Якуба Коласа.

Напечатав первые стихи в пору революционного подъема начала века, художники эти всем творчеством, всей жизнью явили пример благородного и самоотверженного служения своему народу. Их книги утверждали позиции народного революционного искусства, ярко свидетельствуя о том, каким сильным, действенным оружием может стать художественное слово в борьбе за новую жизнь.

Янка Купала и Якуб Колас справедливо считаются основоположниками белорусской литературы. Особую роль сыграли их художественные поиски, их творчество для развития белорусского литературного языка. Родную литературу они обогатили и переводами А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Кольцова, Т. Шевченко. В свою очередь произведения Купалы и Коласа переведены почти на все языки народов СССР и многие языки народов мира.

Публикующиеся ниже материалы белорусских писателей Г. Киселева и В. Короткевича посвящены вышедшим к юбилею изданиям Якуба Коласа и Янки Купалы. В рецензируемых книгах широко представлены новые переводы.

УРОКИ ЯКУБА КОЛАСА

Якуб Колас. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 1904—1950. Перевод с белорусского. М. «Художественная литература». 1982. 590 стр.

Якуб Колас. Избранное. Перевод с белорусского. Минск. «Мастацкая літаратура». 1981. 318 стр.

Уильям Сароян, побывав на земле своих предков в Армении, заметил: «Глубоко убежден, что только гордый человек, свободный человек, человек, преисполненный чувства собственного достоинства, я бы добавил — и национального достоинства, может поставить замечательные памятники на своей земле почти всем своим писателям-классикам».

Это, думаю, справедливые слова. И Бе-

ларусь — партизанка и труженица, — сдвигая тяжелые камни, залечив тяжелые раны, нанесенные кровопролитной войной, подняв из руин древние свои города, возвела величественные монументы в честь своих классиков и просветителей: Франциска Скорины, Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича.

Минчане любят поспорить, какой из памятников лучше, но гостю непременно по-

кажут все. Памятники классикам стали популярными достопримечательностями белорусской столицы. Одна из центральных площадей не просто носит имя — она вся безраздельно принадлежит Якубу Коласу.

Глубоко задумался дядька Якуб, окруженный березками и своими героями, бронзовыми, как он сам. Над его высоким челом незримо течет время (здесь, возле памятника, бег времени ощущаешь почти физически). И кажется, ты знаешь, о чем он думает, как вспоминает рассветы над Неманом, встречи с друзьями, как дивится судьбе сына лесника, крестьянского мальчика, ставшего народным писателем и одним из образованнейших людей своего времени. И конечно, с гордостью думает он о том небывалом пути, который прошла родная его Белоруссия, превратившаяся из отсталой окраины бывлой царской империи в богатый, цветущий край с развитой экономикой и культурой.

Поэт и Белоруссия — их невозможно разделить, они всегда были вместе...

Безгранична память Якуба Коласа. Она сохранила для нас множество интереснейших характеров, тончайшие движения души, краски и запахи родной земли. Лучшие произведения художника чаще всего автобиографичны. И самое удивительное и прекрасное творение Якуба Коласа — поэма «Новая земля» — знакомит читателя с белорусским крестьянским укладом, с трудом мужика, его печалью и радостями, с его жизнью духовной.

Поэма с самого начала пользовалась огромным успехом у читателей и вызвала жаркие дебаты критиков, которые стремились разгадать секрет ее обаяния.

Судите сами. Тысячи строк, разнообразная на первый взгляд ритмика, простые, нередко глагольные рифмы. Народная эпопея? Неторопливый роман в стихах? Да мыслямо ли, чтобы интерес ко всему этому не угас и в наше время? Оказывается, мыслямо, ибо все в поэме согрето теплым чувством сыновней любви.

Первые строки поэмы родились в 1911 году в минской тюрьме, куда Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич), тогда молодой сельский учитель, недавний выпускник Несвижской учительской семинарии, попал за участие в революционном движении против царского самодержавия и попытку организовать учительский союз. За тюремной решеткой мысли о родном доме, встающие в памяти картины детства на фоне великолепной белорусской природы, чередующиеся со сценами крестьянской жизни, были сладостными и спаси-

тельными, хотя поэт-реалист никогда не идеализировал эту жизнь, не обходил социальные конфликты эпохи.

Мир соткан из радостей и горестей. Художник должен стремиться охватить жизнь во всей полноте. Молодого Коласа целиком поглотила, увлекла творческая сверхзадача — создать художественную, поэтическую энциклопедию народной жизни.

Что это было? Попытка сотворить маленькую модель огромного мира? Или наоборот — реалии тесного крестьянского мирка возвысить до уровня огромного художественного обобщения?

Более десяти лет работал Якуб Колас над этой поэмой. Происходили небывалые вселенские катаклизмы — мировая, а потом гражданская война; падали короны, рушились империи... Мировая война заставила Якуба Коласа покинуть родные места, а потом и надеть военную форму.

Конечно же, с годами менялся и обогащался замысел вещи. Исторические события находили непосредственный отклик. Но главное — сам поэт рос и мужал в эти годы как гражданин и художник; его душа созрела для великих свершений. Многое подсказала эпоха, дала замыслу новые крылья.

Так была написана не только главная книга Якуба Коласа, но и одно из лучших, бессмертных произведений белорусской литературы.

Ныне поэму «Новая земля» сравнивают с «Евгением Онегиным» Пушкина, с «Паном Тадеушем» земляка и однофамильца Коласа великого польского поэта Адама Мицкевича. «Тот, кто хочет понять Беларусь, ее народ, ее стремления (особенно до революции), тот должен ознакомиться с этим замечательным творением», — писал ученик Коласа народный поэт Белоруссии Петрусь Бровка. В переводе С. Городецкого, Е. Мозолькова, П. Семынна, М. Исаковского, П. Радимова, Б. Иренина поэма Якуба Коласа как дорогой дар вошла в общую культурную сокровищницу советского народа.

В наш век остро стоящих проблем экологии и урбанизации «Новая земля» — поэтический храм-заповедник народных нравственных устоев белорусской природы, духовного здоровья народа. И нам еще не раз захочется благоговейно войти в этот храм.

Он был по-крестьянски мудр, терпелив, благороден, дядька Якуб, как и его герои. Путь художника не всегда усыпан розами, и проблема «художник и общество» — совсем не простая проблема. Обо всем этом другая замечательная поэма Якуба Кола-

са — «Сьмон-музыкант», над которой он работал так же долго, как и над «Новой землей».

От матери-земли, от гомона лесов,
От сказок вечеров,
От песен пастухов,
От светлоокных необласканных детей,
От шорохов ночей,
От золотых лучей,
Что ткut основу жизни, мощь ее,
Переплетая смерть и бытие,—
Богатства собирал я неустанно...—

(Перевел П. Семьин)

так писал поэт об истоках своего творчества в зачине к поэме «Сьмон-музыкант».

В поэме — глубокие философские раздумья о непростой доле художника, вышедшего из народных глубин, о судьбе белорусского искусства в целом. Поэма тоже автобиографична, но уже в ином смысле. Ее называют романтической мечтой Якуба Коласа.

Большие пласты своего жизненного опыта писатель положил в основу знаменитой трилогии «На росстанях», сыгравшей значительную роль в становлении белорусской художественной прозы. Трилогия была начата в 20-е годы и закончена после Великой Отечественной войны, когда Якуб Колас вернулся из эвакуации в родной Минск.

Родилось широкое эпическое полотно из жизни дореволюционной белорусской народной интеллигенции. Страницы трилогии населены ярко индивидуальными героями. В главном персонаже — молодом сельском учителе Андрее Лобановиче — легко узнается сам Якуб Колас. Это книга о вхождении человека в жизнь, о первой любви, о становлении молодого борца за социальную справедливость, о событиях первой русской революции, всколыхнувшей и поднявшей белорусский народ.

Именно на волне массового демократического движения, вызванного революцией 1905 года, и возродилась, набрала силу новая белорусская литература, одним из основоположников которой стал Якуб Колас.

Белорусский народ тогда впервые получил возможность высказаться через легальную печать. В первом номере первой национальной газеты «Наша доля» (сентябрь 1906 года) печатается стихотворение Якуба Коласа «Край родимый»:

Край родимый, край наш бедный!
Лес, болото да песок...
Там лужок сдва приметный,
Частый ельник невысок.

А туман — стена сплошная!
Все закроет незначай.
Ой, сторонка ты родная!
Ой, забытый богом край!

(Перевел Б. Турганов)

Во вступительной статье к рецензируемому собранию сочинений Коласа академик Иван Науменко пишет: «Лирика Якуба Коласа словно поля и перелески родной Белоруссии. В ней заметно тяготение поэта к конкретному, земному образу. В своей лирике он предстает поэтом крестьянского народа, мудрого своим многовековым земледельческим опытом. Но что-то случилось с этим спокойным, казалось бы, покорным народом. Герой лирики Коласа — вечный труженик — не хочет дальше смиряться со своим подневольным положением. Революция помогла ему осознать свою силу, человеческое достоинство».

Под пером поэта рождались то гневные, то сатирические стихотворения, бичевавшие самодержавные порядки, открыто звавшие на борьбу. Наиболее острые из них распространялись в рукописях, передавались из уст в уста, заучивались наизусть в разных уголках Белоруссии. Вот хотя бы хрестоматийное, в переводе М. Исаковского:

Я — мужик, но ум имею —
Будет время и мое.
Я молчу, кричать не смею,
Но когда-нибудь сумею
Крикнуть: «Хлопцы, за ружье!»

(«Мужик»)

С самого начала творческого пути Якуб Колас, создавая яркие рассказы из жизни белорусских крестьян, торил дороги для белорусской прозы.

Талантливый, граждански активный писатель всегда формирует духовный облик поколения. Эта функция классиков белорусской литературы особенно велика, поскольку своими произведениями им пришлось утверждать право белорусов на национальную самобытность, на их прекрасный древний язык.

Белорусская литература создавалась в противоборстве с лагерем самодержавия, ставившим препятствия на пути национального движения. И в том, что белорусский народ сумел занять достойное место в семье европейских народов, огромная заслуга таких художников, как Якуб Колас, Янка Купала, Максим Богданович. Писатели эти всегда пользовались поддержкой прогрессивных деятелей мира. Нельзя не вспомнить в связи с этим, что первые шаги в литературе Якуба Коласа и Янки Купалы активно поддержал Максим Горький.

Только что рожденная Белорусская республика, отбившись от интервентов, сразу же позвала к себе Якуба Коласа (обстоятельства вынуждали его в то время жить в Курской губернии, где он учительствовал, выкраивая время для творчества, для «снов о Белоруссии»). В 1921 году писатель возвратился в Минск. Колас вдохновенно работает над новыми стихами, новой прозой, в том числе повестями «На просторах жизни», «Трясина», над циклом аллегорических рассказов «Сказки жизни» (русский читатель впервые познакомится с ними в четырехтомном собрании сочинений).

К Якубу Коласу рано пришло признание. Уже в 1926 году ему было присвоено звание народного поэта республики. За годы советской власти он вырос в крупнейшего общественного деятеля, несколько десятилетий был бессменным вице-президентом Белорусской Академии наук. В 1935 году Колас вместе с другими прогрессивными деятелями мировой культуры участвовал в Международном антифашистском конгрессе защиты культуры в Париже. В годы войны писатель, нашедший кров и приют в братском Узбекистане, своими страстными стихами и публицистикой воевал с фашистами. Его слова воодушевляли на борьбу, а он жадно ловил каждую весточку с родины и очень гордился, когда узнал, что почти столетний Василий

Исакович Талаш, герой его довоенной повести, снова взялся за оружие.

Всю жизнь Якуб Колас оставался по-рыцарски верен своим героям, темам, привязанностям...

После войны в лирическом отступлении к последней книге своей трилогии Якуб Колас писал, вспоминая пути-дороги молодости:

«С того времени прошло много лет. Много дорог перемеряли мои ноги. Разные люди встречались мне в моих странствиях. Многие из них стали мне близкими и дорогими, и многих из них сегодня я недооцениваю. И сам я притомился за это время и все чаще и сильнее чувствую извечную и неодолимую силу притяжения земли.

Но шумят говорливые, неуправляемые волны жизни, и все такие же бескрайние, еще более привлекательные дали раскрываются перед глазами.

Новые, просторные дороги открылись перед нашими народами. И не угасает неутолимое желание заглянуть за чудесную, пленительную завесу завтрашних дней.

Будьте ж вы светлыми и радостными, грядущие дни человечества!»

Своих друзей, молодых писателей, он просил:

— Живите дольше, хлопцы!

Г. КИСЕЛЕВ.

Минск.

ОН ОДИН ТАКОЙ — ЯНКА КУПАЛА

Янка Купала. Собрание сочинений в трех томах. Перевод с белорусского. М. «Художественная литература». 1982. Т. 1. Стихотворения. 1904—1917. 527 стр. Т. 2. Стихотворения. 1918—1942. Поэмы. 1906—1939. 367 стр.

Янка Купала. Избранное. Перевод с белорусского. Минск. «Мастацкая літаратура». 1981. 349 стр.

Новая белорусская литература выросла не на пустом месте. Начало ее проследживается еще в XI—XII веках (Кирилл Туровский, летописи), сохранились памятники эпохи Возрождения XVI—XVII веков (сборник законов «Литовский статут», первопечатник Франциск Скорина, В. Тяпинский, С. Будный). Но исторические судьбы народа сложились так, что после «мертвого сезона», каким был для Белоруссии XVIII век, наступило лихолетье века XIX.

...Запрещено само название Беларусь, есть только Северо-Западный край империи. После восстания 1863—1864 годов запрещено книгоиздание на белорусском языке. Запрещены книги В. Дунина-Марцинкевича и Ф. Богусевича. До простого народа, сохраняющего язык, эти книги почти

не доходят, высшие классы игнорируют, презирают их, а заодно и язык предков. Только в фольклорных сборниках бьется слабенький ручеек народного слова.

И вдруг будто из подземного кратера забил мощный гейзер — одна за другой появляются вещи, звучащие сильно и современно. Со стихами выступили Якуб Колас, Тетка, Янка Купала. Они и дали основу для подлинного мощного развития белорусской литературы XX века.

...Биография Купалы — обычная биография необычного человека. Предки его вышли из шляхты, лишенной в XIX веке дворянских прав.

Отец Купалы — арендатор на чужой земле, зависимый от каприза «настоящих» господ (унижение — оно ведь тоже оружие

в руках всемогущих). А вокруг — люди со своими радостями и бедами, песнями и преданиями. Братья по судьбе.

Отсюда и будущий псевдоним Ивана Доминиковича Луцевича — Янка Купала.

В ночь летнего солнцестояния, когда жгут костры и горит над хороводами просмоленное колесо — «солнце», а девушки пускают по течению реки венки, на краткий миг расцветает в лесных дебрях папоротник. Оберегаемый, правда, злыми силами. Кто сумеет одолеть эти силы, кто сорвет огонь-цветок, тот добудет счастье людям и себе. Это ночь на Яна Купалу.

Такой она была и в июне 1882 года. Темны и могучи были силы зла, мертвым было молчание полей. Но огонь-цветок потихоньку разгорался где-то в буреломе. И жизнь свою поэт посвятил тому, чтобы добыть его во что бы то ни стало для гордого и талантливого белорусского народа, униженного державной глупостью и самодурством.

Поэт рос среди крестьян. Плуг и коса, вилы и цеп. Два класса народного училища и вновь работа, работа на этой скупой земле. Подзол, россыпь камней, вереск. Правда, он понимал, как неброско прекрасна она со своими холмами, непроходимыми пущами, светлыми водами, тонущая зимой в снегах, а летом в цветах. Но красота не дает вдоволь хлеба, а земля тебе не принадлежит. Твои только мускулы.

Ему незачем было входить в народ. Он сам — народ. По плоти и крови, по песне и судьбе.

В науку нужда не давала мне ходу,
И книжной премудрости я не постиг,
Язык белорусский и думы народа
От матери знал я — без школ и без книг.

(Перевел М. Исаковский)

Здесь преувеличение. Книжки были. Тысячи книг. И, конечно, самая главная — книга жизни, познаваемая собственными боками.

Поэт прошел большой путь. Земледелец-пахарь, домашний учитель, приказчик, писарь, помощник винокура (а значит, и рабочий), библиотекарь, журналист, редактор белорусской газеты «Наша нива». А затем один из создателей белорусского университета, академии, издательств, национального театра.

Но прежде всего он — поэт. Много еще будет поэтов в Белоруссии. А он останется для всех нас первой любовью, властителем душ и дум.

Это началось вместе с приходом XX века, с первыми же напечатанными им строками. **Задавленный тяжелейшим трудом,**

осмеянный, униженный сильными, бесправный белорусский мужик вдруг взроптал и властно бросил откровенно бунтарские слова:

А все ж — хоть сколько жить тут буду,
Как мой тут век ни будь велик,
Того я, братцы, не забуду,
Что человек я, хоть мужик.

И всяк, кто спросит — пусть уж знает, —
Единственный услышит крик,
Что, хоть мной каждый помыкает —
Я буду жить! — ведь я мужик!

(Перевел Н. Кислик)

Появились первые сборники стихов («Жалейка», 1908; «Гусляр», 1910; «Дорогой жизни», 1913). Деда и отцы наши знали Купалу не по книгам. Он входил в их жизнь как колыбельная, как шелест листвы под ночным ветром, как звон тростника на лесных озерах, печаль болот и полей и тревожное зарево далекого пожара, как пение лиры в руках слепого и как глаза тех людей, которые читали стихи Купалы на вечеринках и ставили его пьесы.

«Я не поэт», — сказал Купала в одном из своих стихотворений. И в самом деле, если представить себе поэта с нимбом вокруг головы и лирой Аполлона в руках, он не поэт. На голове его крестьянская шапка, а в руках свирель пастуха.

Но для нас, белорусов, он больше чем поэт. Он всегда со своим народом — в радости, горести, в работе, творчестве. И его лирический герой близок нам безмерно, потому что он — это мы сами.

Улыбается ли он солнцу, как молодой росток, или в муке склоняется над ржаным полем, побитым градом.

Впадает ли в отчаянье, когда кажется, что вся жизнь, все усилия обречены и остается только молить небо о несуществующем милосердии:

Пойми! Услышь! Свой сон и наш тревожа,
Закон и суд свой праведный пошли!..
Верни же нам отчизну нашу, боже,
Когда ты царь и неба и земли!

(Перевел О. Цакунов)

Поет ли он о том, как лебединой весной, сбросив злые чары зимы, шепчутся явор и калина. Гневен он или радостен, пастух он или пророк — он везде с истовой искренностью выражает свои чувства, и потому никакое сердце не может не забиться в унисон его сердцу.

Вот он с яростью и болью осуждает современное ему общество (драма «Разоренное гнездо»); вот, лукаво и ехидно прищурив глаз, смеется над лицемерными нравами, царящими в нем (водевиль «Примак», комедия «Павлинка», до сих пор са-

мая популярная у наших любительских и профессиональных театров).

Неумолимо быстро несется время, а Янка Купала заставляет нас вспомнить детство и юность. У моих сверстников они не были безоблачными. Война, голод, тяжелый труд. Но теперь, теперь эти годы — вот ведь какой парадокс! — кажутся нам и счастливыми, и наполненными особым смыслом. Да это и в самом деле было так, несмотря на всю жестокость и суровость той поры!

Человек неизбежно тоскует по своей молодости. Истинная же поэзия возвращает ему чудесную юношескую способность открывать мир заново. И за это мы тоже любим Янку Купалу.

Он — наш гнев. Наше осуждение подлости и рабства, несправедливости и войны. Но он и наша способность восхищаться, радоваться, любить. Я не знаю в славянской (и, пожалуй, не только в славянской) поэзии такого язычески-дерзкого гимна счастью, солнцу, свободной работе на свободной земле рядом с любимым, близким тебе человеком, как поэма «Она и я».

Сердце человеческое разорвалось бы, если бы в нем всегда жил только гнев. Грош цена сердцу, которое знает одну ярость и не может иногда залиться в беспомысленную от ликования песню:

«Как здорово! Как здорово, когда в твоей соломенной крытой хате живет богиня! Как здорово! Проталины в полях! Как это прекрасно! Твои руки ткут полотна (а потом их белит солнце на зеленой траве) и помогают моим рукам выгонять в поле скот!»

Прекрасно идти с любимой по полям и слышать, как груши на межах восславляют человека, властелина земли! Как прекрасно пахать! Белить полотна на зеленом-зеленом лугу! Косить это море трав, слива-

ясь с солнцем и цветами! Как это удивительно, как радостно — жить!

Свободному на свободной земле.

...Кажется, у меня получился портрет идеального счастливецца. Умен, добр, талантлив. Пришел, когда был необходим народу, говорил с ним на одном языке, был понят и любим.

Завидная судьба!

Нет, не совсем так...

Была у него трудная, неустроенная юность; только чудом первый сборник не привел поэта на каторгу; довелось ему пережить клевету врагов и предательство ложных друзей, а на последний год жизни выпала самая страшная в истории его родины война.

Пропустив через себя все боли народные, какое сердце выдержит?!

Как бы хотелось успокоить его, сказать, что мы живы, что все обошлось, что нам несли смерть, но мы не умерли.

И в глубине души я верю — он знает это. Не может не знать, раз уж судьба дала ему наивысшее счастье полного слияния с душой народной.

Мы родились с его песней, с нею живем и с нею умрем. Этот человек всем современникам вернул белорусскому народу достоинство, гордость за свое прошлое, силу жить в настоящем, мужество, чтобы смотреть в грядущее.

Бывают поэты большего или меньшего масштаба, большего или меньшего влияния на ум и воображение современников и потомков, но для нас, белорусов, он один такой — Янка Купала.

И это все-таки самая большая правда — нет больше любви, чем если кто положит душу свою за други своя.

Владимир КОРОТКЕВИЧ.

Минск.



ДЕЙСТВЕННЫЙ ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ

А. Караганов. Не только отражает, но и творит. М. «Советский писатель». 1981. 304 стр.

Написанная живо и увлекательно, эта книга обращена к животрепещущим вопросам современной творческой практики. Автор оперирует широким конкретным материалом — литература и кино, изобразительные искусства и музыка, культурное наследие и новейшие явления художественной жизни нашего времени. Такая широта охвата может таить в себе и определенную опасность, если анали-

тичность мысли начнет уступать место описательному перечислению фактов художественной жизни. Но в книге А. Караганова богатейший конкретный художественный материал анализируется тонко, убедительно и, что особенно важно, необычайно заинтересованно, книга формирует заинтересованное личностное отношение к явлениям культуры и в читателе. В этом ее большое достоинство. И то, что

написана она не только ученым, но и критиком, активно участвующим в современном художественном процессе, на мой взгляд, сказалось решающим образом как на ее методологии, так и на содержании.

Центральная проблема книги точно определена в самом ее названии. Книга polemично заострена против буржуазных и ревизионистских нападок на ленинскую теорию отражения. Как известно, в антимарксистских концепциях искусства последних лет постоянно выдвигается надуманная альтернатива: художественное творчество — воспроизведение действительности или созидание «второй природы», искусство — отражение или творчество. Всем строем идей своей книги А. Караганов выявляет научную несостоятельность таких противопоставлений. Раскрывая созидательный характер художественного творчества, автор хорошо показывает, что оно предопределено именно отражательной деятельностью человеческого сознания. Вместе с тем А. Караганов справедливо выступает и против упрощенных толкований отражения как простого плоскостного, зеркального воспроизведения явлений жизни, — толкований, дающих не реалистическую, а натуралистическую ориентацию. И поэтому в противовес концепциям, акцентирующим одно только «творит», Караганов отмечает — «но и отражает»; в то же время тем, кто акцентирует «отражает», автор напоминает — «но и творит».

Выведенные в название книги слова В. И. Ленина обращены к удивительной природе человеческого сознания в целом. Для выявления специфических особенностей сформулированной Лениным закономерности применительно к художественному сознанию автор, естественно, опирается на общепhilosophический смысл замечательного ленинского обобщения. В книге искусствоведческий анализ не подменяется общими философскими суждениями, напротив, они выступают методологическим основанием литературоведческого и киноведческого анализа.

В эстетике, в искусствознании и литературоведении обобщения питаются живым опытом искусства, соприкосновением с непосредственной творческой практикой. Именно таким путем идет в своей книге А. Караганов. Его обобщения плодотворны потому, что в них ощущение насущных потребностей современного искусства. Но и продуктивность анализа конкретных явлений в его книге обусловлена тем, что опирается он на прочно выверенные философско-эстетические критерии: книга, на-

писанная искусствоведом, отличается серьезной философской культурой.

Выявляя сложные взаимодействия отражательного и творческого начал в художественном познании, автор раскрывает контакты разнообразных сфер искусства не механически, не путем простой подборки примеров, а системно, когда анализируемое произведение обнаруживает в себе такие черты творческого метода, которые наблюдаются и в произведениях другого вида искусства. Поэтому в книге хорошо прослеживается реальная диалектика общего и особенного в различных видах искусства, особенно в вопросе об их познавательном отношении к действительности.

Автор умеет не просто рассказать, что представляет собой то или иное художественное явление, а реконструирует его таким образом, что перед читателем как бы развертывается живая ткань произведения. То, о чем он рассказывает, он видит пластично, выпукло. И такое видение нередко оказывается емче отвлеченной формулы. В книге А. Караганова эти «реконструкции» представлены в целостном контексте культуры, в своих диалектических взаимоотношениях, они сами продуцируют развитие искусствоведческой мысли. Познавательная ценность книги сочетается с ясностью и выразительностью писательского стиля, отличающегося лаконичностью в изложении и насыщенностью мысли. А. Караганову удалось сохранить гармонию научной и писательской стилистики, на которую издавна ориентировалась отечественная гуманитарная мысль.

В главе «Субъективный образ объективного мира» автор обращается к диалектике относительной и абсолютной истины в искусстве, хорошо показывая, что хотя в художественном творчестве проявление истины сопряжено не только с рядом специфических особенностей литературы и искусства, но и обусловлено характером взаимодействия художественной мысли с другими сферами духовной жизни, скажем с той же философией. В этом отношении весьма интересен, например, анализ поэмы Шелли «Освобожденный Прометей». Тонко учитывая особенности поэтического стиля английского поэта, его романтическое умонастроение, автор выявляет мировоззренческие основания художественной концепции поэмы, устанавливает взаимосвязи этой концепции с социально-философскими идеями утопического социализма и характером романтической оценки буржуазной революции. Характеризуя относительность «истины», заключенной в

таких концепциях, их историческую ограниченность, автор показывает, что в них все же просвечивало и зерно истины абсолютной — признание движения законом жизни общества, непрестанной борьбы социальных сил. Познавательномировозренческий комплекс в значительной мере обуславливал эстетические свойства самой поэмы. Своеобразное качество космичности моральных конфликтов, которое выражено в поэме Шелли, как и во всем стиле его творчества, автор корректно соотносит с утопически-просветительским характером мировоззрения поэта: «...обращения к фантастике служат решению вполне реальных, сегодняшних задач человеческого существования, призваны хотя бы в мечтах представить перспективу движения в завтрашний день, наполнить это движение новой энергией. Именно такими импульсами и целями вдохновлялись «Утопия» Томаса Мора, «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы». Эти сопоставления фантастики поэта и фантазии социальных мыслителей представляются весьма плодотворными в художественно-историографическом плане: они позволяют лучше понять духовно-мировоззренческий генезис романтизма Шелли как закономерного явления парадоксального «просветительского романтизма».

Обращения автора к произведениям мировой классики создают в книге широкий историко-литературный фон. Но главным образом авторское внимание сосредоточено на вопросах развития советского искусства, особо — текущего художественного процесса. Ни в какой мере не выпрямляя путей развития нашей литературы, кино и других видов искусства, А. Караганов справедливо исходит из признания единой идейно-художественной направленности, закономерно утврждавшей в процессе формирования социалистической художественной культуры на протяжении всей ее истории. Поэтому в книге естествен переход от обращения к литературе 20—30-х годов, скажем к творчеству Шолохова или к традиции Маяковского, к анализу произведений Л. Леонова, к художественной прозе последних лет — романам и повестям В. Распутина, Д. Гранина, В. Белова. Столь же широко использован и кинематографический материал: от знаменитых творений С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, А. Довженко, братьев Васильевых до современных фильмов, как, например, «Белое солнце пустыни», «А зори здесь тихие», «Премия», «Доверие», «Ленин в Польше». Такая органичность в рассмотрении различных как в проблемно-тематическом, так и в

жанрово-стилистическом отношении явлений искусства достигается в книге тем, что рассматриваются они как черты единой художественной картины социалистического переустройства мира, формирования социалистического образа жизни, роста нового типа личности. Отбор художественных явлений здесь служит пониманию художественного процесса в целом.

В книге содержатся тонкие наблюдения над спецификой взаимоотношений сущности и явления в художественном познании. Заслуживает серьезного внимания анализ специфики личностного характера исследования жизни художником. Интересен с этой точки зрения анализ пьес и романов М. Булгакова. Мысль о личностной ценности художественного познания связывается в книге с выводом об объективной значимости субъективного мнения критика. Конечно, всякое сознание (и критическое тоже) — субъективный образ объективного мира. Но при этом автор четко разграничивает субъективность и субъективизм. Именно последний ведет к предвзятости, к произволу в суждениях и оценках. Понятие «субъективный образ» не включает в себя предвзятости; предвзятость критических суждений проистекает отнюдь не из природы сознания, не из его субъективности, понимаемой как выражение творческой активности критика!

Глава «Движение искусства» посвящена проблемам историко-художественного процесса — проблемам дискуссионным, еще недостаточно разработанным в советской эстетике. Плодотворно стремление автора раскрыть историко-художественный процесс как полифонию многих исторических стилевых тенденций: «Доминанты всегда существуют, но рядом с ними движутся другие потоки, другие тенденции. Они взаимодействуют, иногда борются, иногда смешиваются, то и дело меняясь местами в иерархии значений. Соответственно и чередование эпох в художественном развитии человечества не означает автоматической и радикальной смены стилей, школ и направлений: это живой, сложный процесс». Художественный прогресс А. Караганов склонен усматривать в возрастании возможностей восприятия произведений искусства, в более глубоком проникновении в сокровищницу прежних эпох, в процессе включения художественных ценностей прошлого в контекст культуры нового времени. И еще в расширении границ и углублении художественного освоения действительности на основе новых творческих методов, в появлении и развитии новых ви-

дов и жанров искусства, в росте возможностей художественной выразительности и, что особенно важно, в развитии контактов литературы и искусства с разнообразными сферами всей духовной культуры. В связи с этими положениями в книге приведены, в частности, интересные наблюдения над современным кинематографическим процессом, взаимодействующими в нем тенденциями мелодраматического зрелища, мюзикла, приключенческого фильма, фильма-биографии и т. д. Теоретический анализ многообразия современного советского искусства, естественно, ведет к по-

нимаю его роли в формировании духовных ценностей нашего общества, в развитии и утверждении социалистического образа жизни.

Книга А. Караганова вполне правомерно может рассматриваться как философско-эстетическое исследование, реализованное в материале литературы и искусства. В этом ее своеобразие и ее значимость.

А. ЗИСЬ,
заслуженный деятель науки РСФСР,
доктор философских наук



Политика и наука

СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД С ВОЕННОГО

И. м. Левин. Записки военного переводчика. М. «Московский рабочий». 1981. 208 стр.

Свои документальные «Записки военного переводчика» Имануил Левин построил как рассказ о своеобразных уроках, которые ему и его сослуживцам преподавала фронтовая действительность в годы Великой Отечественной войны. Пять главок книги так и названы — «Урок первый», «Урок второй»... «Урок пятый». Именно война была той суровой школой, где происходило становление новой для Советской Армии специальности военных переводчиков.

Примечательна в этом смысле и фронтовая судьба самого рассказчика, вполне типическая, характерная для его поколения: армия сразу после школьной скамьи в 1941 году, короткая учеба курсанта (для Левина это были курсы военных переводчиков), а затем долгие дорожки войны — с берегов Волхова под Ленинградом до Германии. Не менее сложен был и путь овладения мастерством военного переводчика — от первых неумелых попыток допросить взятого в плен гитлеровца, когда переводчик попросу не смог понять и перевести слова пленного, до назначения руководителем следственного (по тогдашней терминологии) отдела армейской разведки.

Из авторского повествования служба военного перевода предстает, как то и было в реальной действительности, делом чрезвычайно важным и ответственным. Без военных переводчиков, людей, владевших языком противника, знакомых с организационной структурой, техникой и тактикой вражеской армии, умевших разобраться в трофейной документации, использовать пе-

рехваты радио и телефонных переговоров, командованию трудно было принимать верные решения, готовить и проводить боевые операции.

Надо добавить, что переводчик на фронте никогда не был фигурой пассивной. Он принимал прямое участие в рейдах по тылам противника, ходил с парламентарями в расположение врага. Но, пожалуй, основной его работой были допросы языков и военнопленных солдат и офицеров противника. Задача переводчика, пишет автор, — получить от них максимум разведывательных данных. Причем данных точных. Никакой фантазии, домысла, украшательства. При этом толково допросить и перевести — лишь поддела. Военный переводчик должен обладать аналитическим умом, качествами тонкого психолога, из нескольких, а то и множества вопросов извлечь концентрат необходимых командованию сведений.

На первых порах, рассказывает Левин, главная сложность вопросов пленных была не только в слабом знании немецкого языка и его диалектов. Еще более трудным препятствием в общении с оболваненным фашистской пропагандой врагом служил барьер морального плана — барьер ненависти, когда, как признается автор, допрашивая очередного пленного, он никак не мог отделаться от мысли, что имеет дело с одним из убийц, поджигателей, садистов. И лишь со временем, с приходом жизненного и боевого опыта, появилось умение вести разговор спокойно, деловито, не поддаваясь эмоциям.

Постепенно расширялись знания языка, росло понимание слабостей противника. Таких, например, как поистине дремучее невежество большинства гитлеровских во-як. «Я,—вспоминает автор,— со своим архискропным школьным багажом знаний по истории и литературе Германии был рядом с ними корифеем». И естественно, уже одно это ставило переводчика выше допрашиваемого, укрепляло идейно-нравственное превосходство советского воина над фашистом, основанное на верности советских людей идеалам социализма и гуманизма.

Военные переводчики отчетливо понимали, что имеют дело не с врагом на поле боя, а с безоружным пленным и выиграть психологический поединок с ним надо было тоже без оружия, определив на допросах, где вранье или хвастовство, где добросовестное заблуждение, где желание честно выложить правду и где сознательная дезинформация. Некоторые из таких поединков были очень сложны, сравнимы с головололомной шахматной партией, которую переводчик не имел права проигрывать, даже свести вничью.

Обо всех этих относительно малоизвестных широкому читателю особенностях службы военных переводчиков и рассказывает Левин в своей книге. Рассказывает искренне, доверительно, самокритично, порой с юмором и иронией, когда дело касается собственных промахов и неудач, неожиданных поворотов судьбы. Принимая стиль и тон автора, мы верим ему даже в том, что и по сей день, вспоминая свою военную молодость, он не может взять в толк, как это его, тогдашнего юнца по возрасту и воинскому званию, стремительно двигали вверх по служебной лестнице, назначили на ответственный пост в армейской разведке. Это признание тоже чуть шутиливо, так как подобные «карьеры» во многом типичны для тех лет, для фронтовых коллег автора «Записок...». И конечно же, важнейшую, определяющую роль в формировании их духовных и деловых качеств

играли старшие командиры и политработники, о которых автор пишет с особой теплотой и признательностью. Запоминается образ командира 13-го кавалерийского корпуса генерала Н. И. Гусева, военачальника, превыше всего ставившего искусство достижения победы наименьшей кровью.

Навсегда осталась в памяти автора одна из первых бесед с комкором, когда тот в ответ на просьбу неопытного еще переводчика направить его в строй посоветовал (пожалуй, именно посоветовал, а не приказал) совсем иное: «...учись. И запомни, сынок, чем лучше ты будешь знать язык, тем меньше будет у меня потеря. А заменять тебя некем».

Одним из героев книги стал и непосредственный командир Левина — начальник разведотдела 2-й ударной армии полковник П. М. Синеокий, требовательный, выскообразованный офицер, знавший свое дело «доконально, одновременно масштабно и в тонкостях». Именно он доверил подполковнику Пономареву и капитану Левину отправиться в ночь на 30 апреля 1945 года в осажденный Грайфсвальд и принять капитуляцию многочисленного, вооруженного до зубов местного гарнизона гитлеровцев. Город был взят без единого выстрела. Впоследствии полковник П. М. Синеокий на посту советского военного коменданта Грайфсвальда сделал все возможное для налаживания новой, демократической жизни и стал почетным гражданином этого древнего университетского города. Послевоенная посредническая, если можно так выразиться, деятельность многих военных переводчиков в Германии — тоже одна из особенностей их профессии, отмеченная в книге.

Дружеские отношения, сложившиеся между советскими людьми и населением Грайфсвальда, заключает автор, не составляли исключения — так было повсюду. Немалая заслуга в этом, безусловно, принадлежит советским военным переводчикам.

Вик. КАЗАРИНОВ,



БЕЗ РОДИНЫ

Л. К. Шкаренков. *Агония белой эмиграции*. М. «Мысль». 1981. 231 стр.

Порой говорят, что гражданская война — это болезнь общества. Если продолжить сравнение, то эмиграция — одно из неперемных осложнений после перенесенной болезни. «Их выгнала гражданская война», — писал о двух миллионах русских белоэмигрантов В. И. Ленин.

Первая белоэмигрантская волна в России (относительно небольшая) зародилась еще до гражданской войны, сразу после падения самодержавия: непримиримые монархисты (члены императорской фамилии, царедворцы и аристократы, чины полиции и жандармерии, ярые черносотенцы, генети-

чески, можно сказать — кровными узами, связанные с монархией Романовых) бежали за границу, не приняв даже Временного правительства князя Львова и эсера Керенского. После Октября несколькими нарастающими волнами, совпадающими по времени возникновению с разгромом воинства очередного вождя российской контрреволюции (сначала Корнилова, затем Колчака и Юденича и, наконец, Деникина и Врангеля), из России, ставшей советской, хлынули сотни тысяч русских людей, нередко растерявшихся, дезориентированных и утрачившихся революции, многие из которых до семнадцатого года искренне, хотя и идеалистически мечтали о ней.

Символом белого исхода, его заключительным актом стали новороссийская (январь — март 1920 года) и особенно крымская (ноябрь 1920 года) эвакуации. В те холодные ноябрьские дни волны Черного моря рассекал невиданная со времен аргонатов армада — от 120 до 170 крейсеров и эсминцев бывшего российского флота, пассажирских пароходов, рыбацких баркасов, шхун и маленьких каботажных судов — со 150 тысячами добровольных изгнанников. Это был морской караван российской контрреволюции, потерявшей свой последний оплот — врангелевский Крым, взявшей курс на Константинополь. Спустя двадцать пять лет, в 1945 году, часть этих много переживших, постаревших на чужбине бывших подданных Российской империи возвратилась в покинутый дом гражданами Советского Союза.

Не будет преувеличением сказать, что советский читатель слабо осведомлен о драматической, даже трагической судьбе белой эмиграции. О ней было написано не так уж много: отрывочные сведения из научных монографий, посвященных истории гражданской войны, редкие художественные произведения, среди которых прежде всего бугаковский «Бег», публицистика А. Толстого и М. Кольцова, «Письма к русским эмигрантам» В. Шульгина, воспоминания бывших белоэмигрантов (Б. Александровского, А. Вертинского, Г. Бенау, Н. Ильиной, Л. Любимова, Д. Мейснера, П. Оболенского, В. Сухомлина, П. Шостаковского — вот, пожалуй, и все), давно ставшие библиографической редкостью и по этой причине малодоступные «невооруженному» читателю. Со страниц этих интереснейших человеческих документов раскрывается нелегкая, полная материальных лишений и духовных страданий жизнь на чужбине. «Мы в полной нищете, за квартиру не плачено... Печа-

таться нетде... Зима прошла в большой нужде и холоде... Я страшно одинока». Эти строки, принадлежащие Марине Цветаевой, могли написать многие русские люди, расставшиеся с родиной.

Книга Л. Шкаренкова впервые в нашей исторической литературе в целом рассматривает четвертьвековую историю белой эмиграции, разбросанной на пяти континентах.

История ее имеет много аспектов — политический, бытовой, культурный... Л. Шкаренков так или иначе затрагивает все эти аспекты, но главным предметом его исследования стала политическая эволюция белой эмиграции. Автора привлекает прежде всего проблема отношения белой эмиграции к Советскому государству за четверть века — от окончания гражданской до конца второй мировой войны. В этой связи исследование Л. Шкаренкова проливает дополнительный свет на проблему внешней контрреволюции, всерьез угрожавшей молодой советской республике, особенно в первой половине 20-х годов. На основании глубокого изучения богатых архивных материалов, эмигрантской литературы и периодики, работ западных исследователей автор показывает подлинное лицо различных политических течений российской зарубежной контрреволюции — от фашиствующего Национально-трудового союза нового поколения (предшественника нынешнего НТС), созданного в 1930 году, Русской фашистской партии А. Вояццкого и К. Родзаевского и монархистов из Высшего монархического совета, возглавлявшегося известным черносотенцем Н. Марковым, до вчерашних социалистов — меньшевиков и эсеров.

Жизнь белой эмиграции знала свои этапы и переломные рубежи. Первая половина 20-х годов, наиболее трудных для эмигрантской массы, озабоченной своим устройством в новой, непривычной жизни, была периодом организационного оформления белой эмиграции и попыток объединения составляющих ее разношерстных политических сил. Белоэмигрантские газеты чуть ли не ежедневно сообщали о создании все новых и новых комитетов, советов и союзов. Сзывались съезды и совещания. Это были годы болезненных, лихорадочных ожиданий возвращения на родину (разумеется, с оружием в руках и под знаменами белого движения), регулярно обещаемого вождями.

Единства не получилось. Политические разногласия и мелкие свары разделяли не только различные партии бывшей российской контрреволюции, но и однородные

политические течения. Великие князья Николай Николаевич и Кирилл Владимирович — двоюродный дядя и двоюродный брат расстрелянного царя — оспаривали друг у друга право на «российский престол». Кадеты, меньшевики и эсеры ссорились из-за того, кому из них надлежит возглавлять будущее правительство «освобожденной России».

Все сроки падения советской власти, назначавшиеся белоэмигрантскими пророками, проходили один за другим, а обещанное возвращение со щитом оставалось не более чем призрачной иллюзией. Очевидные успехи советского народа в хозяйственном и культурном строительстве были той главной причиной, которая определила идейный крах и последующее вырождение белой эмиграции как организованного движения. Это, как видно из книги Л. Шкаренкова, было ясно уже в 30-е годы.

Важнейшим, решающим рубежом, определившим непреодолимый раскол и, по сути, конец белой эмиграции, стала Великая Отечественная война советского народа против гитлеровского нашествия. Среди русских белоэмигрантов нашлись, конечно, иуды вроде генералов Краснова, Семенова, фон Лампе и Штейфона, поспешившие предложить свои услуги германскому и японскому командованию и даже ведомству Гимmlера (Л. Шкаренков приводит факты их сотрудничества с фашистами). Были и такие, кто, подобно Милокову, колебался между застарелыми предубеждениями и русским патриотизмом — и патриотические настроения брали верх лишь со временем, постепенно, особенно после побед Красной Армии под Москвой и Сталинградом. Преобладающая же часть белоэмигрантов с первого дня войны без колебаний встала на сторону родины. (Между прочим, даже «император всероссийский» Владимир, сменивший в 1938 году на «троне» своего умершего отца Кирилла, отказался благословить гитлеровское вторжение, а престарелый генерал Деникин, оставаясь при своих убеждениях, предсказал неминуемый разгром немецко-фашистских армий в России.)

Многие эмигранты приняли непосредственное участие в борьбе с фашизмом в рядах Сопротивления. Кстати, для некоторых из них, как, например, для Алексея Эйслера — адъютанта легендарного генерала Лукачева (Мате Залки), непримиримая борьба с фашизмом началась еще в интербригадах республиканской Испании. Активная позиция патриотической части эмиграции на-

глядно выразилась в поступке молодого князя Оболенского, который в день нападения Германии на СССР явился к советскому послу в Виши А. Е. Богомолу и просил содействовать его зачислению в Красную Армию для участия в защите отечества. А его родственница тридцатитрехлетняя княгиня Вера Аполлоновна Оболенская, казненная гитлеровцами за активное участие в Сопротивлении, посмертно была награждена французскими орденами Почетного легиона, Военным крестом и медалью Сопротивления, а также советским орденом Отечественной войны I степени. Героями французского Сопротивления стали Е. Ю. Кузьмина-Караваева (мать Мария), С. В. Носович, Ариадна Скрябина (дочь композитора, которой французские власти поставили памятник в Тулузе) и многие другие русские эмигранты. Гитлеровцы с самого начала не заблуждались относительно патриотических настроений большинства белой эмиграции. Не случайно уже в первые дни войны с СССР немецкие власти во всех оккупированных странах Европы провели массовые превентивные аресты среди русских эмигрантов.

Победное шествие Красной Армии по странам Восточной Европы, оккупированным фашистской Германией, окончательно протрезвило наиболее упорных противников советской власти даже среди белоэмигрантского руководства. В. А. Маклаков, один из руководителей кадетской партии, бывший посол Временного правительства во Франции, писал в июне 1944 года: «После всего того, что произошло, русская эмиграция не может не признать Советское правительство в качестве русского правительства». А бывший заместитель председателя РОВС адмирал М. А. Кедров говорил на приеме в советском посольстве в Париже 12 февраля 1945 года: «Советский Союз победил — Россия спасена, и спасен весь мир. Новая государственность и новая армия оказались необычайно стойкими и сильными, и я с благодарностью приветствую их и их вождей».

В общем и целом к середине 40-х годов белой эмиграции пришел конец. Значительная ее часть просто вымерла, другая ассимилировалась на чужбине.

О чем говорят уроки белой эмиграции? Прежде всего о том, что попытки поиска какой-то внешней альтернативы общественно-политической системе, созданной на развалинах старой России и принятой ее народом, потерпели сокрушительное поражение. Политические лидеры эмиграции, жившие идеями и взглядами вчерашнего

дня, оказались не способны ни выдвинуть ясную и конструктивную программу, ни даже объединить свои силы.

И еще. Ущерб, нанесенный контрреволюционной деятельностью белой эмиграции советской власти, очевиден. В книге Л. Шкаренкова приводится немало свидетельств подрывной работы белоэмигрантских организаций против Советского государства. Менее очевидным внешне, но несомненно более значительным по своим последствиям был ущерб, вызванный самим фактом массового исхода русских людей за рубежи России. Эмиграция, тем более если она принимает массовый характер, всегда ведет к материальным и, что, вероятно, более важно, морально-духовным потерям для страны. Так, например, эмиграция периода гражданской войны лишила Россию значительной части ее культурного слоя, формировавшегося в течение целой исторической эпохи. Потребовались годы и годы, прежде чем удалось компенсировать проишедшую «утечку умов».

Понимая все тяжелые последствия эмиграции для страны, Советское правительство предпринимало настойчивые усилия с целью добиться возвращения добровольных изгнанников, непричастных к белому террору. Предметом особых забот для него стало содействие возвращению на родину мобилизованных в белые армии крестьян и казаков, вывезенных командованием на чужбину. Еще 3 ноября 1921 года декретом ВЦИК была объявлена амнистия значительной части рядовых солдат белых армий и им была предоставлена возможность вернуться в Россию. 9 июня 1924 года новый декрет ЦИК и Совнаркома СССР распространил амнистию на всех рядовых солдат белых армий, находившихся на Дальнем Востоке, в Монголии и Западном Китае. За один лишь 1921 год на родину вернулись более 120 тысяч человек. Возвращались не только рядовые солдаты и казаки, но и офицеры и даже генералы. Среди последних — видные белые военачальники Я. Слащев (послуживший Михаилу Булгакову прототипом Хлудова), А. Секретев, Ю. Гравитский, И. Клочков, Е. Зеленин и другие. Однако до начала Великой Отечественной войны вернулась едва ли десятая часть белоэмигрантов. Остальные избрали дальнейшее изгнание.

Вторая волна репатриации началась сразу же после победы Советского Союза над гитлеровской Германией, когда указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 года, признававшим заслуги части эмиграции перед родиной в период войны,

многие эмигранты получили право принять советское гражданство. Во Франции, например, этим правом воспользовались около 11 тысяч человек, в Югославии заявления подали более 6 тысяч эмигрантов. Многие тогда же возвратились на родину.

Но вернемся к урокам эмиграции. Добровольная эмиграция, в тех случаях когда речь идет о контрреволюционной (белой) эмиграции, — это прежде всего попытка устроить свою личную судьбу, отказ от участия в судьбе своего народа, самоустрашение. Но для эмигранта, оказавшегося на чужбине, сразу же встает острый вопрос: кто ты для страны, давшей тебе приют? Если иностранец, то плохо твое дело, так как ты не имеешь ни гражданских, ни политических прав со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями. Не менее остро стоял этот вопрос и для второго поколения эмигрантов — молодежи, вынужденной, нередко вопреки желанию родителей, отказываться от своей национальной принадлежности.

Вспоминается одна встреча десятилетней давности в русском православном соборе Александра Невского на тихой парижской улочке Дарю, в который я, будучи в командировке во Франции, забрел в жаркий июльский день. В храме было прохладно и почти безлюдно. У иконостаса чинно крестился и прикладывался к иконам высокий красивый старик с узкой алой лентой ордена Почетного легиона в петлице летнего пиджака. Недалеко от входа на одном из стульев (то ли уступка католическому влиянию, то ли снисхождение к возрасту прихожан) сидела аккуратная старушка с ясными голубыми глазами и добрым, располагающим лицом. Она приветливо отреагировала на мое к ней обращение и заговорила удивительным, чем-то непривычным русским языком — языком Чехова и Бунина со всеми характерными приметами начала века, хотя и не без галлицизмов. Оказалось, что она с мужем покинула Россию в первые годы нэпа. Муж, бывший офицер, проработал пятнадцать лет шофером такси в Париже и погиб в аварии. Старушка посетовала, что дети хотя и свободно говорят по-русски, но предпочитают французский, ну а уж внуки — совершенные французы и смотрят на бабушку с некоторым даже удивлением. Впрочем, ее стараниями и дети и внуки крещены в православии, что дает ей основание хотя бы один-два раза в год, на рождество и пасху, требовать их присутствия на общей для семьи церковной службе. «Увы, я последняя рус-

ская в нашей семье», — вздыхала моя новая знакомая.

Подошедший к нам высокий старик, не без труда, но и не без изящества склонившийся к руке пожилой дамы, представился мне бывшим кавалергардом. В начале 20-х годов он завербовался в Иностраный легион, где дослужился до лейтенантского чина и получил боевые награды за участие в кампаниях по освобождению Северной Африки и Франции в годы Сопrotивления. В его семье дети еще считают себя наполовину русскими, а вот внуки и правнуки и по формации и по психологии — типичные французы. Та же картина и в семьях всех их парижских знакомых-эмигрантов.

Время и среда делали свое дело. Для того чтобы выжить и приспособиться, надо было ассимилироваться — сначала экономически и политически, а затем и культурно. «Трагедия эмиграции», — пишет Л. Шкаренков, — состояла в том, что она не только физически, но и духовно на долгие годы оторвалась от своей родины, своего народа, ее духовная жизнь развивалась как бы в пустом пространстве, не имела питательной почвы».

Идейное и моральное крушение, агония белой эмиграции — таков финал ее истории и основной вывод книги Л. Шкаренкова.

П. ЧЕРКАСОВ.



АВТОМАТЫ НА ОРБИТАХ

П. А. Агаджанов, А. А. Большой, В. И. Галкин. Спутники связи. М. «Знание». 1981. 64 стр.

А. А. Большанов. Космические методы в океанологии. М. «Знание». 1982. 64 стр.

Начиная с 1971 года издательство «Знание» выпускает в цикле «Новое в жизни, науке, технике» брошюры подписной научно-популярной серии «Космонавтика, астрономия». Рассчитанные на широкий круг читателей, они выходят ежемесячно и распределяются в течение года примерно поровну между двумя темами серии. Как показывают опросы, регулярно проводимые издательством (рассылается до тысячи анкет), и письма читателей, среди подписчиков очень много людей подготовленных, специалистов в различных областях науки и техники, включая и космонавтику и астрономию, а также смежные области. Так что уровень компетенции авторов серии и содержательная сторона каждой из брошюр должны быть весьма высокими.

Судя по рецензируемым брошюрам, посвященным развитию автоматических спутниковых систем, издательству это вполне удается.

Когда двадцать пять лет назад в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли, вся планета встретила это событие с огромным воодушевлением. Крупнейшие газеты мира ежедневно помещали информацию о спутнике, об ожидаемом времени его пролета над различными городами, вечером и ночью люди всех возрастов вглядывались в небо, чтобы хоть на миг увидеть в нем летящую рукотворную звезду.

Но вот прошло время — и газетные со-

общения, посвященные запускам спутников-автоматов, стали сухими, лаконичными и больше не печатаются на первых полосах. Они, если говорить о космонавтике, отдаются репортажам о полетах пилотируемых космических кораблей и межпланетных автоматических станций. А между тем основной эффект космонавтика получает от искусственных спутников Земли, которых запущено на самые различные орбиты уже около трех тысяч. Прикладное значение этих небесных тружеников в нашей жизни постоянно возрастает.

Об одной из весьма важных областей их применения рассказывает брошюра «Спутники связи».

Со времени запуска в апреле 1965 года первого советского спутника связи «Молния-1» в СССР выведено на орбиту свыше 100 спутников этого назначения различных типов. На их основе созданы эксплуатационные системы телефонно-телеграфной связи, теле- и радиовещания, пересылки в отдаленные районы страны матриц центральных газет. Советские системы связи работают по программам сотрудничества со странами — участниками международной организации «Интерспутник».

В мире насчитываются уже десятки государственных, региональных и глобальных спутниковых систем связи. В международную организацию «Интерсат» входит свыше 100 стран, включая Советский Союз.

С каждым годом в системах используются все более совершенные аппараты. По

сравнению с первыми спутниками, подчеркивают авторы, затраты средств в расчете на один канал связи в настоящее время снизились в 25—30 раз, а гарантийный срок работы бортового оборудования утроился и составляет теперь пять—семь лет. Передача информации на расстояние свыше 1500 километров через спутники теперь обходится дешевле, чем по наземным каналам связи. Спутниковая система «Орбита» просто незаменима для трансляции телепередач в удаленные и труднодоступные районы Восточной Сибири, Приморья и Крайнего Севера.

Искусственные спутники Земли активно помогают и мореплавателям. Спутниковые навигационные системы определяют положение корабля в любой точке Мирового океана, в любое время суток, при любых метеоусловиях с точностью до нескольких десятков метров — в 100 раз выше, чем самое современное автономное оборудование.

В настоящее время завершается разработка международной космической системы поиска судов и самолетов, терпящих бедствие. В реализации этой системы объединили свои усилия СССР, США, Франция и Канада. Советская сторона разрабатывает для этой цели проект «КОСПАС» («Космическая система поиска аварийных судов и самолетов»), за рубежом создается аналогичная система «САРСАТ». Технические характеристики обеих систем согласуются между собой, и системы могут функционировать как раздельно, так и совместно. Их обслуживание будет производиться советскими и американскими спутниками, которые разместятся над планетой на высоте 800—1000 километров.

Центр системы «КОСПАС» находится в Москве. В одном из микрорайонов столицы уже сегодня можно видеть параболическую антенну первого советского пункта приема информации от спутников-спасателей. Такие пункты предназначены для приема сигналов специальных аварийных радиобуев, которыми будут оснащены все суда и самолеты. В случаях кораблекрушения или авиакатастрофы эти устройства будут автоматически вводиться в действие и каждые 50 секунд передавать аварийный сигнал. Приняв сообщение, спутник тотчас передаст его на пункты приема информации.

На этапе опытной эксплуатации этой системы местонахождение объектов будет определяться с точностью два—четыре километра, а с момента включения аварийного радиобуя до приема его сигналов спутни-

ком пройдет в среднем два часа. Шансы на спасение при таком точном и срочном уведомлении резко возрастают. Напомню, что согласно статистике Ллойда только в 1971—1980 годах погибло почти 3800 судов, не считая яхт, катеров и рыболовных шхун. При этом свыше 60 торговых судов исчезло бесследно. Среди них, например, огромный транспорт, пропавший вместе с 40 членами экипажа в конце 1979 года по пути из Бразилии в Японию. Немало трагических случаев из-за несвоевременного приема сигнала SOS и в авиации. Вот почему к работам по созданию международной космической системы поиска подключаются все новые страны: Норвегия, Англия, Япония.

Таковы лишь некоторые факты, изложенные в брошюре «Спутники связи», вызвавшей большой интерес у советских и зарубежных читателей. (К слову сказать, серия «Космонавтика, астрономия» имеет около 5 тысяч иностранных подписчиков.) На мой взгляд, это объясняется тем, что авторам удалось, с одной стороны, дать интересную информацию о техническом существовании спутниковых систем, а с другой — наглядно показать значимость спутников связи в повседневной человеческой деятельности.

Морскую тему, начатую авторами «Спутников связи», продолжает брошюра «Космические методы в океанологии».

В последние два-три десятилетия программы исследования Мирового океана во всех развитых странах расширяются стремительными темпами. Тысячи больших и малых научно-исследовательских судов обследовали, казалось бы, даже самые отдаленные морские районы. Однако площадь, занимаемая Мировым океаном, настолько велика, что все исследования при помощи судов являются, по сути, точечными, и по ним чрезвычайно трудно получить картину в целом, увидеть, как она меняется во времени. И здесь на помощь приходят космические методы.

Наблюдение за океаном из космоса ведется как с искусственных спутников, так и космонавтами (невооруженным глазом и с использованием технических средств), но специализированные океанологические спутники начали запускать совсем недавно — с конца 70-х годов.

Изучение океана с помощью космических методов уже позволило сделать ряд замечательных открытий. Доказано, например, что над районами глубоководных впадин поверхность Мирового океана слегка прогибается, как бы повторяя форму оке-

анского ложа. Над подводными горами наблюдается аналогичная, но обратная картина — на поверхности океана вырастает своеобразный водный купол. В частности, была уточнена форма океанской поверхности в районе злополучного Бермудского треугольника. Здесь находится так называемая Пуэрториканская впадина и, как показали измерения с борта орбитальной станции «Скайлэб», связанная с этим гравитационная аномалия проявляется в понижении среднего уровня океана над впадиной. Все впадины и куполы, о которых идет речь, сравнительно малы по высоте, порядка десяти — двадцати метров, а поскольку их диаметр составляет десятки и сотни километров, то они не фиксируются традиционными способами.

Автор сообщает также интересные сведения об исследованиях внутренних волн, которые возникают в океане на глубинах нескольких десятков метров, там, где происходит изменение плотности глубинных слоев воды. (Многие специалисты полагают, что именно эти волны явились причиной таинственной гибели американской атомной подлодки «Трешер» в 60-е годы.) Изучение внутренних волн по фотографиям со спутников гораздо более перспективно, чем обычными методами, связанными к тому же с большими техническими трудностями и затратами времени.

Наблюдения океана из космоса преподносят специалистам немало загадок. Так, например, космонавты В. Ляхов и В. Рюмин видели полосу вздыбленной воды в Индийском океане в 250—300 километрах от африканского побережья. Эта полоса имела длину около 100 километров при ширине 1,5—2 километра, и от нее была даже заметна тень на воде или что-то в этом роде. У космонавтов создалось впечатление, будто в океане столкнулись два вала и поднялись высоко вверх. Когда ранее нечто подобное наблюдал В. Коваленок, ему не все поверили. Можно, однако, предполагать, что такие явления нередки и именно с ними связаны загадочные исчезновения судов в совершенно спокойную погоду. Не исключено также, что окончательную ясность в этот и многие другие спорные вопросы внесут данные, полученные с океанологических спутников.

Таким образом, космические методы в океанологии, как и спутники связи, представляют собой живые, увлекательные темы. И авторов брошюр можно упрекнуть

лишь в том, что, занявшись чрезмерной технической детализацией различных функциональных систем, они упустили случай поговорить о других, быть может, более интересных читателю аспектах этих тем. О том, например, как анализ ледовой обстановки, проведенный по фотографиям со спутников, позволил несколько лет назад открыть навигацию по Северному морскому пути на два месяца раньше обычного. Об оказании срочной медицинской помощи через спутники. Об использовании спутников для контроля за поголовьем и миграциями животных. Об обнаружении из космоса загрязненных нефтью районов океана и подробном анализе возможностей создания космической патрульной службы по поддержанию чистоты всей акватории планеты...

В целом же обе брошюры дают читателю богатый материал для размышлений о перспективах и путях развития космонавтики.

Когда в 1957 году состоялся запуск первого спутника, многие считали, что автоматические искусственные спутники Земли — лишь этап на пути к пилотируемым полетам. Однако уже в то время ряд ученых был убежден в самостоятельном предназначении автоматов для решения важных исследовательских и прикладных задач в интересах Земли.

Напомнить об этом мне кажется нелишним по следующей причине. Мы и сегодня часто повторяем тезис о том, что логика развития космонавтики, магистральный путь человека в космос — от автоматических спутников Земли к пилотируемым кораблям и долговременным орбитальным станциям со сменяемыми экипажами. Да, такой путь действительно возможен, хотя вряд ли единствен, поскольку пока, думается, его логическое обоснование построено скорее лишь на констатации хронологии создания космических объектов, а не на разборе различных вариантов их будущего. Мне, скажем, представляется вполне допустимым, что будущее космонавтики принадлежит именно автоматическим аппаратам, автоматическим спутникам. Как бы то ни было, тезис «от автоматических спутников к...» (и далее) совершенно игнорирует земное значение искусственных спутников Земли, роль которых так убедительно показана в брошюрах серии «Космонавтика, астрономия».

В. ПРИЩЕПА.

КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСЕЙ ДУДАРЕВ. Святая птица. Рассказы. Перевод с белорусского. М. «Молодая гвардия». 1981. 206 стр.

У Алексея Дударева счастливая литературная судьба. С появлением в печати первых рассказов о нем сразу заговорили как о молодом таланте. Открывать новые имена приятно всем. В Белоруссии, впрочем, видно, как и всюду, голод на хорошие рассказы, и старшее поколение писателей, начинавшее тоже с рассказов, пристально и доброжелательно присматривается к тем, кто идет на смену. Проза же Дударева действительно обнадёживала. Рассказы были о жизни послевоенной деревни. Причем автор не думал скрываться за условной фигурой героя-повествователя, который, тоскуя и скорбя, навещал эту родную свою деревню, созерцал, умилялся и т. п. Привлекала и биография молодого прозаика: крестьянский хлопчик, выпускник профессионально-технического училища, рабочий Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода, студент вуза, актер.

Труднее пришлось Дудареву, когда он уже был признан: книжка в Минске, затем в издательстве «Молодая гвардия» (в бережном и внимательном переводе Тамары Золотухиной), короткометражные кинофильмы, поставленные по его рассказам киностудией «Беларусьфильм», первые литературные премии. Это было признание. Но приспело время и возвращать полученные авансы. Время, когда писатель доказывает себе и другим, на что он способен. Меньше стало комплиментов, начались и уколы. Стали искать, на кого похож молодой автор. Было установлено: герои Дударева чудят. И у Шукшина были чудики. А герои Дударева, как, впрочем, и у Шукшина, между тем не такие уж чудики.

Вот, к примеру, Степан Пузыревич, колхозный шофер из рассказа «Святая птица», захотел, чтобы над его домом на старой липе поселился аист. И жена, и бригадир, и односельчане в один голос: «Какая дурь в человека влезла?» Но, между прочим, не дурь. В белорусском селе издавна считалось счастливым селище, над ксторым на дедовской липе или груше поднимались аисты — буслянка с буслами. Покидали гнездо, дерево буслы — время этому человеку собираться в последнюю дорогу. За «чудными» желаниями колхозного шофера Степана Пузыревича — мечта, тоска, которую мало кто понимает и мало кто слышит и разделяет в спешке, в торопливом беге наших насыщенных свершениями дней.

Старая Пилипиха приходит из деревни к следователю. Сын у Пилипихи пропал без вести. А через тридцать четыре года Пилипиха увидела его портрет в каком-то зарубежном журнале.

— Это премьер-министр какой-то... — объясняет старухе следователь.

«— Ну и что? — неожиданно спокойно сказала Пилипиха.

— Как что? Неужели вы думаете, что ваш сын...

— Ты моего Ваську не знаешь... — перебила его старая. — Он же такой понятливый был...»

Нет, не анекдот, хотя и похоже. Их множество, таких старух, живет по селам и небольшим городкам Белоруссии. Живет и ждет пропавшего на той великой войне без вести своего сына. Я тоже знал такую бабу. Это была моя родная бабка. Она дожила до ста двенадцати лет. Уже не видела ничего, но каждого входящего в дом встречала вопросом:

— Колька?

До смертного часа не верила, что это не ее Колька, сгоревший под Сталинградом в танке, ощупывала пальцами внуков, признавая и не признавая своего сына, потому что сыновья для матерей никогда не умирают. В своей вере они могут казаться наивными или смешными, как бывает порой смешон человек, сказавший невпопад о чем-то сокровенном. Так постигает Алексей Дударев души своих героев — до заветных глубин.

В более поздних вещах Дударева проявилось то, что в ранних только намечалось, — эпичность, свойственная лучшим образцам нашей белорусской прозы. Исчезла некоторая однолинейность сюжета. В тексте больше стало воздуха, широты. Появился и пейзаж, которого Дударев прежде избегал и отсутствие которого все же обедняло его прозу.

В последние годы автор «Святой птицы» больше известен как драматург. По его сценариям ставятся фильмы, спектакли, пьесы, отмеченные, кстати, премиями на различных конкурсах. А рассказов мало. Хотелось бы надеяться — временно. Алексей Дударев внес в современный рассказ немало своего. Для меня, к примеру, нет сомнения, что белорусский рассказ с его приходом в литературу стал улыбчивее, добрее.

Виктор Козько.

Минск.



ЮРИЙ АВДЕЕНКО. Вдруг выпал снег. Роман. М. «Советский писатель». 1981. 264 стр.

Живет в причерноморском городке семнадцатилетний юноша Антон Сорокин. Отгремела Великая Отечественная война, но для Антона, как и для многих, она еще не кончилась. Отец, вернувшийся с фронта, не выходит из больниц. Мать, работавшая в торговле, угодила за решетку. Неустроенный, скудный быт послевоенной поры с толкучими базарами, коловращением людских толп у вокзалов, касс и перронов, с инвалидами, сиротами — все это зримо, почти документально передано в романе. И контрасты: с одной стороны, духовный подъем победившего народа, с другой — бескрылость обывательского существования, накипь романтики блатного мира... Трудно, подчас путано живет в эту пору сироте-подростку Антону.

Но он не оставлен на произвол судьбы. О нем заботятся школьный учитель Домбровский, старик Овисим, фронтовой товарищ отца, тетка Таня, всегда принимающая сторону слабого или несправедливо обиженного, все они помогают Антону удержаться от ложных решений, выстоять в критическую минуту.

Всем своим образным строем роман, посвященный событиям более чем тридцатилетней давности, обращен к современности, он напоминает о суровых испытаниях, выпавших на долю народа, о том запасе стойкости, нравственного величия, который лежит в основе и нашей гражданственности и нашей духовности. Рисую трудную послевоенную пору, исследуя духовный мир осиротевшего подростка или солдата, вернувшегося к мирной жизни, автор с особой проникновенностью пишет о всеобщем уважении к памяти тех, кто не пришел с полей сражений. Не просто об уважении — о глубоких духовных уроках, извлекаемых новыми поколениями из дел, из наследия тех, чьи усилия, жертвы привели нас к победе.

Думается, что главный пафос романа, позволяющий видеть его в русле нравственно-этических исканий современной прозы, — как раз в ярком показе общества, обнаруживающего силы и способы защитить (после только что пережитого глобального потрясения) одного, еще лишь вступающего в жизнь человека.

Владимир Богатырев.



СОЗВЕЗДИЕ ЛИРЫ. Избранные страницы латиноамериканской лирики. Перевод с испанского и португальского Инны Чежеговой и Михаила Донского. М. «Художественная литература». 1981. 254 стр.

Духовное оружие народов Латинской Америки ковалось веками в битвах за свободу и независимость. Нельзя понять действительную силу этого оружия вне гуманистического пафоса латиноамериканской поэзии с ее обостренным восприятием места человека в жизни, вниманием к его внутреннему миру, глубокой верой в людей.

Составителям сборника избранной лирики, представляющего поэтов разных стран и разных эпох, удалось создать на редкость

цельную книгу, которая воспринимается как тонкая и глубокая символическая поэма познания человеческого смысла собственного бытия. Одна из ведущих ее тем — тема любви, вызывающая особо трепетное отношение к себе в наш век, когда идет активный процесс переоценки нравственных ценностей, само духовное в человеке становится объектом идейной и идеологической борьбы. Любовь, воспетая в «Созвездии лиры», не приемлет и тени скороговорки, которой пытаются отделаться те, кому неведомо это чувство, для кого любовь стала лишь проторенной тропкой к узкому миру мещанского благополучия. Любовь в понимании латиноамериканских поэтов действенна, не случайно ее поэтический образ ассоциируется со стихийными силами природы: водопадом, ураганом, бурлящим океаном, огнем...

Тема верности призванию поэта, понимание поэзии как дороги к человеку, как слова, обращенного в грядущее, как обязанности быть там, где скорбь и печаль, где горе и невзгоды, определяет душевный настрой многих латиноамериканских поэтов. «Пишу стихи затем, что изначально в них жизни суть», — говорит Сесилия Мейрелес, бразильская поэтесса. «Созвездие лиры» — это гимн душе человека, которая не имеет права черстветь, грубеть и останавливаться в своем порыве к самосовершенствованию, какие бы испытания ни выпадали на ее долю.

В книге помещен критический очерк И. Чежеговой, дающий краткий анализ творчества поэтов, чье слово, «преодолевая преграды времени, расстояний, иного языка, находит отклик в наших сердцах, объединяя нас, людей разных стран и континентов». Подготовленные ею библиографические справки — это маленькие лиричные эссе о столь же схожих между собой судьбах и жизнью поэтов, творчество каждого из которых может стать предметом самостоятельного научного исследования. Много души и творческой фантазии, стремления выныкнуть в индивидуальный мир поэтических образов вложил в оформление книги художник Ю. Коннов. Поистине прекрасный подарок приготовило издательство «Художественная литература» для всех, кому дорого поэтическое слово, для каждого, кто хочет понять богатый дух борющегося континента.

З. Соколова.



И. ЯНСКАЯ, В. КАРДИН. Пределы достоверности. Очерки документальной литературы. М. «Советский писатель». 1981. 408 стр.

Заголовок и подзаголовок этой книги дают очень точную характеристику ее содержания и ее специфики. Монография И. Янской и В. Кардина на сегодня едва ли не одно из самых многосторонних, многоаспектных исследований той обширной области литературы, которую принято обозначать словом «документальная». Читатель найдет здесь главы о летописи военных лет, о состоянии современного очерка, об использовании документа и факта в поэзии, о биографическом и мемуарном жанрах. Авторы не стремятся к всеохватности: они выбирают свой мате-

ризал и рассматривают его в ракурсах, представляющих им наиболее интересными.

При всей «пунктирности» материала и свободе его выбора работа И. Янской и В. Кардина на редкость насыщена информативно. Например, в главе о летописи войны фигурируют воспоминания военачальников, фронтовые дневники К. Симонова, брестская тема С. Смирнова, документальные романы и повести Е. Воробьева, Д. Гранина, Л. Гинзбурга, О. Горчакова, книги А. Адамовича и Д. Гранина о блокаде Ленинграда, А. Адамовича, Я. Брыля и В. Колесника о Хатыни, показана журналистская деятельность Б. Полевого и Е. Ржевской. В триптихе об очерке мы встретим имена В. Овечкина, И. Винниченко, Б. Агапова, Н. Михайлова, Ю. Черниченко, Г. Радова, А. Аграновского, А. Ваксберга, Ю. Борина, Е. Богата и многих других. Вместе с тем И. Янская и В. Кардин при необходимости выходят и в сферу театра, кинопублицистики, драматургии.

Внимание критиков сосредоточено на промежуточных, переходных жанрово-художественных свойствах документальной литературы, на ее положении и месте в литературном процессе. «Документализм своего добился: он расшатал жанровые границы настолько, что сплошь и рядом литературоведы упираются в тупик. Удобные для систематизации, веками апробированные жанровые признаки и принципы смещаются, понуждая искать новые. Теорию за это корить нельзя. Ей необходимы время, накопленный литературной практикой опыт». Наиболее живые и яркие страницы книги, о каком бы жанре документалистики речь ни шла, посвящены, мне кажется, именно моментам перетекания документальной литературы в художественную прозу, взаимодействия факта с вымыслом, степени авторского присутствия в документальном произведении.

Теоретические позиции авторов, в полной мере учитывающие сложность вопроса, предполагают неоднозначное его решение. Вся книга пронизана обширными историко-литературными параллелями, будь то физиологический очерк первой половины XIX века или советские очерки первых пятилеток, «Фрегат «Паллада» или «Путешествие в Арзрум», литературные биографии, принадлежащие перу П. Анненкова или Л. Толстого, произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова с использованным в них документально-историческим материалом.

Книга написана эссеистично, содержит множество концентрированных характеристик, местами в ней слышатся полемические ноты. Но спор ведется не в плане хорошо — плохо: «...предпочтем останавливаться на произведениях, поучительных прежде всего своими достижениями...» Эта же позиция распространяется и на требовательно отобранные свидетельства критики и литературоведения. Анализ произведений ведется авторами в согласии с мыслью о том, что документалистика нуждается не в изъяслениях восторга и овациях, а в неторопливом разборе, что она «при всех своих достоинствах, честно одержанных победах — не надо заблуждаться, терять себя иллюзиями — уступает многим видам недокументального

творчества», хотя ей внятно все человеческое, вплоть до сокровенных чувств, лирических переживаний.

Вадим Ковский.



И. М. НАХОВ. Книжечная литература. М. «Наука». 1981. 303 стр.

И. М. НАХОВ. Философия киников. М. «Наука». 1982. 223 стр.

Автору рецензируемых книг профессору МГУ И. М. Нахову, по счастью, одинаково близки и античная литература и античная философия. Он обстоятельно раскрывает понятия «киническая литература» и «киническая философия», развенчивая в глазах массового читателя традиционно-расхожие представления о каких-то древних чудаках, в просторечье именуемых циниками...

Исследователь знакомит читателя с противоречивой многовековой историей развития кинической философской школы (V в. до н. э.— VI в. н. э.), не уступающей по своей значимости другим известным философским системам античного мира. Здесь показан внутренний драматизм теории и практики киников, отразивших идеалы и чаяния социальных низов античного общества — неполноправных граждан, бедняков, изгоев и даже рабов. Неудивительно, что их недовольство часто выражалось в резкой и довольно грубой форме...

Основатель кинизма Антисфен порой обнаруживал близость к своему учителю Сократу, простота жизни которого, проповедь новых, невиданных дотоле этических норм казались ему особенно привлекательными. Недаром, замечает автор, героем киников неизменно был Геракл, славный не только подвигами, но и страданиями. И. М. Нахов выделяет в киниках именно это стремление к подвигу в жизненной практике, к аскетизму, к отречению от внешних благ, притягивание ими даже страдальчества. И здесь автор приводит интересные материалы первых веков Римской империи, свидетельства так называемых «Актов [деяний] языческих мучеников», из которых видно, что мятежные александрийские греки в борьбе против римлян действовали под влиянием кинических идей, осуждавших тиранию, насилие, богатство, рабскую зависимость.

Автор доказывает, насколько неверным было мнение о невежестве и необразованности киников. Среди основателей кинизма известен Антисфен, написавший множество книг; Диоген Синопский — автор диалогов и трагедий; образованнейший Кратет Фиванский — сочинитель моралистических сатир, променявший богатую жизнь аристократа на посох и нищенскую суму странника; Метрокл — создатель жанра исторического анекдота; историк Онесикрит — один из биографов Александра Македонского; Мониам из Сиракуз, раб и поэт, заложивший наряду с Бионом и Мениппом основы кинического стиля, в частности соединение серьезного и смешного. Особенно удалась И. М. Нахову характеристика золотого века кинической литературы (III в. до н. э.) — творческие портреты Биона Борисфенита, Мениппа из Гада, Сотата, Леонида Тарентского, Мелеагра Гадарского.

Не скрывая «темных веков» кинизма (II— I вв. до н. э.), автор подробно останавливается на «киническом возрождении» и его типологических связях с формированием раннего христианства (Деметрий, Демонакт, Эномай из Гадар), прослеживает жизнь кинических идей у философа-платоника Максима Тирского, блестящего «кинизирующего» ритора Диона Хрисостома, стоического мудреца-раба Эпиктета.

В книге «Киническая литература» по-новому исследовано творчество императора Юлиана Отступника, пытавшегося реставрировать язычество в эпоху признания христианства официальной религией Римской империи (IV в. н. э.). Юлиан, несмотря на все его неприятие оппозиционной политики киников, рассматривает кинизм как некую философскую школу, а не только как образ жизни, утверждая единство философской истины и разные пути ее достижения.

Книги И. М. Нахова, содержащие немало редкостных материалов, свидетельствуют о богатейшей эрудиции автора, написаны с увлечением и методологически очень современно. Многовековая история кинической философии и литературы впервые встает перед советским читателем во всех своих многообразных связях, свидетельствуя о сложных путях развития античной культуры.

А. Тахо-Годи,
доктор филологических наук.



ЮРИЙ ПОЛУХИН, ЛЮБОВЬ РУДНЕВА.
Сквозь годы и горы. М. «Советская Россия». 1981. 256 стр.

Цикл очерков книги «Сквозь годы и горы» объединен темой производственного и научного сотрудничества социалистических стран Европы. В качестве примеров этого сотрудничества авторы выбрали строительство самой протяженной в мире линии сверхвысокого напряжения — ЛЭП-750 киловольт, идущей с Украины в ЧССР и ВНР, — сооружение атомных электростанций в ГДР, Венгрии, Чехословакии, совместные исследования советских, немецких и польских океанологов на Балтике, развитие лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске.

В то же время книга Ю. Полухина и Л. Рудневой не просто ряд картин больших строек и научных исканий, а прежде всего рассказ о человеческих судьбах. Любое экономическое сотрудничество, справедливо считают авторы, — это в конце концов взаимоотношения людей, глубинные нравственные процессы, которые всегда сопутствуют большому экономическим переменам. Однако именно такие процессы, часто связанные с сугубо личными переживаниями людей, их внутренним «я», традиционно остаются наиболее закрытыми для очеркиста, трудными для точного, убеждающего читателя описания. Порой завязать откровенный, если хотите, исповедальный разговор с незнакомым дотоле собеседником, необходимый в работе писателя-документалиста, весьма и весьма непросто. По-

лухину и Рудневой это, как правило, удавалось.

В чем же секрет того, что люди доверчиво делились с ними своими мыслями и чувствами? Авторы полагают, что участники большого, общего для разных народов дела, каким стало создание единой экономической системы стран социализма, не могут не ощутить духовного родства, способны к глубокому сопереживанию, быстрому взаимному пониманию. Росту этого взаимопонимания, а значит, и успеху дела в целом способствуют и писатели, их «книги судеб», в том числе книга «Сквозь годы и горы».

Главные ее герои — рабочие, инженеры, ученые. Например, Бениамин Сабо, один из руководителей строительства атомной электростанции в венгерском городе Пакше. Судьба Сабо — это в какой-то мере отражение судьбы его народа. Именно в годы бурного промышленного подъема, наступившего в Венгрии после победы социалистической революции, Сабо, закончив Энергетический институт в Москве, по возвращении на родину стал директором теплоэлектростанции, а позднее возглавил стройку атомной электростанции.

Типична и судьба Ласло Матиаша, бывшего ученика электромонтера, а ныне экономического директора энергопредприятия «Декас» в городе Пече на юге Венгрии. Восемнадцать тысяч квадратных километров территории, двенадцать городов, полмиллиона жителей, десятки фабрик и заводов — такова краткая характеристика района действий энергопредприятия, где директорствует Матиаш. Его предприятие — часть гигантской системы, объединяющей энергетику Советского Союза и стран народной демократии.

Как и Сабо, Матиаша отличают любовь к своему делу, творческий подход к нему, богатый духовный мир, развитое чувство коллектива и интернационализма. Этими высокими нравственными качествами обладают и другие герои книги: океанолог Брунс из ГДР, советский ученый Удинцев, чехословацкий проектировщик Йозеф Чупка, сквозь горы и годы совместного, освященного благородной целью труда вместе со своими народами идущие к созданию мощной коллективной экономической системы социалистических стран. Думается, книга найдет своих читателей не только в нашей стране, но и в тех странах, где живут и работают ее герои.

Ю. Стрехнин.



Р. БАЛАНДИН. **Перестройка биосферы.**
Минск. «Вышэйшая школа». 1981. 192 стр.

Новая научно-популярная книга Баландина рассказывает о научных гипотезах, касающихся биосферы и общества. Автор исходит из того, что ныне человек коренным образом перестраивает биосферу, которая переходит в новую свою сущность — техносферу. Тезис этот, без сомнения важный для Баландина, на мой взгляд, весьма спорен. На нем мне и хотелось бы коротко остановиться, используя, в частности, материалы из книги «Перестройка биосферы»,

Тем более что «книга гипотез» (определение автора) — всегда приглашение к разговору, приглашение к дискуссии.

Начну с исторических примеров, приведенных автором как доказательство мощного влияния человека на природу еще в глубокой древности.

В последнее время многие исследователи (и Баландин присоединяется к ним) объясняют возникновение пустынь на месте некогда зеленых, богатых водою земель хозяйственной деятельностью человека, неумеренным выпасом скота (чаще всего имеется в виду Сахара, обилие сухих русел и озерных впадин в которой действительно поражает). Гипотеза эта, безусловно, имеет право на существование, но она не объясняет, какие силы на протяжении человеческой истории приводили к периодическому озеленению той же Сахары, что давно установлено археологами. Между тем многие пустынные парадоксы могут быть объяснены режимом подземных морей (скопления воды в горных породах), уровень которых, конечно, колеблется. К тому же продолжает напоминать о себе, и порой жестоко, климатический фактор: в 1968—1973 годах засуха превратила значительную часть Сахели (полупустыня к югу от Сахары) в пустыню и разрушила в некоторых районах традиционное хозяйство туарегов.

Еще пример. Ныне широко обсуждается ставший почти сакраментальным вопрос о причине исчезновения мамонтов и предлагаются различные варианты ответов (допустим, резкие колебания климата). Все эти ответы не бесспорны, имеют контраргументы, на что обращает внимание читателей Баландин, предлагая затем свою версию: «...вырождение мамонтов связано с особой формой искусственного отбора, бессознательно (даже неразумно) проводимого древними охотниками». Предположение в принципе возможное, однако критика этой гипотезы в книге Баландина практически отсутствует. А она, по-моему, напрашивается, так как гипотеза объясняет далеко не все: почему, скажем, те же древние охотники не переели слонов в Африке, почему вместе с мамонтами исчезли и другие крупные млекопитающие, а также 10 миллионов неандертальцев, что констатируется, но никак не комментируется Баландиным.

Поскольку техническое могущество человека в наш век стремительно возрастает, его порой легко преувеличить, оказаться под властью своеобразного «техногенного гипноза», чего, мне кажется, не избежал и Баландин. Так, уже переходя к современности, он пишет, что существующая географическая зональность — техногенная, то есть возникла из естественных географических зон под влиянием человека. Хочется возразить и тут. Влияние человека, конечно, велико, и все же Земля-то круглая, она по-прежнему вращается вокруг своей оси — этим и определяется режим атмосферы и океана, естественная географическая зональность Земли. Словом, пока все-таки стоит более серьезно считаться с основой основ — природой вне нас.

Итак, характер разногласий автора книги и рецензента, должно быть, уже ясен: с моей точки зрения, взгляды Баландина «сверхтехногенны». Техника, вообще прак-

тическая деятельность человека в книге как бы отстраняют природу, и потому искажается перспектива ее развития. Основной процесс в окружающей нас природе — непрерывное, длящееся миллиарды лет воспроизводство жизни. По Баландину же (даже с оговорками), основная естественная функция природной среды решительнейшим образом изменяется и на первое место выходят искусственные, техногенные процессы, коренная перестройка биосферы. Но стратегия человека во взаимоотношениях с природой, думается, должна заключаться в противоположном: в стремлении избежать этой перестройки, которая, к сожалению, и теоретически и практически на самом деле может произойти.

Окружающий нас природный мир изменяется весьма быстро. Однако при этом едва ли происходит превращение биосферы в техносферу, скорее всего внутри биосферы уже сформировались новые планетные феномены: антропосфера (человечество), техносфера, понимаемая как единая система технических средств, ноосфера (сфера разума, информации). О терминах можно спорить, но в любом случае, как бы далеко ни зашли взаимосвязи человека с природой, существовать, эволюционировать человечество может, на мой взгляд, только базируясь на «старой» природе, а не на чем-то, измененном до неузнаваемости.

И. Забелин.



Н. М. ПЕГОВ. Далекое — близкое. Воспоминания. М. Политиздат. 1982. 223 стр.

Воспоминания партийных работников — очень важный раздел нашей партийной публицистики. Одним из примеров такой публицистики можно, на мой взгляд, считать и книгу воспоминаний Николая Михайловича Пегова о его работе первым секретарем Приморского крайкома ВКП(б) с 1938 по 1947 год (впоследствии Н. Пегов — секретарь Президиума Верховного Совета СССР, посол Советского Союза в Иране, Алжире, Индии, заместитель министра иностранных дел). Книга интересна яркими эпизодами, описанием встреч с выдающимися партийными и государственными деятелями, военачальниками, значительностью задач, которые приходилось решать Приморскому крайкому партии в то трудное время.

Приморье... Этот далекий от центра России, сказочно красивый и богатый край издавна привлекал русских переселенцев, государственных и политических деятелей, путешественников и писателей. О Приморье писали И. А. Гончаров во «Фрегате «Паллада», А. П. Чехов в «Острове Сахалин», Н. М. Пржевальский и В. К. Арсеньев. «Край земли», омываемый Тихим океаном, и передний край открытий русских землепроходцев, знаменитая уссурийская тайга, месторождения с «сумасшедшим» содержанием олова и угля, японский, английский и американский десанты 1918 года, Дальневосточная республика, партизаны Сергея Лазо, армия В. К. Блюхера и «волочаевские дни», КВЖД граница... — все это Приморье.

Осенью 1938 года только что прибывший во Владивосток Н. Пегов выехал на заставу

Краев, чтобы познакомиться со службой пограничников. В сумерках при возвращении сопровождавший его пограничный патруль был обстрелян с территории созданного японцами марионеточного государства Маньчжоу-Го. Такова была обстановка на приморской границе после уже отгремевших боев у озера Хасан, накануне (да и во время) Великой Отечественной.

Вся книга наполнена ощущением напряженности жизни приморцев: по соседству вынашивала милитаристские планы Япония. Н. Пегов ждал, но не упускал главного, рассматривает политическую и военную ситуацию, сложившуюся в Китае и Японии в 30-е годы, планы японских правящих кругов в отношении Советского Союза вообще и Приморья в частности. Сделать все, чтобы не дать Японии основания для вступления в войну, для образования второго для нас фронта,— такой была задача партийной организации Приморья, поставленная перед ней Центральным Комитетом. Выполнить ее было очень не просто: японская военщина шла на повседневные провокации, диверсионные вылазки, нарушения нашей границы, военные корабли Японии задерживали и подвергали обыску советские торговые и рыболовные суда, несколько из них было потоплено.

Стремясь создать спокойную обстановку в крае и не дать японцам повода для крупных провокаций, крайком партии принял меры к сохранению нормального мирного ритма жизни населения. Н. Пегов рассказывает, к примеру, что в самые тревожные месяцы во Владивостоке проходил необычайно интересный и насыщенный театраль-но-концертный сезон, когда жители города днем выполняли тяжелые работы на строительстве оборонительных укреплений, а вечером, преодолевая усталость, посещали театры, концерты и выставки. Автор этой рецензии в то время тоже жил на Дальнем Востоке и неоднократно бывал в столице Приморья. Хорошо запомнилось, как в 1943 году, в дни одной из самых напряженных летних военных кампаний Советской Армии, довелось участвовать в весьма мирных соревнованиях яхтсменов в бухте Золотой Рог.

Но главным в жизни Приморья был все же труд, ЦК ВКП(б) и Советское правительство нацеливали партийную организацию Приморья, всех его жителей на всестороннее развитие края, на укрепление его экономического и оборонного потенциала, превращение края из потребляющего в производящий. Автор книги рассказывает, что уже в 1941 году Приморье не только обеспечило свою потребность в топливе, но и могло вывозить уголь в другие районы страны. Наметились успехи в сельском хозяйстве. Значительно увеличил свое производство известный на всю страну Дальзавод. Началось строительство крупного морского порта в Находке. А в годы Великой Отечественной народное хозяйство края в кратчайшие сроки перешло на военные рельсы, освоив производство вооружения и военного снаряжения. Дальневосточники принимали участие в защите Москвы и Ленинграда, прошли с боями до Берлина. 56 приморцев стали Героями Советского Союза.

Заявление Советского правительства от

8 августа 1945 года об объявлении войны Японии было с большим пониманием и одобрением встречено населением Приморья. Промышленность и сельское хозяйство края быстро переключились на обеспечение победы над японским милитаризмом.

За всеми свершениями этих насыщенных, спрессованных событиями лет автор прежде всего видит доблесть и героизм советских людей, направляющую линию партии. «Не было ни одного сколько-нибудь крупного, значительного дела, намеченного крайкомом,— указывает автор,— по которому мы не советовались с ЦК партии и не получили от него конкретной помощи». Опыт партийной работы той поры, опыт прожитого и пережитого Н. Пеговым, его поколением имеет большое значение и сейчас. Именно поэтому, думается, далекое в книге Н. Пегова становится для читателя близким и нужным.

А. Васильев,

кандидат исторических наук.



ИСТОРИЯ КАМПУЧИИ. Краткий очерк. М. «Наука». 1981. 254 стр.

В последние годы информация о Кампучии не сходит со страниц мировой печати. Общественные деятели, ученые, журналисты различной политической и мировоззренческой ориентации пытаются понять, как в 70-х годах XX века, после разгрома фашизма, после международного суда над ним в Нюрнберге стал возможен массовый геноцид, в результате которого было уничтожено почти 3 миллиона человек. В чем причины беспрецедентных в истории гонений на города, культуру, знания, возведенных в «демократической» Кампучии в принцип государственной политики? И еще: было ли то, что произошло в Кампучии, фатально неизбежным для этой страны или является случайным зигзагом ее исторической судьбы? Книга «История Кампучии» — первая в мировой науке попытка изложить историю Кампучии с марксистско-ленинских позиций — дает всесторонние ответы на эти вопросы, позволяет представить процесс развития одной из древнейших стран Азии.

Первое кхмерское государство Бабном (раннерабовладельческое, как считают ученые) возникло на территории Кампучии уже в начале нашей эры. А особенный подъем и расцвет кхмерской государственности, цивилизации, культуры приходится на XI—XIII века — период существования величайшей по масштабам Азии феодальной империи Камбуджадеша с объединенной светской и духовной властью и культом богачаря (дева-раджи). «Оформившийся с помощью этого культа тип государства,— отмечается в книге,— представлял собой одну из самых неограниченных форм деспотии, при которой всевластный монарх является не «помазанником божьим», а лично верховным богом... Исторически обусловленная практика дева-раджи... способствовала слиянию духовенства и чиновничества и привела к созданию феодального государства редкой прочности и силы». В сфере религиозной идеологии средневековое кхмер-

ское общество придерживалось курса на сосуществование различных религий: так, наряду с культом дева-раджи свободно распространялись индуизм и буддизм (последний позднее превратился в официальное вероучение).

Еще один примечательный исторический факт: во время набега тайских войск на Кампучию из нее было увезено множество книг. Средневековые кхмерские хронисты писали потом, что тай стали сильными благодаря украденным знаниям. «Лишь у народа с глубочайшими традициями уважения к культуре могла возникнуть такая легенда», — справедливо подчеркивают авторы книги. И действительно, Кампучия — страна блестящих культурных памятников, в частности памятников зодчества. Самый известный из них — уникальный для всей Юго-Восточной Азии храм Ангкор Ват, поражающий зрителей размерами (его высота 66 метров, а площадь 1500×1300 метров), изысканством и красотой отделки.

Таким — имеющим древнюю и богатую историю, терпимым к различным взглядам и воззрениям, почитающим знания — издавна был кхмерский народ.

По мнению авторов, антиинтеллектуальные, антиурбанистические идеи в Кампучии времен Пол Пота никак не согласуются с ее богатейшими культурными традициями. Ключ к пониманию трагедии, поразившей эту страну, следует, по-видимому, искать в особенностях развития кампучийского революционного движения. Коротко напомним некоторые его моменты.

В 60-е годы руководство Народно-революционной партией Кампучии (с сентября 1960 года по май 1981 года она называлась Коммунистической партией) постепенно переходит в руки левацки настроенных деятелей — Пол Пота, Иенг Сари и других. Известно, что во время учебы во Франции они были связаны с троцкистами. Для утверждения своего главенствующего положения в партии эти «революционеры» шли на все: демагогия, интриги, даже физическое уничтожение руководителей интернационалистского партийного крыла — вот методы борьбы кампучийских «левых». Так, 27 мая 1962 года при загадочных обстоятельствах был убит ветеран коммунистического движения в Индокитае Ту Самут. Только в на-

стоящее время удалось установить, что это злодейское убийство на совести Пол Пота и его подручных.

Захватив власть в партии, группировка Пол Пота — Иенг Сари порывает связи НРПК с международным коммунистическим движением: ее представители перестают участвовать в международных форумах коммунистов, встречаться с партийными работниками Советского Союза и других социалистических стран Восточной Европы, единственным примером для них становится Пекин. Клика Пол Пота — Иенг Сари полностью подпадает под политическое и идейное влияние Мао Цзэдуна. Когда в апреле 1975 года благодаря героической борьбе народа в Кампучии был свергнут проамериканский режим Лон Нола, усилиями этой клики страна была превращена в опытный полигон маоистской «культурной революции».

Следует подчеркнуть, что за этим стояла ориентация кампучийских маоистов на отсталые в социально-экономическом и культурном отношении слои крестьянства. В соответствии с догмами своего пекинского учителя его кампучийские последователи объявляли беднейшее крестьянство единственной движущей силой революционного процесса. Малограмотные или полностью неграмотные крестьяне, составлявшие теперь большинство партии, имели, естественно, весьма смутное представление о подлинных идеалах коммунистической социальной справедливости. «Невежество, — пророчески писал Маркс в 1842 году, — это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих трагедий». Одна из них произошла в Кампучии. Глубокое теоретическое невежество, прикрывавшееся красивыми фразами об «истинном» марксизме, лежало и в основе политики геноцида полпотовцев. В их представлении интеллигенция, городское население были силой, враждебной революции, и потому подлежали уничтожению...

«История Кампучии» заканчивается на оптимистической ноте. Кхмерский народ энергично приступил к ликвидации тяжелых последствий господства полпотовского режима, к решению задач экономического, социального и культурного возрождения страны.

В. Буров.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Что делать? 220 стр. Цена 4 р. 10 к.

Г. Бочаров. Лучшее, что человеку выпадает. («Личность. Мораль. Воспитание») 310 стр. Цена 40 к.

Воспоминания о Георгии Димитрове. Перевод с болгарского. 350 стр. Цена 1 р. 10 к.

С. Львов. Быть или казаться? («Личность. Мораль. Воспитание») 319 стр. Цена 55 к.

В. Савченко. Властью разума. Повесть о Н. Чернышевском. («Пламенные революционеры») 396 стр. Цена 1 р. 40 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Афанасьев. Рылеев. («Жизнь замечательных людей») 319 стр. Цена 1 р. 50 к.

Г. Багланов. Навеки—девятнадцатилетние. Повести. 319 стр. Цена 1 р. 40 к.

Л. Лавлинский. Струги. Стихотворения и поэмы. 80 стр. Цена 35 к.

Р. Рождественский. Семь поэм. 191 стр. Цена 1 р. 40 к.

Г. Тютюнник. Огонек далеко в степи. Рассказы. Повести. 350 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Т. Вулф. Домой возврата нет. Роман. Перевод с английского. 687 стр. Цена 3 р. 40 к.

Жасминовая песнь. Из тамильской поэзии эпохи Сангама. III—IV вв. Перевод с тамильского. 157 стр. Цена 60 к.

М. Кунцевич. Чужеземка. Роман. Перевод с польского. 223 стр. Цена 1 р. 30 к.

И. Маген. Избранное. Перевод с чешского. 335 стр. Цена 1 р. 70 к.

М. Родореда. Площадь Диамант. Роман. Перевод с каталонского. 141 стр. Цена 80 к.

Французская романтическая повесть. Перевод с французского. 494 стр. Цена 2 р. 40 к.

«ПРОГРЕСС»

М. Антониевич-Дримколский. Из озера взметнулись молнии. Повесть. Перевод с сербскохорватского. 224 стр. Цена 85 к.

У. Дюбуа. Цветные миры. Роман. **Д. Болдуин.** Если Бийл-стрит могла бы заговорить. Повесть. Публицистика. Перевод с английского. 730 стр. Цена 4 р. 30 к.

Л. Шаша. Винного цвета море. Романы, повести, рассказы. Перевод с итальянского. 383 стр. Цена 2 р. 40 к.

С. Эрдэнэ, Д. Мягмар. Избранное. Перевод с монгольского. 461 стр. Цена 2 р. 70 к.

«НАУКА»

Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. 192 стр. Цена 1 р. 10 к.
В. Манавумбе нефть пахнет кровью. Сборник повестей писателей Мадагаскара. Перевод с малагасийского и французского. 280 стр. Цена 1 р. 50 к.

Б. Грязнов, Логина. Рациональность, творчество. 256 стр. Цена 1 р. 20 к.

М. Дерябина. Опыт организации промышленности в странах СЭВ. 169 стр. Цена 95 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Гербачевский. Начальник острова Врангеля. Повесть. 192 стр. Цена 50 к.

А. Дюма. Сорок пять. Роман. 560 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Кравцова. Повести. Избранное. 431 стр. Цена 95 к.

Д. Рабони. Тетрадь по арифметике кота Котангенса. Стихи. Перевод с итальянского. 16 стр. Цена 25 к.

Д. Самойлов. Слононок пошел учиться. Стихотворные пьесы. 127 стр. Цена 1 р. 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Атаджанов. Как живешь, Яран? Роман. Перевод с туркменского В. Цыбина. 288 стр. Цена 90 к.

О. Иселиани. Черная и голубая река. Роман. Перевод с грузинского. 335 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Успенский. За меньших братьев Повесть. 270 стр. Цена 90 к.

И. Шамякин. Избранное. Романы. Перевод с белорусского. 615 стр. Цена 3 р.

А. Шаров. Повесть о десяти ошибках. Повести и рассказы. 384 стр. Цена 1 р. 30 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. Н. Бубнов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора),
Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов (зам. главного редактора),
Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко (ответственный секретарь),
А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинновский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 30.07.82 г. Подписано к печати 22.09.82 г. А. 08926.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)
27,82 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. Тираж 350 000 экз. Зак 2653.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии
«Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна».
Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. С3399.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1982, № 10, 1—272